



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Дмитрий ЛИХАНОВ
Випса. Роман 19
- Владимир КАРПОВ
Так мне легче. Рассказ 109
- Леонид БЕЖИН
Последний день Султана Омара.
Рассказ 128
- Максим ЧИН-ШУ-ЛАН
Утро приходит вовремя.
Рассказ 149

Поэзия

- Мушни ЛАСУРИА
Русские писатели.
С предисловием Ст. Куняева 3
- Татьяна БАШКИРОВА
Веет теплом от земли 101
- Борис БУРМИСТРОВ
Я вижу, как бредёт народ 103
- Александр АМУСИН
Пригожей осени портрет 106
- Людмила ЩИПАХИНА
Идёт всемирная игра... 125
- Юлия ВЕРБА
Не пишите о войне
торопливо... 141
- Андрей ЯКОВЛЕВ
Мы не будем никак
называться 143
- Светлана ЛЕОНТЬЕВА
Ветренный сад 146

Очерк и публицистика

- Марина САВЧЕНКО
Литературная прогулка
по Хабаровску 160
- Василий МЕЛЬНИЧЕНКО
Агроолигархи взяли страну
под контроль 182
- Евгений ТКАЧЕНКО
О созидательной экономике 188
- Николай РЫЖКОВ
Что имеем, не храним... 197
- Георгий ЦАГОЛОВ
Какой строй в Китае? 207

Редакция

Приемная —

(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —

зам. главного редактора —

(495) 625-01-81

Отдел прозы —

(495) 625-30-47

С. С. Куняев —

зав. отделом критики,

отдел поэзии —

(495) 625-02-81

Е. Н. Евдокимова —

зав. редакцией —

(495) 621-48-71,

факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —

зав. техцентром —

(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —

гл. бухгалтер —

(495) 625-89-95

А. А. Жуков —

юрист —

(495) 625-57-45

Память

Сергей КУНЯЕВ

“Мой неизбывный

вертоград...” 169

Евгений ГУСЛЯРОВ

На улице Николая Тряпкина 179

Критика

Станислав КУНЯЕВ

Огнедышащая зола эпохи 217

Рудольф ПАНФЁРОВ

Торжество лжепророка 242

Инна РОСТОВЦЕВА

Три фрагмента 249

Среди русских художников

Геннадий ПРАВОТОРОВ

Истоки 261

Книжный развал

Сергей КОРОЛЁВ

Книга о русской классике 270

Александр РУДНЕВ

“Пантократор солнечных пылинки” 275

В конце номера

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

Мой брат-писатель —

неспокойная душа 280

Поздравления С. Ю. Куняеву 282

Содержание журнала

за 2018 год 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и публикует наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией. Срок хранения рукописей один год. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2 (пн.-чт. с 11 до 17 ч.)

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru (рукописи по e-mail не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Юрист редакции оказывает юридическую помощь читателям журнала

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.12.2018. Формат 70х108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №2486-2018. Тираж 4500 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОМАН ТРАГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Весной этого года ко мне в журнал неожиданно пришёл мой старый друг по советской жизни, выдающийся абхазский поэт Мушни Ласуриа. Мы, не видевшие друг друга несколько лет, обнялись и сели за стол, на который Мушни поставил бутылку чистой, как слеза, виноградной абхазской чачи. Наша дружба с ним завязалась ещё в 60-е годы прошлого века. Он приехал из Сухуми в Москву, чтобы продолжить своё образование в Институте мировой литературы, где, подружившись с Кожинным, стал своим человеком в нашем дружеском кругу, состоявшем, кроме нас с Вадимом, из Василия Белова, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Владимира Соколова...

Но вместе с бутылкой виноградной чачи Мушни положил на мой редакционный стол нечто восхитительное и необычное для нашего времени – свой роман в стихах, блестяще переведённым Натальей Ванханец и названный им “Отчизна”. Почти четыреста (!) страниц стихотворного текста! К роману мой друг приложил своё письмо ко мне:

“Здравствуй, дорогой Стасик!

Было бы для меня большим счастьем, если бы ты переехал к нам в Абхазию, в Сухум, ко мне, на постоянное жительство... Вот и поговорили бы вдвоём! Горы и волны, чистейший воздух! И потому здесь мы, в основном, обходимся без врачей и лекарств. А то получается, мы с тобою как два берега, два символа тех далёких лет, и людей того поколения, которые были близки друг другу, а на старости лет не могут часто общаться, вспоминать: “Бойцы поминуют минувшие дни и битвы, где вместе рубились они!...”

А часто бывает и так, что месяцами или годами просто не с кем поговорить! Тебе не знакомо такое?!

...Твои тома, книги, воспоминания, в том числе о русских писателях, рассуждения о России, русских – навсегда со мною. Не знаю, сколько раз их перечитывал, и продолжаю это делать, всё это так дорого и так памятно, ведь ты часто пишешь о дорогих нам людях, наших с тобою общих друзьях. Много в них, русских делах и не только русских, ты открываешь мне заново (особенно – серебряный век). Я читаю их так, как в молодые годы читал Герцена “Былое и думы”. Но Герцен находился вдали, за рубежом, а ты – в эпицентре всех и всего!... В свои молодые годы (с 1965 г.) я “сквозь магический кристалл” не мог представить твой нелёгкий путь и колоссальную борьбу. Ещё одно изречение: “В Россию можно только верить”.

Целую, обнимаю тебя, всех твоих:

Твой Мушни Ласуриа”.

Когда я прочитал этот роман, то был просто потрясён творческой волей, эпическим размахом, беспредельной гражданской смелостью, глубочайшими познаниями истории народов Кавказа и лирической откровенностью, которые вложил мой старый друг в эту эпохальную книгу.

То, что он прекрасный, истинный поэт не меньшего масштаба, нежели основоположники абхазской поэзии Дмитрий Гулиа и Баграт Шинкуба, я знал давно, поскольку мы трое: я, Анатолий Передреев и Фазиль Искандер – перевели первую книгу Мушни “Смерть камня”, изданную на русском языке аж в 1971 году, почти полвека тому назад! Об этой книге Вадим Кожин в то время написал такие слова:

“Мушни не один год готовился к этому событию, он стремился и сам постигнуть великий язык, познать его поэзию, прикоснуться сердцем к Пушкину и Лермонтову. Русская поэзия обогатила абхазского поэта, решительным образом повлияла на формирование его мировоззрения, стала великим источником вдохновения, притягательным и необходимым”.

Вадим Кожин восхитился тем, что Мушни Ласуриа “гениально перевёл на абхазский язык “Евгения Онегина” и “Мцыри”, но после них он познакомил свой народ с переводом на его язык “Нового Завета”, “Песни о Гайавате” Лонгфелло, и, может быть, самым великим и бесстрашным его деянием стало переложение на абхазский лад грузинского эпоса “Витязь в тигровой шкуре” легендарного Шота Руставели... Я называю это деяние великим, потому что летом 1992 года между Грузией и Абхазией началась кровавая война, в которой абхазский стотысячный народ победил грузинское войско, возглавляемое уголовными авторитетами Отаром Иоселиани и Тенгизом Китавани, победил к изумлению всего мира, напомнив ему библейскую историю о победе Давида над Голиафом. А если приблизить эту схватку к нашему времени, то победа Абхазии, положившей на алтарь победы жизнь многих лучших своих сыновей и дочерей, можно сравнить с победой над американскими наёмниками отрядов Фиделя Кастро, сказавших: “Родина или смерть!” Недаром эта война абхазов называется “Отечественной”. Эпоха Саакашвили, попытавшегося в 2008 году с помощью тех же американцев повторить грузинскую авантюру 1992 года в Южной Осетии, ещё не просматривалась на горизонте истории. Но Южную Осетию в кровавом августе 2008 спасли российские танки, прорвавшиеся к Цхинвалу через Рокский тоннель. У Абхазии же никаких танков не было. Она победила потому, что её народ не захотел пребывать в рабстве у грузинских уголовников, выпущенных из тюрем и переодетых в военную форму.

Роман в стихах Мушни Ласуриа густо населён временем и знаковыми персонажами прошедшего XX века, чья судьба так или иначе связана с трагедией Абхазии: Иосиф Сталин, Нестор Лакоба, Лаврентий Берия и Баграт Шинкуба, Борис Ельцин и Михаил Горбачёв, Эдуард Шеварднадзе и первый президент абхазского государства, его спаситель Владислав Ардзинба... Слово актёры то великой, то позорной исторической драмы, они появляются на мировой сцене по велению Мушни Ласуриа и уходят с неё... И все их поступки, все их славные и бесславные подвиги изложены талантливими стихами, раскрывающими их человеческую и историческую сущность.

Много раз, читая страницы романа, я останавливался, размышлял и перечитывал их, стремясь разгадать, как Мушни Ласуриа удалось схватить и выразить подлинную правду — то героическую и гуманистическую, то подлую и бесчеловечную. Однажды мне даже пришла в голову мысль, что моему другу-поэту помогло то, что он раньше переводил на родной язык судьбу Евгения Онегина и Татьяны Лариной, судьбу героев “Витязя в тигровой шкуре” Автандила и Тариэля... А одна из глав романа, названная “Русские писатели”, чего стоит! Образы Сергея Михалкова и Леонида Леонова выписаны с таким реалистическим искусством, что я, их знавший, много раз вступавший с ними в разговоры, начинаю эти разговоры продолжать и восхищаться тем, что Мушни вкладывает в их уста мысли и суждения, которые я не раз слышал от них... А может, это мне кажется? Но тогда тем более я убеждаюсь, что талант Мушни в переложении образов жизни на стихотворную речь есть какое-то сверхъестественное чудо.

Вот эту “писательскую” главу из романа мы и предлагаем нашим читателям. Она тем более будет своевременна, как ложка к обеду, если вспомнить что в декабре месяца 2018 года исполняется 60 лет Союзу писателей России, с чем мы и поздравляем легендарную организацию, которой руководили за эти десятилетия не менее легендарные писатели — Леонид Соболев, Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Валерий Ганичев...

И всё, что рассказал Мушни Ласуриа о Михалкове, о Леонове, о Гамсахурдии, о Ельцине, об Ардзинбе — это чистая историческая и поэтическая правда, за что я благодарю своего дорогого друга. Многая лета тебе, Мушни!

Станислав КУНЯЕВ

МУШНИ ЛАСУРИА



РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

Вот на третий день я встал с утра,
Ведь к делам мне приступить пора.
Не спеша, иду по Поварской.
Что друзьям-писателям скажу?

Во дворе встречает Лев Толстой.
Как родной встречает. Я гляжу
На прекрасный памятник его,
Вспоминаю случай, вот какой.

...Видел я английскую газету
И карикатуру помню эту
Много лет, и в этом ничего
Странного. Там Лев Толстой с царём
Николаем так изображён:
Кочка — Николай, Толстой — утёс.
Рядышком стоят они вдвоём.
Николай сердит и раздражён:

“Как ты смел?! Меня ты перерос!
Как таким ты вырос?!” Вот вопрос!
Николай Второй всё об одном:
“Не желаю выглядеть, как гном!”
А Толстой стоит, как исполин.

Русские писатели! В один
Голос люди скажут, что цари
Русские известны исстари
И величье их неоспоримо,
Так ведь слово — посильнее Рима!

Отойдёт от дела государь,
Ну, а слово властвует, как встарь,
И идёт всесветная молва —
Слово, точно голос божества!

Пушкин, Достоевский и Толстой,
Гоголь, Герцен! Замысел пустой
Перечислить в этом списке всех.
Пропустить кого-то — тяжкий грех!
Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак,
Лермонтов, Тургенев, Фет — никак
Позабыть Жуковского нельзя,
И у всех — великая стезя!
Ломоносов и Державин, вы
Всемогушей правдою правы!
А Некрасов?.. Многие вели
Речь о бедах отческой земли,
Но кормильца — с люльки до седин —
Пожалел, наверно, он один!

Исполины и богатыри,
Свет ваш негасим — гори, гори!

Кое-кто в Абхазии бывал —
Красоту природы признавал.
Чехов, Горький приезжали к нам,
Посещали нас по временам!
Ну, а Маяковский как велик!
Шолохов, Твардовский — светел лик
Каждого высокого творца.
У всемирной славы нет конца!

Так творенья ваши хороши,
Что Россия — родина души!
Не превзойдена её краса,
И над ней бездонны небеса!

Нет, не прост детей её удел,
У добра и зла здесь много дел.
В тесный узел переплетены
Зло с добром у этой стороны!
В душах тех, кто взялся за перо,
Слёз народных блещет серебро!

Русские писатели! Друзья!
Вашей доброты забыть нельзя!
ЦДЛ — волшебный остров мой,
Место наших встреч, наш дом родной!

Сколько раз мы все, в одном строю,
Славили Абхазию мою!
Сколько раз я вместе с вами шёл
Выступать под сень московских школ!

Здесь узнал я многих, видит Бог!
Кто не посещал моей страны,
Кто не поднимал абхазский рог?!
И в годину горькую Апсны
Всё тепло России — для меня!
Здесь — литературная родня!

Ты, поэт Владимир Соколов!
Толя Передреев и Рубцов!
Стас Куняев, Юрий Кузнецов!
А Белов, Распутин Валентин?
Всех ценить я буду до седин!

Чем мы нашей дружбе воздадим?
Без тебя и свет не мил, Вадим!*

Дом твой — наша крепость и покой
С рокотом гитары под рукой!

И тебя роднее в мире нет.
Сколько незаписанных бесед!

В дом к тебе — я помню всё точь-в-точь! —
Из роддома забирал я дочь.
Над столом поднявшись в полный рост,
За неё ты первым поднял тост.

Нет, судьба Абхазии моей
Не была чужой тебе, ей-ей!
Говорил ты правду всей стране —
Весть летела на лихом коне!
Ты её, как родину, воспел.
Слов и строк прекрасных не жалел!..

Все твои друзья дружны со мной.
Среди них летел мой век земной.

Братья вы мои, богатыри,
С вами рос я, как ни посмотри!
Шли мы вместе по тропе побед,
Возле ваших — мой впечатан след.

Но моя родная сторона
Пламенем войны обожжена!

Вот на постаменте — Лев Толстой.
Он как будто говорит: “Постой!
Подожди отчаиваться, брат,
Если край твой пламенем объят!”

Кто, как не Толстой, клеймил войну,
Проникая в душу, в глубину
Сердца, и людей звериный нрав
Обнажил, добру и злу воздав,
Показав нам новый, свежий взгляд.
Есть “Война и мир”, “Хаджи-Мурат”!

Русский литератор — ты кумир!
Ты хранишь, оберегаешь мир!

Слово, я хочу тебя сберечь!
ЦДЛ — дворец, где правит речь!
Лестницы торжественный изгиб
Столько помнит! Ибо не погиб
Этот дом, где полных двадцать лет
Я встречал радушие и привет.
И сейчас я встречен, — как всегда! —
С радостью — не властны здесь года!

* Речь идёт о В. Кожинове.

Вижу тех, с кем дружен искони,
С кем встречался в радостные дни.
Только скольких, скольких — несть числа! —
Времени позёмка унесла!..

Здесь у всех один вопрос всегда:
Как абхазы, сколь страшна беда?
Сила дружбы! Нет, не без причин
Слёзы женщин, боль и гнев мужчин!
Слушают они про нашу жизнь
И с волнением говорят: “Держись!” —
Напряжённно внемлют в тишине.

Я твержу: “Абхазии, не мне
Помогите! Поддержите нас!
Слово русских — важно в грозный час!”

Михалков откликнулся. О нём
Думал я и жаждал на приём
Записаться. Он опередил:
“Жду вас нынче! — сам предупредил, —
Знать бы, что абхазам суждено!..”
С ним мы познакомились давно,
В Пушкинских Горах, среди аллей, —
Шёл тогда Поэта юбилей.
Я читал “Онегина”, и вот —
Михалков отметил перевод.

Рассказал мне, как после войны
Посетил Абхазию — Апсны —
С Тихоновым вместе: “Это рай,
Это сказка — ваш волшебный край!”

К Гулиа зашли она в тот раз.
До чего подробен был рассказ!
Всё в деталях помнил, как вчера.
Хоть воды немало утекло —
Так прозрачно времени стекло!

Думаю, “Онегин” и помог
Встрече на скрещении дорог!

Михалков признался без затей:
“От абхазов страстно жду вестей.
Много ваших прежде я знавал,
Но никто давненько не бывал!
Надобно с чего-нибудь начать.
Что там ваша местная печать?
Чем конкретно можем вам помочь?
Не молчать же, раз сгустилась ночь!

Сам я повторяю вновь и вновь:
К чёрту вакханалию, чтоб кровь
Вашу землю всю не залила!

Не держал на Грузию я зла,
К ней не относился, как к врагу,
Но мириться с бойней не могу!

Надо и писателям сказать:
Слово — телевиденье, печать,

Радио к услугам их — пускай
Не молчат про ваш прекрасный край!

Слово литератора важно́ —
Полновесно, действенно оно.
И порой решает дивный спор —
Это всем известно с давних пор!”

Михалков окончил монолог.
Что же я ему ответить мог?
Я ему, что думал, говорю:

“Я б хотел в Абхазию мою
Возвратиться. Но со мной семья.
Приютить родных обязан я
Где-нибудь в России — и вперёд!
Мне пора туда, где мой народ
В трудную годину, в море бед.
Там я нужен — вот вам мой ответ!”

“Там ли, здесь ли — вы равно нужны!
Делайте же то, что вы должны!
Верно, вы со многими дружны,
Знаете творцов и там, и тут —
Вам на помощь многие придут!

Вот ещё, о чём просил бы вас:
Встретьтесь-ка с Леоновым сейчас,
С Леонид Максимычем. Чудес
В мире много, скажем, “Русский лес”
Некогда в Абхазии рождён.
Жизнь абхазов понимает он.
Он старик, но голова светла,
И слова его — его дела.
Гулко грянет слово в тишине —
Мир услышит правду о войне.

Тотчас дан распоряжений ряд:
“Помогите, это наш собрат,
Наш сотрудник с нынешнего дня —
Это очевидно для меня!

Я прошу условия создать
Для его работы! Пусть опять
Съездит он на родину и вспять
Возвратится! Организовать
Надо всё, чтобы его Леонов
Принял поскорее — нет заслонов
Этой встрече...”

Вспомнил я тогда
Юные, далёкие года:
Мы студентами в то время были,
И к Леонову мы заходили.

Да, была традиция такая:
Приглашать писателей. Простая
Это церемония: сперва
Заходили в гости, и слова
Вежливости мы произносили:

“Мы могли бы посетить вас, или?..”
Всё решалось тотчас же, моментом.
Кто бы стал отказывать студентам?!

И Леонов нам не отказал,
Дверь открыл. “Входите же”, — сказал.
Было это в давние года.
Он немолод был уже тогда.
Всюду книги, рукописей склад,
И цветы в горшках — зелёный сад.

Слушали, дыханье затаив,
Ведь в его речах звучал мотив
Творческих исканий, счастья, грусти...
Говорил о жизни, об искусстве,
И была в советах разлита
Мудрость и живая красота.

Прощаться, разрешив вопрос:
“Надо нам поговорить всерьёз!”
Тотчас мы условились по сути —
Выступить придёт в Литинституте.

Он пришёл без опоздания, в срок.
Сколько ж собралось нас — знает Бог! —
И студентов, и профессоров!
Слушателей было — будь здоров!
Пропасть! Негде яблоку упасть!
Слово — это истинная власть.
Этот день в сердцах неизгладим
Навсегда, а остальное — дым!

Много лет прошло, и вот теперь —
Завтра! — постучу я в ту же дверь.
И в канун назначенного дня
Мучает бессонница меня.
Завтра я к нему направляюсь в дом...
Мой же дом теперь объят огнём!

Искренне считаю я за честь
Посетить того, кого прочесть
Вся страна успела. Дорожу
Этим. Вот что я себе скажу:
Так добра ко мне судьба моя,
Что со многими встречался я,
Многих видел на своём веку
И в блокнот свой не одну строку,
Не одну заметку или стих
Я занёс почтительно о них!

Я почти не смог уснуть в ту ночь.
В дверь звоню. Мне открывает дочь...
Нет уже в живых его жены,
Сам он стар и худ, во всём видны
Годы — девяносто три ему,
Но, у тела дряхлого в плену,
Всё ж ясна, как прежде, голова,
Крепок разум, память в нём жива!

“Да, вчера звонил мне Михалков! —
Молвил он, — и вывод мой таков:
Не смирюсь душой со всем подряд,
Что они в Абхазии творят!
Прежде я сказал фашизму: “Нет!” —
И сейчас известен мой ответ.

Я немолод. Дел неупорот.
И, однако, знайте наперёд,
Стар я только телом, не душой,
И несправедливости прямой
Не стерплю. И мне ль — пора на слом?!
Я поставлю подпись под письмом!”

Взгляд метнул из-под прикрытых век:
— Эдуард* стал зверь, не человек.
Озверевший — хуже всех зверей,
Потому что нападёт скорей!

Я не спел и знаю: рабство — смерть.
Не бросайте ж Родину в беде!
Даже птица, покидая твердь,
В небесах тоскует о гнезде!

Превосходство в силе не всегда
То, чем может быть страна горда.
Тот, кто меньше, не всегда слабей.
Слабый сильным станет от скорбей,
От напастей, горя и обид,
И, глядишь, противник — перебит!

Маленький народ — всемогущ ты
Лишь одним сознаньем правоты!

Сам я потружусь по мере сил,
Чтобы вас противник не скопил,
Не смирюсь я с наступленьем тьмы —
Буду будоражить здесь умы!
Я скорбей не отгоняю прочь,
Оттого моя бессонна ночь.

Я тревожусь сутки напролёт —
Нет, тревоги старость не уймёт!
Тяготит меня насилья вид —
Я делами Грузии убил!..
Я подавлен...” После, помолчав
(Чувствую, он искренен и прав):
“Ты пока что молод, милый друг,
Вот и про себя воскликнешь вдруг:
— Для чего мне дряхлая тоска —
Исповедь седого старика?
Не о том пришёл я говорить! —
Погоди, дружок, меня корить:
Жизнь берёт нас крепко в оборот,
И взаимосвязан мыслей ход!
Старый, дряхлый — думает весь день,
Молодой — летит, куда не лень.
В мельтешенье — не видать ни зги.

* Речь идёт об Э. Шеварднадзе.

Где тут вспомнить про свои долги!
Нет долгов? Ох, не гневи судьбу!
Нет долгов у тех, кто спит в гробу!
Постарайся взять скорее в толк,
Что меня томит давнишний долг!

Было мне лет двадцать — двадцать пять!
Многие мне помогали встать
На ноги... Ведь — не один издатель,
Не один художник и писатель!..

Ну, а я? Что сделал я в ответ?
Я в свой срок помог им? Вовсе нет!
Я был занят, всё мне недосуг!
А они нуждались, милый друг!
Где уж им помочь! И вспомнить страх:
Не был я на их похоронах!

Слёзы льются у меня из глаз
(Он отёр слезу, ведя рассказ).
Только поздно! Поздно слёзы лью.
Не вернуть гуляющих в раю.
Надо было — тут вопрос ребром! —
Вовремя добру воздать добром.

Слушал я, почти что не дыша,
Точно замерла моя душа.

Он продолжил: “Вот к чему веду:
Я люблю Абхазию! В беду
Угодила бедная страна.
Что же? Не чужая мне она!
В неоплатном перед ней долгу,
Позабыть о долге не могу!

С той поры, как там идёт война,
Я почти совсем лишился сна.
Прежде я в Абхазии бывал,
Я Лакобу славного знавал.

Не жалел он ни трудов, ни дум
Для родной земли. И цвёл Сухум!

Вся Абхазия — цветущий сад.
Слов не хватит описать наряд
Этого божественного края,
Красоту природы вспоминая!

На абхазском этот край — Апсны:
“Край души”! В названии страны
Есть душа! Душа — какое слово!
И нигде на свете нет такого!

Кто сказал Лакобе, я не знаю,
Что люблю растенья, собираю
Редкие. Особенно люблю
Кактусы. Коллекцию мою
Оценил, порадовавшись краскам.
Я не скрою: об одном абхазском
Кактусе я грезил. Только два

Было их во всей стране. Едва
Про мечту мою узнал Лакоба,
Как однажды, поглядев на оба,
Мне один по-царски преподнёс.
Вот так дар! Я счастлив, словно Крёз!

Вот он — кактус тот!..” — и Леонид
Показал на кактус, что стоит
На окне, назвавши по-латыни
Красоту, что дожила доныне,
Радую собой хозяйский взор.
(А ведь столько лет прошло с тех пор!)

И прибавил, чуть понизив голос:
“Всё живое на Земле боролось
За возможность жить! Не так ли? Так-то-с!
Вот и вы щетиньтесь, словно кактус!
И цветите, как и он, — красиво!
Посмотрите — ведь какое диво!”

Рассказал он о судьбе Лакобы
И не мог остановиться, чтобы
Не сказать о тяжести эпохи
О годах, что изначально плохи,
Если в них страданье и бесправье.

Сообщил, что молится о здоровье
Ардзинбы... “Ему — побольше сил бы!
Ведь какой противник ни грозил бы,
И какая б ни кипела злоба —
С ним не страшно вам!..” Потом Лакоба
Вспомнился ему опять. О новом
Времени, жестоком и суровом,
Говорил он: “Нет пути в природе
Лучшего, чем честный путь к свободе!”

“А ещё, — сказал он, — помню ярко
Пышные красоты дендропарка,
Там, в Сухуме! И ничто на свете
Не затмило впечатленья эти!..

Красота Абхазии дала
Мне два вдохновения крыла.
В неоплатном перед ней долгу,
Я забыть об этом не могу.
Своему народу расскажи —
Нет в моих словах ни капли лжи!

Мне недолго остаётся жить,
От тебя не скрою, так и быть:
С тяжкой ношей — это не секрет! —
Я хожу — тому уж сорок лет.

Эта ноша — “Пирамида”. Да,
Таково название труда.
Как тяжёл и многотруден он —
Я под ним, как в склепе, погребён.
Он мне стоил столько тяжких мук,
Что никак не выпущу из рук,

Напечатать как-то не решусь —
И чего-то будто бы боюсь.

Но и тут мне помогла Апсны —
Сохранила образы весны:
Ясный свет былого, мир иной
Столько раз вставал передо мной!..”

Тихо к сейфу подошёл старик
И оттуда вытащил на миг
Многолетний труд свой — вот, гляди! —
Прижимая, как дитя, к груди.

“Так порой его я достаю,
И читаю, будто жизнь мою.
Предлагают мне его издать,
Но сомненья мучают опять!..

Сколько раз за эти сорок лет
Извлекал я рукопись на свет —
Сейфу от меня покоя нет!
Вынимал — и вновь обратно клал,
Волновался и переживал...
Кто терзался так же, верно, тот
И мои страдания поймёт...
Не хвалю я, друг, своей судьбы —
Возраст мой не терпит похвальбы.

Хорошо ли это или плохо —
От ветхозаветного Еноха
Я своё веду повествование,
Ад и рай добавив в назиданье.
К Сталину приводит нить рассказа.
Зло с добром — не выдумка, не фраза! —
Яростный меж ними вечный бой.
О боренье их между собой —
Вот о чём мой труд, моя работа...”, —
Так сказал, ещё прибавил что-то...

А потом: “Абхазия — что рай!
Вся она — обетованный край,
Хоть о том в Писании ни слова.
Видел я и вспоминаю снова
Переходы красок и цветов —
Я всю жизнь любить её готов,
С гулом рек и голосами птиц...

В “Пирамиде” — тыщи две страниц.
Для такой работы нужен век!
Не рабы Хеопса — человек,
Малый я — воздвиг сие творенье!
Видит Бог — тут надобно терпенье!

Чтобы что-то сделать для людей,
Надо не менять своих идей,
Лишь одною правдой дорожить,
Замыслу единому служить!
Капля камень точит, говорят.
Только тот увидит результат,
Кто отринет счастье и беду,
Отдаваясь вечному труду!

“Пирамида” — это мой закон.
Дела нет мне ни до похорон,
Ни до свадеб — вот уж сорок лет...
Только б этот труд увидел свет.

Сорок лет, не опуская рук,
Я писал, сужая жизни круг,
Как отшельник... И сказать хочу:
Силачу мой труд не по плечу,

Даже Геркулесу. Наконец,
Я хочу услышать, что мудрец —
Мой читатель — скажет обо мне,
Если я был понят им вполне...

Всё ли знал я сам? Конечно, нет!
Не на все вопросы дан ответ.
Сделал я всего лишь первый шаг,
Но сказал, что знал. Да будет так!

Мой роман — головоломка, да!
Умереть боялся я всегда
До того, как дело завершу, —
Жизни я для творчества прошу!

Был у нас и с Вангой разговор.
Знаешь, что сказала мне в упор?
“Написал ты очень крупный труд.
Им живёшь. Потом к тебе придут
Те, кто книгу выпустят на свет.
Не умрёшь до этого ты, нет.
После — смерть тебя найдёт сама...
А пока — живи!..” — Что ж, для ума
Пища тут имеется!.. — Шутя
Он воскликнул, к небу обратя
Светлый взор. — Пусть будет — я не прочь!

“Пирамида” — мне как будто дочь.
Так пускай меня переживёт!
Но какая смерть меня найдёт?
Об одном прошу — сейчас и впредь:
Не хочу в мученьях умереть!

Лишь одно вошло мне в кровь и плоть:
Пусть хранит Абхазию Господь!
Чтобы всё, что есть, пошло ей впрок!” —
Так закончил мастер и пророк...

Он умолк. Я тоже молча ждал.
Вдруг он что-то вроде прошептал
Еле слышно — так слова тихи,
Но навек запомнились стихи:

“Лёгкой жизни я просил у Бога:
“Погляди, как тяжело кругом!”
Бог ответил: “Подожди немного,
Скоро ты попросишь о другом”.

Вот уже кончается дорога,
Тяжелее путь и тоньше нить...

Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить!..”

* * *

Шёл домой я... После месяцами
Те слова в душе звучали сами.
Речь его легко, сама собой,
На года слилась с моей судьбой!

Дни прошли, три года пролетели.
Умер он во сне в своей постели.
Бог его услышал в добрый час —
От предсмертных мук его он спас!

Так бывает: Бог молитвам внимлет.
Человек судьбу свою приемлет.
Если ты трудился, сколько мог, —
Будь спокоен, коль настанет срок...

Вот и храм Большого Вознесенья,
Вносят гроб, несётся к небу пенье.
Завершает гений жизнь свою.
В этом храме каждый — как в раю.
Отпевают. Зажигают свечи.
Раздаются траурные речи.
Торжество с печалью пополам —
Мастера хоронит Божий Храм...

Эта церковь — памятное место:
Тут встречала Пушкина невеста.
С Натали обвенчан здесь поэт —
Светлый купол памятью согрет!..

Здесь в последний путь ушёл Леонов...
Кончилась в Абхазии война —
Ведь в защиту божеских законов
Русские писатели сполна
Высказались — слово было в силе.
За Москвой и мы произносили
Слово правды. Вторил наш народ
Слову, что свободу принесёт!

* * *

Знаем мы — наш край не одинок!
Заслужил немало ярких строк!
Многие писатели России
Поддержать Абхазию спешили.

Но, прославлен, всюду знаменит,
Евтушенко — медлит и молчит.
И молчат писатели Пен-клуба.
Что-то им мешает. И сугубо
Тайное посланье — в их молчанье.
В нём — Тбилиси весть и обещанье
Эдуарда сторону принять:
Мы, мол, вместе с Грузией опять!

Мы, мол, с Вашингтоном в этот час,
И Европа пусть одобрит нас!

...Помню я Гульрипш. На берегу —
Позабить вовеки не смогу —
Дачный дом построен, как дворец!
Лаврами увенчанный певец,
Евтушенко, важный юбиляр,
От абхазов принял этот дар!

В ход пошёл технический прогресс —
Братскую как будто строим ГЭС!
Как иначе, ведь приехал друг —
Трудимся, не покладая рук!

А и то: поэту ведь полтинник!
И с друзьями гордый именинник
Празднует сегодня юбилей...
Нет ему Абхазии милей!

В Цебельде, на склоне гордых гор,
Где отыщет любопытный взор
Вдалеке Кодорское ущелье,
У поэта нынче новоселье!

И шатёр предстал в помпезном стиле
(Целую неделю возводили!).
Вид прекрасен, зодчие смелы —
Под ногами плавают орлы!

Думаю, писателя иного,
Мирового корифея слова,
Не найдётся, чтобы даты те
На такой отметил высоте!

Что ни пожелай, дадут легко,
Будь то дичь иль птичье молоко.
Свадьба гор и моря, говорят,
На былинный первозданный лад!
Реки вин, отличная еда...
Юбиляр в ударе, как всегда.
О его заслугах, встав, как встарь,
Повествует первый секретарь.
За поэта поднимает рог:
“Он не гость, он дома, видит Бог!..”

Все, кто был — в горах, на берегу —
Подтвердят, что я сейчас не лгу.
Юбиляр, выдавший много стран,
Не привык за словом лезть в карман.
И, торжествен, но в общенье прост,
Возглашает он ответный тост,
Молвив: “С достопамятного дня,
Как привёз Ласуриа меня
(Алексей Ласуриа привёз
Евтушенко к нам), горжусь всерьёз
Я моей Абхазией родной,
Как второю Родиной земной!
От неё, клянусь, я без ума.
Мне Сухум — как станция “Зима”!

.....
Знайте ж, люди, — я не промолчу, —
Но с тех пор, как вся Апсны в беде,
Что-то с ним, сродни параличу, —
Он ни слова не сказал нигде!

Он оглох, похоже, и ослеп...
Дружеских не стало больше скреп.

Никогда уж больше, никогда,
Вновь его не встретит Цебельда!
Не плеснут здесь волны о былом,
Говоря с распластанным орлом!

Что тут скажешь? Как добро ни сей,
Всё — забыто, брат мой Алексей!
Если ж слишком резок я, браня,
Ты за гробом не брани меня!

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ



BIANCA

ЖИЗНЬ БЕЛОЙ СУКИ*

Посвящается Тайге

1.

Лёжа на талом снегу в ожидании близкой смерти, Бьянка вдруг вспомнила запах матери, сотканный из слабых, еле памятных ароматов: её тёплого жирного молока, сухого сена с лоскутами увядших васильков, тлеющей дымно листвы, что жгли на дачах в ту самую первую осень её начинающейся жизни.

Запах тлеющих листьев был одним из первых, а потому особенным — острым, густым, вобравшим в себя всё, что смогло вместить короткое земное бытие всякого листа, от клейкой, стрельнувшей навстречу теплу почки до обречённого полёта к холодеющему телу земли. Поздний сентябрь увядал, и деревья сыпали листвой повсюду. Клён устилал зелёную пока ещё траву пышным апельсиновым одеялом. Тополя лениво, но как-то дружно стряхивали свои последние пенельные ошмётки. И некрасиво, широко сорила мелкими листочками старая, стволем в три охвата ива. Но ещё красовались на солнечных припёках одетые в тусклый пурпур рябины с тяжёлыми пучками подмерзающих алых ягод, а трепетные осинки обливала светлая яичная желтизна.

ЛИХАНОВ Дмитрий Альбертович родился в г. Кирове в 1959 году. Окончил факультет журналистики МГУ, стажировался на факультете филологии Гаванского университета (Куба) с одновременной работой в кубинской молодежной газете. Работал в газетах “Советская Россия”, “Совершенно секретно” Юлиана Семенова, в журнале “Огонек”. Автор детективной повести “Прощай, Сирокко!”, документальной книги о русской мафии “Товарищ крестный отец”, сборника новелл “Idee fixe”, книги рассказов “Любовь до востребования”, повести “Маленькое сердце”, сборника журналистских расследований “Жанры жизни”. Живёт в Москве.

* Журнальный вариант.

Пройдут недолгою чередой прозрачные дни, и лазурь неба надолго затянет клубящаяся хмарь, зачастят дожди, вымочат до самой сердцевины деревья, и последние листья на них оборвёт порывистый северный ветер, унесёт в грязь, в лужи, в тлен. Наступит зима. Бесконечная. Студёная.

Но Бьянка ещё не знала зимы. И лета она не видела. Появившись на свет в начале сентября, она ощутила осень как вечное состояние окружившего её мира.

Солнце дотрагивалось до её не прозревших ещё глаз тёплыми лучами, и тонкая плёнка век наполнялась розовым светом. Она чувствовала доброту этого света: великую, нескончаемую любовь обещала ей, малой Божьей твари, её начинающаяся жизнь.

Матери она тоже пока не знала. Слепую, по сильному запаху, находила её грубые сосцы, припадала и жадно, захлёбываясь, цедила молоко, не понимая его источника. Она постоянно чувствовала голод и торопилась утолить его.

В первые дни она много спала рядом с матерью. Грелась её теплом. Когда мать уходила, звала её слабым, едва слышимым писком. Вслед за ней принимались тоненько жаловаться сёстры и братья. И мать возвращалась. Осторожно, боясь придавить щенков, ложилась рядом.

В этом помёте у старой лайки Берты их было четверо: два чёрно-белых кобелька и такого же окраса сучонка. Последней она выдавила из себя совершенно белую девочку. Чистую, словно снег. Это и была Бьянка. Вылизывая её, сглатывая солёные плёнки плаценты, Берта дивилась: никогда ещё не было у неё таких щенков. Возможно, поэтому белянскую она вылизывала от крови и сгустков слизи особенно долго, не оставляя на снежной шёрстке ни пятнышка. Повторяла это, пренебрегая другими щенками, часто, по нескольку раз в день.

Первое, что увидела Бьянка, когда прозрела, был воробей. Попрыгивая возле алюминиевой миски, он склёвывал остатки собачьей пищи, изредка косясь на Бьянку бусинкой чёрного глаза. Неуклюже переваливаясь, она заковыляла к нему, готовая грозно зарычать на незваного гостя, а на самом деле лишь пару раз звонко тявкнула. Трепыхнув крыльями, воробей улетел прочь. А Бьянка приблизилась к прутьям своей клетки. Только теперь открылся ей краешек мира, в котором ей предстояло прожить всего-то шесть лет её собачьей жизни.

Этот мир начинался с ржавой бочки из-под авиационного керосина, что стояла рядом с клеткой неведомо для какого предназначения. Тут же, обок, корявилась старая ветла, чьи ветви, похожие на узловатые человеческие пальцы, упрямо тянулись к солнцу, просили свою кроху тепла и света. Давным-давно кто-то из служащих привязал к её стволу для каких-то хозяйственных нужд обрывок стального, в мизинец толщиной прута, да и забыл его по необходимости. С тех пор, не в силах разорвать эту узду, ветла мягким своим телом каждый год всё глубже, настойчивее укрывала её в себе, покуда та не увязла в ней, не утонула в её влажной мякоти, победно утверждая жажду жизни и тщетность любой узды, любого насилия и плена. Слева от ветлы тянулся ряд одинаковых деревянных клеток-сараяшек под кровельным железом, с прутьями впереди, покрашенных свежей, ещё не выцветшей на солнце и под дождями зелёной краской. В ближнем к ней соседстве, поняла Бьянка, тоже жили собаки. Они подвывали. Иные лаяли громко. Скребли когтями деревянный настил клеток. Тяжко вздыхали. Гремели казёнными мисками. Переругивались между собой и порой даже устраивали короткие драки, в которых не было ни победителей, ни побеждённых, а только слегка прихваченная зубами холка противника да клочок вырванной у него шерсти.

Охранял собачьи вольеры латанный старой жестью да бракованным штакетником забор, из-за отсутствия денег и воровства местами вовсе дырявый, пацанами да бомжами ломанный на костры. Тем не менее, верх по всей длине забора венчала ошестинившаяся “колючка”, которую в смутные перестроенные времена директор питомника выменял у командира соседней воинской части за несколько породистых щенков, нужных командиру для прибывшего с проверкой вьедливого инспектора из Минобороны — тот был страстный охотник и взяточник.

За клетками свежей масляной краской алел пожарный щит, к которому лет десять тому назад накрепко прикрутили ржавый багор, да топор затупившийся, списанный, да худой, весь в проплешинах и дырах, гидрант, подключать который всё равно было некуда. Однако пожарные, всякую инспекцию получая в подарок не лучших, но всё же породистых щенков, закрывали на эти “мелкие нарушения” глаза. Просили только подновить свежей краской щит да хотя бы раз в квартал проводить инструктаж персонала на случай возможной эвакуации.

Вполне естественно, что щенки для собачьего питомника были самой ходовой, расхожей валютой. Разводили тут исключительно лаек, а для любого охотника, особенно же для того, кто идёт в лес с серьёзными намерениями, касающимися лося, кабана или медведя, лайка — самый верный товарищ и друг. Особенно если собака хорошей крови да правильной подготовки. А таких в питомнике всегда хватало.

Сама Бьянка, если бы каким-то чудом могла понимать хитросплетения собачьих родословных, с удивлением узнала бы, что её дальними предками были Тайга и Мишка из товарищества охотников Иваново-Вознесенска, те самые Мишка и Тайга, чья безграничная и верная любовь подарила стране выдающихся представителей западносибирских лаек и таким образом, как потом запишут в учебниках и научных статьях, “оказали значительное влияние на формирование всей их породы”. Сам Мишка, если вчитываться глубже, в собачьи архивные документы, происходил, в свою очередь, от союза Себерта и Нельвиры, принадлежавших доктору Пузевичу из города Обдорска, и появился на свет аж в далёком 1924 году. Так и осталось загадкой, откуда лайки взялись на этой северной ненецкой земле, где, как известно, вовсе царит лесотундра, а лайки — с длинной шерстью, “оленегонные”, стало быть, под стандарты лесной охотничьей породы вовсе не подходящие. Тем не менее, и у легендарного Мишки, и у его дальнего потомка Бьянки прослеживались всё те же признаки их древних предков — вогульских и остяцких собак, что с давних, незапамятных пор помогали человеку вести охоту в диких чащобах Северного Урала и Западной Сибири: этот косой разрез века, эта красивая “муфта” на шее, этот туго завитый кольцом хвост, карие глаза, острая морда, — словом, всё, что отличало беззаветных тружеников леса от остального собачьего племени.

Но снежный щенок Бьянка об этом, конечно, не знал, не ведал.

Над клетками кружили и опускались на землю яркие листья старого клёна. А над клёном уходило вверх бездонное небо, и солнечные зайчики слепили Бьянке глаза.

Скрипнула железная калитка, мимо прошла девушка в чёрной телогрейке с эмалированным ведром в руке. Хлопали друг о друга широкие голенища её резиновых сапог, трепался на ветру подол байкового платышка, и её встречал нетерпеливый собачий гомон. Только Бьянка молчала, не понимая причин всеобщей радости. Через недолгое время девушка уже возвращалась обратно. И ведро её было заметно легче, и настроение, наверное, получше, потому что остановилась она возле клетки, где лежала Бьянка, и та вдруг пошла ей навстречу. Девушка присела, протянула сквозь прутья ладони с бурыми полосками под ногтями. Ладони пахли мясом, свернувшейся кровью, однако Бьянке отчего-то не было страшно. Она не отскочила, когда ладонь дотронулась до её головы.

— Вот ты какая чистенькая и опрятная, — сказала девушка, почёсывая Бьянку за ухом, — Ну, значит, долго ты у нас не задержишься.

Что значили эти важные для неё слова, лайка-младенец, конечно, не понимала. Но голос девушки в чёрной телогрейке был ласковым, и угрозы от её руки не исходило. Когда она поднялась уходить, Бьянка долго смотрела ей вслед, пытаясь запомнить её запах, походку, силуэт.

Девушка в чёрной телогрейке по несколько раз проходила мимо клетки, где обитала старая Берта и четверо её новорожденных щенков. Из своего эмалированного ведра, над которым парил восхитительный дух собачьего варева, наливала Берте полную миску, всегда почти с верхом, потому как собака была кормящая, и ей, конечно, еды требовалось сверх обычной нормы.

И всякий раз, наполнив миску, девушка не упускала случая потрепать холку юной Бьянке. А та уже и ждала её. Издали узнавала шаги в хлопающих резиновых сапогах, чувствовала запахи чудесного варева ещё до того, как лягнет знакомо железная калитка. Подойдёт девушка к клетке, щёлкнет тугим засовом, а Бьянка уже тут как тут, приковыляла навстречу. Тычется мокрой кнопкой носа в тёплую, пахнущую едой ладонь.

— Здравствуй, девочка, здравствуй, хорошая, как ты спала сегодня? Что тебе снилось? — приговаривает девушка в чёрной телогрейке, поглаживая Бьянку между ушами, по горлышку и по спине.

Старой Берте не нравились эти отношения. Она прожила в питомнике много лет, родила не одно поколение западносибирских лаек, и каждое, в конце концов, исчезало в таких вот тёплых руках. Знала она, что так же будет и на этот раз: лишь только дети её подрастут и она перестанет кормить их своим молоком, питомник выставит их на продажу. И дети покинут её. Совсем скоро.

Получив порцию собачьего варева, Берта первой подходила к миске. Втягивала ноздрями полный жирных ароматов воздух, осторожно касалась еды языком. Нередко варёво раздавали слишком горячим, и тогда Берта ходила возле миски кругами, ожидая, пока еда остынет. И если в эту минуту кто-нибудь из щенков пытался опередить мать, прежде неё приблизиться к пище, собака приподнимала чёрные брыли, обнажая жёлтые, стёсанные клыки и негромко, негрозно рычала. Приучала малышей к издавна заведённому в собачьем племени закону: первым ест вожак стаи, а все остальные — потом. Даже если это твои собственные дети.

А щенки, подрастая, играли, привыкали к новым знакам, что подавала им мать. К новым запахам и звукам, что посылал им окружающий мир. С каждым днём они всё меньше пребывали в дрёме и всё больше — в движении.

Успокаивались только под вечер, когда питомник накрывали студёные сумерки. Сквозь рваное лоскутьё туч, что несло по необъятному небу порывистым ветром, проглядывал леденец полумесяца да мелкая россыпь звёзд — неярких, почти незаметных.

Щенки жались под тёплый бок матери, и она, вылизав сухим языком каждого поочерёдно, долго ещё не спала, прислушивалась к их ровному дыханию, к разнобою крохотных, беспокойных сердец, к их тихому, непорочному посапыванию. В такие минуты, а их в жизни старой суки было немало, всё её тело наполнялось безмерным покоем и умиротворением, великим материнским счастьем. Может быть, на этот раз оно будет не таким коротким?

Пегого кобелька у матери забрали первым. Ночи в конце октября были с первым, не крепким ещё морозцем, так что хруст ледышек под человеческими ногами старая Берта слышала ещё задолго до того, как к клетке подошла девушка в чёрной телогрейке, а с ней низенький, кражистый мужичок в потёртой солдатской ушанке. Мужичок жадно палил вонючую сигарету и так же жадно рыскал глазами по щенкам. Придирчиво разглядывал каждого, пуская горбатым носом едкие клубы табачного дыма. И кашлял, сплёвывая горькую слюзу прямо себе под ноги. Зная даже самые мелкие приметы расставания с детьми, старая Берта встретила мужичка недобро. Хищно, по-волчьи оскалилась и подвинулась в дальний угол клетки, прикрывая щенков собственным телом. А те, полагая, что мать затевает с ними новую игру, тявкали задорно и лезли обратно через её широкую спину. И, смешно переваливаясь, с любопытством торопились навстречу людям.

И те их уже ждали. Девушка в чёрной телогрейке, быстрым движением крутнув щеколду, подхватила через приоткрывшуюся дверцу выбранного щенка. Старая лайка и вскочить не успела, как захлопнулась решётка, и её щенок уже был не с ней, а по ту сторону — у девушки. А потом в руках чужого мужика. Пегий не плакал, не скулил, и сердце матери успокоилось — лишь на мгновение. Тут же она поняла, что видит своего сына в последний раз. И тогда, прижавшись седеющей мордой к прутьям решётки, мать завывала, как выла она всякий раз, теряя своих детей.

Но в эту долгую осень Берта ощущала безмерную усталость, безразличие к миру. Что бы она ни делала, как бы ни сопротивлялась его жестоким законам, люди всё равно отбирали у неё щенков. И будут отбирать, пока она сможет производить их на свет. А когда не сможет, они пришьют человека в белом, который сделает ей смертельный укол. Затем окоченевшее её тело завернут в пластиковый пакет и отнесут на помойку. Так заканчивалась жизнь многих знакомых собак.

Человека в белом по многу раз в жизни видел каждый обитатель питомника. Был он роста маленького, так что мятый халат, который он, кажется, не снимал никогда, доходил ему почти до самых ботинок, отчего полы его всегда имели неряшливый, грязный вид. Волосы человека были засалены, редко и неаккуратно стрижены, возможно даже, что и стриг он их вовсе не в парикмахерской, а сам, тупыми ножницами, склоняясь над раковиной. И мыл, казалось, не чаще раза в месяц. Человек в белом курил дешёвые сигареты без фильтра, неприятно отплёвывая табачную крошку. Зелёный, словно недозревший крыжовник, глаз его щурился от ядовитого дыма, истекал слезой, которую хозяин решительно отирал рукавом своего халата. По понедельникам от него несло перегаром.

Самому себе казался он личностью неустроенной, брошенной, жизнь свою перечеркнувшей лет уж пятнадцать назад, сразу после развода с женой — красавицей-цыганкой из города Кишинёва. Однако, если не обращать внимания на многие его недостатки, сослуживцы знали его и ценили как опытного врача, умевшего с лёгкостью и неким даже артистизмом врачевать любые собачьи немощи, от поцарапанной лапы до какой-нибудь хитро замаскировавшейся опухоли. Имя у него, конечно же, было самое что ни на есть человеческое — Иван Сергеевич. А вот фамилия — не здешняя, похожая чем-то даже на собачью кличку — Форстер. Так и в паспорте было записано.

Встреча с человеком в белом ничего хорошего обитателям питомника обычно не сулила. Вслед за такой встречей неизменно следовала духота его прокуренной смотровой, холодный блеск хирургической стали, наводящей первобытный ужас даже на матёрых псов, острый запах лекарств в прозрачных флаконах, ослепляющий свет операционной лампы, не оставляющей от тебя даже тени. А ещё — неизменная боль. Но все без исключения собаки сносили её терпеливо, мужественно. Лишь коротко взвизгнет какая-нибудь помоложе или поскулит немного. Но сразу же внутренне приструнится, а иная даже лизнёт Ивана Сергеевича в лицо. Потому что все откуда-то знали: вслед за болью будет облегчение. И немощь собачья отступит.

Сюда же на встречу с Форстером приводили и тех, кто был слишком болен, чтобы его спасать, или слишком уж стар. И это всякий раз была последняя встреча. Собаки чувствовали это, а потому брели по двору медленно, поджав хвост и тяжело дыша. Одним лишь краешком глаза грустно взглядывали на резвящихся в вольерах щенков, на молодых сук, блаженно развалившихся на тёплых досках своих клеток. Что уходящие собаки чувствовали, неизвестно. Извечная эта тайна откроется в свой черёд и другим обитателям питомника, когда и к ним придут старость и неизлечимые болезни.

Через считанные минуты обречённые страдальцы навсегда скрывались за железной калиткой питомника. Воспоминания о них исчезали уже через несколько дней, а месяц спустя никто даже вспомнить не мог их коротких и радостных прежде клычек.

По слухам, которые доходили до собачьего стада и передавались из клетки в клетку, из вольера в вольер, собачья смерть была вовсе не страшной. Такой же простой и будничной, как, скажем, скрежет решёток или песня пичужки на верхушке старой ветлы. В ней не было таинства, какое ощущали собаки во время рождения щенков, хотя это случалось в их жизни, по понятным причинам, гораздо чаще. И трагедии в смерти обитателей питомника не было никакой ещё и потому, что их, казнённых, больных и старых, некому было оплакивать и в последний путь провожать.

Собирались в этот короткий путь — всего-то может быть метров двести — тоже просто. Надевали несчастному на шею старый кожаный ошейник,

цепляли карабином поводка за хромированное кольцо и неспешно вели до калитки. Оттуда по асфальтовой дорожке, вдоль которой весной и летом пышно разрастались зелёные веера лилейника, до административного здания с обшарпанной, много раз перекрашенной дверью на скрипучей, ржавой пружине. Там — до конца длинного коридора, устланного коричневым линолеумом, тоже старым, дырявым во многих местах.

Смерть поджидала за последней дверью направо. Но собаки её не чувствовали: за годы, проведённые в питомнике, они бывали за этой дверью не раз. Помнили эти резкие запахи и эти руки, которые никогда ещё не делали им худого. Вот и сейчас они входили сюда хоть и с тяжёлым сердцем от собственной немощи, но вместе с тем и с какой-то надеждой. Ведь ничто не говорило им, что они идут умирать. Иван Сергеевич трепал собаку за ухом, долго смотрел ей в глаза, словно просил у неё прощения. Тяжело вздыхал. Потом брал из блестящего кювета маленький пластмассовый шприц.

Ветеринарная инструкция предписывала убивать животное с помощью миорелаксантов, и врачебная практика предлагала для этих целей препарат дитилин — самый дешёвый, созданный на основе яда кураре. От дитилина у животного наступал паралич дыхательной системы. Оно задыхалось у вас на глазах минут десять-пятнадцать, в зависимости от дозы. Форстер знал, конечно, о действии этого яда. Мог бы, согласно инструкции, вводить его несчастным совершенно безбоязненно. Тем более, что дитилин ему был положен по смете. Хозяев у этих собак не было. Никто не спросит. Никто не осудит.

И, тем не менее, Иван Сергеевич инструкцию нарушал. На собственные деньги, никогда на этот счёт не распространяясь, доставал через знакомых пентобарбитал и вводил его собаке первым уколом. Через несколько минут она уже ничего не чувствовала, не понимала. Просто засыпала глубоко и тихо. Тогда только Форстер брал из кювета второй шприц, нащупывал на лапе вену, вновь тяжело вздыхал и впрыскивал в собачью кровь несколько кубиков дитилина. Скоро всё было кончено. Дыхание останавливалось. Сердце не билось. Наступала смерть. Во сне. Лёгкая, безболезненная!

Сахарно-белого щенка Иван Сергеевич заметил ещё в день его рождения. Позже, проходя мимо вольера, слышал, как Бьянка задорно твякает ему вслед, или наблюдал, как она, неуклюже переваливаясь, торопится навстречу или же сонно сосёт материнское молоко. Саму Бертю Иван Сергеевич тоже помнил неуклюжим и толстым щенком, позже лечил её многочисленные маститы. А лет восемь назад даже оперировал на предмет прободения желудка.

— Что, нравится щенок? — спрашивала ветеринара девушка в чёрной телогрейке.

— Нравится, — кивал в ответ задумчиво Форстер, — ты её, Антонина, пока никому не обещай. Может, я и сам её заберу. В деревню.

— Ну, это вы, Иван Сергеевич, с директором договаривайтесь. — улыбалась девушка, — щенок и в самом деле знатный. Хорошая лайка получится. Можно даже сказать — выдающаяся!

Будущее Бьянки даже человеку, не искушённому в кинологических тонкостях, виделось совершенно блестящим. При правильном воспитании, усердном уходе, душевной взаимосвязи Бьянка могла стать не только профессиональной охотничьей лайкой, но и призёром всевозможных собачьих выставок и соревнований, впоследствии даже и международного значения. Но самое главное, белоснежная сука при грамотном подходе заводчиков и безупречном генетическом коде такого же породистого кобеля могла дать миру, а уж лаячьему сообществу и подавно, прекрасное продолжение рода: умных, сноровистых, красивых щенков, в которых, словно в волшебном тигле природной алхимии, соединится всё самое лучшее, ценное, значимое, чем обладает их юная пока ещё мать. А соединившись, устремится в будущее, передавая её частицы на десятки поколений вперёд. Памятники бы ставить таким собакам, как поставили его японцы верной акито-ину по имени Хатико — как национальный символ собачьей верности и любви.

Но прошёл целый месяц, прежде чем доктор Форстер стал полноправным хозяином белой суки.

Из неуклюжей недотёпы Бьянка превратилась в юную лайку, в которой угадывался весь её будущий экстерьер: и тугая закорючка хвоста, и маленькие крепкие уши, и ровный ряд острых молочных зубов. И даже норов — отчаянный, смелый.

Видимо, именно эти качества и задержали у вольера, где проживала Бьянка, двух старых охотников из Кировской области. Приехали они сюда специально за тысячу верст подбирать породистых щенков для государственного заказника, где любил пострелять не только местный губернатор и его многочисленная челядь, но даже и высокие гости из президентской администрации. Охотники эти были, что называется, стреляные воробьи, толк в собаках знали, а потому за хорошего, перспективного щенка могли выложить немалые деньги, предусмотренные на это щедрым губернаторским бюджетом.

— Хороша, — крикнул один из них — тот, что был пониже ростом в новой, первый раз надёванной шерстяной кепке-шестиклинке. Его блёклые, словно много раз стиранные глаза смотрели на Бьянку с нескрываемым восхищением, с какой-то даже воспламенившейся страстью, как только он представил себе этого щенка взрослой, рабочей собакой.

— И верно, — вторил ему другой, костлявый мужик с золотыми зубами, — надо брать, Архипыч! Что скажешь?

— Какие разговоры, — крихтел в ответ первый, — конечно, берём!

— Пойдите, пойдите, — вмешалась в разговор девушка в чёрной телогрейке, вспомнив свой прошлый разговор с Форстером, — кажется, этого щенка уже забирает наш ветеринар. В любом случае, я должна спросить разрешения руководства.

Мужики в момент исполнились решимостью, затуманились взором и пощёрли нахраписто прямо на девушку, прижимая её, крохотулю, к стальным прутьям собачьего вольера:

— Ты, девка, того, давай разрешай это дело по-скорому! Нам тутова ждать не сподручно. Выбрали псину, так подавай сюда! Деньги платим не малые!

— Сейчас, граждане, подождите немного, — пробормотала скороговоркой девушка в чёрной телогрейке и кинулась в сторону скрипучей калитки. — Я скоренько!

Первым делом она добежала до кабинета Ивана Сергеевича. Тот, скособочившись на кушетке, в задумчивости читал вчерашнюю вечернюю газету и дымил своей сигареткой без фильтра.

— Щенка забирают! Белого! — бросила она ему через распахнутую дверь и тут же помчалась обратно, к лестнице, а по ней — на второй этаж, к кабинету директора Владлена Маратовича Медведева. Вслед за ней, путаясь в полах грязного халата, уже мчался ветеринарный врач Форстер.

Владлен Маратович Медведев происходил из семьи потомственных и убеждённых большевиков, проливавших кровь ещё в первую русскую революцию на баррикадах Пресни, а затем в восставшем Петрограде, на фронтах гражданской, а далее, как часто тогда случалось, защищавших завоевания новой власти и на других фронтах: в Туркестанском военном округе, на Дальнем Востоке, в Прибалтике и на Западном Буге. Одним словом, везде, где социалистическая Родина видела в том нужду и потребность. Само собой разумеется, воевали все Медведевы и на фронтах Великой Отечественной, а Марат Медведев даже дослужился до генеральского звания. В отличие от иных советских семей, этой совсем не коснулась волна репрессий и хрупчёвских чудачеств. Жили они всегда скромно. Почестей и привилегий ни от кого не ждали. Любили свою страну. Гордились своей Родиной. Трудились на её благо. И другого ничего не желали. Накативший вал перестройки в считанные месяцы опрокинул эту лодочку благополучного советского счастья. Внёс в дружную прежде семью Медведевых смуту, споры, раздор, обрёк, как и многих вокруг, на позорную нищету, а может, и на тихую, никем не замеченную гибель. И не только седых убеждённых бойцов, но и молодёжь, наивно полагающую, что так называемое “новое мышление” принесёт людям свободу и процветание. Ни хрена оно, как выяснилось, не принесло. Скорее, разрушило и поработило.

Вот и младший сын генерала Владлен клянул на сладкую наживку свободного предпринимательства, бросил институт, где почти дослужился до звания доцента, и принялся торговать женским бельём, которое возили из Турции его бывшие коллеги, превратившиеся теперь в новое сословие с каким-то быдлярским названием “челноки”. Денег особых Владлен, конечно, не заработал, а палатку его на центральном рынке не раз пытались спалить хитроумные конкуренты, говорящие на чужом языке и исповедующие другого Бога. Должно быть, от отчаяния бывший доцент вот с такими же, как он, бывшими младшими научными и не слишком научными сотрудниками скучковался в бедовую стаю. Разработав прямо-таки боевую операцию, в тихом месте изловили эти борцы за справедливость нерусского главара. Истоплённо били гранитным булыжником прямо по чисто выбритому черепу. Пока не превратили его голову в кровавое месиво с ошмётками мозгов и костей. И разбежались с клятвой: теперь мы друг друга не знаем! Чтобы спасти сына от мести инородцев, генерал упрятал его к старому боевому товарищу — на секретную ракетную площадку в читинской тайге, куда не то что диверсант, даже министерская инспекция добиралась с трудом раз в полгода. Чем уж он в этом медвежьем углу занимался, какие думы посещали его академически-криминальную башку, доселе остаётся тайной. Но ровно через два года младший Медведев появился перед дверью родительского дома — изголодавшийся, приструненный, на всё готовый. Тогда-то и определили его, вновь по крепкой отцовской протекции, на незаметную должность заместителя директора собачьего питомника на тихой окраине Москвы, куда новый зам добирался сперва на метро, а затем на троллейбусе почти полтора часа. Каждый Божий день. И почитал это за великое счастье. Через год прежний директор помер, и Владлена Маратовича, само собой, назначили на его место. К тому времени он уже неплохо разбирался в экстерьере, воспроизводстве и учёте вверенного ему поголовья западносибирских лаек. С его институтским прошлым освоить это дело было совсем не сложно.

Когда в кабинет Владлена Маратовича без почтительного стука ворвалась девушка Антонина, а вслед за ней и запыхавшийся до хриплой одышки курильщика ветеринарный врач, директор питомника сосредоточенно вглядывался в монитор компьютера, который предлагал ему познакомиться с девушками для необременительного знакомства. Два года сурового армейского бытия посреди сибирской тайги, статус беспросветного холостяка да прошлое университетское образование позволяли Владлену Маратовичу под немудрой кличкой “Че Катило” бродить по сайтам знакомств в поисках жадных провинциалок. Искал он их даже не столько для того, чтобы переспать (хотя в его служебном кабинете и такое случалось), но прежде всего затем, чтобы таким вот чудным виртуальным образом в который раз обмануться насчёт своей привлекательности, молодости и обаяния. Этому наивному сорокапятилетнему человеку нравилось, что совсем молодые женщины с готовностью отвечали на его призывные знаки. В такие минуты он чувствовал себя пацаном. Здоровым, гибким и сильным. Хотя каким-то незамутнённым краешком своей души сознавал, что занимается чем-то дурным, по большому счёту, греховным. Почти как в детстве, когда подростком прятался в ванной с порнографической открыткой, которую стащил из портмоне отца. И сладко было. И страшно, оттого что нечто светлое и невинное уходило из его сердца навсегда. Чувство неудобства не покидало его и сейчас, когда он среди дня в своём рабочем кабинете щёлкал “мышкой” по сайтам знакомств. Так что, когда в кабинет без стука вбежала девушка Антонина, директор принялся поспешно закрывать окна с откровенными фотографиями. Его широкий, покрытый первыми морщинами лоб увлажнился испариной. Перед ветеринаром было бы не так стыдно. Он сам мужик холостой. Поймёт.

— Я же просил не вламываться без разрешения, — рявкнул директор, кося глаз на Антонину и продолжая шустрить “мышью”.

— Вы уж извините, Владлен Маратович, но дело такое... — запыхавшись, говорила девушка, не смея следовать дальше к начальственному столу. — У Берты белого щенка хотят купить.

— Ну, и продавай, раз хотят. Поди не первый день трудишься. Знаешь, как документы оформить, — бурчал директор, хотя уже и не так сердито. Стыдные страницы он уже захлопнул, и теперь на рабочем столе монитора покойно плескалась океанская волна, а посреди — необитаемый остров с косовой пальмой.

— Знаю, конечно, — сказала Антонина, — да вот Иван Сергеевич просил этого щенка ему оставить.

— Иван Сергеевич? — удивлённо поднял брови директор. — Вот как?!

И обернулся к двери, куда поспешно входил, путаясь в халате, ветеринарный врач Форстер. Вид у него был, как всегда, потрёпанный, неухоженный, какой приобретает большинство одиноких мужиков, то ли осиротевших, то ли овдовевших или просто брошенных. Честно говоря, директор и сам был таким, но о нём пока ещё хлопотали престарелые родители, незамужние сёстры в возрасте и иные многочисленные родственники. Варили ему обеды, стирали бельишко, латали одежду, вытирали в его комнате пыль и раз в неделю меняли постельное бельё. Следили, чтобы Владик каждое утро чисто брил морду, вовремя стриг волосы у парикмахера да боролся с животом: из-за многолетнего пристрастия к пиву и иным веселящим напиткам и сонного образа жизни тот рос у него, словно на дрожжах. Голый Владлен Маратович теперь, если вдруг глядел на себя в зеркало, чаще видел в нём не мужика зрелого возраста, а волосатую беременную бабу. Гадкую, отталкивающую.

Ветеринарный врач Форстер, если его тоже раздеть да поставить перед зеркалом, должно быть, выглядел не лучше. А потому, лишь только взглянул директор на несчастного Ивана Сергеевича, увидел его нечёсаную, растрёпанную шевелюру, как тут же и осёкся. Заслышал внутри себя нездешние, ангельские голоса.

— Да зачем же она тебе, Иван Сергеевич? — спросил директор ласково. — Давай найдём тебе любую другую собаку, раз за эту деньги дают.

— Другой мне не нужно, — сокрушённо произнёс Форстер. — Я на эту глаз положил. Давно уже. Тоня, вон, знает.

— Уже недели две тому назад, — подтвердила Антонина.

— Я и денег готов заплатить, — добавил врач, — если уж на то дело пошло.

— Ну, вот! — вздохнул директор. — Ещё я с тебя только денег не брал за щенков! Думай, что говоришь.

Отвернулся к монитору, на котором всё ещё плескалась о пустынные берега острова голубая волна, и произнёс, не отрывая глаз от чудесной, райской картинки:

— Значит так, Антонина, скажешь, что щенок из директорского фонда. Не продаётся. А ты, Иван Сергеевич, пожалуйста, забирай его прямо сегодня. Чтoб глаза мои больше не видели это чудовище!

2

Почти два месяца жила Бьянка в доме у Ивана Сергеевича. И уже начала забывать запах матери, вкус казённого варева и руки девушки Антонины. Сам питомник с его ветлой, колючей проволокой, листом железа, гудящим на ветру, вспоминала нечасто. Жизнь её теперь была совсем другая — комфортная. Но одинокая.

Квартира, в которой обитал ветеринарный врач Форстер, располагалась не в городе, а за его чертой, в так называемом посёлке городского типа. Здесь, как и в настоящем городе, имелись все его признаки: поликлиника, милиция, баня, кладбище и городская администрация, но дома были невысоки, нравы — проще, а люди друг дружке — ближе. Квартира Ивана Сергеевича как раз находилась на втором этаже сооружения постройки сорок восьмого года, возведённого в те давние года немецкими военнопленными, а оттого добротного. Правда, без должного ухода и заботы даже немецкие постройки превращалось со временем в родные до боли руины. От многих снегопадов и дождей краска фасадов облупилась, поновляли их без соблюдения порядка и технологий уже не меньше десяти раз, так что дома выглядели

какими-то тошнотворными, муторными. Балкончики с цементными балясами местами рассыпались, иные местами проросли травой и даже деревцами, а один так и вовсе рухнул на землю, оставив после себя гнутую ржавую арматуру, кусок швеллера да светлое пятно правильной формы на прежнем его месте. Двери подъездов скособоились, многие не закрывались, отчего внутри за ними было зябко, пахло мочой спешащего мимо люда, плесенью, помойкой и влажным духом парового отопления.

Двухкомнатная квартирка Ивана Сергеевича, впрочем, гляделась совсем не так грустно, а местами казалась даже уютной. Свой вклад внесли в неё покойная матушка ветеринара, а затем жена-цыганка из города Кишинёва. Именно две эти ушедшие в небытие женщины неистово белили потолки, красили блестящей эмалью оконные рамы, циклевали дубовый паркет и крыли его воночим лаком. Развесили затем на стенах гущульскую керамику и армянскую чеканку. И задрапировали скучный промышленный пейзаж воздушной индийской органзой. Вечерами они наполняли комнаты тёплым светом настольных ламп и абажуров. Днём увивали стены изумрудными кистями тропических лиан и глянцевого листьев разлапистых фикусов. А воздух наполняли жирными запахами украинского борща с чесноком и румяными пампушками, жареных домашних котлет и ароматами абхазских лимонов. Они делали главное, что могла сделать женщина в доме, — иступлённо и каждодневно наполняли его жизнью и смыслом.

Когда этих женщин не стало, квартира Ивана Сергеевича начала приходить в упадок. Исчезли запахи пампушек с чесноком и абхазских лимонов. Увял фикус, иссохли до безжизненных плетей тропические лианы. Потрескалась белая эмаль оконных рам. Истончилась до паутины, а кое-где и порвалась индийская органза.

Иван Сергеевич ходил сюда только переночевать. В выходные бежал прочь — в захлащённый городской парк или к редким друзьям-товарищам. Осенью и весной — на охоту, на берега родной Паденьги. Только бы не дома, только бы не в одиночестве, которое съедало его изнутри. Он и лаечку-то взял по той же причине. Именно он назвал её Бьянкой, что по-итальянски означало Белая. Давным-давно, во времена студенческой юности студент Форстер увлекался итальянским Возрождением и до сих пор помнил кое-что из этого певучего языка.

Жизнь в человеческой квартире пришлась по душе Бьянке с первых минут её переезда. Правда, здесь не было матери и братьев, не было прежних весёлых игр, тепла бескорыстной любви. Главное — не было их запаха, отчего лаечка первое время поскуливала и даже несколько раз пускала слезу. Зато в её жизни появилось много нового. Два раза в день — утром и вечером — они с хозяином гуляли. Иван Сергеевич надевал ей кожаный ошейник, цеплял поводок, и они спускались на улицу. И каждая прогулка оборачивалась для Бьянки чредой необыкновенных открытий. Тысячи новых запахов врывались в её чуткий нос, когда хозяин открывал скрипучую дверь подъезда. Сотни образов, предметов и живых существ перебегали дорогу, сновали мимо, останавливались или стремительно падали вниз.

Так она познакомилась с голубями, которые ни в какую не хотели подпускать её к себе. Со старым бульдогом из соседнего подъезда по имени Бернард Шоу, который всякий раз очень деликатно нюхал у неё под хвостом, всякий раз говорил: "Простите!" — и с задумчивым видом члена аристократического клуба удалялся по своим неотложным делам. Обнаружила она источающую целую палитру чарующих ароматов местную помойку, которую охраняла армия злобных крыс, два плешивых кота и старая беспородная сука, готовая разорвать каждого, кто подступится к её владениям. Тут же, шагах в ста от помойки, возле автобусной остановки Бьянку встречал старый татарин Алим; у него здесь размещался собственный "бизнес" — крохотная будка, наполняющая воздух окрест жирным запахом гуталина, кожи, красок и крепко заваренного чая. С утра и до позднего вечера татарин чистил местному населению сапоги да ботинки, подбивал стальные набойки на каблуки, занимался мелкой починкой, торговал разноцветными шнурками и заграничными средствами, позволяющими держать обувь в чистоте

и порядке. Алим носил на голове чёрную татарскую тюбетейку с шёлковой кисточкой, передник из грубой дерюги и тёплые самовязанные носки, которые не снимал ни зимой, ни летом. Руки его были вечно черны, но глаза добрые, улыбающиеся. Завидев Ивана Сергеевича и Бьянку, старый татарин выбирался из своей будки и приветливо кланялся обоим. И непременно дарил Бьянке какой-то малый гостинец: печенье, кусочек сыра или вишнёвую карамель. “Какой же красивый у тебя собак, Иван Сергеевич, — цокал языком старый татарин, — ну, чисто снег!” Алим и сам всю жизнь держал собак. Но теперь, на склоне лет, оставшись совсем один, он боялся заводить себе нового друга. Знал, что, скорее всего, умрёт раньше. И не хотел оставлять его сиротою.

На автобусную остановку рядом с будкой Алима каждые пятнадцать минут сходили приезжие люди. Или собирались, чтобы уехать в другие концы посёлка, а может быть, и в другие страны. Да и пахла остановка совсем иначе. Тысячи незнакомых запахов тысяч людей отпечатывались на остановке, её асфальте, на стеклах и железных поручнях. Юная Бьянка часто не знала их названий и назначения, лишь нервно принюхивалась, трясла хвостом, то и дело поглядывала на Ивана Сергеевича. И виновато поскуливала: мол, прости, хозяин, этого я ещё не понимаю.

Иван Сергеевич не журил её за это. Короткими пальчиками, похожими на сосиски, гладил по холке, почёсывал за ушами и тихо улыбался чему-то своему.

Дома после каждой прогулки хозяин брал Бьянку на руки, нёс и ставил в большую чугунную ванну, где тщательно промывал душем от грязи все её четыре лапы, а потом досуха вытирал одним и тем же махровым полотенцем.

Чистые лапы позволяли Бьянке забираться на диван, в глубокое кресло, обтянутое коричневой кожей и даже иногда на кровать Ивана Сергеевича. И потому она даже не сопротивлялась ежедневным водным процедурам.

Конечно, у Бьянки была и собственная удобная лежанка, сотворённая доктором Форстером из старого драпового пальто покойной матери, приобретенного ею по случаю в Марьинском мосторге в самом конце шестидесятых. Лежанка была из педагогических соображений устроена в коридоре рядом с двумя мисками: для воды и для пищи. Однако, как и во всякой педагогической системе, в системе воспитания Ивана Сергеевича имелись всевозможные бреши, исключения и отступления. А потому, несмотря на определённое ей в семейной иерархии место, Бьянке ничего не стоило с виноватым видом пройти в комнату, где Иван Сергеевич в это время смотрел телевизор, и улечься у его ног. Или пробраться посреди ночи в спальню. Постоять несколько минут. Вздохнуть. И, не услышав приглашения, вновь уйти в коридор.

Ветеринарный врач Форстер вовсе не был страстным собачником, как это могло показаться на первый взгляд. Некоторых собак, как мы знаем, он даже усыплял. Бывало, и Бьянке от него доставалось. Особенно в начале их совместной жизни, когда глупый щенок изгрыз его выходные итальянские ботинки и несколько раз описал джинсы, по неряшливости Форстера оставленные на полу возле кровати. Однако опытный врач и сочувственной души человек Форстер исповедовал очень простую, жаль, не доступную собакам философию: наши друзья живут с нами слишком короткий срок. Вот пусть и живут счастливо. Безусловно, эта философия относилась и к его новой любимице.

Зима пришла только в конце декабря, перед самыми новогодними праздниками. Именно тогда Бьянка впервые в жизни увидела снег. Вышла утром с Иваном Сергеевичем из подъезда и обомлела. Всё вокруг вдруг стало белым. И чёрный асфальт. И крыши домов. И небо, из которого сыпало сухой манкой. Осторожно принюхалась. Запах был никаким. Разве что совсем чуть-чуть напоминал ржавую воду. Она лизнула снег — осторожно. Тот оказался холодным и через несколько мгновений превратился на её горячем языке в обыкновенную воду. “Вот как, — поняла Бьянка, — эту штуку можно есть и пить одновременно”. Очень скоро узнала она ещё об одной особенностях снега: на нём оставались следы. Прежде она остро чувствовала даже слабый

или, наоборот, слишком сильный шлейф каждого следа, оставлял его человек или, например, воробей. А теперь следы она видела. И это неожиданное открытие разбудило в Бьянке неведомое доселе чувство, потаённую страсть, которая пока дремала в глубине её невинной души, но готова была заявить о себе с первородной силой. Совсем ещё по-щенячьи, то опуская нос к земле, то поднимая его кверху, то и дело взбрыкивая и прибавляя шаг, Бьянка пробежала, увлекая Ивана Сергеевича за собой, вслед за тонкими иероглифами, что оставила на снегу крыса. Но возле помойки вновь принохалась, огляделась и теперь уже пошла по кошачьему следу в противоположную сторону. “Давай, давай, Бьянка! — подбадривал её хозяин, поскальзываясь и едва поспевая за ней с поводком в руке. — Вот хорошая собака, вот умница!” За что он хвалил её, Бьянка не слишком понимала, ведь ей и самой нравилось распутывать пахучие хитросплетения, чувствовать их свежесть, глубину и узнавать в каждом того или иного зверя или человека. И находить его, если нужно. Пусть для собаки это была увлекательная игра, но в ней уже проявлялись скрытые покуда задатки лаячей её породы.

Её хвалили. И сам Иван Сергеевич. И старый татарин Алим, и даже случайные прохожие, что спешили через двор от автобусной остановки.

Сиротка появилась в их с хозяином жизни именно таким вот незамысловатым образом. Шла от остановки через двор в сторону своей институтской общаги и остановилась перед Бьянкой, даже присела рядом. И протянула свою ладошку. Ладошка была влажная. Пахла потом и шерстью от варежки.

— Какой чудесный щенок! — сказала Сиротка, оборачиваясь к Ивану Сергеевичу. — Можно его погладить?

— Это девочка, — ответил Иван Сергеевич, — Бьянка. Она любит, когда её гладят.

Сиротка почесала собаку за ухом. Потом потрепала белую пушистую холку, погладила по голове. Бьянка чихнула, вновь натянула поводок.

На Сиротке была коричневая шубка под каракульчу, чёрные зимние ботинки с опушкой, серая кроличья шапка, а за спиной — синий рюкзак, в котором — несколько общих тетрадей, пара учебников, пакет кефира, батон хлеба да упаковка пельменей из супермаркета.

— Вы здесь живёте? — спросила Сиротка, глядя Ивану Сергеевичу прямо в глаза.

— Да вот, живём, — ответил тот, отчего-то смущенно потупясь.

— Значит, мы соседи, — улыбнулась Сиротка. — Знаете общагу политеха? Там теперь мой дом. Правда, с собаками там жить не разрешают, а то я бы взяла себе какую-нибудь собачонку. У меня в детдоме была Жужа. И кошка Муля.

— Учитесь, значит, — кивнул Иван Сергеевич.

— Осенью поступила, — отвечала Сиротка. — Для нас, детдомовских — специальные квоты. Так что это было несложно.

За те несколько минут, что Бьянке пришлось стоять рядом с хозяином, Сиротка успела рассказать и о своём тяжёлом житье-бытьё в Ивановском детском доме; и о том, как она, преодолевая многие препоны, поступила-таки не в заштатное училище, именуемое нынче на иностранный манер “колледж”, а в самый настоящий московский университет, который, как помнил Иван Сергеевич, прежде был ничем не примечательным институтом. Рассказала Сиротка и про общагу: днём и ночью царят там пьянка, наркота и иной разврат, от которого не укрыться даже в собственной комнате, где проживает она с ещё двумя весёлыми девчонками из Мордовии и Республики Коми.

— Хотите, я буду выгуливать Бьянку? — предложила в конце своего чересчур откровенного монолога Сиротка. — Мне это совсем не сложно! Наоборот. Знаете, как я скучаю по своей Жуже! Да и от этого сумасшедшего дома, — кивнула она в сторону общаги, — какой-никакой передых. Если, конечно, ваша супруга не будет против.

— Нет у меня супруги, — вздохнул ветеринарный врач Форстер, не замечая, как оживились при его словах острые глазки Сиротки, — так что никто не против. Приходите, когда время будет.

Сиротка оказалась девушкой цепкой. С тех пор приходила к ним точно по расписанию — каждый вечер после занятий. И упёрто гуляла с Бьянкой минут по тридцать, по сорок. Сердобольный и в женской психологии мало что понимающий Форстер вскоре начал приглашать Сиротку согреться после таких прогулок горячим чаем. Впоследствии церемонно предложил ей остаться на ужин, который собственноручно сварганил из купленной на рынке парной баранины. Да ещё и сёмужки малосольной надыбал, да небольшой кусочек осетрины горячего копчения, да бутылку шампанского “брют”. Словом, готовился к романтическому ужину всю субботу. Стол накрыл батистовой скатертью с андалузской вышивкой, которую по каким-то своим причинам оставила ему цыганская жена. Достал из буфета два утончённых бокала “Розенталь” на высоких ножках, что подарил ему некий банкир в благодарности за спасённого терьера. Даже вынул из бархатной коробки серебряные приборы ещё дореволюционных времён, доставшиеся ему от деда — видного архангельского лесопромышленника, сгинувшего без вести в колымских рудниках в конце лихих тридцатых.

Девушка к этой встрече тоже приготовилась ответственно. У соседки из Мордовии выпросила выходное платье с глубоким декольте из тонкого кофейного кашемира. У той, что проживала в Республике Коми, — итальянские туфельки на высокой шпильке. Марафет наводила с самого утра. Ровняла да красила едва заметным лаком ногти на руках и ногах. Закрывшись в душе, брила волосы подмышек да внизу живота. Долго мыла голову с шампунями для объёма да с кондиционерами, да с отдушками разными. Потом больше часа укладывала волосы в причёску. Волосёнки-то у неё были, честно сказать, слабоватые, жидкие, так что пришлось потрудиться: спрыскивать их лаком да какой-то пенкой, и муссом, да в завершение скрепить всё это художество при помощи фена да специальных гребней. Затем ей понадобился ещё час, чтобы нанести на лицо макияж — немного пудры на скулы, на ресницы немного туши, совсем чуть-чуть румян, обозначила контур губ, добавила слегка помады, чтобы было не ярко, не броско. Последний штрих — за ушами и на шее распылила из тяжёлого флакона немного туалетной воды “Амаридж” от Дживанши.

Аромат этой воды Бьянка запомнит на всю свою жизнь как аромат предательства и измены.

Однако в тот вечер, когда Иван Сергеевич позвал на ужин Сиротку, ничто не предвещало беды. Форстер нарядился в свой единственный костюм и даже сподобился пришить к пиджаку нижнюю пуговицу, без которой носил его не меньше четырёх лет. В комнате играла медленная музыка из французского кинофильма, на столе оплывали свечи с запахом зелёных яблок. За окном в кофейном свете уличного фонаря медленно кружились снежные хлопья. Сиротка долго отряхивалась от них в прихожей. Сбрасывала с тонкого платка, которым прикрывала свою выдающуюся во всех смыслах причёску, с шубки под каракульчу, с ботинок в кроличьей оторочке. Иван Сергеевич и Бьянка суетились рядом. Врач принимал у гостей верхнюю одежду, а собака приветливо потягивала ей, крутила хвостом и всячески демонстрировала свою благодарность и любовь. “Фу, Бьянка! — даже несколько раздражённо отмахивалась Сиротка, когда та пыталась лизнуть её в лицо. — Ты мне весь макияж слижешь! — Отойди, Бьянка! — вторил гостье Иван Сергеевич. — Здесь и без тебя не протолкнуться”. Отбежав немного назад, в комнату, где был накрыт праздничный стол, и устроившись, словно в засаде, на своей подстилке, Бьянка теперь следила, как Сиротка надевает на свои изящные ножки итальянские туфли с блестящей застёжкой, как стоит перед зеркалом, прихоращиваясь, одёргивая платье со всех сторон, поправляя прядки волос в причёске и блестящий кулончик на изящной шейке. Отсюда, с тёплой собачьей лежанки Сиротка казалась Бьянке божеством, явившимся в их дом, чтобы одарить и Ивана Сергеевича, и Бьянку своею любовью и красотой. Ни слов таких, ни образов, молодая лайка, конечно, не знала, но чувствовала она происходящее вокруг именно так. Просто испытывала блаженство и счастье.

Сиротка с Иваном Сергеевичем тем временем перешли к столу. Звякнули бокалы, доверху наполненные вином, расцвели запахи поджаренной

рыбы и жареной баранины. Доктор Форстер с самых первых дней их общей жизни в квартире приучал собаку есть на отведённом ей месте, из собственной миски, а к человеческому столу и близко не подступаться, какой бы вкуснятиной оттуда ни пахло. По младенческой своей наивности, Бьянка пару раз всё же нарушила запрет, но в ту же секунду была наказана весьма крепким шлепком по заднице. Запомнила, на всю жизнь запомнила Бьянка эти вовсе и не болезненные, но очень обидные шлепки. И с тех пор к столу — ни на шаг. А тут вдруг Сиротка оборачивается к ней и протягивает баранью косточку. “На, Бьянка, возьми!”

— Вообще-то я не разрешаю ей брать со стола, — смущаясь, говорит Иван Сергеевич, — но сегодня такой день... Ладно! Так и быть. Возьми, Бьянка.

Та поднялась с лежанки. Неуверенно, словно бы ожидая в любой момент шлепка, дошла до стула, на котором вполоборота сидела Сиротка, обнюхала ароматную кость, ещё раз взглянула на Ивана Сергеевича.

— Можно, Бьянка, разрешаю, — подбодрил тот.

Косточка оказалась на редкость вкусной! Обсасывая её, обгладывая тщательно, Бьянка удивлялась странности человеческой природы. Почему её сильный, всемогущий хозяин стал вдруг таким мягким и послушным рядом с этой молоденькой девушкой? Почему выполняет её команды? “Потому что она божество”, — решила, наконец, для себя Бьянка, блаженно зажмуривая глаза.

Медленнее и мягче струилась в доме музыка, оплавились, пыхнули струйкой дыма яблочные свечи, кончилось вино в зелёной бутылке, а непонятная ей человеческая жизнь шла рядом, развиваясь по своим, не всегда добрым законам. Сиротка поднялась со своего стула, покачивая бёдрами, подошла к окну, встала, глядя в кофейную ночь за пыльным стеклом. Повела плечами, будто замерзла. Она ждала Ивана Сергеевича, его рук, которые возьмут её за плечи. И прижмут к себе. А она отпрянет как бы испуганно, от неожиданности. Чтобы он понял её недоступность, её целомудрие. Чтоб сразу знал: прикосновение заслужить нужно, добиться, может быть, даже выстрадать. Что каждый следующий шаг к её молодому телу достанется этому старику только через новое обещание, через новую жертву. Маленькую, заметную едва, но всё-таки жертву.

Трюк этот продельвала она уже не раз. В совершенстве знала нюансы. Начиная с того первого, самого трудного для неё опыта, когда десятиклассницей нарочно осталась в тёмной октябрьской учительской один на один с молодым завучем, а после всего, угрожая тому оглашением страшной тайны, получила-таки достойный аттестат — гарантию для поступления в столичный университет. И потом, когда разжалобила и размягчила важного дядьку из министерства сельского хозяйства, с которым ловко разговорилась в привокзальном буфете, и тот “утешал” её потом в своём СВ до самой Москвы. И в Москве они встречалась с ним мимолётно в его машине, чем заслужила она статус провинциальной родственницы и несколько решительных звонков в деканат.

Теперь Сиротке нужно было закрепиться в Москве. И ветеринарный врач Иван Сергеевич Форстер для этих высоких целей ей вполне годился. Конечно, она могла бы подобрать себе кого-нибудь поинтереснее, например, вдового профессора университета или, на худой конец, коменданта их общежития с бегающими масляными глазками. Однако такие варианты развития её личной жизни были бы шиты белыми нитками и невольно бросали бы тень на её репутацию, и без того не слишком ангельскую. А репутация, соображала Сиротка, ей ещё понадобится. Не теперь, так когда-нибудь позже. К тому же, Иван Сергеевич принадлежал к мужчинам самой правильной возрастной категории, когда любая молодая женщина с горящим взглядом воспринимается ими, словно Божий дар, подарок судьбы, Чудо. Такие уже и не взбрыкивают, как жеребцы молодые. И лишних вопросов не задают. Они, как правило, за свои пятьдесят с лишним лет всякого повидали, всё прошли, всем пресыщены. А обрушившуюся на них внезапно последнюю “любовь” воспринимают почти трагически, готовы жертвовать абсолютно всем. Благо,

в этом возрасте им уже есть чем жертвовать: и денег поднакопилось, и разного добра, завоёванного трудами, и какого-никакого положения. Словом, малозаметный со всех сторон, не выдающийся ничем ветеринар подошёл Сиротке как нельзя лучше. И она вцепилась в него жёсткой хваткой провинциалки.

Однако со стороны, со старой подстилки, на которой всё больше времени проводила теперь Бьянка, поведение Сиротки дурным не казалось. Даже напротив: девушка стала заходить чаще, засиживаться с Иваном Сергеевичем за чайком или бутылочкой сухого вина до глубокой ночи, а случалось, и до самого рассвета. Пару раз даже осталась ночевать. А там и вовсе перелазила со всем своим нехитрым скарбом — турецким чемоданом цвета потёртых джинсов да полосатой, набитой шмотьём сумки, с какими ездили за товаром к басурманам русские “челноки”.

Теперь по утрам из старого телевизора рвалась громкая, бодрящая музыка. Студёный воздух с улицы тянул сквозь открытую форточку. Очнувшись вдруг старая диффенбахия в жестяной банке из-под испанских оливок, чья жизнь, казалось, давно закончилась: листья увяли, а морщинистый ствол, по которому должны были бы течь ядовитые соки, усох, словно стариковские пальцы. Но вот встрепенулась, словно от какого-то неслышного зова, выставила крепкими стручками листьев, распушилась изумрудно, выдохнула глубоко, как после летаргического сна. Вместо старых латаных штор из индийской органзы появились новые, да такие воздушные, что ничего и не скрывали, лишь трепетали от малейшего ветерка. Усердно натёртая рукой Сиротки, блёстко засветилась армянская чеканка. Заиграла обожжённой глиной отмытая от вековой пыли гугульская керамика. От этих перемен и сама квартирка Ивана Сергеевича словно ожила после долгого, на смерть похожего сна. А тут ещё и весна ворвалась в город. Ранняя. Нежданная. Порывистая. Вот оно как совпало!

3

Именно весной, в самом её начале, и случилась та самая история, что навсегда изменила беззаботную жизнь юной лайки снежного цвета.

Собственно, и историей это не назовёшь. Ничего особенного. Просто несчастный случай.

В тот злополучный день подопечное ветеринарному врачу Форстеру собаке стадо словно бы сговорилось устроить ему коммунистический субботник. Началось с преждевременных родов у молодой, перспективной суки по имени Герда. Первого щенка она выдавила из себя ещё до прихода Ивана Сергеевича, в восемь утра, а второй всё никак не хотел рождаться. Бедная Герда тихонько стонала, смотрела на окружающих слёзными, просящими о помощи глазами, тужилась что есть сил, но тонус матки (как сразу догадался подросший Форстер) был слишком слабым, а времени после рождения первого щенка прошло больше двух часов. Нужна была стимуляция. И поскорее. Наши “коновалы” обычно колют беднякам химический препарат окситоцин, который не только рвёт матку, но, подчас, и душит оставшихся в ней щенков. Форстер довольствовался старым проверенным методом: просто несколько минут массировал суку набухшие соски. Нехитрая эта процедура провоцировала выброс эндогенного окситоцина, что куда мягче и гуманнее медикаментов. Но Герде и это не помогло. Пришлось бежать в кабинет за глюконатом кальция и колоть его внутривенно. И, слава Богу, вовремя. Через несколько минут Герда взвизгнула от боли, живот её дернулся, затем ещё раз. И ещё. Из-под хвоста появился амниотический пузырь и мокрая мордочка с поджатыми под нею лапками. Щенок оказался крупным. Мордатым. Ленивым. Он-то и сдерживал остальных своих братьев и сестёр. Не подоспей вовремя Иван Сергеевич, щенок бы погубил их, себя да, возможно, и собственную мать.

Едва Форстер после таких трудов примостился чаю с сушками-челночками испить — вновь даже не крик, а ор на весь питомник: траванулся какой-то дрянью кобель Мишка. Заблевал всю подстилку, лежит в вольере чуть ли

не бездыханный. Ничего не оставалось Ивану Сергеевичу, как волочь пса на себе (а это килограммов, почитай, двадцать) в процедурную, чистить, промывать ему желудок да лекарствами снимать интоксикацию, капельницу ставить, а в другую вену ещё и витаминчиков прокапать опять же за собственный счёт. Мишку он любил. Сам доставал его три года тому назад из матери хромированными щипцами, делал искусственное дыхание рот в рот. Разве забудешь такое? Только откачали горемыку, несут щенка с вывихнутым суставом. Куда уж он там залез, каким хитрым образом умудрился покалечить переднюю конечность, осталось загадкой. Может, прыгнул неудачно. Или угодил лапой в щель. С молодыми собаками такое бывает. Пострадавший стоял перед Иваном Сергеевичем, поскуливая, приподняв больную лапу, словно прося прощения за то, что доставил врачу хлопоты. Пришлось Форстеру вновь браться за шприцы, колоть несчастному димедрол пополам с анальгином, фиксировать лапу шиной да категорически требовать, чтоб щенка на неделю перевели в отдельный вольер.

Но и на этом дело не кончилось. Ближе к сумеркам подлецы электрики, что тянули по соседней улице кабель неведомого предназначения, без предупреждения или хотя бы извинения вырубili электричество. Сделали они это, скорее всего, не злонамеренно, а по причине природного российского разгильдяйства и охломонства, а также не имея привычки думать о ближних своих, пусть даже ближние эти и страдают в результате их так называемого труда. Тут уже директор питомника Владлен Маратович по рыжим скользким проталинам да через узкие, с кусками грязного льда траншеи, что успели наваять электрики, ринулся к прорабу. Кургузый нетрезвый этот мужик в чёрной куртке на синтепоне мрачно посасывал сигаретку подле завоженного в жидкой грязи экскаватора. Теперь он зло пускал в директорское лицо ядовитый голубой дымок, охаживал забористыми матюгами и одновременно объяснял генеральскому сыну всю тяжесть труда энергетиков. Однако недолго — послал Медведева куда подальше, ещё и кулаком, солидолом вымазанным, погрозил ему в спину.

То и дело спотыкаясь в тёмных коридорах и на лестницах, вернулся в кабинет Медведев сам не свой. Звонил по телефону, орал на кого-то, срываясь, но его, видать, никто слушать не собирался, а тоже посылал куда подальше. Так что Медведев теперь сидел в кабинете без света, одинокий и всеми униженный.

Иван Сергеевич тоже маялся и страдал чрезвычайно по причине отключения от энергосетей своей собачьей клиники. Он не мог использовать операционную лампу, не мог стерилизовать инструменты в автоклаве, не мог, случись что, провести со своими пациентами неотложные манипуляции. Но главное — медленно, но верно терял фреоновые силы лабораторный итальянский холодильник, где у Ивана Сергеевича хранились под замком главные сокровища: тщательно подобранные и быстро портящиеся лекарства, редкие ветеринарные препараты, даже несколько литров плазмы в специальных пластиковых контейнерах. Сколько упрашивал он Медведева купить хотя бы маленький, самый дешёвый генератор, чтобы на всякий случай часов на десять-пятнадцать обезопасить фармацевтические запасы питомника. Но директор жадничал, ломал, как обычно, дурку про отсутствие денег.

То ли совесть допекла энергетиков и те принялись наконец за дело, или, может, растрогали отчаянные взывания Медведева к районному руководству и покровителям, а вернее всего, сам Господь Бог сжалился над своими тварями. Всего-то через три часа электрические потоки вновь потекли по кабелям и медным жилам, озаряя подключённые к ним жилища светом, радостью и теплом.

Настроенный на ночное аварийное бдение, даже на возможную эвакуацию содержимого из служебного холодильника в домашний, Иван Сергеевич неожиданной радости не чаял, блаженно перекрестился в ближайший угол, в котором у него на месте икон висел плакат с изображением внутренних органов собаки. Затем подошёл к шкафчику, вынул початую бутылку коньяка, плеснул пятьдесят грамм и опрокинул в рот. Зажмурился. И выдохнул — горько. Коньячишко был, мягко говоря, не из дорогих, а потому продрал нутро

всеми своими сивушными маслами и химическими добавками. Форстер же всегда заканчивал свой рабочий день именно так — добрым глотком дешёвого коньяка.

Весна уже разнеживала город своими бабьими ласками. По мостовым неслись потоки звонко журчащей воды. Полнила хмельным соком чёрные ветви деревьев и кустарников. Солнце припекало обманно, по-летнему. А воздух... То ли от солнечного света, то ли от вечного тепла дальних стран, где он зародился, источал какой-то замечательный и живой аромат, вселяющий в душу ни с чем несравнимое чувство надежды и безотчётного счастья. Впрочем, ночами было ещё морозно. И всякая душа хотела в такие дни для себя надежды и счастья. Замолкали ручьи. Мостовые прихватывало ледком. А человеческое дыхание превращалось в пар... И колко щипало уши.

Иван Сергеевич шёл от питомника до автобусной остановки быстрым шагом, приподняв воротник старого демисезонного пальто, из которого выбивался такой же старый (покойная мама подарила на тридцатилетие), но все ещё мягчайший шерстяной шарф, произведённый смуглыми руками индийских текстильщиков из штата Джамму и Кашмир. Торопился ветеринарный врач Форстер домой, где ждала его молодая женщина в шёлковом халате, под которым он мог без предупреждения и без спросу нащупать налитые волнующие до сердцебиения груди; где ждал его вкусный ужин без изысков, но оттого особенно домашний; где ждали тапочки на войлочной подошве — бесшумные и тёплые. Где бурчал очередные нелепости про нашу жизнь цветной японский “ящик”. Где ждал доктора Форстера тёплый душ, постель с накрахмаленным до снежного хруста бельём, а главное — ещё одно живое дыхание. Всего за несколько недель его холостяцкая нора стала семейным гнездом. Настоящим. Словом, домой торопился Форстер. К бабе своей торопился.

Но Сиротка встретила ветеринарного доктора не так, как всегда. Дверь отворила одновременно со звонком. Видно, давно стояла с той стороны. Не могла дожидаться его возвращения. Иван Сергеевич понял: случилось что-то непоправимое. Сиротка смотрела на него, как глядят на вредное насекомое. С брезгливостью и желанием раздавить. На бледном лице девушки расплывались красные пятна. Словно остатки пролитого морса по чистой салфетке. Тонкие пальцы сплелись в трясущийся кулачок, тоже бледный. Нижняя губка вздрагивала, делая её лицо детским и злым.

— Что случилось, малыш? — спросил доктор Форстер свою юную сожительницу.

— Что случилось? — переспросила, зло паясничая, Сиротка и протянула Ивану Сергеевичу свой замшевый сапог. Неуважительно протянула, ткнула под нос, чтобы ветеринарный врач хорошенько рассмотрел разорванное в ключья голенище, коричневую молнию, безжизненно свисающую вниз наподобие дохлого червя, обглоданный тонкий каблук. По всему выходило, что смерть сапога наступила от острых зубов Бьянки, и именно она — причина. Иван Сергеевич опустил голову виновато, словно это он сам порвал Сироткин сапог.

Выдохнул обречённо:

— Мне очень жаль.

— И это всё, что ты способен сказать?! — взвилась Сиротка. — Я, как проклятая, откладывала с каждой стипендии крохи на сапоги, неделями жрала всякую дрянь, чтобы сэкономить. А тебе очень жаль?! Сволочь! Жалко ему. Я тут гроблюсь. Стираю его говённые трусы. Готовлю ему! Глажу! А ему, оказывается, жаль. Вот сволочь какая! Старая бездарная сволочь!

— Я куплю тебе новые сапоги, успокойся, — попробовал утихомирить сожительницу Иван Сергеевич. Но та не слушала, распалялась всё громче и яростнее.

— Да тебя с твоей собакой на живодёрню мало отправить. Дряни! Я их, идиотка, тут обслуживаю, как на курорте, а они мои сапоги жрут! Да ты хоть понимаешь?! Понимаешь, чем я жертвовала, чтобы купить себе это! Нет, ни хрена ты не понимаешь. Ты просто урод. Моральный урод. И сука твоя грёбаная.

И, совсем срываясь на визг:

— Чтoб я тут её больше не видела!

Доктор Форстер стоял, понурясь, перед визжащей Сироткой и рассматривал извилистые узоры старой паркетной доски. Они напоминали ему круги на мёрзлом пруду.

Увидел, как Бьянка испуганным зверьком метнулась за спиной Сиротки, спряталась за диваном. “Молодец, дружок, — подумал доктор Форстер, — от этой гражданки сегодня лучше держаться подальше”.

Пока снимал пальто, расшнуровывал старые, многократно латанные в обувной лавке Алима башмаки, искал бесшумные тапочки на войлочной подошве, а потом тщательно, по врачебной привычке, мыл руки в ванной, Сиротка продолжала крыть его и Бьянку самыми последними, самыми обидными словами, распаляясь ещё и оттого, что Иван Сергеевич её не слушает, а занимается своими делами. Наконец, крики замолкли, послышались торопливые шаги и грохот захлопнутой двери.

“Слава тебе, Господи!” — прошептал Иван Сергеевич и устало присел на диван, тот самый, за которым укрывалась присмирившая Бьянка. “Ну, зачем ты, негодница, сожрала её сапог? — укоризненно прошептал доктор Форстер. — На худой конец, могла бы сгрызть мой ботинок. Чем она так тебе досадила?”

Умей Бьянка говорить, она бы объяснила хозяину, отчего приключились все их сегодняшние беды. Начала бы с того, что Сиротка позабыла вывести её утром во двор, хотя должна была делать это, когда Иван Сергеевич спешил на службу раньше обычного, например, сегодня. Но Сиротка этого не сделала, упорхнула в институт. А когда вернулась в обед, увидела на ковре тёмное пятно, едко пахнущее собачьей мочой. И хотя ковер был не её собственный, мысль, что придётся убирать, чистить его за этой сучонкой, сильно разозлила Сиротку. Промокнула пятно половой тряпкой, принялась наотмашь хлестать ею по собачьей морде. “Нельзя дома ссать, — шипела зло, но и с удовольствием Сиротка, — нельзя дома гадить!” Никогда прежде не позволял себе Иван Сергеевич лупцевать Бьянку. Он даже голос на неё повышал всего несколько раз. А тут какая-то девчонка хлещет её наотмашь! Гадкой тряпкой наотмашь! По морде! По глазам! И ещё! И ещё! То, что испытала в эти мгновения белоснежная лайка, нельзя было назвать обидой. Что-то внутри неё оборвалось. Собака с визгом бросилась под диван. “Учти у меня, — догонял её злобный голос, — ещё раз такое увижу, выкину отсюда нахер”.

Уткнувшись мокрой от слёз мордой в чей-то старый носок, давно забытый за диваном, Бьянка вспомнила вдруг самую первую осень своей жизни. Тёплый живот мамы, в который можно было зарыться с головой и долго лежать в окружении её тепла и чудесного запаха, чувствуя себя защищённой и совершенно, без облачка, счастливой. “Где ты, мамочка? — позвала Бьянка. — Защити меня!” Но мать была далеко и не слышала зова своей дочери. И не могла её защитить. Ответом Бьянке был только шелест часовой стрелки по циферблату настенных часов с изображением фиолетовых гладиолусов, один из ранних ноктюрнов Сен-Санса, низведённый ручкой радиоприёмника до волшебного и едва различимого шёпота эльфов да раздражённые шлепки босых ног по паркету. Вскоре их сменил перестук каблуков — тоже сердитый. Не хотелось бы Бьянке попасть под эти каблуки. Остро пахли они жирной ваксой и застарелым потом Сироткиных ног. И от этого запаха, от страха перед этими каблуками и этой женщиной Бьянку начинало подташнивать. А откуда-то из глубины её собачьей души поднималось, ширилось новое, неизведанное чувство. Через мозаику генетических кодов, веретёна ДНК, смешение кровей десятков, нет, сотен предков, вонзивших свои могучие корни в скалы уральского хребта и вечную мерзлоту заполярной тундры, просыпалась в белой лайке несокрушимая древняя страсть к победе, дремавший до времени дух охотника и борца. Ещё не понимая этой силы, этого первобытного духа, лишь подчиняясь его неодолимому могучему зову, Бьянка вся напряглась, прижала уши и уже не сводила глаз с ненавистных ей воюющих каблуков. Но лишь только скрылись они за входной дверью и часто-часто зацокали по лестнице вниз, выбралась из-под дивана и белым призраком

в сумеречном пепле проследовала в прихожую. Здесь она глубоко втянула ноздрями воздух и сразу же почувствовала, откуда исходит знакомый смрад. Итальянские зимние сапоги стояли на верхней полке. Сиротка их толком ещё и не носила, но запах её ног Бьянка ни с чем другим спутать не могла. Этот запах вызвал к отмищению. Он был рядом, на расстоянии прыжка. И Бьянка прыгнула. Вцепилась в сапог намертво, всей челюстью. И потом рвала его и рвала, сплёвывая кожу и шерсть, упиваясь смрадом ваксы и человеческих ног, которые хотелось разорвать в клочья, в тлен, в мертвечину. Она рвала сапог, покуда не обессилела. Тогда бросила его останки на самом видном месте в прихожей. А в гостиной подошла к пятну на ковре, которое Сиротка решила оставить в качестве вешдока до возвращения сожителя, понюхала его и, присев, сделал новое пятно — рядом. Посмотрела в сумеречное окно на яичный свет первых фонарей и не спеша ушла за диван. “Будь что будет”, — решила Бьянка. Через несколько мгновений она уже спала коротким беспокойным сном.

Если бы лайка могла говорить, она бы, конечно, рассказала своему хозяину и о том, как голосила, хрипела и брызгала слюной прежде смиренная Сиротка, когда наткнулась на свою растерзанную обувь, какой отвратной площадной бранью разразилась её нежный ротик, лишь только заметила на ковре ещё одно произведение Бьянки, полное не только пахучей влаги, но и отчаянного вызова, бесстрашия, отваги.

Когда торнадо в соседней комнате, наконец, утомилось и даже перестало злобно шуршать шлепанцами, доктор Форстер вполголоса позвал Бьянку, и та не заставила себя упрашивать: за диваном послышалась негромкая возня, лёгкий цокот когтей по паркету, наконец, жаркое дыхание рядом. Иван Сергеевич протянул руку и потрепал собаку по жёсткой шерсти на холке. Та в ответ несколько раз лизнула его руки. Потом доктор оделся, и они вышли на улицу. Бьянка говорить не умела. Только пристально долго смотрела в человеческие глаза. И тихонько поскуливала. Ивану Сергеевичу, который без малого двадцать лет прожил с собаками бок обок, и говорить ничего было не нужно. В пристальном влажном взгляде Бьянки он читал многое. Если не всё.

Наступило то время суток, когда добропорядочные горожане и горожанки вкусили чаю с бутербродами, другие же уговорили первый пузырёк беленькой, закусывая её консервированными огурцами и малосолевой сельдью в прованском масле. Наступил тот волшебный час, когда почти весь наш народ, раззявив рот, вперился заворожённым взглядом в цветные мелькающие картинки — предался интеллектуальному соитию с ТВ. Наступил обычный русский вечер. Такой же, как и все.

Окна домов переливались нервным телевизионным сиянием. Яичной болтушкой светились уличные фонари. Битыми стекляшками хрустел ледок под подошвой ботинок. Наискосок через двор медленно брёл доктор Форстер вместе со своей собакой, и редким прохожим казалось, разговаривал сам с собой. А он говорил с нею.

— Знаешь, Бьянка, — вздыхал Иван Сергеевич, — я ведь человек немолодой. Мне уже давно за пятьдесят. А жизнь всё не складывается. Не клеится моя жизнь. Раньше казалось — всё впереди. Всё самое лучшее ещё будет. Оглянулся, а жизнь-то промчалась. И ничего хорошего в ней так и не произошло. Ни семьи. Не жены. Ни детей. Ничего у меня нет. Да что там! Даже друзьями, и то не обзавёлся. Про работу не говорю. Двадцать лет на одном месте. Прежде, помню, всё к чему-то стремился, чего-то искал, а теперь и этого не хочу. Скучно стало жить, Бьянка! Неинтересно! Невыносимо! Тошно стало жить у нас в стране. У всех мысли только про корм да про деньги, чтобы корм этот приобрести. За десять лет народ превратился в скот. В рабскую страну, где всякому дороже собственная шкура. Прав, прав мудрец Конфуций: для управления только и нужно, чтоб у народа был полный желудок и пустая голова. Говорил он, конечно, в оны века о китайцах, но, Господи, как всё это созвучно с нынешней Россией!

Собака в ответ на безрадостный голос хозяина оборачивала к нему чуткую мордочку, ловила взгляд. Но Форстер упорно смотрел себе под ноги.

— Да и чем я от них отличаюсь? — спрашивал не пойми кого Иван Сергеевич. — Да ничем! Такая же тварь. Даже не сопротивляюсь. Обнаглевшую девчонку унять не могу. Вякнуть поперёк не смею. А уж за тебя, зверушка, заступиться и подавно!

Тут он остановился. Почувствовав позади себя тишину, остановилась и Бьянка. Подошла к Ивану Сергеевичу, села возле его ветхого башмака. Прямо-таки прижалась к ноге, так что доктор сквозь штанину почувствовал её животное тепло. Она отдавала его просто так, от бесконечной любви к хозяину.

— Знаешь, что, Бьянка, — сказал Иван Сергеевич и склонился к собаке, заглядывая ей в глаза, — она тебя доконает, эта Сиротка. Да и не место охотничьей собаке в городской квартире. Тебе лес нужен. Простор. Свобода. Глупая ты моя... Ты даже не знаешь, что это такое. А для тебя это будет счастье. Это же твоя стихия! Я тебя, собственно, для этого и брал — для леса. Думал, осенью поедem в Астахино, на охоту. Теперь вот придётся добираться туда весной. Ну, что, ты согласна?

Бьянка не знала, что такое стихия. Не знала, что такое лес. Про дальнюю деревеньку Астахино тем более не слыхивала. Однако Иван Сергеевич говорил с ней таким голосом, что белоснежная лайка даже помыслить не могла, будто он мог желать ей дурного. Неопытное её сердце не подозревало лжи, измены. В ответ она лизнула доктора Форстера прямо в губы.

4

Тлеющей весенней ночью добирался Иван Сергеевич вместе с Бьянкой на визжащем сцепами, пахнущем человеческой мочой и горелым углем поезде “Москва — Архангельск” до мимолётной, как вскрик, станции Вельск. Оттуда на перебранном в местных автомобильных мастерских “форде” восьмидесяти пятого года выпуска, у которого натужно ревел худой глушитель, а оконное стекло со стороны пассажира дребезжало и падало, так что его то и дело приходилось поднимать, — ещё почти сто вёрст до заветной своротки на грунтовую дорогу, по которой в хорошую погоду да посуху до Астахино пилить ещё не меньше часу, а по весенней-то хляби, по русской-то непролазной грязи — целых два, и то в случае удачи.

С грунтовки деревню видать только краем. Упряталась она за быстроводной в эту раннюю пору Паденьгой, с остальным миром соединяясь узким, раскачивающимся, грозящим рухнуть в мутные воды навесным мостком, по которому только и можно в деревню добраться.

Рассчитавшись с “бомбилкой”, Иван Сергеевич закинул за спину рыжий рюкзак с потёртыми до скользкой черноты лямками, взял в левую руку зачехлённую “тозку”, в правую — щегольский кожаный поводок, к которому была пристёгнута стальным карабином лайка, и неспешно двинулся по скользкому глинистому склону к мостку. На самой середине его Бьянка вдруг остановилась — каменно. Нет, её не испугал бегущий под нею речной поток. Лайка подняла белоснежную морду вверх, к небу и слышно несколько раз потянула влажной подушечкой носа. Этот воздух... Вольный, дикий, полный запахов речной влаги и только что освободившейся от снега земли, низко стелющегося печного дыма, тепло пахнувшего назёмом хлеба буквально бездвигал растерявшуюся Бьянку. Она дышала, упивалась им, чужа одновременно и порознь такие разные составляющие его запахи. Ей хотелось запомнить навсегда этот широкий, разный, пробирающий холодом северный воздух.

Но Иван Сергеевич сильно потянул за поводок и строго скомандовал лайке следовать дальше.

Хозяйство дяди Николая стояло последним в череде тёмных северных дворов, на отлёте, возле невысоких, покрытых рыжим перепревшим травьём холмов, за которыми близко начиналась архангельская тайга — глухая, тёмная.

Дядя Николай появился на этой земле шестьдесят лет тому назад, вскоре после войны, когда маманя, со всем своим нехитрым скарбом, переселилась сюда с благодатных ташкентских земель. И хотя в ту пору дядя Николай числился ещё голожопым мальцом и, уж конечно, ни черта не соображал во

внешней и внутренней политике государства, вырос он и по сей день живёт с не проходящей, жгучей, словно палёная водка, обидой на родное государство. Вот уж пятнадцать лет, как лежит его маманя на дальнем погосте, под разлапистой, тяжелеющей оранжевыми гроздьями рябиной, а в дяде Николае всё не проходит ноющая, как застарелая болячка, обида. Должно быть, перетекла она к нему со словами маманиных воспоминаний, с редкими её слезами, с фотографиями многочисленной родни, что в лихие годы коллективизации, а затем войны рассыпалась, рассеялась по земле, как дорожная пыль на ветру. А уж от самого дяди Николая эта обида передалась и его жене Ольге, и дочке их единственной Маруське, что проживает в районном центре в двухстах километрах езды от Астахино и по этой причине с деревенскими родственниками общается нечасто. При своей, можно сказать, генетической неприязни к власти, политические воззрения дяди Николая представляют совершеннейший винегрет: источая ядовитый фимиам в сторону Ильича, он в то же время поёт осанну товарищу Сталину. В перестройку лоб расшибал в молитвах за здоровье дорогого народного освободителя Михаила Сергеевича, а позже на всех углах проклинал алкоголика Бориса Николаевича. Нынешних же управителей — при полных теперь, разрешённых вроде бы перестройкой свободах — он и вовсе ни во что не ставит.

При всём при этом дядя Николай был человеком набожным. Читал утренние и вечерние молитвы коленопреклонённо перед потемневшей от свечной да лампадной копоти иконой Казанской Богоматери да небесного своего покровителя Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца. Знал и отмечал все церковные праздники. Ревностно соблюдал посты, а помимо них и постные дни — по средам и пятницам. Старался жить по-христиански и даже не матюгался, чем вызывал у местного населения — от мала и до древних стариков — подобие глубокого непонимания и даже признания за соседом некоторого душевного расстройства. Но был и у православного человека Николая Игнатьевича Рябинина тяжёлый, непростительный грех: уж лет двадцать как не бывал он на исповеди и столько же лет не причащался. А всё по той причине, что ни в Астахино, ни в одной из ближайших деревень храма не сохранилось. Такая это была несусветная глушь, что народ без пастыря давно и желанно жил тут в беспробудном грехе. И не задумывался об этом.

Ивана Сергеевича с белоснежной лайкой на поводке дядя Николай заприметил, когда те ещё колдыбались по навесному мостку да ковыляли потом по осклизлой, заполненной мутной водой, а местами ещё и стекляшками льда дорожке посередь тёмных дворов и огородин. В тот самый день, в тот самый час дядя Николай занимался наиважнейшим крестьянским делом: метал на землю-матушку назём. Земля его, целая половина гектара, каждую пядь которого не раз пропустил он через собственные ручки, куда не оттаяла, ещё каменно тверда была на половину штыка лопаты. Но он успел уже вывезти не меньше трёх тонн промёрзшего за зиму прошлогоднего назёма на дальние от дома гряды, где наметил сей год высаживать картошку. Она, родимая, любит назём прошлогодний, перепревший под солнышком. Позднее, недели через две, намечал дядя Николай, его надобно будет разметать по земле перед пахотой.

Опёршись о черенок совковой лопаты, которой он всё утро набрасывал возле хлева в ржавую тележку прошлогодний назём, дядя Николай всё смотрел и смотрел на приближающихся гостей. Обветренный до трещин, его рот в окружении пегой бородачи расплывался в острой улыбке, обнажавшей поредевшие ряды жёлтых от махры зубов. Лёгкий ветерок с Паденьги играючи шевелил седину, лохмато торчащую из-под кепки.

— Здорово живёшь, Ваня! — заголосил дядя Николай, лишь только тот приоткрыл хлипкую калитку с проволочным кольцом вместо закрутки.

— Здравствуй, дядя Николай! — ответно заулыбался Иван Сергеевич, протягивая ему ладонь. — Сколько мы уж с тобой не виделись?

— Да уж давненько, — кивнул Рябинин, — почитай, с прошлой весны. Мужчины обнялись по-родственному крепко, искренне. Поцеловались троекратно. И теперь, ещё сжимая друг друга в объятиях, улыбались, всматривались в лица.

— А ты всё такой же, дядя Николай! Время тебя не берёт.

— Да и ты, Ваня. Будто вчера виделись. Только волос побелел. Да брюхом прибавил. Небось, хороша жизнь городская! Не то, что у нас!

Пока мужчины тискали друг дружку в объятиях, Бьянка сидела возле хозяйской ноги и настороженно осматривалась вокруг. Острым своим чутьём она сразу заметила рядом чужую самку, слышала, кажется, её тяжёлое дыхание и глухое, злобное рычание. Ещё не видела её, ждала, повернув голову на звук, на тяжёлый враждебный запах.

Наконец, она появилась — старая дворняга пепельного с сединой окраса, по-волчьи склонив голову и скаля жёлтые зубы, вышла из-за сарая, нехорошо, злобно глядя на Бьянку. Та испуганно вякнула, ближе прижалась к ноге Ивана Сергеевича.

— Я смотрю, ты и собачку с собой приволок? — отозвался на её скулёрж дядя Николай. — Хорошая собачка. Нешто дорогая?

— Из нашего питомника, — довольно улыбнулся доктор Форстер, — лучшая в помёте! Сам выбирал. Настоящая западносибирская лайка. Вот хочешь её у тебя оставить. Какая у неё в городе жизнь? А тут тайга! Простор! Свобода! Её и натаскивать не надо. Сходим несколько раз на охоту, по свежей-то крови все её дарования, все инстинкты и откроются. Это я тебе точно говорю. Собака исключительно талантливая. Сам увидишь.

Дядя Николай задумался ненадолго, поглядел из-под густых бровей с седыми подпалинами на белоснежную лайку, и по лицу его пробежала едва заметная улыбка.

— Ну, дак чо, оставляй, раз привёз в такую-то даль. Не тащиться же с нею обратно.

Услышав его слова, старая сука вновь показала жёлтые клыки. И так, очерившись, побрела прочь, всем видом своим сообщая, что это лишь первая их встреча, и если лайке суждено остаться, главное её ждёт впереди. “Это наша земля, — говорила старая сука, — и тебе на ней места не будет”.

Всё время, покуда хозяин с дядей Николаем неспешно обедали сытным крестьянским обедом, состоявшим из наваристого с мозговой косточкой борща да телячьих битков с деревенской сметаной, и это не считая квашеной капусты, тёртой редьки с постным маслом да отменного коньячно-тёмного от целебных трав самогона, и весь вечер, когда Иван Сергеевич принялся чистить оружейным маслом своё ружьё, Бьянка не отходила от хозяина. Настораживая уши, ловила каждый шорох, каждый звук. Вот замычала протяжно, призывая к вечерней дойке, беспокойная корова. Чем-то встревоженные закудахтали заполошно на насестах куры. Где-то за околицей одиноко взывала бензопила. Чей-то неровный голос выводил у реки печальную песню. Брехали собаки, то рядом, то вдалеке. Потрескивали в печи берёзовые поленья. И тихим шелестом сыпала по крыше последняя в этом году ледяная крупа.

Никогда ещё не слышала Бьянка этих звуков. Не понимала их. Не ведала их происхождения. Ей ещё только предстояло запомнить их удивительную симфонию, понять их тайный смысл и предназначение.

Обитали они с хозяином от Рябиновых отдельно — в крохотной избушке на отшибе двора, с застеклённой верандой, служившей для постоя исключительно летом. Зимой она и вовсе пустовала.

Бьянка лежала возле двери, положив морду на лапы, смотрела на всполохи печного огня, на хозяина, который не обращал на неё никакого внимания, сновал вверх-вниз по ружейным стволам войлочным ёршиком на шомполе, пшикал маслом из баллончика; долго снаряжал патронташ мелкой дробью — семёркой — на рябчика и на вальдшнепа, а ещё — двойкой и единичей, если подвернётся, на удачу, зверь покрупнее. Под конец две пули вложил. Так, на всякий случай. В завершение всего Иван Сергеевич достал из рюкзака ношенный армейский камуфляж болотного цвета, кожаные офицерские берцы и вязаную шапочку. Затем выдул кружку пакетированного чая с пряничком медовым. Разделся до кальсон. Перекрестился на образ Спасителя, что мерцал в углу от тусклого огонька лампадки, погасил свет и, освобождённо вздохнув, улёгся на бок под толстым ватным одеялом. Уже проваливаясь в невесомую бездну, сказал Бьянке: “Спи давай, завтра рано вставать. На охоту”.

Утренник встретил их сахарным хрустом под ногами, тянущимися к нему столбами душистого печного дыма, кремоватыми просветами меж пластающихся по горизонту облаков, покуда ещё не поднялось из-за них скромное, как юная девица, северное солнышко. Самое время топтать и топтать теперь по холодной земле, по прошлогодней жухлой траве, слышно пружинящей под ногами. С ружьишком за одним плечом, с зачуханной котомкой — за другим, с кожаным патронташем на пузе да с собачонкой в поводке Иван Сергеевич быстрым шагом двигался в сторону ближнего леса, чтобы успеть услышать его до рассвета. Шел седьмой час утра. В эти минуты Форстер не думал ни о городе, который так стремительно и неожиданно покинул, ни о собачьем питомнике, где его возвращения ждали хворые да раненые бедолаги, ни о девушке Сиротке, от которой он сбежал с радостью. Все его мысли и чувства были впереди, ещё в километре хода, там, где просёлочная дорога ныряла в тень вековых елей, корабельных сосен и асфальтового цвета осин. Где начинался другой мир — любимой им охоты, азарта и самых неожиданных происшествий, которые не раз уже приключались с ним, чтобы стать затем в ряд его лучших воспоминаний.

Пристрастился Иван Сергеевич к этому делу лет десять назад, когда знакомый художник Самохин и бывший советский консул в Могадисхо Хабаровский хитростью заманили его в эти места “пожить на природе денёк-другой”. В те годы семейная жизнь доктора Форстера ничего из себя не представляла, иначе говоря, жизни этой попросту не было, потому как прежняя его жена обрела волю со своим ли, с чужим ли табором, новые знакомства всё чаще никак не клеились, поскольку серьёзных намерений не содержали, мама лежала в целлофановом пакетике внутри керамической урны на Востряковском кладбище. Так что предложение “пожить на природе” в свежий майский день, когда страна с надеждой переживала инаугурацию молодого президента, выглядело вполне уместным, даже интригующим.

Жизнь на природе растянулась на неделю: столичные гости жарили дикое мясо, пили горькую да путешествовали на заморском “джипе” бывшего советского консула по окрестным сёлам и деревням. Спутники Ивана Сергеевича по причине городской щедрости гляделись людьми уважаемыми. Встречные мужики из Астахино, из Верхопаденьги, да хоть и из Часовенской или Киселихи останавливались, завидев пылящее просёлком чудо американского автопрома, кланялись, скалили в приветливой улыбке уцелевшие прокуренные зубы. Бабы тоже улыбались. Но не кланялись. А девки и парни смотрели с завистью. Им тоже хотелось иметь такой транспорт — увы, мечта несбыточную.

Катились деньки, честная компания лихо действовала по дальним свороткам, таёжным тропам и краями непролазных болот в поисках непуганой добычи. Следили со вниманием за верхушками елей и берёз, где в весеннюю пору кормились свежей почкой тетерева, а иногда и царь-птица глухарь. Отслеживали дорогу, где та же боровая дичь клевала мелкий камушек для справноного перемола весенней пищи. В гуще лесной тормозили вконец уделанный грязью “транспорт”, с надеждой и опаской высматривая следы сохатого или тонтыгина. Или хотя бы волчицы серого. Лупили по глупым тетёркам, подпускаявшим к себе на манер деревенских кур прямо под выстрел. Или по затаившимся в придорожных кустах зайцам. Манили рябчиков на манок. А к закату выходили на тягу. Вечерами жарили на кривом проржавевшем мангале добычу. Пили “Московскую” и даже французское “Бордо”. И рано ложились спать под трескотню пылающих полешек или тёплую ласку белёной русской печи. Пару раз славно пропарились в баньке с духовитыми до одури можжевельновыми вениками, оставляющими после себя на теле густую россыпь алых укулов. В районном центре Шенкурск посетили беденький экспонатами краеведческий музей и винный отдел гастронома. Один — из потребности в новых знаниях, другой — по причине закончившихся запасов. Так и прожили все десять дней.

И лишь только упихались с охотничьим скарбом — со всеми мешками, кофрами, патронташами, рюкзаками — в консульский “транспорт”, отмытый

колодезной водой до салонного блеска по случаю отъезда и в предвкушении малых и больших городов, вырулили, наконец, на возжеланный асфальт федеральной трассы Архангельск — Москва, ударила Ивана Сергеевича тоска по оставаемым, будто родным, местам. Понял он, что за всё время ни разу не вспомнил ни дом, ни работу, ни опостылевшую московскую жизнь. Словно вымыло их из сердца. Стёрло из памяти на все десять дней. А отмотав половину пути, уже на подъездах к Вологде, вдруг почувствовал сильную, незнакомую прежде тягу вернуться. Непременно вернуться сюда ещё раз!

Так оно и случилось. С тех пор доктор Форстер ездил в Астахино два раза в год, осенью и весной. Почти десять лет. И всё чаще один. Первым от их компании, соблазнившись блатом в Беловежской пуще, отвалился консул Хабаровский. Потом и художник Самохин обзавёлся деревенской недвижимостью в ближней Тверской губернии. Остался в компаньонах у Ивана Сергеевича дальнобойщик Андрей Соловьёв, да и тот через раз отменял уговор.

...До лесной глухомани добрался доктор Форстер с Бьянкой, словно юноша, резвым шагом. Ступил под тёмный молчаливый покров и остановился оглядеться. По ухабинам и мшистым ямам, куда не успело добраться апрельское солнце, ещё лежал ноздреватый снег. Дух новой еловой крови-живицы наполнил студёный воздух терпким ароматом. Там и тут оставляли на подлеске кровавые росчерки кусты татарского кизильника, из которого в прежние времена готовили жёлтую и алую краску. Мохнатились веточки можжевельника, чтобы добрый хозяин, сорвав, мог придать особый дух самогонке да навязать для бани веников, тех северных веников, от которых стонет в сладостной неге тело, и человек выходит из баньки, словно новорождённый. Ещё не расправились соком спутанные кустики брусники, но жёсткие листочки глянцевы, зелены, будто и не было суровой зимы. Уцелевшие прошлогодние ягоды полны тёмным соком, вкусны и душисты пуще осеннего урожая. Такова и клюква, если не всю её смели в вёдра местные сборщики, не дощипали птицы, не полакомились редкими ягодами медведь.

В эту пору лес светлый, прозрачный. Жизнь в нём только оживает после зимнего сна — каждым звуком, робкой почкой, муравьишкой, что выполз на вершину муравьиной кучи, пригретый первым, едва тёплым лучом. Славно, легко дышится здесь в такие дни. И грех кого-нибудь убивать.

А Иван Сергеевич и не торопился ружьё заряжать. Насобирав горсть прошлогодней брусники, шёл вперёд, дышал полной грудью, кидал по одной ягодке в рот и поглядывал на лайку. Поскуливая и поминутно оборачиваясь к нему, она нетерпеливо тянула хозяина за собой.

Для Бьянки всё здесь было впервые. Лишь только ступила на мягкие мхи, вдохнула влажный воздух, всё внутри неё напряглось, обострилось. Как тогда, во время ссоры с Сироткой, она вдруг почувствовала в себе страсть, свободную, неостановимую силу. А ещё — безотчётное, нутряное единение с лесом, будто она его часть, будто всегда знала это, с первых своих дней стремилась к нему и теперь вернулась. Все запахи, чьих имён она не ведала, были возбуждающи и остры. Каждый звал её за собой невидимым, лишь только ощутимым следом: одни — еле заметные, другие — сильные, будто их обладатель был тут всего лишь несколько минут назад и теперь бежит или летит между смоляных стволов сосен. Запахов этих, соблазнов было не счесть, и молодая лайка трепетала всем телом, вздрагивая и поскуливая от возбуждения. Про хозяина она забыла. Сильнее и сильнее тянула поводок. Не слышала, не видела Ивана Сергеевича. А тот и не держал её. Отстегнул карабин, потрепал по холке, благословляя на охотничью работу, которой лайка ещё не знала, но со всей страстью торопилась понять.

Близкий, свежий след Бьянка взяла сразу. Поминутно опуская морду к земле, бежала и бежала по нему, перепрыгивая поваленные деревья, обходя непролазные баррикады гниющего валежника, к высокой разлапистой сосне, по стволу которой след вдруг ушёл вверх, под широкую, терпко пахнущую крону. Всю короткую погоню Бьянка бежала молча, до самой крохотной своей клеточки сосредоточившись на запахе, который с каждым шагом становился сильнее. А неведомый зверёк метнулся вдруг с ветки на ветку пушистым пружинистым скоком. Только теперь, заметив добычу и понимая,

что её никак не догнать, Бьянка подала голос — обрывистый и звонкий, чтобы хозяин услышал её и поспешил. Так и стояла, задрав морду и не спуская с пушистого комочка зоркого глаза. Случись что, перекинься зверёк на другую ветку, она его не упустит из виду. Когда к дереву подбежал Иван Сергеевич с ружьём наперевес, Бьянка упёрлась передними лапами в шершавый смолянистый комель и, подскрёбывая его в яростном нетерпении, непрестанно пугала полным злого азарта голосом укрывшуюся в кроне добычу.

— Ах, ты белочку нашла, — запыхавшись, похвалил собаку Иван Сергеевич, — молодец! Очень хорошо!

Поднял ружьё, недолго целился, нажал на спусковой крючок. От выстрела будто треснуло по швам высокое весеннее небо. Но даже не слышанный Бьянкой прежде чудовищный грохот не смог отвлечь её от цели. Комочек подпрыгнул и вдруг камнем рухнул вниз, прямо в середину можжевельового куста. Лайка кинулась искать и через несколько мгновений, исколов морду и лапы пахучими иголками, несильно сжимая в зубах, вытащила подбитую белку в перепачканной кровью шоколадной шёрстке. Положила на влажный мох. Обнюхивала. Снова брала в зубы, ощущая чужую, горячую ещё кровь. Слушала биение чужого сердца, ещё живого. Белка вздрагивала в предсмертных конвульсиях, сонно перебирала лапками, словно хотела убежать, вновь забраться на дерево. Движения её становились короче, медленнее, дыхание — порывистее и реже. Глаза закатились. Струйка крови изо рта потемнела, стала гуще. Умерла белка. Лайка видела её стремительный уход. И только после этого вновь взяла её в зубы.

— Поддай, Бьянка! — послышался позади повелительный голос Ивана Сергеевича, — Поддай!

Ей не хотелось отдавать добычу. Впервые в жизни она выследила её, шла по следу, загнала на дерево и, не отпуская, звала охотника с грохочущим ружьём, а после выстрела нашла её в непролазных колочках. Но послушаться хозяина не могла. Не имела права. А потому вновь прихватила зверька зубами и с понурым видом, даже обиженно понесла свой трофей Ивану Сергеевичу. Он стоял неподалёку, облокотившись на покосившуюся осину, и улыбался чему-то своему, можно сказать, радовался. Бьянка подошла, положила белку прямо перед резиновыми сапогами хозяина. И отвернула морду. А Иван Сергеевич вдруг присел перед нею на корточки и сказал ей в ухо самые важные для неё слова, которые она легко поняла и, кажется, помнила потом всю свою короткую собачью жизнь:

— Это твоя добыча, Бьянка! Это твоя заслуга. Ты — молодец. Ты — отличная, ты — самая замечательная собака!

Он обнял её за шею, с силой прижал к чёрной, пропахшей дымом и потом телогрейке и гладил, гладил, пока собаке не сделалось нестерпимо душно. Она стала вырываться из объятий хозяина, и тот отпустил её. Бьянка ещё раз понюхала мёртвую белку. Отошла в сторону и улеглась на мягкий мох.

“Кого теперь будем ловить, хозяин?” — спрашивала она всем своим видом.

Но в тот день они не охотились больше. Вернувшись в деревню с невеликой добычей в рюкзаке и спустив с поводка собаку, Иван Сергеевич с совершенно детским восторгом расхваливал дяде Николаю небывалые охотничьи таланты Бьянки. Тот готовно кивал головой, тесал топориком какую-то чурку и слушал друга вполуха. Ольга сготовила для мужиков жирный обед, вытащила по случаю открытия охотничьего сезона литровый пузырь самогонки, от которой мужиков развезло так, что проспали они в своих койках, похрапывая, словно откормленные хряки, до самого вечера, до первых звёзд.

Вечером, часов в семь, оба проснулись с большой головой, вылезли с помывками мордами на заваulinку, где из больших алюминиевых кружек, обжигаясь о края, долго пили крепкий чай с вареньем из таёжной малины. И с ожиданием, смешанным с недоверием, глядели на антрацитовый горизонт, за которым, по слухам, а может, и правда, по расчётам военных, именно нынешней ночью яркой звездой, видной отовсюду, будет запущен с космодрома в Плесецке ракетополнитель, уносящий в немоту космоса новый спутник связи.

Говорили мало. Каждый размышлял о своём. Очень личным не хотелось делиться даже с самым закадычным другом. Иван Сергеевич вспоминал Сироткино гибкое тело. И родинку под её левой грудью, и розовый шрам — под правой. Но помнил и крики её, и перекошенное злобой лицо с вульгарной яркой краской на губах. “И что я в ней нашёл? Зачем она мне?” — спрашивал себя Иван Сергеевич. И не находил ответа. Здесь, сейчас ощущал он себя абсолютно счастливым. Вдалеке от Москвы, за тысячу вёрст от Сиротки, рядом с примолкшим дядей Николаем, с верной Бьянкой у ног... Да, здесь, сейчас, этим ранним северным вечером, с алюминиевой кружкой в руке, в ожидании запуска космической ракеты.

Дядя Николай, в свою очередь, вспоминал подёрнутую зыбкой дымкой прошлую жизнь, в которой ещё были живы мама и многие друзья, чьи улыбающиеся лица он видел словно в диапроекторе, который много лет назад купил дочери на день рождения. Крутишь колёсико, скрипит жёсткая резинка, медленно ползёт кверху кадр за кадром на растянутой в пол-избы простыне. Маруся пригелась и тихо сопит под боком, а он всё крутит старый диафильм про девочку и трёх медведей. Было ли что в жизни лучше тех зимних вечеров, когда за окном мела, зверела завывающая вьюга? Когда в хлеву гремела подойником молодая, ещё крепкая телом Ольга. Пахло парным молоком. Пахло сеном. Дегтярным дымком. Печка русская грела мягким жаром. По белой простыне медленно двигались картинки, и дочка сладко сопела рядом. Ничего лучшего, пожалуй, он в жизни своей так и не испытал. Да и нужно ли чего больше?

— Вот ведь жизнь! — молвил дядя Николай, очнувшись. Отхлебнул из кружки большой глоток и посмотрел на горизонт.

— Да, — эхом вторил ему Иван Сергеевич, — жизнь, она такая! — и поглядел туда же.

В тот день ракета из Плесецка так и не стартовала. Из-за бракованного реле, изготовленного на Кировском заводе имени Лепсе, обнаружился сбой в системе управления полётом. Ракета могла отправиться совсем иным маршрутом, не реагируя на команды с земли. И тогда её пришлось бы уничтожить. Никому, кроме коллег, не известный майор Евстигнеев обнаружил неисправность во время последней проверки за несколько часов до запуска. Он был представлен командованием к денежной премии. Деньги майору были очень нужны. Его жена умирала от рака печени. А он хотел её спасти.

6

Встреча лайки со старой сукой по имени Дамка произошла в ночь после её первой охоты.

За низким, копотью подёрнутым небом луна просвечивала, будто чахнувший огонёк под стеклом керосиновой лампы. Стеклярусными бусинками мерцали в просветах редкие звёздочки.

Иван Сергеевич устраивался ко сну. Бренчал оловянной соской рукою-ника. Плескал в лицо студёную колодезную воду. Фыркал. Кряхтел. Громыхал кочергой, мешая угли за чугунной печной дверкой. Зольником шебуршил, настраивая пошибче тягу. Согрев на печке алюминиевый солдатский чайник, пил чай, тёмный, будто деготь, пахучий и терпкий до горечи.

Бьянка лежала посреди комнатки, положив морду на лапы, и поводила умными глазами то на хозяина, то на печку, то на чайник. На страшную кочергу. Потом поднялась, потянулась сладко и направилась к выходу, покаявая Ивану Сергеевичу, что ей нужно на улицу, по нужде.

Доктор Форестер упрасивать себя не заставил. Скоро подошёл к тяжёлой, из лиственницы, двери, распахнул её в темные сени: “Иди, Бьянка!”

Тут, в холодке, ей предстояло пройти мимо бочки с комбикормом, мимо бродней, поблескивающих в углу чёрной резиной, мимо старого велосипеда, что отдыхал тут до весны, мимо полуистлевших рыбацких сетей, свисавших из такого же ветхого рюкзака; мимо нескольких пластиковых бутылей из-под пива (их по весне развесит дядя Николай в огороде для распугивания воронья, сорок и иной воровской птицы), мимо древней, от отца доставшейся

Рябинину меленки с каменными ноздреватыми жерновцами. Тут, рядом, находился лаз для собак да кошек, чтобы те в любое время могли схорониться в домике от непогоды и внешних врагов.

Лаз Бьянка сразу освоила и пролезала в широкое устье с прибитым куском линолеума легко. Вот и теперь скользнула в него одним движением, склонив голову и изогнув спину, и через мгновение оказалась на улице. Короткое время шарила носом по земле, различая тут и там запахи чужой мочи, покуда, наконец, не выбрала себе местечко, где и присела, растопырив лапы и мелко потряхивая хвостом. Закончив свои дела, направилась, не мешкая, к лазу и словно ударилась о холодный пристальный взгляд. А дальше и тень заметила, мутную, затхлую, словно вынырнувшую из-под земли. Тень стояла обок лаза, преграждая устье, и, кажется, не собиралась уходить. Поджидала её, Бьянку!

Лайка узнала хозяйскую дворнягу Дамку, которую увидела раньше, в свой первый день в Астахино. И теперь стояла. Принюхивалась. Дамка пахла свалявшейся шерстью, хлебом и незаживающими язвами — так пахнут все старые псы. Тень оскалилась, зарычала, предупреждая лайку: сделаешь шаг, и я тебя порву. Но Бьянка шагнула навстречу, не отводя глаз. Дворняга была повыше в холке, но когти на лапах видно, что стёрлись, затупились. Одного клыка не было, другой — даже кость не раскусить — пожелтел, потерял остроту и силу. Глаза одного у Дамки тоже не было — вытек в уличной драке, когда её, ещё молодую, едва не задрала соседская сука Найда. И ноги у старой дворняги были уже не те. Она мучилась от жестокого артрита, и старые увечья — порванные сухожилия, вывихи, порезы — постоянно напоминали о себе. Глядя на зло ощерившуюся суку, Бьянка поняла, что совсем её не боится. Случись между ними кровавая драка, знает, как победить. Прежде всего, вырвет здоровый глаз! А после со старухой можно делать, что хочешь. Или не делать ничего. Потому что та всё равно сдохнет. Не от старости, так от беспомощности своей.

Вновь зарычала Дамка. И вновь шагнула ей навстречу бесстрашная Бьянка. И тут же сделала ещё шаг. И ещё. Она понимала: старая сука только пугает её, доказывает своё право на главенство в доме. Но сцепиться с молодой лайкой не решается. Бьянка видела ощерившуюся морду Дамки совсем близко. Видела истёршийся клык, белую пену на пятнистых брылях, видела зарубцевавшуюся коросту на месте правого её глаза и сочащийся яростью левый. Напрягшимся телом, каждой клеточкой лайка ощущала: злобное рычание вот-вот сорвётся на визгливый фальцет, и единственный клык Дамки вонзится в её незащищенную шею. И всё в Бьянке зывало к ответу: показать свою силу, так же яростно ощериться и кинуться на врага. Порвать его! Но что-то внутри не давало ей этого сделать.

Подобравшись к самому лазу, Бьянка вмиг проскользнула в дом, услышав за собой глухой щелчок собачьих челюстей.

С той ночи мрачная тень Дамки призраком преследовала Бьянку. И всякий раз белоснежная лайка не обращала на старуху никакого внимания. К тому же у неё был защитник и хозяин — Иван Сергеевич Форстер.

За считанные дни, что охотились они в лесу, Бьянка научилась умело, вязко преследовать боровую дичь. Работала по набродам и рябчика, и тетерева, и даже глухаря. Подбиралась к птице бесшумно, повиливая крючком хвоста. Прыжком поднимала её на крыло и уже не отпускала, зорко следила, куда та опустится, а тогда звонким лаем звала Ивана Сергеевича с его ружьишком двенадцатого калибра. Попадались им в те дни и мелкие зверушки, вроде куницы и хоря, и даже зверь покрупнее — барсук. И всякий раз демонстрировала белоснежная лайка чудеса охотничьей сноровки и дисциплины. Работала — как играла. Загоняла зверька в валежины и норы. И уже не отступала, покуда не подоспеет на её залиvistый лай хозяин. Только раз за всё время случился в её охотничьей карьере прокол. Да и то по неопытности, по причине азарта и юношеского задора, за которые и винить-то грех.

В тот день собрались они с Иваном Сергеевичем на охоту ближе к вечеру. Посвистеть рябчиков, может быть, поработать по бобрам, что мастерили свои хатки в неглубоком затоне обок быстротечной Паденьги. Вышли

из дома засветло, да и в лесу обмылок солнца ещё только подбирался к горизонту, ещё теплился неярким северным светом. Недолго спустя, метров через четыреста, Бьянка услышала в заваленном лесным хламом еловнике первого рябчика и метнулась следом. Шла, как и положено: сторожко, высоко поднимая лапы, чтобы порохом не спугнуть птицу, то и дело прислушиваясь и приглядываясь. Серый рябчик сидел в полуметре от земли, на еловой валежине, спиной к Бьянке, не чувствуя её, не замечая. Лайка замерла, приготовилась к прыжку. Но тут что-то серое, большое прыгнуло из-под поваленной берёзы и помчалось в чащу, оставляя за собой фонтаны пожелтевшей прошлогодней хвои и одуряющий запах горячей, близкой добычи. Бьянка метнулась следом. С лёгкостью перескакивала поваленные деревья и сухой валежник, вздымала бисер брызг из неглубоких лужиц, прибавляла скорости на полянах и всё держала, настойчиво держала чей-то живой и тёплый след. Не меньше получаса прошло в азартной погоне, когда след вдруг оборвался. Словно его и не было никогда. Бьянка опешила. Ещё раз понюхала волглую землю. Следа не было! Она вернулась назад, по тропе, которой только что бежала. Там нашла его слабеющие обрывки. Постояла, пошла обратно. И вновь ничего!

Она очутилась посреди незнакомого леса одна, не понимая, куда идти. Никто ещё не объяснил ей, что зайцы, спасаясь от преследования, делают замысловатые петли и далёкие прыжки. Пройди широким радиусом вокруг потерянного следа и обязательно причуешь, поймёшь, куда умчалась добыча. Но Бьянка известных всем охотникам заячьих хитростей не знала, а потому беспомощно топталась возле оборвавшегося следа. А мудрый, мужиками стрелянный, лисой да волчарой голодным травленный заяц, совершив несколько длинных прыжков да накрутив кругов, теперь уходил всё дальше в глухие непролазные чащобы северной тайги. И, очень может быть, посмеивался над молодой неопытной лаечкой, что вознамерилась взять его в родном, с пушистого детства знакомом лесу.

Темнело. Птахи лесные после вечерней кормёжки утомнились, попрятались в ожидании ночи кто в дупло на корявой берёзе, кто в гнездо, недавно собранное и обустроенное, а иные предпочли почивать в глухой болотине, среди мягких сфагнумов, осоки и сухого мятлика, в безопасности и тепле. Разве что тяжёлая поступь сохатого потревожит слух или отрывистый крик терева.

Долго ещё стояла Бьянка на одном месте, прислушиваясь к молчанию тайги. Ждала спасительного голоса хозяина или выстрела его ружья, услышать который можно издалека. А ведь Иван Сергеевич и кричал, и палил в разные стороны, и свистел. Но Бьянка не отзывалась. Слишком далеко увёл её хитрый заяц. Замотал, запутал среди отвершков сухого лога, глубоких овражков, заваленных сухостоем, увёл в чащобу, в чёрную глухомань, где обитают разве что беглые каторжники да лешаки, да косолапый мишка. В тех местах не то что оружейного выстрела, но и ракеты, запущенной со стартового стола в секретном городе Мирный, и то не услышишь.

Долго плутал по лесным тропинкам, по кустам колючим, среди мёртвого цепкого сухостоя расстроенный до слёз Иван Сергеевич. Глотку изодрал, зазывая и по-хорошему, и по-плохому заплутавшую свою собаку, расстрелял чуть не целую пачку “семёрки”, изругал самого себя последними словами: не углядел, охладом, не сдержал, когда нужно, не научил. Да что толку корить теперь себя?! Собаку-то всё одно не вернёшь.

Тем временем уже и солнце потухло. Темно стало в лесу. И жутко. Захрюкали по просеке парочки вальдшнепов, а там и ночная птица поднялась на крыло. Нечего делать. Вернулся Иван Сергеевич на знакомую и покуда ещё различимую в темноте дорожку да побрёл в сторону деревни, вздыхая и утирая грязным кулаком слезящийся глаз, обещая себе чуть свет подняться, отправиться на поиски заплутавшей Бьянки.

Но Бьянка, теперь уже не белоснежная, а пегая от осыпавшегося на неё лесного мусора, грязи да всякого праха древесного, и не думала плутать. В кромешной темноте отыскала-таки собственный запах, по которому и пошла, то и дело принюхиваясь и оставляя мочой едкие запоминающиеся

отметины. Не знала она, а потому не опасалась, что по этим меткам мог отследить её и задрать голодный волчара-одиночка, что жил неподалёку, в яме под упавшей столетней сосной. На счастье Бьянки, тот накануне зарезал большого бобра, что помирал в ракушнике возле реки. И сожрал его до последней косточки. Только шкуру оставил. И теперь дремал в своей яме, довольный, сытый.

А Бьянка всё шла и шла, припнувшись к собственным следам, которые с каждым часом становились слабее, глуше. Тот путь, что она, сломя голову, пробежала за косым, теперь показался лайке бесконечно долгим. Пока искала свой след и вдруг наткнулась на заячий, она поняла, какие вензеля и круги нарезал заяц, чтобы запутать её и спастись. Слабый уже запах дичины то и дело переплетался с её собственным, и это волновало её кровь, и она оборачивалась назад, к шевелящейся лесной мгле, решая, не повернуть ли назад, не пуститься ли вновь в погоню?

Но тут знакомый запах заставил её забыть обо всём на свете. Так пахли резиновые бродни доктора Форстера. Теперь она двигалась по новому следу и через несколько минут вышла на лесную тропинку, с которой нынешним вечером уходила поднимать рябого. Тут уже во множестве обнаружился следы самого хозяина, и её собственный след, и отстрелянные гильзы двенадцатого калибра — ещё свежие, кисло пахнущие палёным порохом, и два фантика от вишнёвых карамелек, накануне купленных доктором в местном сельпо. Всё указывало Бьянке, что хозяин тут топтался, возвращался несколько раз в лес — искал её, Бьянку, не один час, до самой темноты. Здесь лайка постояла немного и, всё поняв, знакомой тропинкой побежала к дому, где уже пробуждался от дремы, собирался на поиски пропавшей собаки огорчённый Иван Сергеевич.

Он заметил её сразу, как вышел на крыльцо в пепельном молоке северного утра. Бьянка уже подходила к дому — грязная, еле живая. Ничего не сказал Иван Сергеевич. Опустился на коленки, прижал к телогрейке благодарную, измученную морду. Гладил по голове, провёл рукой по грязной холке. “Молодец, Бьянка! Хорошая девочка! Где же ты, роднуля, была?” — шепнул на ухо.

Весь следующий день она отлёживалась возле печки, вдыхая тёплый аромат полыхающих дров и каленого кирпича. Но прежде Иван Сергеевич долго мыл, отскребал от засохшей земли и сора её шерсть, счёсывал насекомых, клещей, сосновую красную пыль да прошлогоднюю хвою. А потом кормил варёной говядиной с сахарной косточкой да кефиром магазинным, да печеньем овсяным, сладким — в усладу.

Этими ласковыми хлопотами навсегда заканчивалась их счастливая жизнь с Иваном Сергеевичем.

Только Бьянка этого ещё не знала. А Иван Сергеевич даже не предполагал.

7

Собирался доктор Форстер в обратную путь-дорожку недолго. Побросал в рюкзачишко грязное шмотьё, разобрал да зачехлил в оливковый брезент ружьё, разложил оставшиеся патроны по картонным коробочкам, один к одному. Бродни, прорезиненный армейский плащ, ягдташ кожаный снёс в сени к дяде Николаю — схоронить до осенней поры. Туда почему-то отнёс и кожаный поводок с карабином. Повесил на ржавый гвоздок ошейник. Подошёл к Бьянке — та ещё отлёживалась возле печи. Погладил по голове мягкой, как тесто, рукой.

— Прости меня, Бьянка, — промолвил виновато, — прости, что приходится тебя предавать. Не по своей воле, поверь. Не жить нам всем вместе в этой Москве проклятушей. Был бы я один, другое дело. А тут эта. Понимаешь? Жизни нам с тобою не даст. Я бы выгнал её. Честное слово, выгнал, да мужику одному никак нельзя. Понимаешь? Плохо это. Тоскливо... А ты не бойся. Дядя Николай мужик хороший. И Ольга добрая женщина. Они тебя не обидят. В сытости будешь, в тепле. И лес рядом. Ты его хорошо узнала.

А в Москве какой лес? Нету там леса. Уезжаю я — до сентября. Всего-то! Осенью вернусь. Пойдём с тобой на охоту. Не обижайся на меня, Бьянка. Всё будет у нас хорошо с тобой. Просто отлично будет.

Что могла ответить ему собака? Лежала, помахивая в ответ на его слова хвостом, и не отводила от него взгляда. Он не часто разговаривал с ней вот так, а тут расклеился, глаза его заблестели мокро. Лайка пыталась и не могла понять его. Однако не встревожилась. Потому и не увязалась за ним, когда вышел из горницы, закрыл за собой дверь. Голос его раздавался теперь возле рябининского дома. Она слышала его и оттого не чувствовала беды.

— Стыдно мне, Коля, — говорил тем временем Иван Сергеевич Рябинину, — стыдно, что оставляю собаку, предаю... Что ни говори, как ни оправдывайся, всё одно — предаю. Мой грех... Но ничего, брат, не подлаешь. Ты уж позаботься о ней, пожалуйста. Возьми вот три тысячи. Она кефир любит. И печенье овсяное. Знаю, что ты свою скотину этим не балуешь. Но ты уж ради меня, Коля, пожалуйста... Хоть иногда.

— Да ты, Сергеич, не переживай. За лаечкой твоей догляжу. Мобуть, не по-вашему, не по-городскому, однако с голодухи не околеет. Сей год, должно, Дамка сдохнет. Плохая стала. Вот и будет нам со старухой забава — Бьянка твоя беленькая.

— Ты хоть иногда с ней в лес хаживай. Ей без леса хана настанет. Всё ж порода охотничья. Генетика. Не ровён час — уйдёт. Ищи-свищи её тогда по вашим чащобам. Жалко...

Мужчины ещё постояли. Потом обнялись крепко, поцеловались по-православному, троекратно. Иван Сергеевич закинул за спину рюкзак и, не спеша, переваливаясь, как старый гусак, побрёл в сторону моста через Паденьгу. Обернулся всего раз, уже с того берега, с облезлого крутояра, где среди сосен притаилась железобетонная коробка автобусной остановки. Обернулся, подставляя ветру слезящиеся глаза и ничего почти не различая. Но горестно, удивлённо угадывая каким-то далёким чувством, что видит в последний раз и Астахино, и Паденьгу, и лес, и эту автобусную остановку. И белую лайку Бьянку. Что вернуться ему сюда не суждено.

А в эти самые минуты в неизъяснимой тревоге рвалась на улицу белая лайка. Но деревянную дверь дядя Николай предусмотрительно припёр снаружи по северному обычаю коротким дрыном, так что вырваться из заперти у Бьянки не было никакой возможности. Но разве знала об этом брошенная собака? Как могла поверить, что хозяин оставил её навсегда? Она бросалась на дверь, драла её когтями, рвала зубами. Смолянистым крошечком, острыми занозами древесины саднила ей пасть, но Бьянка только отплёвывалась кровью и продолжала кидаться и грызть преграду, что отделяла её от Ивана Сергеевича. Силы оставили её ближе к ночи. Бьянка рухнула возле двери на дощатые, забрызганные кровью, слюной, усеянные древесной трухой половицы и заскулила — жалобно, обречённо.

Никто не откликнулся на её горе. Только серенькая полёвка беззвучно проникла сквозь драную щель в двери и уселась напротив Бьянки, глядя на неё крохотными бусинами чёрных глаз и подрагивая паутинками усов. Стояла полная луна. И её молочный свет освещал веранду, где молча смотрели друг на друга молодая породистая собака и безродная полевая мышь.

Лишь к утру сморил Бьянку тяжёлый сон. Она закрыла глаза, но, казалось, тут же открыла, разбуженная грохотом шагов, знакомым, но вместе с тем чужим голосом, привычным, но не любимым ею запахом чёрной редьки, наёма, сырой земли. Скрипнул натужно еловый дрын, что припирали снаружи дверь на веранду. Тренькнул ржавым механизмом запор. Скрипя, отворился светлый проём, и сразу пахнуло в него жжёным листом, зябким утренним ветром. Вошедший склонился над Бьянкой.

— Ух, ты, как ухайдакалась-то, сердешная! — молвил дядя Николай. — Накось, похлебай горяченького. Авось полегчает.

Он, не мешкая, вышел, и на веранде вновь стало сумрачно. Скрипнул еловый дрын, припирая накрепко темницу.

Вкусно пахло тёплым варевом. Но есть Бьянке совсем не хотелось. Теперь она страдала оттого, что не могла справиться нужду в человеческом жилище.

Вся порода её запрещала снизойти до такой низости, до паскудства такого — гадить там, где живёт человек. Однако человек сам не оставил ей иного выбора, заточив в эту темницу. Измождённо бродила Бьянка из угла в угол летней веранды. Вновь скулила. Словно жаловалась, что помимо воли своей, вопреки рассудку и крови вынуждена искать здесь отхожее место. Покуда не присела поближе к тому углу, из которого несло весенней сыростью двора. И облегчилась. Вскоре собака уснула, а когда проснулась, увидела рядом с миской знакомую полёвку. Не обращая внимания на грозную животину, та за обе щеки уплетала кусочек варёной морковки, что-то ещё из расплёсканной по половицам еды. Бьянка подняла голову. Полёвка вздрогнула, испуганно посмотрела на собаку.

“Не бойся, — взглядом сказала ей Бьянка, — я не трону тебя. Можешь жить тут, сколько захочешь. Вдвоём веселей”.

Ничего не ответила ей полёвка, но, кажется, всё поняла. И вновь принялась уплетать морковку.

Так, взаперти, без аппетита, в унынии, в обществе разве что полёвки провела Бьянка ещё один день.

Иван Сергеевич тем временем благополучно вернулся в столицу. Москва пахла тополиным соком. Стеснительные таджики подметали, ссыпали в тачки зимний мусор. В воздухе стояло голубоватое марево бензинового и дизельного перегара. Откормленные менты собирали с автолюбителей обычную свою подать. В золочёных куполах церквей ярко полыхало солнце. Трепетала крыльями в небе стайка беспечных почтарей.

Словом, Москву захватила весна.

Сиротка встретила Ивана Сергеевича в розовом кимоно со змеями, купленном на Черкизоне всего за триста пятьдесят целковых. Встретила сонная, со следами засынок в уголках глаз, с припухшими губами и спутанными тонкими светлыми волосами. Кимоно едва прикрывало её крепкие острые дойки с тёмными бусинами сосцов, упругий, плоский живот и тёмный пухок внизу, от одного вида которого Ивана Сергеевича одолела сладкая и липкая, как сахарная вата, истома.

Сиротка будто и не заметила, что сожитель её вернулся домой без собаки. Не спросила о ней, как, мол, она и что с нею стало? Но внутри маленького и гаденького сердечка Сиротка торжествовала победу. Всё ж таки пообломала она рога старому пердуну, добила, чего хотела. И впредь будет именно так. И никак иначе. Собачка — это ведь только начало. Следующий рубеж — свадьба. Потом прописка. И, наконец, квартира. Худая, конечно, заморочная. Да ведь лиха беда начало. И ей всего-то двадцать два года. Целая жизнь впереди. Сколько ещё у ней таких Иванов-дураков будет. И не сосчитать.

Примерно таким образом мечтала про себя оголённая Сиротка, помогая доктору Форстеру снять с плеча рюкзак, волглую телогрейку вешая на крючок в прихожей да расшнуровывая офицерские берцы. Чтобы старый козёл и вовсе разомлел от её заботы, налила ему из чайника яшмового чая, заботливо подкладывая жёлтое колёсико лимона. И, главное, глядя участливо и с заботой. Чтoб именно с ней он чувствовал себя на вершине человеческого счастья. А уж если к этому всему добавить чуток эротических фантазий, тут ему и вовсе кердык настанет. Был мужик, и вот его уже нет. Манная каша останется. Размазня.

Впрочем, как ни старалась, как ни рассчитывала Сиротка, коварным её замыслам так и не суждено было сбыться.

Через пару месяцев усталый заблудший сперматозоид с полным набором ДНК Ивана Сергеевича всё же настиг блудливую яйцеклетку Сиротки и просочился сквозь её мембрану. Примерно в то же время тонкие корешки метастаз проросли в правое полушарие доктора Форстера и потянулись в лобную долю. Так что известия о неоперабельной опухоли головного мозга и скором отцовстве Иван Сергеевич получил практически одновременно.

На излёте августа, когда охотники чистили ружья и закупали по лавкам новые патроны да перетряхивали залежавшееся с весны шмотьё, а по полям, по солнечным, пахнущим первым прелым листом полянам полетела первая

паутина, вот тогда-то и отошла к Богу грешная душа Ивана Сергеевича Форстера. Отошла в глухом забытии от морфийных препаратов, которыми его накачивали с утра и до вечера, чтобы он уже и не чувствовал этой жизни, и не видел её, и не знал.

Поднимаясь над собственным телом выше и выше, душа ветеринарного врача Форстера ещё сутки металась над городской больницей наподобие испуганной птицы среди таких же перепуганных душ. Но потом вспорхнула немело. И исчезла. Теперь уже навсегда.

Беременная сожительница Ивана Сергеевича, укутанная в чёрные одежды, не проронила на кремации ни единой слезы. Даже когда целовала покойника в фарфоровый лоб, даже когда обитая красным и чёрным крепом домовина уплывала под пол к огнедышащей топке, даже тогда бледное лицо Сиротки оставалось безучастным, отрешённым. В горестные эти минуты она думала лишь о стоящей напротив крупной рыхлой женщине в шерстяном жакете с брошкой на груди. Женщину звали Валентина Сергеевна. Она приехала в Москву утренним поездом из Салехарда, где занимала пост депутата местного законодательного собрания. Доктор Форстер никогда не рассказывал Сиротке, что у него есть родная сестра-депутат. Уже на следующий день после похорон Валентина Сергеевна явилась к Сиротке в сопровождении участкового, нотариуса и двух мужиков атлетического сложения. Вкрадчивым, но не терпящим возражений голосом она объяснила беременной девушке её ложные права и сомнительные обязанности, а также заявила о собственных законных правах на квартиру покойного брата. В качестве компенсации сестра передала Сиротке тысячу долларов США и получила расписку в их получении. После этого атлетические юноши помогли Сиротке собрать её вещи и даже донесли их до студенческого общежития. А участковый, передав ключи законной хозяйке, опечатал квартирную дверь вплоть до дальнейших распоряжений.

Так закончился очередной незамысловатый московский мезальянс, на который так падки глупые провинциалки.

8

Бьянка так и не узнала, что Иван Сергеевич умер. Она ещё верила, что он вот-вот вернётся за ней. И потому каждое утро в восемь и каждый вечер в шесть (ровно во столько тормозил возле остановки дребезжащий доходяга-автобус) мчалась опрометью через всё Астахино, белым снежком металась по мосту через Паденьгу, ютилась у краешка бетонной коробки, возле мусора — россыпи лузганных семечек, нескольких бутылок из-под “Клинского”, искурренных до самого фильтра сигаретных и папиросных “бычков”. Но каждый новый автобус привозил в Астахино каких-то иных, порою даже очень хорошо знакомых Бьянке людей: продавщицу сельпо Любашу, что любила угостить её магазинным сладким гостинцем; учителя русского языка Льва Николаевича; егеря Витю Кузина; фельдшера Матвея Едомского с женой его Ангелиной. Много людей встретила за эти долгие месяцы на автобусной остановке Бьянка. Только вот один-единственный, ради которого она и прибежала сюда два раза в день, всё не ехал никак.

Уже и сентябрь золотой померк. И октябрь натянул мокрым ветром, пронёсся пёстрой шелухой листопадов. Глядишь, ноябрь через неделю-другую придёт с первыми морозцами, с белой порошей на грустных полях.

Первую неделю, покуда Бьянка ещё рвалась на волю, дядя Николай держал её в том самом летнем домике, потом ещё две недели — во дворе, на цепи, а когда собака наконец-то привыкла и к голосу его, и к рукам, и от супруги шарахаться перестала, словом, когда немного пообжилась, начал дядя Николай отпускать лайку из-под домашнего ареста. А осенью и вовсе отправил на вольную жизнь. Днями шаталась теперь Бьянка по деревне, как могла, промышляла дичинку по окрестным лесам, а то кормилась у добрых людей. Однако почевать возвращалась к дяде Николаю. Здесь её ожидала большая миска горячего варева да старая телогрейка в сенях, где она могла укрыться от жары и непогоды, где ждала её с нетерпением пепельная

мышка-полёвка, та самая, с которой она познакомилась во времена своего тоскливого плена.

Крошечной мышке под крыльцом, в соседстве с большим зверем, который защищал её от бродячих котов, делился с нею горячим харчем да согревал своим могучим теплом, жить было и вовсе вольготно. Взамен она пела лайке на ухо колыбельные песни или бесконечно долго смотрела в грустные собачьи глаза. А это всё, что нужно было теперь Бьянке.

Но нет, не одна лишь старая полёвка сострадала снежной лайке. Большая и тёплая корова Маркиза со вздутыми боками и тяжёлым выменем, пахнущим маслом и тёплым молоком, позволяла ей на выпасе подходить совсем близко. И протяжно мычала в ответ, когда Бьянка жаловалась, что хозяин её все не едет и, должно быть, случилось что-то нехорошее, раз он не смог сдержать перед ней своё слово. Слушали Бьянку задумчиво две тучные курицы брамской породы и пекинская утка Дуся, единственные “нерусские” птицы в курятнике у Ольги, и оттого, должно быть, самые воспитанные, к чужим рассказам внимательные. Хотя, возможно, они просто изображали из себя сердобольных. Кто поймёт этих иностранцев? Большая семья пугливых кроликов тоже слушала лайку с интересом. Они тревожно шевелили усами, вздрагивали и вдруг всем семейством панически забивались в дальний угол. Участь кроликов, увы, была незавидна. Мало кто из них умирал естественной смертью. Большинству дядя Николай собственноручно отрубал голову, а хозяйка варила их мясо в русской печи. К счастью, кролики об этом ничего не знали, а потому и не жаловались на свою жизнь этой белой, совсем не злобной собаке.

Местные жители, из тех, что каждый день видели Бьянку на автобусной остановке, знали по сарафанному радио о смерти Ивана Сергеевича, и тоже старались облегчить лайке её сиротство. Та самая Любаша из местного сельпо, владельцами которого, по странному стечению обстоятельств, являлись чеченцы Дагоевы, несмотря на запреты, пускала собаку в торговый зал и незаметно, обычно в отсутствие покупателей, подкармливала то залежалым мятным пряничком, то старой ириской, а иной раз кусочком заветренного сыра или даже сосиской. Их она покупала на свою более чем скромную зарплату, потому как у чеченцев за ходовым товаром был глаз да глаз. Любаша подозревала, что дядя Николай осиротевшую собаку любит по-крестьянски скупно, да и сам по себе человек он прижимистый, пряниками Бьянку не попотчует, а уж сосиской — тем более. Чувствительное сердце сельской продавщицы оценило в лайке снежную непорочную красоту, стать, редкость экстерьера. Любаша понимала: не по своей воле оказалась собака в местах и условиях, вовсе для неё не подходящих, что была рождена и предназначалась она для лучшей жизни, исполненной наград на международных собачьих выставках, заботливого хозяина с барским замахом, достойного впоследствии кобелька и многочисленного, столь же породистого потомства. Однако ж простодушие и мягкотелость покойного ветеринара или, может, то, что называется судьбой, забросили её сюда, в таёжную глухомань, на прозябание и одичание. Возможно, точно так же Любаша думала и про себя. Что и она смогла бы жить иначе. Не здесь. И не так. Что и она, быть может, достойна совсем иной доли. Вот потому и радовалась искренне каждой встрече с белоснежной лайкой, угощала вкусным гостинцем. В ответ Бьянка, как часы, прибегала к закрытию сельского магазина, дожидалась, когда Любаша запрет его на тяжёлый замок, и шла рядом до самого дома, охраняя от праздно шатающихся беспородных псов да от подвыпивших, распоясавшихся мужиков.

За штaketником Любашиного дома ждал хозяйку её собственный кобель Чурка, поведением, манерами, визгливым норовом соответствующий идеально такой кличке. Ждал муж — ветеран кавказской кампании. Слегка контуженный, а оттого к действию алкоголя весьма восприимчивый. Да вдобавок до дикости абиссинской ревнивый. Так что одна только мысль, что супруга служит у “чехов”, мысль, усугублённая ежедневным “мерзавчиком” палёной осетинской водки, превращала его в беспощадное чудовище, к тому же вооружённое десантным тесаком и охотничьим ружьём шестнадцатого калибра. Ждала Любашу и сварливая злая свекровь Зина, приглашённая из дальней

отсюда деревни, чтобы сидеть с двухгодовалым сыночком Павлушей. Полоротая грузная баба, проработавшая первую половину жизни охранницей на женской зоне под Каргополом, а вторую, аж до самой пенсии, в сельском совете, Зина эта, говорят, по молодости своей слыла бабёнкой, до мужиков охочей, испорченной, а потому богатый жизненный опыт теперь распространяла на молодую невестку, постоянно подозревая и упрекая ту во всевозможных грехах. Любаша спорила поначалу. Доказывала зачем-то. Да затем плюнула на вздорную эту “вертухайку” с загаженной философией и теперь попросту на все её упреки старалась внимания не обращать. Если бы не сынок, давно бы ушла от них Любаша. Бежала, не разбирая дороги, не ведая, куда. Разве для того она родилась? Для того живёт на этом свете?

Проводив до дому Любашу, лайка мчалась на другой край деревни, где в бывшей летней церкви расположилась теперь Астахинская начальная школа — совсем уже малочисленная, неукomплектованная. Это в советские времена школа полнилась с раннего утра до позднего вечера ребячьим гомоном. И была она не только комплектной, а самой что ни на есть общеобразовательной, к тому же средней. Теперь те времена — только на чёрно-белых фотографиях в школьном музее, рядом с пионерским горном да кумачовым штандартом с высоким гладью профилем Ильича. Да ещё в памяти Льва Николаевича Толстого, который тут и директор, и учитель словесности, и завхоз, и последний из могижан. Этому могикинину скоро стукнет семьдесят, но, коли и он, по примеру сельских дедов, сляжет на печку или, скажем, на лавочке полюбит лясы точить, то школу придётся закрывать. Потому как на нём она вся и держится. Математичка Прасковья Фёдоровна уж второй год просится отпустить её на заслуженный отдых. Всё крихтит. Всё жалуется на старческое житьё-бытьё. А воспитательница Валентина не ровён час и вовсе коньки отбросит. Тот год уже звенел по душу её колокольчик: все летние каникулы пролежала в райцентре с инфарктом. А больше и нет никого. Вот и весь педагогический коллектив. За неимением собственной семьи, которую, словно из снайперской винтовки, выбило новой капиталистической формацией (сын погиб в 90-е, в бою под Ачхой-Мартаном, а супруге всем селом не смогли собрать денег на срочную операцию), Лев Николаевич жил бобылём, занимал себя всецело работой и в школе зашивался до глубокой ночи.

Белая лайка давно научилась открывать лапой школьную дверь на хлипкой пружине. По тёмному коридору с печкой, в которой кипела на горящих поленьях пахучая сосновая смола, она теперь бежала в дальнюю комнату, где за разошедшимся от времени столом, под настольной лампой с громоздким абажуром зелёного стекла склонился над детскими тетрадками старик с лысой башкой и взлохмаченной седой бородою, точь-в-точь, как у его великого тезки. В кабинете Льва Николаевича тоже жарко дышала старинная изразцовая печка. С пожелтевших фотографий на стенах смотрели в пустоту чьи-то незнакомые лица. Букет сухих роз с памятного далёкого уже выпускного пылился в алюминиевом кубке за первенство района по городкам. Молчал чёрный телефон. Светящиеся стрелки советских часов “Чайка” отсчитывали совсем другое время. В кабинете пахло злым табаком. Бурлил электрический чайник. Радиоприёмник мурлыкал негромкую музыку.

Бьянке нравился этот старый человек, подслеповато щуривший глаза изпод очков в черепаховой оправе, нравился его кабинет, в котором она могла полежать возле изразцовой печки да послушать, как бурлит чайник и разговаривает сам с собою этот странный и добрый старик. “Что ж ты, душа моя, Маха, так размахалась-то? — говорил Лев Николаевич, открывая тетрадку в линейку, где нынешние первоклашки выводили палочки, крючки да окружности. — Это ж тебе не редьку дёргать! Эх ты, Николашка-промокашка! — сокрушался учитель, открывая другую тетрадь. — Совсем ты, видать, подустал. Или мать на повесть послала?” Так, шелестя страничками первых детских каллиграфических упражнений да сопровождая каждое особым словом, время от времени прихлёбывая из кружки с кремлёвской башней на боку крепкий, до черноты заваренный чай, проводил Лев Николаевич почти каждый вечер. Домой возвращался лишь по необходимости — покормить

ленивого кота Жмурика, полить цветы да помолиться перед светлым ликом Спасителя.

Вот в такой точно стылый октябрьский вечер и началась другая жизнь Бьянки. Новая жизнь.

9

Колочий ветер ледяной крошкой сёк глаза. Бьянка щурилась, но терпеливо брела вслед за Любашей по скользкой глине, обходила мутные лужи обочины, на которой ещё топорщилась жухлая трава, валялись мятые пластиковые бутылки, гнутая ржавая проволока и окурки — обычный придорожный хлам. Любаша одною рукой куталась в зелёный солдатский дождевик, доставшийся ей от воинских трофеев мужа, а другой прижимала к животу полиэтиленовый пакет, в котором тащила домой нехитрый деревенский провиант: килу серых макарон в развес, банку толстолобика в томатном соусе, две буханки хлеба, что выпекли прошлой ночью в местной пекарне на том берегу реки, да кулёк карамелек к чаю. Где-то в верховьях Паденьги сверкнула разлапистым обжигом серебристая молния. И через несколько мгновений пророкотал громовой раскат. Ветер окреп, зачастил мёрзлой крошкой сильнее, гуще, мешаясь с дождём, с тленом умирающей осени, шумно наполняя собою глубокие лужи, колдобины дорожной колеи и саму Паденьгу, что клочкотала рядом, за высоким частоколом серых дудок борщевика да мятых лохмотьев репья и полыни.

Деревня ещё не спала, окна покуда ещё светились разноцветьем телевизионных экранов, с которых счастливые и молодые люди предлагали местному населению средство от геморроя и надсаженных суставов, сладкую газировку “Пепси”, выигрыш путёвки на неведомые острова или даже целое состояние в один миллион целковых. Но даже деревенский народ научился уже, слава Богу, не разевать рот на столичную рекламу, а вот сериалов, одного и единственного своего счастья, пропустить никак не мог. Оттого и торчал вечерами возле цветных, спутниковыми антеннами оснащённых телевизоров, словно замороженный. В основном, конечно, женская часть, потому как мужская, приняв на грудь своё законное, дрыхла, окружённая фимиаом перегорелой водки, сала и чеснока, храпела тут же, на диване или на скрипучей панцирной сетке за дощатой перегородкой. Но это у тех, у кого мужики эти проклятушие были. Для вдовых же да брошенных, да разведённых, а таких в Астахино имелось немало, киношная жизнь и вовсе становилась единственной усладой дня, главной радостью, счастьем мимолётным.

В доме Любаши тоже переливалась жидкой радугой телевизионная мечта. Свекровь Зина, прижав хвост, дыхание затаив, следила за доном Антонио, как тот узнал на краю жизни, что дочка его Палома не родная. Для Зины эта тема была горячее кипятка. Уже два года, с того момента, как на свет появился внук Павлуша, подозревала свекровь, что прижила его невестка Любаня совсем от другого мужика. Искала тому неоспоримые доказательства: глядит ребяёнок отчего-то букой, говорит с запинкой, волосы не русые, как у отца, а с вороньим, нездешним отливом. И глазки чёрные, чужие, не в родню! Невестка тоже хороша! Работает у чеченцев, а ведь супруг её на Кавказе сражался с такими, не жалея собственной крови. Мужняя баба, а домой возвращается в ночь-полночь. Не иначе, стало быть, блюдет она с этими чурками. Даже кобелька в их честь Чуркой кличет. Эка он залива-ется. Знать, свою почувал.

Чурка, между тем, услышав голос Любаши, лаять перестал и, заискивающе поскуливая, перебирал лапами в надежде получить от хозяйки обычное вечернее угощение. Но внезапно скулить перестал. Подбежал к щербатому, местами залатанному свежей дранкой штaketнику и уставился на Бьянку, с жадностью вдыхая влажный аромат пустотной суки. Едва Любаша повернула деревянный закрытый на калитке, пёс, не разбирая дороги, не оглядываясь на зов хозяйки, бросился вслед за исчезающей во тьме лайкой.

Догонял её, перепрыгивая через глубокие мутные лужи, оскальзываясь на глиняных откосах и вновь поднимаясь. Обогнав и остановился, как вко-

панный. Бьянка продолжала идти — теперь по направлению к школе, где в жарко натопленном кабинете привычно пахло табаком и тапочками Льва Николаевича. Шла неспешно. Ни движением, ни даже звуком одним не выдавая внутреннего смятения. Словно и не преследовал её этот глупый деревенский кобель.

Но тот не отступал, шёл близко, следом. Несмотря на порывистый ветер, на ледяную крошку, больно секущую нос, лайка остро чувствовала запах Чурки, запах сырого, непереваженного хлеба и хозяйских помоев, которыми воняло из его приоткрытой пасти. Запах грязной, давно не чёсанной шерсти, слезящихся гноем глаз. То и дело кобель останавливался, поднимал голову и принохивался. И вновь неотступно следовал за Бьянкой.

У сельского магазина, подле которого раскачивался на осмоленном столбе ржавый фонарь с подслеповатой сорокаваттной лампочкой, Чурка неожиданно прибавил ходу. Но лайка услышала его приближающийся шаг. Резко обернулась. Подняла брыли и злобно ощерилась, обнажая острые белосахарные клыки. Чурка оторопел, остановился. И какое-то время наблюдал за удаляющейся сукой, не чувствуя, как дождь всё сильнее и жёстче сечёт его по спине. Но когда лайка скрылась из виду, вновь двинулся следом, жадно причуивая её запах. Единственный, неповторимый запах, за которым кобель мог идти хоть всю ночь, хоть в самое сердце тайги без отдыха и усталости.

Этот запах привёл его к школе и затерялся за входной дверью. Её на растянутой пружине Чурка с лёгкостью подцепил когтистой лапой и последовал за запахом дальше, по дощатому коридору. В конце его из приоткрытой двери был виден свет. Берёзовым дёгтем дышало внутри печное тепло. Слышался человеческий голос. И тихая музыка, от которой хотелось умереть или хотя бы потерять сознание. Чурка против воли вдруг собрался завывать. Но сразу забыл об этом, приблизился, заглянул внутрь. Возле печки на подстилке лежала белоснежная лайка, а за столом над бумагами склонился бородатый человек в очках. В то же мгновение лайка почувствовала запах дворового пса. Резко подняла голову и зарычала гулко. “Кто там? — спросил Лев Николаевич, отложил перо и поднялся с визгливого стула. — Кого принесло?” Он услышал, как в коридоре кто-то быстро бежит к выходу, а потому взял из угла старенькую “ижку”. Да только и ухватил, что стон ржавой пружины и гулкий хлопок закрывающейся двери. Не выпуская ружья из рук, старик всё же дошаркал до выхода, приоткрыл дверь и выглянул на улицу: по ней, то исчезая, то появляясь в фонарных отсветах, удалялась в ночь тень крупного кобеля. Толстой догадался: у Бьянки течка, и теперь от кобелей ей проходу не будет. Спасать её от них? Да как? Против природы не пойдёшь. К тому же собака не его, а так, приبلудилась, значит, и отвечать за неё он не должен. Лев Николаевич затворил дверь да задвинул тяжёлый кованый, ещё церковный засов, чтоб ни кобель, ни человек, ни дух нечистый не проник этой ночью в здание школы. Он и сам решил сегодня тут заночевать. Уж больно разыгралась непогода.

Но дух нечистый, похоже, проник в тело самой лайки. С того вечера она испытывала неведомую прежде истому, иногда её морозило, хотелось писать, а глаза вдруг пугающе слепли. Ей всё время хотелось пить, на баланду, что по-прежнему выставлял для неё Рябинин, даже глядеть не хотелось. Она начала оставлять за собой капельки крови и, сворачиваясь калачом, долго вылизывалась, ощущая всем своим собачьим чутьём странный, новый для неё вкус и запах.

Местные ухажёры, и в первых рядах оголтелые, цепи не знающие псы теперь сопровождали её повсюду. Шли за нею стая — старые и молодые, разных окрасов и норова, размера и породы, по большей части, конечно, дворового, местного завода, но встречались и заезжие, как и сама Бьянка, аристократы, вроде кудрявого чернявого эрдельтерьера Цыгана и коротконового нечёсаного шпица Муси. Этот злобного и неуживчивого характера недомерок, по причине пенсионного возраста и артрита, замыкая процессию, именуемую в народе “собачьей свадьбой”. Из последних сил перебирая короткими лапами, он тащился на запах пустотной суки, по наивности или по неискоренимой кобелиной натуре надеясь, что не будет растерзан молодыми

сородичами и его допустит к себе эта юная статная собака. Псы провожали Бьянку до подворья Рябиновых и ждали её, схоронившись за дровяником, в зарослях бурьяна, не смея приблизиться к штакетнику, из-за которого Николай грозился продырявить их собачьи шкуры из дробовика, запустил в свору обломком кирпича или поленом. Псы молча разбегались по своим укрытиям и снова ждали. Иногда какой-нибудь из них, уже, конечно, в ночи, отлучался до собственной будки, чтобы набить брюхо холодной баландой, а затем сломя голову мчался обратно.

Стоило Бьянке выйти за ограду, как вся компания дружно поднималась из кустов и в предвкушении возможного соития неотступно следовала за ней. Иногда кто-нибудь из псов помоложе отваживался выскочить вперёд и прогарцевать перед Бьянкой на манер арабского скакуна. Лайка в ответ щерилась сахарными клыками, злобно рычала, а пару раз едва не тянула назойливого ухажёра.

Однако неумолимая природа, хозяйский недосмотр, рутинное деревенское равнодушие к проявлениям собачьего естества да настойчивость кобелиного сообщества, в конце концов, завершили дело. Оно ведь как: будь ты хоть корги английской королевы, хоть лабрадоршей президента России, окажись в интересной поре на вольных российских палестинах да без хозяйского надзора, враз пристроятся к тебе кобели. Тявкнуть не успеешь, как обрюхатят, — без всяких, высокой породе твоей соответствующих церемоний. А, как говорится, по-нашему, по-простому.

Так и с породистой Бьянкой произошло. Хотя она и сама не поняла, как это случилось. Только вдруг почувствовала позади себя прогорклое дыхание Чурки. И его лапы — все в осенней грязи и свином наёме, ухватисто, крепко сжимающими сзади её тело. И что-то горячее, тупое, что входило в неё все глубже и глубже.

Разве можно было представить, что это случится с лайкой именно так? Ведь в истоках прежней её счастливой собачьей судьбы была десятилетиями выстраиваемая родословная, хозяин, отдававший ей столько заботы и любви, талант её — растущая неодолимая страсть к охоте. А дальше, как и бывало у её породистых соплеменниц, подобранный для неё тщательно, проверенный многократно партнёр — гордый красавец кобель. Такой, у которого в каждой частице семени природой влетены отвага, верность, экстерьер. Чьё имя вписано в толстые книги родословных. Чья кровь в союзе с задатками белоснежной суки дали бы славную жизнь новым поколениям лаек. Увы, выдающемуся потомству Бьянки, которым могли бы гордиться знатные заводчики, так и не суждено было появиться на свет.

В её теперешней убогой жизни бесконечный осенний дождь, жухлая трава, покосившийся сарай на краю забытой северной деревни, понурые морды беспородных псов. Как же неотвратимо! Как безысходно! Словно захлопнулась дверь клетки. И нет никакого пути назад.

10

Минул Новый год, а за ним Рождество Христово. Астахино по самые ставни завалило сахарным снегом, чистым, непорочным. Днём от него так нещадно слепило, что некоторые селяне напяливали на носы пластиковые очки с чёрными стеклами. Лунной ночью снег светился таинственно, будто в сказочном сне. Лютые морозы, что обрушились на наши края в конце декабря, чугунно сковали Паденьгу, проморозили чуть не до самого дна, загоняя сонную рыбу в глубокие затоны и ямы. Прозрачный воздух сделался таким колючим, что даже мужики рукавицами заслоняли лицо от его обид. А бабы и вовсе кутались в шерстяные платки по самые глаза, сразу и не поймёшь, кто такая. Семенили люди, хрустко скрипя валенками по узким тропинкам, протоптанным меж сугробов, от селы к дому, от школы на почту и оттуда опять к дому, чтобы, добравшись до натопленной избы, рухнуть на приступочку возле печи, rassупонить шубы, кофты да платки, прижаться спиной к тёплому побелённому боку да так и сидеть, раскрасневшись, взопрев, каждой клеточкой тела ощущая блаженство родного гнезда.

Точно так же в один из январских дней явилась домой и Ольга Рябинина, весёлая задорная бабёнка, многолетняя жена, соратник и закадычный друг дяди Николая, его, можно сказать, вторая половина. Заявилась половина эта прямёхонько с почты, где корявыми печатными буквами расписалась в получении заказной бандероли на имя супруга. А поскольку тот ещё потемну умотал за соляжкой на трассу, почтальонша Нюра Собакина без лишних формальностей вручила пакет его законной жене.

Ольга Андреевна Рябинина, пятидесяти трёх лет, уроженка Шенкурского района Архангельской области, в девичестве Телятина, имела характер лёгкий, норов покладистый и душу светлую, по каковой причине и прожила она с мужем своим тридцать лет с хвостиком хоть и без особого материального достатка, зато в полной, как говорится, гармонии. Иная бы от Рябинина с его закидонами да прежними завихрениями, возникшими на почве любви к спиртному, плюнула да, собрав свой девичий ещё сундучок, уткнула от него куда подальше. Иная разбила бы ему башку кочергой. Или удушила в блаженном подпирании подушкой. Иная. Но только не Ольга. По молодости она ещё пофыркивала на благоверного, бывало, и засандалит в него поленом или подойником; несколько раз случались у них в то время и битвы, можно даже сказать, вооружённые противостояния, когда Ольга носилась по двору с взведённой берданкой, а Коля драпал от неё с вилами наперевес. Слава Богу, оба живы остались, если не считать рябининской задницы, куда, под горячую руку Ольги, угодили несколько дробинок, к счастью, самого мелкого, девятого номера. Сама Ольга раны его “боевые” ценила особо: поглаживала мужнин зад всякий раз, коли разговор между ними вдруг накалится не в меру, напоминая ему тем самым об их, слава Богу, давно прошедшей оголтелой юности. С годами они притесались друг к дружке, словно камушки песчаника, характерами выровнялись. Многое, из-за чего в прежние времена возникали у них едва ли не смертоубийства, теперь и вовсе забылось, а может, само собою ушло. И стоит одному из них, как сегодня, отлучиться из дому хотя бы на полдня или, того хуже, дней на несколько, у другого и на сердце как-то мутно, и на душе свербит. Видать, приросли они друг к дружке за тридцать-то с хвостиком лет, не растащишь. Всю эту жизнь трудились они и кормились собственным хозяйством: держали корову, с десяток кур, двадцать кроликов да отрез земли в полгектара, на котором водилась у них разная огородная снесь, прежде всего, та, без которой крестьянская жизнь не в радость: картошка, редька, капуста да свекла.

С тех пор как советская власть медным тазом накрылась, Рябинин из колхоза по собственному заявлению решительно вышел. Ольга проработала ещё несколько лет, а после, когда и самого их колхоза с гордым именем “Заветы Ильича” не стало, устроилась учётчицей на лесопилку, к местному барыге Харитошке. Тут и батрачила по сей день, зарабатывая себе и Николаю на соляжку, патроны, спички хоть какие-то гроши. Муж её, в силу твёрдых политических и моральных устоев, ни на кого, кроме себя самого, батрачить не желал: ни на Харитошку, ни на нынешнюю власть, которую считал антинародной и даже богопротивной. В подтверждение и с призывом не терпеть государственного бандитизма, цитировал односельчанам разгромные передовицы из “Советской России”, “Правды” и даже прохановского “Завтра”. Однако недалёкие люди, сельчане, хоть и согласно кивали Рябинину и хором материли нынешнюю власть, но на баррикады не шли. И за топоры хвататься не торопились. Сколько раз (чаще, конечно, по пьяной лавочке) убеждал он жену свою Ольгу подпалить Харитошкину лесопилку и тем начать в Астахино восстание против засилья местной буржуазии. Та улыбалась ему в ответ широкой и светлой своей улыбкой, похлопывала по раненому мужнину задку и приговаривала: “Уймись уж, Робеспьер ты мой хренов!” А всё же ей нравилось, что муж смотрит на теперешнюю жизнь и рассуждает о ней гораздо твёрже и смекалистее иных односельчан.

Пока сидела с блаженной отстранённой улыбкой на ясном и чистом лице, прижавшись спиной к тёплой печи, да вспоминала о громких, всегда поперечных власти речах муженька, глядь, и время промчалось северным ветром. На часах-то уж и к полудню шло дело.

— Гли-ко, девка, — запричитала Ольга, вскочив со скамейки, словно её колодезной водой охолонуло, — тее ж еще по дому управляться!

Схоронив пакет на этажерке возле телефона, где они держали свою нехитрую корреспонденцию, счета да извещения от местных властей; угрозив див на оловянный крючок тяжёлую шубу искусственного мутона, что подарила ей Николай без малого десять годов тому назад к юбилею их совместной жизни, принялась Ольга Андреевна за ежедневную бабью работу — тяжёлую, неблагодарную, вечную. Хорошо ещё, со вчерашнего, воскресного дня наварила она щей кастрюлю, что нынче, должно, уже замёрзли в кладовке, да там же — полная латка солёных волнух да хрустящая злая редька из подполья. Если надрать её на крупной тёрке да золотым душистым маслом полить или домашней сметанкой приправить, первостатейное лакомство выйдет. Кроме того, у Ольги ещё и полкроля томилось в печи, почитай, всю прошлую ночь, вместе с картошкой, морковкой и луком.

Набросив на плечи мамкин ещё пуховый платок, выскочила Ольга во хлев, чтобы вилами накидать Маркизе свежего сена, да не одеваясь, бегом по утопанному до ледянки снегу, к бане, где упрятана гордость её, стиральная машинка “Аристон”, что привезла ей в подарок дочь Маруся из районного центра. Запихала в барабан из нержавеющей стали портки да фарты свой затёртый, да с пяток полотенец, да невесты ещё какого расхожего барахла. Сыпанула стирального порошка. Теперь только кнопку нажать. Дальше чудо-машинка всё сама сделает: и постирает, и прополосчет, и отожмёт, ещё и сообщит тоненьким звоночком об окончании своей работы. Разве что в зад не поцелует! Это в прежние времена, какие Ольга ещё помнила свежо и ярко, бабы бучили бельё возле реки. Калили в кострах круглые речные камни. Шоркали портки да рубахи вместе со щёлоком на цинковых досках. Да выбивали дружно остатки щёлока деревянными колотушками-кичигами.

Ох, тяжёлая была работа! Полдня на ней мукохаться, не меньше. Но и бельё, не чета нынешней, машине порученной стирке, куда как свежее получалось и чище. Пахло студёной проточной водой. Холодным речным камнем. Подводными травами. Пахло праздником и счастьем...

Возле избы Ольгу уже ждала отяжелевшая, неуклюжая в своей беременности Бьянка. Шкура её почти сливалась со снегом, отличаясь лишь едва приметным оттенком топленого молока. Но чёрные и влажные, как речные камешки, глаза лайки, её блестящий, с глянцем нос, розовый язычок, что подрагивал в улыбающейся пасти, выделялись на залитом солнцем снегу играючи, ярко. Собака улыбалась Ольге. Приветствовала её издали радостным махом хвоста-закорючки.

Собачья радость по-ребячьи бескорыстна и чиста. Нет за ней умысла или какой-то выгоды, как часто случается в человеческом общении. Нет в ней желания вызвать сочувствие, склонить на свою сторону или просто повеселить. Нет никаких манипуляций. Радость собачья идёт от сердца, из глубины души. И оттого совершенна. Повизгивая и пофыркивая, Бьянка прыгала, пытаясь дотянуться теперь до лица Ольги, её глаз, ушей, чтобы вылизать их, вобрать в себя её запах, наполнить женщину эту дикой своей, первозданной любовью.

— Да ты, кабуть, не меня ли дожидаетесь, Бьянка? — приветливо крикнула Ольга, обнимая ликующую собаку, ощущая лицом жаркое её дыхание, шершавую влагу языка.

Теперь, когда лайка ходила брюхатая, Ольга по-женски сочувствовала ей и чаще пускала на ночь в избу, чтобы та не заморозила на лютот морозе своих щенков. Теперь и куски ей доставались пожирнее, и варя погуще. И слово ласковое чаще доносилось до её чутких ушей. И казалось ей, всё точно так, как во времена её юности, когда рядом была мать, а позднее — заботливый доктор Форстер.

В избе Рябининых Ольгой было теперь определено и постоянное место для лайки, с чистой тряпичей, куда, опустив голову, виновато проходила она, чувствуя на себе недовольный взгляд хозяина. Тот не одобрял присутствия собак в доме, но, подавшись увещеваниям Ольги, что лаечка эта в особом сейчас положении, смирился, только молча зыркал в её сторону угольными глазами. Но сейчас хозяина не было. Бьянка вошла вслед за

Ольгой, не торопясь, благодарно поигрывая хвостом, всё ещё улыбаясь. Подошла к миске, куда хозяйка уже выливала тёплую варю. Жадно смела её, вылизав дочи́ста алюминиевую латку. И лишь потом, сытая, блаженно улеглась на своё место возле окна.

С того дня, как зародилась внутри Бьянки новая жизнь, она и сама, неожиданно и незнакомо для себя, начала меняться. Неведомые природные силы вдохнули в её кровь, мускулы что-то новое, неподвластное ей. Пугающий и сладкий яд проникал в каждую клеточку её организма, который затаённо расцветал ожиданием. Как и всякая мать, жила она теперь одним дыханием со своими не рождёнными пока детьми, прислушиваясь к каждому их движению и вздоху. Часами дремала в избе Рябининых, лишь изредка выходила к магазину доброй продавщицы Любаши или в школу, где всё так же приветливо встречал её директор Лев Николаевич Толстой. К автобусной остановке, возле которой она всё прошлое лето и осень напрасно ждала доктора Форстера, Бьянка теперь и не совалась. Не придет её друг, поняла она, разве что весной, когда вновь наступит охотничья пора.

Верные друзья — корова Маркиза да пожилая полёвка, да утка Дуся, да кролики пугливые — живо интересовались здоровьем ожидающей деток товарки. Что она ела, как спала, какие видела сны? Опытные, не одиножды рожавшие матери, они знали, как влияют сны на будущее потомство. Однако Бьянке ничего особенного не снилось. Только снег. Медленный и густой. Насчёт снов про снег ни корова, ни мышь ничего не знали. И потому только сочувственно вздыхали.

Старая собака Рябининых Дамка уже не огрызалась на молодую лайку, не злила её, старалась обходить стороной, зная по себе, насколько обострены все чувства матери в таком положении. Но и уживаться с соперницей не собиралась. Ждала, что её время ещё придёт, что непременно докажет хозяевам свою преданность и незаменимость. Вернёт себе право оставаться первой собакой в доме. А пока в избу не шла, как ни заманивала её Ольга. Опускала понуро морду и семенила прочь, всем своим видом выказывая пренебрежение к молодой суке и даже к месту, где её временно приютили.

...Дядя Николай заявился домой уже по сумеркам. Оставил “козла” возле сараюшки, в которой хранились у него автомобильные и тракторные запчасти да иной, в хозяйстве необходимый скарб: резиновые шланги, бочка с солидолом, лопаты, кувалда, к стальному лому приваренная, старая сенокосилка и подобранный когда-то двухметровый фрагмент ракетносителя “Протон”, чьё назначение в хозяйстве дяди Николая даже для него самого оставалось загадкой. В эту сараюшку перетащил он теперь с десятка двадцатилитровых канистр с соляжкой, чтобы завтра по свету перелить её в стальную бочку, его “НЗ” на случай повышения цен, войны или государственного переворота. В том, что это произойдёт в самое ближайшее время, дядя Николай даже не сомневался.

От избы пахло свежей соломой, пахло хлебом, куриным помётом, жирной едой, которую варила хозяйка, пахло полыхающим берёзовым поленом от вытянувшегося струёй печного дыма, что уходил в серое небо заодно с сотнями и тысячами дымных струй, поднимавшихся из таких же домиков и домишек по великой этой северной земле.

Ольга уже собрала на стол под образами на божнице и не позабыла две рюмочки-мензурки, из которых они сообщая дегустировали домашних самогон в ежедневном режиме. Настоянный на зверобое, липовом цветке, дубовой коре и кедровых орешках, был он цвета тёмного, словно взвар, хранился в большой бутылки и лишь по праздникам переливался в хрустальный графин. Покуда дядя Николай рассупонивался да валенки в галошах, побряхтывая, скидывал, на столе, выстланном клеёнкой с видами города Парижа, появилась мисочка солёных волнух, приправленных подсолнуховым маслом и крошечным ароматного репчатого лучка. Появилась литровая банка мочёной брусники. На фарфоровой селёдожнице — парочка лоснящихся серебряной шкуркой малосольных хайрюзов. Источающая тёплый пар горка варёных картох, присыпанных сухим душистым укропом. Только что из печи — алюминиевая кастрюлька наваристых щей из квашеной капусты, утиных

шеек и гузок. Да ещё из глиняной гусятницы сочился сладкий дух томлёной крольчатины. И, наконец, непременный каравай хлеба — домашнего, не сельповского, на наживе сотворённого, с пригорелой корочкой, в которой запеклись и зола, и мелкие угольки. Ломти от такого хлеба дядя Николай отрезал отточенным до бритвенного звона ножом. Пластал широко, прижав каравай к груди. Любил ломти толстые, одноручные. Крупной солью сдабри-вал да ещё чесночищем тёр. Грешным делом, любили они сладко поесть.

Дух сытного, жирного обеда густо растекался по избе.

После первой, обжигающей нутро рюмки, морщась и прижимая к носу хлебную корку, Ольга подорвалась из-за стола, метнулась до столика, где давеча оставила бандероль. И отдала её в руки хозяину:

— Вот, сёдни те пришло. Дак, я сразу-то сказать забыла.

Рябинин отложил ложку, которой, было, собрался хлебать щи, отвалил-ся на спинку стула и внимательно рассмотрел конверт. Был он каким-то нерусским. Не видно на нём ни снегирей, ни достопримечательностей русской земли, ни поздравлений с Новым годом. Вместо этого — пухлая, видать, с какой-то хитрой подложкой, жёлтая благородная бумага, на которой отпеча-таны были его фамилия и имя. И тоже — нерусскими буквами. На каком языке — хрен разберёшь. Однако четырёх лет изучения немецкого языка в верхопаднэгской средней школе в конце шестидесятых годов прошлого века ему всё же хватило, чтобы разобрать напечатанные латынью слова: Nicolai Ryabinin, Astajino, Shenkurskii raion, Arjangleskaia oblast, Russia. Адрес был правильный. Дальше по конверту оттиснуты штампы разных цветов. Голубые и зелёные марки с изображениями средневековых фрегатов и не-здешних птиц. Замысловатые цифры и буквы. Такой конверт даже открыв-ать было боязно. Не то чтобы читать.

Письмо было написано, как ни странно, по-русски:

“Уважаемый господин Рябинин! — говорилось в нём. — Адвокатская контора Juan Suarez y Hermanos выражает Вам своё почтение и спешит известить, что 03.11.2010 года в городе Ронда, провинции Малага, Испания на восемьдесят втором году жизни скончался Ваш отец, барон Fernando Alvarez de Blanco Vidal. В своём завещании, составленном и подписанном в присутствии нотариуса господина Pedro F. Riscal в означенном городе Ронда, он распорядился, чтобы всё движимое и недвижимое имущество, а также банковские вклады Вашего отца, согласно его собственноручному завещанию, перешли в Ваше пользование через шесть месяцев после дня смерти Вашего отца, то есть 03.05.2011 года. До означенной даты Вам необходимо лично явиться в нашу контору, расположенную по адресу: Centro de Negocios Fuente Lucena, Plaza Merced, 2229012 Malaga, Espana, с документами, удостоверя-ющими Вашу личность, и оформить все необходимые документы на вступле-ние в наследство у нотариуса. Наша контора предоставит Вам переводчика для ведения дел. С искренним уважением, Alfonso P. Suarez, адвокат.

Р. S. Помимо настоящего официального уведомления направляю Вам но-тариально заверенный перевод незаконченного письма барона, из которого Вам будут понятны многие этапы биографии Вашей семьи. Он хотел передать Вам его лично, однако апоплексический удар не позволил осуществиться его желанию. Оригинал письма хранится в нашей конторе. Вы получите его вме-сте с остальными делами Вашего отца, как только приедете в Испанию”.

— Господи Иисусе! — только и сумел вымолвить дядя Николай, всё ещё сжимая в руке заграничную бумагу. Сердце его колотилось. Рубаха на спи-не взмокла, словно он часа три колот дрова. Лицо осветилось улыбкой ума-лищенного.

— Помер кто? — бросилась к нему Ольга. Всё это время она неотрыв-но следила, как менялось лицо мужа, пока тот читал зарубежное послание.

— Батя мой помер, — молвил дядя Николай, — мать его, барон.

Он подскочил с дивана, сорвал с крючка овечий полушубок, набросил на плечи и, ни слова не говоря, плёная тапками, выкатился во двор.

Здесь он стоял, глядя на выстуженное, присыпанное звёздной крошкой небо, и глотал крупные мужицкие слёзы, которые давно не касались его об-ветренного, подёрнутого морщинами лица.

Возвратясь в избу — весь зареванный — дядя Николай первым делом сгрёб со стола чайную кружку с весёлым ёжиком, схоронившимся под грибом, да набуровил в неё самогона. Чуть не под краешек. Выплеснул в себя разом. Гулко играя кадыком, глаза закатывая. И не поморщился! Только склизкой волнухой придавил. Затем рассупонил розовый пластик и извлёк из него несколько страниц плотной бумаги с давленным баронским вензелем.

“Сынок, — обращался к нему с того света новоявленный иностранный папая, — прекрасно отдавая себе отчёт в том, что всё изложенное ниже может показаться тебе бредом умалишённого, я всё же считаю своим долгом рассказать тебе историю нашей семьи и обстоятельства твоего рождения. Если, конечно, мама не рассказала тебе всё прежде меня. Хотя я просто уверен, что не рассказала. Да и не знала она всего.

Я не стану живописать здесь пятисотлетнюю историю нашего рода, что берёт начало с эпохи католических королей, не стану говорить о послевоенной жизни, в которой у меня была другая семья и другой сын — ныне, впрочем, покойные. Совсем скоро ты сам об этом узнаешь. Сейчас мне гораздо важнее донести до тебя как можно подробнее, чтобы ты понял и не осуждал своего старого отца, почему я вдруг появился в твоей жизни. А ты — в моей.

В день военного путча, который возглавил генерал Франко 18 июля 1936 года, мне исполнилось 15 лет. Вместе с моей матерью и отцом, командующим 2-м отдельным полком Испанского легиона “Герцог Альба”, мы жили в Сеуте, на западе нашего протектората в Марокко. Я учился в школе при гарнизоне и мечтал поскорей уехать в Саламанку, чтобы там поступить в местный университет. Карьера военного, по той причине, что я слишком хорошо знал её на примере собственного отца, вовсе не прельщала меня своими перспективами. Красная пыль Магриба, завывания муэдзинов, контрабандисты со всех концов света, казармы, грохот солдатских башмаков на плацу, ленивая жизнь, единственной отдушиной в которой была гарнизонная библиотека с пожелтевшими страницами Лопе де Веги, Сервантеса, Валье-Инклана, паром до Альхесиреса — вот и всё, что осталось от моего отрочества в Сеуте.

Всё рухнуло в день, когда в Марокко приехал Франко. Именно с этого дня жизнь моей семьи, как и жизнь тысяч других семей бойцов Испанского легиона, пошла совсем по иному пути. Со слов отца, я помню эти бесконечные ночные совещания в Сеуте, когда Франко договаривался с генералом Хуаном Ягуэ выступить единым фронтом против республиканцев, помню, как ждали мы военных самолетов и судов из Германии, как провожали к причалу отца вместе с его Вторым отдельным полком “Герцог Альба”. Его гладко выбритую щёку с запахом дорогого одеколona “Дон Себастьян”, к которой я прижался в последний раз, и его шпагу с позолоченным, сверкающим на солнце эфесом. И их развевающийся на колючем ветру штандарт. Больше я никогда не видел своего отца.

Но много раз слышал. Я чертил на контурной карте боевой путь “Африканской армии” по Эстремадуре, где она соединилась с “Северной армией” Моля, с затаённым дыханием записывал услышанные по радио новости о битве за Бадахос, вырезал заметки из газет о сражении под Кордовой. Я знал, что отец получил контузию под Талаверой-де-ла-Рейна, а потом командовал нашим прорывом на Мадрид.

Здесь, в университетском городке под Мадридом, возле Дома Веласкеса, он и встретился со своей смертью. Как я выяснил позже, мой отец, которому только что исполнилось тридцать пять лет, принял её от сорокалетнего интербригадовца Игнатия Рябинина, приехавшего в нашу страну из СССР и воевавшего на стороне республиканцев в дивизии “Виктория”. В той засаде, которую они устроили у Дома Веласкеса, было много иностранцев. Из Франции, Венгрии, Америки. Но именно советский солдат Игнатий Рябинин, как я потом узнал, нажал на спусковой крючок гранатомёта, разорвавшего в клочья моего молодого отца. Нам с мамой даже нечего

было хоронить. В той мясорубке удалось опознать только его обгоревшую майорскую фуражку да кисть левой руки с обручальным кольцом и перстнем legionera. Их и прислали нам в марокканский гарнизон в запаянном цинковом гробу. Так мы их и похоронили на местном кладбище при соблюдении всех положенных при похоронах высших офицеров легиона почестей. Гроб с папиной рукой накрыли национальным флагом, солдаты произвели прощальный салют и оркестр сыграл гимн Испании.

В тридцать девятом году, оставив маму в Марокко, я как сын погибшего майора Испанского легиона без экзаменов поступил на юридический факультет университета Саламанки. Сбылась моя детская мечта. Однако мысль о не известном мне в ту пору советском офицере не давала мне покоя. Я не мог понять, почему так случилось, что именно этот человек, рождённый в далёкой, чужой мне стране, вдруг оказался именно в этот день и именно в этот час возле Дома Веласкеса и почему именно он уничтожил моего папу. И почему его дети не страдают от этого, а страдаю именно я? Что я сделал этому человеку и его семье? И за что он так нас покарал? Жизнь этого человека и моя жизнь казались теперь связанными отцовской кровью. Я решил найти этого офицера. Или хотя бы его семью, с тем, чтобы убить их всех до одного собственными руками. “Viva la muerte, y muera la inteligencia!”* — таков был лозунг Испанского легиона, что провозгласил его основатель генерал Хосе Мильяно Астраи. Этот лозунг я наколол на своей груди. Рядом с сердцем.

Почти полгода ушло у меня на то, чтобы узнать через отцовских друзей в окружении Франко о всех интербригадовцах из дивизии “Виктория”, которые оказались в нашем плену. И ещё несколько месяцев, чтобы при помощи местных адвокатов получить разрешение на встречу с ними. Раз в неделю, словно по расписанию, я садился на поезд, который ехал из Саламанки в Мадрид, или Кордову, или Барселону только лишь затем, чтобы идти в окружную тюрьму и расспрашивать пленных республиканцев о русском офицере, повинном в смерти моего отца. Вскоре я уже достаточно много знал об этом человеке.

Игнатий Рябинин приехал в Испанию летом тридцать шестого года и в качестве военного советника вступил в двенадцатую интербригаду под командованием венгра Матэ Залка. Участвовал в обороне университетского городка, а во время битвы при Гвадалахаре был тяжело ранен и отправлен в СССР. По словам его однополчан, до того, как оказаться в Испании, Игнатий служил в советской военной разведке в должности капитана. Жил вместе с семьёй в городе Колпино под Ленинградом. У него была жена и сын четырёх лет. На карте СССР я нашёл этот город и понял, что доеду до него от Ленинграда на поезде меньше чем за четверть часа. Оставалось собрать денег и отправиться в СССР на поиски моего личного врага.

Однако немецкие войска опередили меня и вторглись на территорию Советского Союза. Летом сорок первого в Испании объявили набор в “Голубую дивизию”. Надо ли говорить, что на призывной пункт в Ирун на границе с Францией я прибыл одним из первых? А 13 июля наш эшелон под звуки военных оркестров и благословение военного министра Валеры отправился в сторону немецкого лагеря Графенвёр. Здесь все мы прошли медицинский осмотр и получили новое обмундирование, которое отличалось от обычной немецкой пехотной формы только особым нарукавным знаком выше локтя. На знаке нашей дивизии был изображен щит зловещего вида с чёрной каймой. Середину щита пересекала горизонтальная жёлтая полоса на красном фоне, а на ней красовался четырёхконечный чёрный крест и пять перекрещивающихся стрел, брошенных веером наконечниками вверх. Замысловатое сооружение венчала надпись: “Esapa”. Отныне наше соединение стало называться 250-й пехотной дивизией вермахта.

Россия показалась мне бескрайней и безлюдной страной, в которой мне придётся исчезнуть без следа и памяти навсегда. Наш эшелон двигался всё дальше и дальше на север этой страны, оставляя позади себя остовы сгоревших домов, запах паровозной гари, мрачные безжизненные города, людей

* “Да здравствует смерть, смерть разуму!” (исп.)

и животных, глядящих на нас опустошёнными глазами. Мы кричали им, что скоро они станут свободными, что тирания большевиков и евреев падёт, но они только глупо улыбались нам в ответ, словно лишились разума. И махали руками вослед.

4 октября сорок первого года мы высадились под Новгородом и заняли участок фронта на линии Новгород — Теремец. А 16-го уже перешли в наступление. Это был мой самый первый бой. В тот день пошёл снег.

Через час мы вошли в Дубровку. И вот тогда я увидел впервые трупы наших врагов. Они валялись на мёрзлой земле с оторванными руками, ногами, разбитыми головами, несуразно вывернутые, присыпанные грязью, в лужах крови, сочащейся из их растерзанных тел. Это были ребята вроде меня. Ничем не лучше и не хуже. Быть может, они тоже учились в университете, возможно, изучали то же самое римское право, что и я, возможно, что, как и у меня, у них ещё не было девушки и они ещё не любили никого всерьёз.

До ноября наш 262 полк наступал на позиции русских, а затем начал отступать. Мы сдали Вишеру, затем Тихвин и откатились за Волхов. Испанцев сковал холод и страх, обратившийся вскоре в полное разочарование. И сколько бы раз ни приезжал на наши занесённые снегом позиции генерал Муньос Грандес, сколько бы ни прижимал наши озябшие души к своей героической груди, на которой позвякивал целый иконостас как испанских, так и немецких наград, ему так и не удалось растопить ледяной страх наших парней.

Но большинство уже просто не могло сопротивляться. Именно тогда я впервые понял, насколько слаба Испания и её мужчины.

В тяжёлых позиционных боях мы простояли на Волхове до августа сорок второго, потеряв около четырнадцати тысяч ребят.

По моим подсчётам, до Колпино было не так уж и далеко. На поезде я мог бы добраться туда за пару часов. Бои шли рядом, и когда я узнал, что несколько сотен солдат 269 полка были захвачены в плен под Красным Бором, а затем отправлены в лагерь, расположенный в этом самом Колпино, я впервые в своей жизни позавидовал, что не попал в плен вместе с ними. И сразу же погнал эту мысль прочь, потому что мой покойный отец никогда бы не простил мне добровольного плена.

В начале сентября испанцы сменили 121 пехотную дивизию вермахта на участке от Баболово до железнодорожной ветки Колпино — Тосно. Так мы включились в блокаду. А я, можно сказать, уже дышал в спину своему заклятому врагу Игнатию Рябинину.

Ходили разговоры, что мы возьмём Колпино со дня на день. В свой полевой бинокль я видел окраины этого города и даже гигантские серые айсберги цехов Ижорского завода. Я мысленно представлял себе, как с автоматом наперевес, словно тень, пробираюсь между этими зданиями, скольжу по улицам вместе с придорожной пылью, зорко всматриваюсь в окна домов, куда не нахожу в одном из них то самое, единственно нужное мне лицо, из-за которого я, собственно, и торчу уже целый год на этом грёбаном Восточном фронте. Лицо Игнасио. Со временем я стал его звать так, на испанский манер. Он был мне вроде родственника, которого я никогда не видел. Вроде брата Авеля, которого я хочу прикончить.

Но Колпино защищался героически. А мне только и оставалось, что печально и немощно взирать на него сквозь окуляры полевого бинокля. Так мы и смотрели друг на друга всю осень и начало зимы — я и город.

Утром 12 января сорок третьего года красные обрушили на наши позиции тысячи тонн стали, ураганы огня. Это был последний день моей войны. Во время ночного артобстрела двухсотграммовый осколок снаряда с отточенным, будто наваха, краем разрубил мой живот по диагонали слева направо. В таких случаях не чувствуют боли. Это правда. Изумлённо я смотрел на собственные кишки, которые, подобно голубым змеям, медленно вываливались из моего чрева, и спешно пытался засунуть их обратно, словно стыдясь за то, что такое со мной прилюдно случилось. А через несколько секунд словно кто выключил свет и звук в моей голове.

Очнулся я на операционном столе. При свете керосиновой лампы. Немецкий хирург зашивал мой живот толстой ниткой. “Она слишком толстая, — подумал я, — почти сапожная дратва”. И вновь расстался с сознанием. А когда вновь открыл глаза, услышал незнакомую речь.

Я оказался в плену. В лагерном лазарете. В Колпино. Ко мне приставили Сергея Михайлова. Во время гражданской войны он воевал на стороне республиканцев в Басконии, а теперь был переводчиком в НКВД, вернее, в управлении по делам военнопленных и интернированных. А я был очередным клиентом этого управления.

Через несколько дней стало ясно, что Сергею нужна подробная информация о нашем 262-м. Настроениях солдат и офицеров. Последних распоряжениях командования. Перемещениях и краткосрочных тактических задачах.

И вот тогда я решил торговаться с Михайловым. Я сказал ему:

— Слушай, Серхио, нам, кажется, уже ясно, что после Сталинграда война пошла совсем по-другому. Войне скоро конец. Давай так. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. В России я ищу человека по имени Игнасио Рябинин. Может быть, ты знаешь его?

— Конечно, знаю, — ответил Михайлов, — мы вместе уезжали в Испанию, плыли на одном корабле.

Сердце моё в это мгновение чуть не выскочило из груди, подобно кипкам из живота несколько недель тому назад. Я почувствовал запах Игнасио. Горький пот его подмышек почувствовал я тогда.

— Где он? — спросил я, сглатывая комок в горле.

— Рябинин погиб в сорок первом, — вздохнул, прикуривая злую папиросу, Михайлов, — в боях за Волхов. Там его и похоронили. Впрочем, тебе подробнее сможет рассказать обо всем его вдова Мария. Да ты знаешь её. Она работает врачом в лагерном лазарете.

Я действительно помнил её — хрупкую, смуглую брюнетку, чью оливковую кожу ещё сильнее оттенял белый халат. Она несколько раз подходила к моей кровати, я чувствовал её прохладную руку на своих ранах. И она улыбалась мне. Как не улыбалась, кажется, никому. Тогда я не обратил на это внимания. Но сейчас... Если бы она знала, что прикасается к кровному врагу своего мужа!

Во что бы то ни стало я решил вернуться в лагерный госпиталь. Сделать это было несложно. Гарнизонное детство научило меня множеству солдатских ухищрений в сфере медицинских симуляций, самым простым из которых была искусственная диарея, вызываемая несколькими граммами хозяйственного мыла натошак. “Ну, что, капитан, — спросила меня Мария во время первого же осмотра, — надеюсь, на этот раз ваша рана не смертельна?” Эта женщина неплохо говорила по-испански. А её андалусская внешность и грациозность вообще сбивали меня с толку. “Вы не испанка?” — спросил я ее. “Нет, — ответила Мария, — я с Украины”. На второй день она подседа ко мне на кровать, взяла за запястье, чтобы замерить пульс, и вполголоса сказала: “А ведь вы симулянт, капитан. Все анализы в норме. У вас нет никакой дизентерии”. И посмотрела мне прямо в глаза. Я тоже не отводил взгляда и мысленно умолял судьбу об одном: оставить меня в лазарете. “Тем не менее, я перевожу вас в инфекционный блок, — сказала она минуту спустя, — такое опасное заболевание не должно перекинуться на остальных военнопленных”.

Теперь я лежал в инфекционном блоке. Вооруженные охранники кемарили в конце и начале коридора. На окнах — хилые, второпях приваренные решетки, которые при желании можно было раскатать одной рукой. Но главное — здесь я был совсем один. План созрел молниеносно. Когда Мария придет ко мне на очередной осмотр, я задую её. Затем надену её халат и пройду мимо охранников в ординаторскую. Здесь возьму чужие документы и выйду из медицинской части на волю. Нужно только дожидаться, когда Мария будет дежурить в ночную смену.

И вот этот день настал. Она вошла ко мне, когда за окном протяжно выл ветер с Балтики и снежная крошка била в стекло. Керосинка у Марии в руке светила неярко. Так что я видел перед собой только её глаза — горячие

и влажные. Я не заметил в них страха перед неминуемой смертью. Ни даже её предчувствия. А лишь тихий, спокойный свет, который таился внутри ее души. В другом месте и в другое время я мог бы назвать его любовью. Если бы не война. Если бы не вражда. Если бы не смерть, что ходила по пятам за всеми нами. Мария, как и раньше, присела на краешек моей кровати, спросила меня о самочувствии и вновь взялась за моё запястье. Этого я и ждал. Свободной рукой обнял её за шею и прижал к себе. Я хотел поцеловать жену моего врага перед смертью. И во время поцелуя сломать ей шейный позвонок. Но она вдруг ответила на моё прикосновение, и сама прильнула к моим губам. Впилась в мой рот с небывалой нежностью и страстью. Она шептала мне какие-то слова по-русски, разрывала мои больничные одежды, она целовала мою грудь и живот с широкой раной по диагонали, и дрожала, сжимая зубами до крови мою руку — лишь бы не закричать. Я тоже мог бы кричать от счастья. И тоже сдерживал крик, больно сжимая её шелковое плечо. И тоже шептал ей ласковые слова по-испански, и не мог надышаться этой женщиной и ее, хоть и мимолетной, но не растраченной любовью.

Вот так это и случилось. Моей первой женщиной стала вдова моего врага. И я, конечно, не смог её убить.

Мы встречались ещё пять раз — до тех пор, пока меня вместе с другими испанцами не перевели в другой лагерь для интернированных, в республике Коми. Здесь мне предстояло прожить ещё почти два года, пока мама через Международный Красный крест не добилась моего освобождения и возвращения в Барселону, куда она перебралась из африканской Сеуты. Весной сорок пятого, когда Советский Союз праздновал победу в войне, я получил письмо с русским штемпелем на обороте. От Марии! Она писала мне по-русски, ни разу не назвав по имени. “Я не искала тебя, даже не думай, что могло быть как-то иначе, — писала Мария, — после нашей последней встречи я уволилась с работы и уехала в Ташкент, чтобы забрать сына из эвакуации. Но там, в Ташкенте, узнала, что мой сын Андрей умер от холеры в начале 1943 года. Там же я узнала, что беременна. Николай родился в ноябре сорок третьего. Ему уже полтора года. Он красивый и здоровый мальчик. Мы живем все вместе у моей матери на севере России. Я работаю. У меня всё хорошо. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся с тобой на этом свете. Поэтому я и пишу тебе это письмо. Просто знай: у тебя здесь есть сын. Когда меня не ищи. Это бессмысленно, бесполезно. Я дала Николаю отчество и фамилию покойного мужа. Прощай. Мария”.

Сотни раз перечитывал я это письмо, пока серые буквы не начали стираться от моих слез и прикосновений. Много раз я предпринимал попытки найти Марию и Николая, однако СССР в то время уже был закрытой страной, и на мои запросы через советское консульство в Барселоне приходили формальные отписки. Наконец, в середине девяностых, я обратился в телевизионное шоу *Quien sabe donde?** Но прошло еще несколько лет прежде, чем они напали на след Марии...”

12

Весь следующий день, и на завтра, и через три дня только и разговоров было в доме Рябиновых, что про почившего в Бозе папу. Вспоминались Николаю мутные мамины разговоры да странные намёки. На свет Божий впервые за многие годы были извлечены со дна древних семейных сундуков пожелтевшие, хрупкие, словно сухие листья, документы. Среди них и совсем случайно та самая секретная похоронка, которую мать никогда прежде не показывала сыну и в которой сообщалось о смерти Игнатия Рябина 28 октября 1941 года в боях за город Волхов, а вместе с ней — свидетельство о рождении самого Николая Игнатьевича от 30 ноября 1943 года, в котором в графе “отец” красовалось имя Игнатия. Две эти даты могли свидетельствовать

* *Quien sabe donde?* (исп.) — «Кто знает, где?» Телевизионное шоу в Испании. Аналог «Жди меня».

только о том, что мама родила от покойника. Или что покойный красноармеец Рябинин не был его отцом. Вслед за тем были подняты и самым внимательным образом прочитаны все девяносто семь писем, которые остались после смерти матери дяди Николая; все девятнадцать общих тетрадей в дерматиновых обложках, в которых она вела хозяйственные записи с пятидесятого по шестьдесят девятый годы; обнаружена и исследована картонная коробка из-под итальянских сапог, в которой хранились и вовсе бессмысленные бумаги: квитанции на оплату квартиры в городе Ургенч, диплом отличника областного комитета здравоохранения, бланки денежных переводов, театральные программки из Большого театра, а также выписки из санаторных карт. Даже анализ маминной мочи за май пятьдесят девятого года. Но ни в одном документе, ни в одной из бумаг дядя Николай со своей женой Ольгой не нашли даже ворсинки с парадного мундира дона Фернандо. Даже те ни его не нашли.

— Вот ведь женщина! — не переставал удивляться на мать дядя Николай. — Всю жизнь прожила с этим грузом. И ни малейшим словом. Ни намёком. Даже перед смертью не обмолвилась. Гвозди бы делать из таких людей, как предлагал поэт Маяковский.

Он даже поймал себя на мысли, что затаил на покойную мать обиду. Ведь он-то всё же имел право знать, что настоящий его отец вовсе не погибший на фронте красноармеец Игнатий Рябинин, как утверждала семейная легенда, а испанский барон. Ольга тоже сердилась на свекровь. И, подходя к домашнему иконостасу, глядя на Богородицу, всякий раз с укором шептала: “Нехорошо, мамаша, поступили. Вон, глядите теперь, как Николаша-то изводится. А всё ж по вашей, мамаша, вине. Могли бы и сознаться. Что ж такого-то?”

Через несколько дней бессмысленных попрёков и обид, после документального расследования, которое со всей очевидностью раскрыло мамину тайну семидесятилетней давности, принялись Рябиныны думать да гадать, как им теперь к папкиному наследству-то подступиться. Не единожды перечитав письмо, они, кажется, окончательно поняли, что дяде Николаю до конца апреля необходимо ехать в Испанию и вместе с паспортом явиться к нотариусу. Эта простая с виду задача казалась Рябининым из разряда фантастических, поскольку дядя Николай дальше районного центра Шенкурска носа не совал. По телевизору, само собой, слышал о существовании столицы нашей Родины Москве, а также множестве иных российских городов и весей, однако о том, чтобы поехать, ну, хотя бы в самый ближний большой город Архангельск, об этом и мечтать не смел. Да и куда ехать, если большое крестьянское хозяйство съедало всё его время, без остатка. Тут на пол-то дня за соляжкой смотаешься, и то душа не на месте: как там скотина, а как баня, а как чунки, что поставил на холод, а с крышей что, с назёмом? Прошлый год загрел в районную больницу. Сердце прихватило. Так он врача здешнего — дедушку с белой бородкой остренькой — извёл: отпусти ты меня, и всё тут. Через три дня всё одно сбежал из этой распрекрасной больницы, начеркав заявление: “никаких претензий не имею”. Драпал оттуда домой, аж пятки сверкали.

А тут — Испания...

— Ну его на хрен, наследство это, — бросил как-то в сердцах Ольге, когда они в очередной раз думали-гадали, как ему в Испанию эту попасть. — Жили без него сто лет, дак проживём ещё двести.

Но Ольге наследство получить очень хотелось. Тем более, что она, женскую свою интуицию в ход запуская да детские сказки про королей помня, проницательно предполагала: коли уж мужнин папа оказался испанским бароном, денег в его замке должно быть немеряно. Так что им на новую избу хватит, и на трактор, и может, даже... на иностранный автомобиль! Поди, ещё и останется.

— Нет, Коля, — настаивала она, — ехать тебе туда обязательно нужно. Я тут уж как-нибудь управлюсь. Ты этим голову не забивай. Вот только ехать-то как?

— То-то и оно.

Помогла неожиданно соседская девчонка Нюрка Собакина: отучившись в Вельском колледже на штукатура, она с успехом трудилась теперь в родном селе в сфере почтовой и междугородной связи.

— Да это теперь прощай пареной репы, — ответила Нюра на осторожный вопрос Ольги, как нынче в заграницу попасть можно. — Звоните в фирму туристическую и покупаете тур, куда хотите. Хоть даже в Китай. Только деньги плати. Они вам всё и устроят.

— Поди ж ты! — удивилась Ольга. — Даже в Китай! А в Вельске есть такие фирмы?

— Навалом, — кивнула Нюра. Вышла в соседнюю каморку и вернулась с районной газетой “Важский край” в руке. Развернула, показала тётке Оле яркое объявление: на нём были нарисованы пальмы и молодая бабёнка с едва прикрытыми сиськами. И телефон.

— А ты чё, тётъ Оль, в Египет собралась аль в Турцию?

— В её, — рассеянно кивнула Ольга, вчитываясь в текст объявления, — в её, родимую.

Через час она, еле справляясь с дыханием, набирала из дома заветный номер. И услышала на том конце провода девичий щебет. С первых мгновений их разговора девка Ольгу словно сладким мёдом мазала.

— Чем могу вам помочь? — спросила. — Хотите отдохнуть в Египте? В Турции? На Мальдивах или на Сейшелах?

— Нет, милая, нам этого всего не нужно. Нам бы в Испанию мужика нашего отправить.

— Отличный выбор, — затараторила девка. — Можем предложить отдых на Коста Брава и Коста дель Соль. Какого уровня отели предпочитаете? Какую линию? Всё включено или полупансион? Можем даже сделать вам таймшир. Правда, это будет дороже.

Девка сыпала незнакомыми словами, отчего смелость Ольги враз исчезла, энтузиазм пропал и руки опустились.

— Знаешь, дочка, — перебила девичий щебет Ольга Андреевна, — ты мне мудрено-то не сышь. Всё одно ничё не понимаю. Ты мне только одно скажи: как в Испанию эту попасть?

Девка примолкла на мгновение и вдруг просто, без затей, словно жила на соседней улице, сказала:

— Да, конечно, можно, тётечка. Всё вам сделаем. Не беспокойтесь.

Так оно всё и вышло. Через месяц, собрав по сусекам скромные сбережения да присовокупив денежку, отложенную на собственные похороны, дядя Николай стал счастливым обладателем заграничного паспорта Российской Федерации и туристической путёвки в Испанию. Надо сказать, первым за всю историю русской деревни Астахино.

13

К тому времени и Бьянке пришёл срок разродиться.

Роды у неё начались ближе к полуночи, когда не только в доме, но и в хлеву, и в курятнике сельское население догоняло второй сон.

Но ещё накануне она почувствовала необъяснимую тревогу. Поднималась со своей подстилки, подходила к миске со вчерашней кашей. Нюхала. Но от каши её мучило. Выходила на улицу. Но и здесь, на чистом воздухе, лучше не становилось. Бьянка возвращалась назад, к Ольге, заглядывала ей в глаза, крутила хвостом и поскуливала, прося о помощи, снисхождении или хотя бы о ласковом слове. Только хозяйка, как и всякий деревенский житель, такие простые естественные события, как рождение и смерть обитающих подле него тварей, воспринимала спокойно, с философией: выживут — хорошо, а подохнут, знать, на то воля Божья. Так что, потоптавшись возле хозяйки и получив от той сдержанную, усталую улыбку, беглое прикосновение руки, лайка вернулась к своей лежанке — беспокойно прислушиваясь к тому, что происходило внутри её переполненного, тяжелого чрева.

Ей смутно, как в обморочном сне, вспоминались ласки матери, всегда доступное сладкое молоко ее сосцов, ее бесконечная любовь к ней, Бьянке,

постоянная, неуклюжая возня братьев и сестер, вместе с которыми тесной семьей она жила когда-то в вольере для чистокровных лаек. Теперь и сама она станет матерью. А значит, та бесконечная любовь ее матери прольется в глубь времен, от Бьянки — уже к ее детям, а от них дальше и дальше...

Чувствуя приближение родов, Бьянка то поднималась с подстилки, вставала, потом вдруг начинала рвать её зубами, отплеиваясь от кусков ткани и слежавшейся влажной ваты. И снова в неосознанном беспокойстве падала на разодранную телогрейку, вытягивая вперед длинные белоснежные лапы. Потом почувствовала, как из неё выходит густая слизь. Жалобно заскулила, поминутно оборачиваясь назад, к хвосту.

Прошло немного времени, и все внутри неё начало вдруг с силой сжиматься и разжиматься: это, растягивая и разрывая её плоть изнутри, пошел вперед её первенец. Бьянка заскулила, завалилась на бок. Щенок шел медленно, тяжело. Несколько раз схватки вдруг замирали, и этих мгновений лайке хватало, чтобы сделать глубокий выдох. И снова захлебнуться, дышать порывисто, едва поспевая за собственным сердцем, готовым от напряжения разорваться в куски.

Так продолжалось не менее часа, прежде чем из её растянувшегося кольца появился синюшный, глянцево сверкающий пузырь, внутри которого, в окружении околоплодных вод, помещался её первенец. Пузырь был похож на недозревший баклажан. Но в какую-то секунду лопнул, орошая бесцветной жидкостью шерсть лайки, разверзшееся, жарко дышащее ее лоно, обнажив торчащие короткие пятнистые лапки. Последним усилием, последним толчком мышц она вытолкнула щенка наружу. Торопясь обернуться к нему, неловко присела на щенка тяжелым материнским задом, чуть не переломав его хрупкие, как у насекомого, косточки.

Бьянка лизала сухим языком его шерстку и дивилась пегому, в черных подпалинах, окрасу щенка. Его туповатой морде, совсем не похожей на остренькую материнскую, круглым мясистым ушам, лапам с широкой ступней. Ничего в нем не было от Бьянки! Разве что немного белого окраса да хвостик, в котором угадывалась будущая тугая закорючка.

Облизав его с головы да кончика хвоста, она перекусила веревочку пуповины и только сейчас улыбнулась неизвестно кому и зачем. Через несколько минут из неё вышел разорванный послед. И, повинувшись какому-то древнему инстинкту, Бьянка тут же его проглотила.

Другой щенок двинулся внутри неё скоро, едва она успела подтолкнуть первенца к жесткому, напрягшемуся молозивом, сосцу и тот ухватился за него слепо, отчаянно, голодно. Второй шел проворнее первого, подталкиваемый подрагивающими мышцами матки, втискиваясь во влажные, покрытые слизью и влагой родовые пути — туда, где пахло неведомыми запахами человеческого жилья, перепрешей телогрейки и материнского молока, которым уже давился, чавкая, его старший брат. Второй вывалился из материнского чрева тяжело и влажно в неразорванном пузыре. И Бьянка поспешила порвать пузырь зубами, чтобы щенок не захлебнулся. Но тут послышался истошный писк потерявшего сосок первенца, и мать резко повернулась к нему, случайно зацепив задней лапой хрупкое тельце новорожденного. Желтый её коготь, хоть и сточен был, хоть не острый, но передавил, видать, тому горлышко, не давал вздохнуть. Он был еще мокрым и теплым и пах её смазкой, когда она вновь принялась вылизывать его. Но щенок уже не шевелился, не дышал, не издавал звуков. Несколько раз лайка ткнула его горячим носом, перевернула на спинку, снова обнюхала. Тот не шевелился. Он был таким же пятнистым, как брат, таким же мордатым, широколапым. Только белого цвета в окрасе его было побольше. И ушки острее. Мертвый щенок лежал перед матерью на спине с поджатыми лапками, распущенным хвостом. Бьянка дотронулась до него языком и ощутила, как коченеет его тельце. Как смерть отнимает у неё сына.

Она не скулила. Не плакала по мертвому щенку, поскольку еще не успела ощутить его сыном. Тем более, что потуги начались вновь. Это пошел по родовым путям последний из ее детей.

И когда он плюхнулся на телогрейку, когда облизала его, осмотрела с ног до головы, то поняла, что этот будет любимым. Она произвела на свет девочку! Такую же белоснежную, как она сама. Такую же остроносую, тонконогую, складную. “Разродилась, матушка, — проговорила Ольга, присаживаясь на корточки возле лайки, — ну, и слава Богу!” Тёплая опытная рука коснулась её горячего брюха, а пальцы коротко прижали сосок, из которого в ответ брызнула жирная молочная струйка. “И робёнкам еда есть”. “Робёнков” она пока трогать не стала, удивилась их породистости и красоте, каковых в этом доме ещё не видала. Заметила, конечно, и мёртвого, лежащего в сторонке. Чтобы лишний раз не тревожить суку, Ольга отвлекла её внимание нежным поглаживанием шейки, в то время как другой рукой нащупала окоченевшее тельце и сунула его в карман ночной рубахи. “Ну-ка! — велела строгим голосом Дамке, поднимаясь с колен, — пошла вон отседа. Неча тебе тутова делать!”

Воротаясь в горницу, она положила мёртвого щенка возле печки. Надрала чистых тряпок да вынула из сундука старое шерстяное одеяльце, которым пеленала ещё собственную дочку. Зачерпнула из ведра эмалированную миску студёной колодезной воды и вынесла эти “дары волхвов” усталой Бьянке.

Русская печь за ночь не выстыла. Ещё отдавала женское своё тепло дому: алюминиевой мятой кастрюле, в которой томилось, кисло вчерашнее молоко на творог; хозяйским онучам, источавшим на всю горницу запах запущенного человеческого тела; чёрному чутунку с рассыпью гречневой каши; вереницей пристроенному на верёвке к печному боку тряпью для просушки — от больших размеров женских трусов с ромашками до кальсон с застарелыми пятнами, от бабушкина батистового платочка до строительных брезентовых рукавиц Николая. Тут же, в подпечье, загодя схоронено было всё, для скорой растопки необходимое: сухая до звона берёзовая щепка и ольховые дровишки, отдавшие в теплоте свою влагу, готовые вспыхнуть радостно от первого язычка пламени. Через несколько минут пламя уже бушевало в горниле, мерно и уверенно гудело в трубе, выбрасывая в низкое, затянутое предраассветной сажей небушко раскалённые звёздочки. И лишь когда разгорелось пламя до смерча огненного, швырнула Ольга ему на съедение обёрнутое в тряпочку щенячье тельце: через полчаса от него не останется и следа — только серый прах да редкие искорки, улетевшие ввысь.

Тем временем, похрустывая суставами, постанывая благостно да поругиваясь не злобно, не матерно, выбрался из койки хозяин. Казался он в сатиновых труселях с романтическими ландышами, в майке синей, застиранной, с эмблемой спортивного общества “Динамо” похожим на пионерского вожака, заплутавшего лет на тридцать в непролазной тайге. Дикая его, не то, чтобы бритвы, но даже и ножниц не знавшая борода топорщилась седой, местами пожелтевшей от злого табака порослью. Шерсть торчала и из ушей, и из носа, кудрявилась по ногам, по ручищам и под майкой столь буйно, что Ольга порой задавалась удивлённым вопросом: не со зверем ли лесным, не с вурдалаком ли прожила она тридцать с лишком лет своей жизни? И с грустной усмешкой отвечала себе: с ним, с упырём! Однако, в отличие от любого упыря и вурдалака, Николай Игнатьевич первым делом шлёпал босиком в красный угол, зажигал лампадку красного стекла перед ликом Спасителя да Царицы небесной, да батюшки Серафима Саровского, да картонной иконки Матронушки Московской и принимался читать правило. Обычно повторял два раза “Отче наш”, два раза “Богородице, Дево, радуйся...” и “Символ веры”. И только в выходные и праздники, когда время позволяло, читал всё правило целиком, начиная с “Молитвы мытаря” и заканчивая “Достойно есть...” При этом усердно, поясню кланялся не только, положим, при “Трисвятом”, но и после каждой молитвы. Бывало, что и коленопреклонённо стоял пред иконами и башкою о половицы крашенные бился. Жена его Ольга к молитвам мужа относилась уважительно, хотя сама их не читала, полагая наивно, что Бог у каждого человека в душе. Выросла она в семье атеистической, да и муж в молодые годы не слишком тешился Богообщением. Религиозным стал в последние несколько лет. И сколько ни страдал жену адскими муками и вечной разлукой в следующей, загробной их

жизни, Ольга только улыбалась в ответ. Она верила исключительно в жизнь нынешнюю, полную тревог и непреходящих забот, с её невспаханными огородами, скотиной не кормленной, домом не прибранным. И саднящей тоской бессилия, что всё чаще разливалась чёрными чернилами в надсаженном бабьем сердце.

Перекрестясь и поклонившись до земли, как есть, в трусах своих с ландышами, Николай пошлёпал напрямик в сени, опорожниться. “Видала! — прокричал оттуда, заглушая тугой ток струи в цинковое ведерко. — С прибавлением тебя, мать!” И вновь вломился в горницу, радостно продрогший и опроставшийся: “Ну, чё? Топить будем?” Ольге отчего-то не хотелось топить этих кутят, хотя за жизнь свою в родительском доме, а затем и в своём собственном утопила она их не считано. Забирала помётами, стараясь не глядеть в глаза обеспокоенным мамкам. Уносила подальше, за край огорода, и всю эту писклявую, слепую ораву вываливала в дубовый запарник со ржавой водой до краев. Сверху прихлопывала крышкой, чтобы не видеть ничего, не слышать. Возвращалась не раньше, чем через час, с короткой лопатой, какой обычно отсекала осенью морковную ботву. Копала могилку, не глубокую, скорую, и опрокидывала в неё мёртвых кутят вместе с водой. Дальше — только землёй забросать. И хотя к делу этому окаянскому с годами привыкла, всякий раз жалило её, что совершает она детоубийство, творит дело богопротивное. И сознание греха оставляло в её сердце царапающий след.

— Давай оставим, Коля, — в этот раз попросила она мужа, взывая не столько к его совести, сколько к природной крестьянской прижимистости, — породистая всё ж. Может, городские за ейных щенят и денег дадут. Тебе в дорогу не лишние будут...

“А ведь права баба”, — согласился в душе Николай Игнатьевич, но прибавил:

— Сама кормить-то ей будешь. Мя не впрягивай!

14

Весеннюю охоту в том году открыли рано, в апреле, как раз в канун отбытия дяди Николая за кордон. А поскольку никакого представления о том, когда открывают охоту в далёкой стране Испании, дядя Николай не имел, да и, по правде сказать, сомневался, разрешат ли ему вывезти на чужбину его бескурковку да гильзы, да пороха бездымного банку, решил сбегать в лес напоследок. “Там у них, небось, только пальмы да мандарины, — вспоминал дядя Николай уроки географии и телевизионные фильмы про иноземное житьё-бытьё, — крокодилов разве что шмалять. Аль носорогов. Куда против них с моей-то пукалкой?”

А на поле, что пряталось на пригорке напрямик за огородом, уже вовсю тьюрыкали не меньше трёх пар сторожких долгодюловых кроншнепов, носились да кувыркались чёрными истребителями хохлатые чибисы, а на рассвете и по вечерам возле прошлогоднего, с осыпавшейся хвоей и оттого похожего на обглоданный скелет шалаша токовали молодые бесстрашные косачи. Дядя Николай, конечно, мог нарубить свежих ёлочек, обустроить шалаш и набить из него за зорьку не меньше трёх петухов. Но не стрельба и даже не лёгкая добыча неопытных, необстрелянных ещё птиц влекли его на охоту. Это было совсем другое, глубокое чувство, в нём нашлось место и первым проталинам с чешуйчатými побегами мать-и-мачехи, и сладкому соку, брызжущему с берёз, и насосавшимся елейного воздуха почкам осин, и самому воздуху — уже не выстуженному, не ледяному, но полному первых вкусных запахов и едва ощутимого тепла, наполняющего сердце и всё тело надеждой будущей жизни.

Бьянка тоже чувствовала весну. И точно так же необъяснимое первобытное чувство, которому она не знала названия, влекло её в лес, на подсохшие проталины, в лужи с прозрачной водой, где, должно быть, уже взбивали гроздь икры лягухи, на голые покуда просеки, где слышен взмах даже крохотного крыла, заметно наималейшее шевеление зверя. Собственные щенки

лайки, давно поднявшиеся на ноги, прозревшие, увлечённые больше играми и потасовками, чем сном и вниманием матери, да к тому же больно цепляющие когтями за сиськи — даже они в эти дни занимали её не так, как предвкушение возможной охоты. Едва хозяин принялся натягивать бродни, а потом железно клацнул затвором, проверяя на свет чистоту стволов, Бьянка вскочила с лежанки, повизгивая, затопталась у ног Николая, всем своим видом, взглядом, голосом умоляя: “Возьми меня с собою, хозяин!”

— И ты собралась на охоту? — спросил дядя Николай, перепоясывая телогрейку на пузе старым кожаным патронташем. — Не рано тебе? Нет, говоришь. Ну, что ж, пошли. Вдвоём веселее!

Пока поднимались по обсохшему угору, с радостью окунаясь в буйство диких запахов, Бьянка не раз припускала вперёд и вновь возвращалась к хозяину, громким лаем сообщая ему о притаившейся парочке чибисов, заячьей тропке, овсянке на ветке старой рябины. А уж когда, чавкая сахаристо влажным снегом проталин, добрались до закрайку тайги, тут и вовсе закружило белую суку. Задрав чёрную шишку носа, осязала она верховым чутьём запах прелой шкуры старого лося, недавно ещё, в предраассветном мареве объедавшего веточки молодой осинки, свежий глухариный помёт под корабельной сосной, в кроне которой царь-птица пощипывала нежные почки, а где-то в глухой чащобе слышала она пересвист рябчихи, призывающей бестолкового своего кавалера; причувствовала торопливый ход свиньи с приплодом, прелый запах прошлогоднего муравейника, который раскапывает оголодавший за зиму медведь. За кем пошлет её хозяин? Какую добычу найти? Чуткий нос, острый слух, зоркий глаз Бьянки мог безошибочно привести его в нужное место, к нужному зверю. Но хозяин прошёл по заснеженной, за всю зиму не топтанной человеком просеке метров не более ста. Остановился, вытащил из внутреннего кармашка пищик, сооружённый им самодельно из заячьей косточки несколько лет тому назад. “Пять, пять тетерева...” — просвистел дядя Николай знакомую каждому русскому охотнику приманку, на которую дурной петушок, особенно по весне, мчится, что называется, сломя голову через чащобу, забывая даже про вновь обрётённую подругу, мчится, полный страсти к ненавистному сопернику, с которым должен обязательно сразиться и победить. Многих, да и то уже на исходе брачного сезона, когда рябки соединяются в пары, удаётся остановить благоразумной курочкой. Остальные вояки, как правило, гибнут, сражённые свинцовой “семёркой” наповал, несмотря на то, что охота эта изуверская весною запрещена. Ведь рябчик, особенно в состоянии полового аффекта, бесстрашен и прётся напролом. Бывает, что садится на ветку чуть ли не над головой охотника. Да ещё и кудахчет, сердится. Такой же герой, услышала Бьянка, ринулся из чащобы на предательский подсвист дяди Николая, но, не долетев метров пятидесяти, вспорхнул на кряжистую сосну, прижался. Одна только головка с брусничной алой бровкой торчит из-за ствола. Слышит рябок и воинственный посвист дяди Николая, и настойчивый призыв избранницы, что зовёт его к себе, требует возвращения. Был бы петушок поумней, спорхнул бы к земле да ушёл низом под бочок к подруге. Никто бы и стрелять такого не стал. Похвалил бы даже! Но если ты горяч, безрассуден, если прёшься на рожон супротив хитрого опытного мужика с двустволкой, грош тебе цена. И фунт презрения. Завершится жизнь твоя удалая в супе с лапшой. Вдгонку за рюмахой злого домашнего самогона.

За час с небольшим нашлёпал дядя Николай целый выводок таких храбрецов. Брезентовый рюкзачишко за его спиной поправился животом, округлился. Хотел было домой поворачивать, но по плешивому косогорчику на той стороне балки, поросшей прошлогодним камышом, метнулась и исчезла в тальнике горбатая тень кабана. Стрелять в него было и поздно, и далеко, и бессмысленно.

— Бьянка, — позвал дядя Николай, не отводя глаз от вздрагивающих карминовых веток, — ну-ка, возьми его, фас!

Да та и сама, прежде хозяина, заметила зверя. От холки до хвоста по позвоночнику словно морозом охолонуло. И лишь только позади раздался приказ, ринулась за кабаном. Балку пересекла полукружьем, посуху, обходя

снежные завалы, легко поднялась по косогору и упёрлась в заросли низкорослого тальника, жухлого бурьяна и мокрой осоки на весенней лыве, по которой и подался зверь в сторону тёмного, дремучего ельника. Но лишь напала на след, тут же поняла, что зверь не один: вслед за ним семянат четыре маленьких следка поросячьего выводка. А с ними мать и нерасторопнее, и злей.

Бьянка шла по свежему следу упёрто, молча, местами переходя на галоп, то опуская голову к влажной осоке, то поднимая взгляд на хлёсткие ветки тальника. Запах дикого зверя был повсюду. Он оглушал её рыжей шерстинкой, зацепившейся за колючку татарника, и ошмётком вспененной слюны из материнской пасти, острым запахом поросячьей мочи. Бьянке оставалось только двигаться следом, с каждым прыжком и каждым шагом погружаясь в эти запахи всё глубже, все дальше. У ельника она, наконец, увидела горбатую спину свиньи, покрытую шерстью, облепленную по бокам осклизлой грязью и крошечном сухой полыни, а вскоре и семяющих следом “матросиков” — четырёх сеголеток в шкурках полосатого, бурундучьего окраса. Только теперь из воспалённой её гортани раздался звонкий, короткий взвизг, означавший для охотника, что добыча настигнута, можно идти на голос, заряжая ружьё картечью, а может, даже и пулею.

Будь она не одна, а хотя бы ещё какая натасканная собачонка, можно было бы попробовать остановить кабаниху, облаивая и нападая с разных сторон да цапая попеременно за гачи. Так можно свинью долго держать, силы изматывать, пускать кровь. А там и хозяин подоспеет. Жажнет дуэлетом тридцать три грамма свинца системы Полева прямо под лопатку ошалевшего, загнанного зверя.

Но другой собаки Бьянке в подмогу не было. стало быть, и свинью весом под центнер ей никак не остановить. Но отбить сеголетка, который бежал за матерью последним и, кажется, начинал выбиваться из сил по причине своей слабости, а может, и какой-то физической ущербности, ничто не мешало. Повинуясь инстинктивному хищническому приёму, Бьянка сошла с тропы и прибавила рыси, заходя справа, чтобы отсечь “матросика” от остальных и увести в сторону от выводка. Важно делать это бесшумно, быстро, не привлекая внимания матери, не оставляя ей шансов ринуться на помощь детёнышу, а если это и произойдёт, не оставляя тому шансов на выживание. Отсечь и быстро убить — вот что предстояло сделать Бьянке. Несколькими длинными прыжками настигла она “матросика”, но, не хватая за гачи, обогнала и, не оборачиваясь, побежала вслед за выводком, понемногу сбавляя ход. И лишь когда тяжёлое тело свиньи с треском вломилось в чащобу ельника, где из сухостоя, замшелых кокор, грузно нависающих выскирей даже самый проворный и сильный зверь выкарабкается не сразу, лишь тогда обернулась Бьянка назад и в нескольких метрах позади себя увидела “матросика”. И ощерила зубы. Почуввав беду, детёныш заверещал, рванулся было в сторону, к кустам ивняка, однако собака опередила его, сбила с ног, повалила в скользкую осоку и вонзилась зубами в тёплую, вибрирующую криком глотку. И крепко прижала, пока визг не сделался тише. Она давила горло, захлёбываясь пульсирующей свиной кровью, чувствуя, как под её клыками ломается и шипит последними вздохом тонкая трахея, а под ребрами всё слабее бьются, пытаясь высвободиться, острые копытца сеголетка, ощущая сердцем, каждой шерстинкой неостановимое движение смерти. Через несколько секунд всё было кончено. Отфыркиваясь от кровавой щетины “матросика”, стояла она возле его тельца — горячего, вздрагивающего ознобом агонии, когда в ельнике послышался бешеный, нарастающий треск. А через мгновение появилась мать, чёрная от ярости. Бьянка не стала ждать, пока подслеповатая по природе своей кабаниха заметит её возле убитого детёныша. И потому ринулась обратно, к месту, где оставила дядю Николая.

А тот и сам уже спешил ей навстречу с ружьишком наперевес, предусмотрительно зарядив его в один ствол пулей Полева, в другой — картечью. Свинью он тоже заметил. И собаку свою белую, в свежей брусничной крови. И ход её здоровый, живой, означавший, что она, слава Богу, не ранена и, возможно, не покалечена сильно. Кабаниха, рванувшая было следом за

лайкой, возле растерзанного своего детёныша остолбенела, принялась обнюхивать холодеющее тельце. Грохнул выстрел. Мать обречённо хрюкнула, поднимая к небу влажный, в комках грязи и древесной трухи пятак и, развернувшись, подалась к спасительной чащобе, на закрайке которой ждали её оставшиеся дети. Новый выстрел вдогонку не заставил её прибавить шагу. Старая свинья знала, что охотник с собакой не станет её убивать. Им достаточно будет её мертвого сына.

— Жива? — спросил дядя Николай, лишь только лайка добежала до него с улыбкой на окровавленной морде и поднялась на задние лапы, цепляясь когтями за хозяйскую телогрейку. Крепкими, словно ореховые сучки, пальцами тот внимательно прощупал её ребра, живот, лапу и голову и, ничего, кроме мелких ссадин и синяков, не обнаружив, с любовью потрепал лайку по муфточке и по холке: — Ну, вот и слава Те, Господи! А теперьча кажи-ка свой трофей, Бьянка.

Подойдя к задавленному сеголетку, дядя Николай долго качал головой да довольно поцокивал да нахваливал:

— С такой собакой и ружья не надобно! Прав был Ванька насчёт тебя, Царствие ему небесное. Не собака — талант! Чапаев! Эх, коль бы не Испания эта, лешак её дери, мы бы с тобой, Бьянка, тут всех свиней передушили! И бобров на реке. И мишек. Но ничё! Вернусь, осенью мы с тобой устроим октябрьскую революцию.

Собака слушала хозяйские прожекты и похвалы со вниманием, не отводя глаз. Но ей уже не терпелось рвануть в галоп закрайком поля, поднять из схрона затаившегося зверя, гнать под выстрел хозяина или задрать собственными зубами. Она уже поскуливать начала и передними лапами перебирать. Но дядя Николай поднял мёртвого сеголетка за задние лапы и прикинул, что поросёнок добрый, на семь кило, пожалуй, потянет. Упихал его в сидор, отчего мешок обвис беременным брюхом, и не раз крикнул, напавшая его поверх телогрейки.

— Конец охоте, — объявил дядя Николай, — идем домой, Бьянка!

15

Бьянка даже не прикоснулась к двум жёлтым, словно бивень слона, берцовым мостолыгам, которыми наградил её за удачную охоту хозяин. Она лежала на старой телогрейке, подставив улыбающуюся морду светилу, которое робко проглядывало из-под низких облаков, и чувствовала себя совершенно счастливой. Дети её, уже подростки, играли, покусывали друг друга, боролись за доступ к горячим, огрубевшим за время кормления сосцам, всё ещё полным молока и живительной материнской силы.

Но другая сила — первозданной, древней её природы, до поры дремавшая в крови, — заявляла о себе после недавней охоты, разбуженная ружейными выстрелами, вкусом крови из разодранного горла “матросика”, запахом жжёного пороха, чавкающей болотистой влагой под лапами, заявляла о себе охотничья страсть, что одна способна питать тело её и душу необузданной дерзостью и мощью.

Пегий её первенец, не отходивший от матери с тех пор, как она возвратилась с охоты, залиvisto потягивая, принялся гонять по двору очнувшуюся от спячки серую жабёнку, что, на беду свою, выползла в дурном настроении из проталины под кустом крыжовника. Медленно, в какой-то даже задумчивости перебирала она затёкшими лапками, хлопала выпученными оранжевыми глазами, выбираясь из объятий долгого зимнего сна, зевала широкой, во всю морду, пастью, не обращая внимания на потягивания и взбрыкивания юного кобелишки. Тот не отставал, преследовал лупоглазую, облаивал совсем по-охотничьи и даже пытался цапнуть несчастную за раздувающиеся пупырчатые закорки. Путь к отступлению земноводной проходил как раз мимо хозяйской скотобойни, где теперь трапезничала Дамка, жадно, по-стариковски чавкая и даваясь тутим кабаньим сухожилием. Жабёнку она, по причине слабости глаз, не заметила, но звонкого кобелька, что подступался к её добыче всё ближе, предупредила злобным

рыком, оскалом жёлтых зубов и вздёрнутыми брылями, перепачканными су-кровицей. А щенок, кажется, не слышал предупреждения, пушистым, игри-вым клубком носился вокруг забавной животинки, невинно радуясь своему открытию. Не осёкся и тогда, когда старая сука, опустив морду к окровав-ленным ошмёткам и неотрывно наблюдая за малышом колючим взглядом, рычала уже громко, угрожающе. А щенок в азарте игры беспечно порав-нялся с Дамкой и по неосмотрительности заехал лапкой в скользкую её до-бычу. И тут Дамка с остервенелым рыком, от которого вспорхнула стайка щеглов из зарослей сухого репья, вцепилась в несчастного кобелька. Бро-сок её был стремителен, беспощаден. Повалив щенка на землю, всего на несколько секунд сдавила она его хрупкое, как у птички, горло, отчего пронзительный визг малыша тут же иссяк, а тельце, хотя и продолжало пе-ребирать лапками, жалобно постукивать, подняться уже не могло. Краем глаза старая сука видела, как вскочила готовая броситься на помощь щен-ку мать, как пытается разглядеть происходящее из-за ситцевой занавески недовольный собачьим визгом хозяин, как уносится на край пустоши стай-ка испуганных щеглов. Вслед за ними припустила трусливо и старая сука. Она бежала по полю среди сухих трубок борщевника, хлётских веток ивы и тальника, колючих зарослей прошлогоднего репья и чертополоха. Среди гниющих брёвён и досок, оставшихся от некогда богатых, процветавших крестьянских домов, лет двадцать назад порушенных, односельчанами раз-грабленных и забытых.

Дамка ждала услышать позади горячее дыхание белой суки, а вслед за тем могучий удар клыков по ляжке, по холке или горлу, удар, от которо-го ей, старой, уже никогда не подняться, в лучшем случае, влачить жалкую юдоль инвалида. Но позади было тихо. Только мягкий ветерок, зародивший-ся далеко-далеко, в чреве Эгейского моря, с любовью оглаживал скелеты русского сухостоя.

Бьянка не стала преследовать старую суку. Ходила возле сына, поску-ливая, прислушиваясь к учащённому его дыханию. Наклонялась, подтал-кивала то горячим носом, то передней лапой, словно бы помогая ему при-подняться, перевернуться. Но малыш только вздрагивал лапками и на прикосновения матери не отзывался. Шёрстка его, перепачканная кровью, грязью, дворовым мусором, увядала, дыхание делалось реже, а на глаза, ми-нуты назад излучавшие радость жизни, напознала мутная пелена. В послед-ний раз вдохнул щенок терпкую сладость весны и, наконец, затих.

Бьянка не сразу поняла, что он мёртв. Ходила кругами, упрямо тормо-шила подняться, казалось даже, шептала что-то свое, человеческому уху не-доступное, покуда, наконец, не почувствовала, как тепло утекает из тела её малыша, надвигается холод, околечение. Она подтолкнула щенка в послед-ний раз лапой. Подняла голову к небу и завывала. Выла она обречённо и над-садно, выплёскивая в низкое небо и мятущихся в небе щеглов всю боль и безбрежное одиночество, которое вдруг нахлынуло на её сердце тяжёлой, беспощадной волной, сжало его и не отпускало, покуда невидимые собачьи слёзы катились из её глаз, покуда раздирающий душу вой оглашал и хозяй-ский дом, и ближнюю пустошь, и дальний лес, в котором даже самая кро-хотная пичужка, даже царственный сохатый вдруг замерли и содрогнулись от этого животного стога, от этого вечного звука скорби, что вырывается из груди матери, потерявшей единственного сына. И будто услышало этот стон небо. Загустело асфальтовыми тучами. Озарилось исполохом молнии. Про-лилось вдруг крупным быстротечным дождём.

Так бывает всегда: от весеннего дождя земля исполняется вдруг забытой за зиму чистотой, дышит озоном, радостью, божественной силой, вновь и вновь утверждая вечную победу жизни над смертью.

Весь день и всю ночь Бьянка пролежала возле мёртвого сына. Утром за-пах тронутой тлением плоти привлёк стаю калифорид, слетевшихся к ско-тобойне в заботах о продолжении рода. Они откладывали яйца в открытых глазах щенка, заползали в приоткрытую пасть и анальное отверстие, жуж-жали, ссорясь в борьбе за лучшее место, и снова взлетали, снова кружились над мёртвым тельцем.

Обеспокоенный нашествием падалыщиков, дядя Николай наскоро выкопал сапёрной лопаткой ямку позади покосившегося в бурьянах штакетника. Он закопал там уже немало погибшей мелкой живности. Теперь снёс туда и Пегого. Засыпал землёй, усердно притоптал сапогами, тихонько насвистывая “Историю любви”.

Дамка в тот вечер домой не вернулась. И на следующий день миска её возле бани осталась пуста. И через два дня. Всю разорванную нашёл её через неделю Костя Космонавт, промышлявший соком в ближней берёзовой роще, за пустошью. Должно быть, волк задрал старую, решили люди.

16

Провожали Рябинина на чужбину всем “обществом”.

Поскрипывая механической ногой в яловом офицерском сапоге, первым спозаранку заявился, как и положено по местному негласному этикету, глава сельской администрации Август Карлович Веттин — мужичок во всех смыслах боевой, прошедший две пандшерские операции в Афганистане, лишившийся левой ноги и мордой пообгоревший, зато медалями солдатскими награждённый, среди которых особо ценил серебряную “За отвагу”. При явной внешней инвалидности Август Карлович никакой ущербности в себе не ощущал. После войны женился на чернобровой узбечке Альбине, нарожал с нею пятерых ребятишек, в перерывах без усталости взбадривая неспешную, унылую жизнь односельчан. То выстроит возле сельсовета летний кинотеатр, чтобы глядеть душными черёмуховыми вечерами кино про любовь, то навезёт с окрестных полей пудовых валунов — устроить из них к майским праздникам мемориал погибшим односельчанам; или затеет среди народа пропаганду здорового образа жизни по методу “русского йога” Порфирия Иванова, предлагавшего, между прочим, хождение нагишом по сугробам и ежедневное обливание ледяной водой. За эту неуёмность и шепоту односельчане пропёрли его сперва в народные избранники, а затем доверили быть сельским головой. Август Карлович воспринимал такое избрание издевательством, поскольку на полном серьёзе считал себя наследником рода Каролингов, короля Саксонии, маркграфа Мейсена, курфюрста Священной Римской империи и герцога Варшавского, императора Индии и царя Болгарии. А поскольку ни Болгарии, ни, тем более, Индии ему никто не предлагал, выпало ему довольствоваться деревней Астахино Шенкурского уезда Архангельской области.

Под мышкой сельский голова держал папку вишнёвого дерматина с почётной грамотой, им же самим и подписанной, где отмечалось, что её обладатель — Николай Игнатьевич Рябинин — отличный хозяйственник, передовик сельского производства, русский патриот и член местной ячейки партии либерал-демократов. К грамоте прилагалось официальное письмо на бланке, где любой испанской деревне, в которой объявится сеньор Рябинин, предлагалось стать побратимом Астахино со всеми вытекающими последствиями, как то: проведением фестивалей, обменом делегациями, продажей леса за их масла и созданием совместного предприятия по переработке таёжной клюквы. Веттин не сомневался, что предприимчивые испанцы ухватятся за его предложения. И потекут в Астахино миллионы! В той же папке лежали сто долларов США, которые Веттин обменял в кандагарском дукане ещё в военную пору, хранил годами, а теперь нёс их с просьбой приобрести на них для него *la pata negra** и *queso manchego*** — легендарную пищу испанских идальго, о которой он бредил с юношеских лет, начитавшись приключений Дон Кихота Ламанчского.

Следом за сельским головой спешил на узнаваемый запах перегоняемой браги местный капиталист, владелец лесопилки Харитошка, которому и самому бы хотелось прикоснуться сердцем и лапами загребущими к испанскому капиталу, да тот всё не шёл отчего-то, уплывал в чужие руки. Обидно

* *La pata negra* (исп.) — чёрная лапа — сорт испанского хамона.

** *Queso Manchego* (исп.) — сорт сыра из провинции Ла Манча.

было Харитошке. Зависть сушила его уже два месяца, а в последнюю неделю и вовсе навалилась на него пьяной бабой. Не продохнуть! Воспалённое сознание буржуина строило коварные планы: от кражи у Николая заграничного паспорта до соращения его жены Ольги, а может, даже и бандитского разбоя по возвращении наследника в родные края. Между тем, христианская его душа кручинилась от этих дурных помыслов, а сердце стремилось к памяtnому с малолетства тёмными бревнами дому, возле которого они вместе с Колькой отливали в глине свинцовые грузила, чинили сломанный “школьник”, бились в кровь с пацанами из соседней Верхопаденьги и встречали рассветы. Да и чистый солодовый дух фирменного рябининского самогона щекотал чувственные рецепторы Харитошки, возвещая весёлый, неуёмный праздник, на который даже и кающийся в грехах русский человек откликается с удовольствием и отдаётся ему без остатка. Слово в последний раз.

Вот и директор школы Лев Николаевич Толстой оказался на повороте в мареве сизого дыма и жёлтой пыли, поднятой каким-то пацанёнком на трескучем, вонявом мопее. На нём светлая полотняная куртка чуть не до колен, перепосанная узким пояском из “крокодиловой” кожи; разношенная кирза, в которую были заправлены тёмно-синие ментовские портки, да парусиновая фуражка с широким околышем, из-под которого глядело грубо вылепленное лицо с кустистыми седыми бровями, взлохмаченной пегой бородой и мясистым носом, похожим на индошачий пындик, — всё это делало директора неотличимым от классика русской литературы. Поговаривали, что на это поразительное сходство Льву Николаевичу не раз пеняли в районном центре народного образования, предлагали поменять фамилию или хотя бы имя с отчеством, на худой конец, побриться, что ли, дабы не компрометировать доброе имя автора “Крейцеровой сонаты”. А то ведь как получалось? На каждом совещании по поводу ли худой успеваемости среди деревенской детворы, или несостоявшегося конкурса патриотических сочинений, а то и малой зарплаты учителям всякий раз мусолилось да поминалось недобрым словом родное русскому человеку имя. На эти упрёки Лев Николаевич отвечал всякий раз с убеждённоcтью народовольца: “Сменю я, положим, фамилию или даже побреюсь вам всем на потеху. Но с мыслями-то что делать?”

Вслед за мыслителем земли русской подрулила к рябининскому подворью “буханка” запылённая, не по одному разу крашенная-перекрашенная, но всё одно уже ржавыми пятнами, словно рыжими стружьями, пошедшая. Из транспорта сего, начальственно попыхивая сигаретой, вылез сухой, ядовитый Мотя Едомский в полинявшей офицерской рубашке, с жёсткой щёткой седеющих усов на морде и хитрым взглядом, ожидающим от встречи с каждым человеком лишь коварного подвоха. Супружница его Ангелина теперь выступала позади него этакой доброй гусыней, претерпевшей от муженька и годы беспробудной пьянки и побои не только чутунным кулаком в зубы, но и дрыном сосновым, и даже обухом топора, и измены его, вовсе не тайные, а явные, в их же собственном доме, на её же постели! Претерпевшая всё это, единственной жизнью своей за всё заплатившая, шкурой, сединой, хребтом, душою своею, и от преисподни этой не обезумевшая, но, наоборот, будто бы очистившаяся, исполненная тихого внутреннего света, радости и любви.

А следом уже и Любаша спешит в неотступном сопровождении кобелька Чурки. Личико её чистое и лучистое от скорого хода да от солнышка порозовело, источало утреннюю свежесть и благодать. Даже подмышки её в светлых курчавых волосках, струйка пота, стекающая по шее из-под туго повязанной бумазейной косынки с петухами, пахли сладко, пьяно. Мужёнок её, ветеран кавказской войны, уже две недели как лечился от последствий контузии и пьянства в санатории МВД.

Последним заявился местная достопримечательность — Костя Космонавт, Христа ради юродивый. Пришёл он в Астахино пару лет тому назад из далёкой Ярославской области. Шёл оттуда, говорят, босиком, с брезентовым рюкзачишкой за плечами да с липовой палкой в руках, к которой были у него привязаны пустые консервные банки и алюминиевый чайничек с погнутым носиком. С этим посохом да с грохотом железным передвигался Костя по русской земле, возвещая встречным правду о стране, её правителях да

о грядущем Страшном судилище. Был лохмат, не чёсан, грязен, но, ко всеобщему изумлению, зловония никакого при этом ни источал, а даже наоборот: пахло от Кости свежим зефиром. Глядел он на мир единственным лазерным чистым глазом. Другой был утерян, а веки над ним зашиты суровой сапожной дратвой внахлёст. Зубов у Кости тоже почти не осталось, поскольку имел он странную привычку собственноручно выдирать их плоскозубцами в подарок односельчанам, страдающим от зубной боли. Некоторые даже изготовили из Костиных зубов амулеты, носили их вместе с нателным крестом и верили в их чудодейственные силы. На голой груди юродивого, едва прикрытой драным пиджаком фирмы “бриони”, виднелся наколотый синими чернилами лик первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в скафандре, отчего и привязалось к Косте его необычное прозвище. Бывает, изготовятся генералы к запуску ракеты в ближнем Плесецке, а Костя-Космонавт уже об этом секретном запуске откуда-то знает, на карачках взбирается на Кольвановский утёс, чтобы с вершины его следить за призрачным огоньком, уносящимся в чёрный космос, осенять огонёк многократно крестным знаменем, а вдогонку непременно слать ещё и воздушный поцелуй. Словно крестное знамение посылал вслед за ракетой. Оттого они, видать, в ту пору и не падали.

Говорил Костя мало, зато плакал часто. Слезы его лились из выцветшего глаза иногда без всякой причины, скатывались по руслам морщин в пегую, похожую на паклю, бороду, но не исчезали в ней, а скатывались дальше на грудь, орошая солью и влагой старую татуировку. Тогда казалось, плачут оба: Костя вместе с Гагариным. Бабы утверждали, что плачет Костя за людские грехи, за беспутную жизнь, в которой пребывает нынче Россия.

С дребезгом железным добрёл юродивый до избы, где всю гужевался, грохотал лавками, позвякивал стеклом бутылочным приглашённый народ, замер столбом супротив входной двери и, изображая лицом безумного библейского Саула, произнёс: “Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветёт!”

Ответом ему была отворившаяся дверь и запыхавшаяся, взмокнувшая от духоты хозяйка с ведром, полным помоев.

— И ты, сердешный, пожаловал, — улыбнулась Ольга юродивому, — ну, так входи, раз пришёл. Неча в дверях-то ошиваться!

Пропустила юродивого в дом и лишь затем вышла на крыльцо, чтоб с размаха плеснуть помой подальше. С осторожностью ступая по половицам, юродивый шёл теперь в горницу, но, заметив в сенях свернувшуюся Бьянку со щенком, опустился на коленки, протянул руку, коснулся её тёплой шерсти. Собака прижмурилась от удовольствия. Но тут же открыла один глаз, чтобы внимательней посмотреть на Костю, чей запах, конечно, знала, но впервые соприкасалась с ним близко, а ещё чтобы проследить за его рукой, которая дотронулась и до её дочери. Она чувствовала доброту этого человека, нежное тепло, которым он окружил её, словно мать в далёком городском детстве, каким и она окружала теперь своего ребёнка. А ещё, чувствовала Бьянка, слёзы из единственного глаза Кости Космонавта кропили её лапу, шею, даже морду.

— Оставь её, Костя, — послышался позади голос хозяйки, — она у нас теперь в страдании. Ступай в горницу.

Народ там уже расселся по лавкам вокруг длинного стола, уставленного чистой посудой и всяческой снедью. Лоснилась жирным розовым боком малосольная сёмга, забитая остроугою дяди Николая в осеннюю путину на Паденьге, чуть ниже Астахино. Крепкие солёные огурцы попеременно с мокрым глянцем помидор в глиняных мисках источали терпкий запах смородиновых почек и вишнёвого листа. Прихваченные морозцем, нежные лепестки домашнего сала с тонкими бордовыми прожилками присыпаны крупной солью и толчёным чесноком. В довоенной ещё, доставшейся от покойной матери в наследство Николаю нарядной супнице Ломоносовского фарфорового завода — супчик из рябчиков с вермишелью, обок — пирамиды напечённых Ольгой горячих пирожков с лесными грибами, ливером, яйцом с зелёным луком, само собой, с капустой и картофельным пюре. Доставленная специально из Архангельска знакомым дальнобойщиком жирная сельдь-трёхлетка, отливающая серебром. Дубовые плоски с мелкими рыжиками в сметане,

осклизлыми маслятами с крошёным лучком, боровичками, маринованными с гвоздикой, душистым перцем и лаврушкой. И целые ушаты капусты, квашенной для остроты с клюквой, а для сладости — с антоновкой. Не говоря уже о чёрной редьке в жирной сметане, под свежим подсолнучковым маслом, пареной с мёдом. Впрочем, встречались за этим столом и яства совсем экзотические. Навроде томлёных щучьих голов с чесноком, разварных лосиных щёчек, заячьих котлет да селезней, фаршированных кроншнепами с дикой малиной... Венчала этот русский гастрономический Версаль дымящаяся чугунная жаровня, над которой медленно поворачивался боками к огню убитый намедни кабанчик. Жаровню эту чудесную редкий умелец дядя Николай оснастил электромотором от стиральной машины, спрятал его под стол, соединив с вертелом кожаным приводом.

Что до выпивки, то уж этого добра на прощальном обеде хватало с избытком. Одного самогона сортов несколько — от чистейшего, словно девичья слеза, тройной перегонки да профильтрованного на берёзовых углях до тёмного, на кедровой шишке настоянного и сладкого — на вишнях и чернике. Да ещё всяких настоек: на дягиле, берёзовой почке, полыни, померанце... Но особой известностью у гостей пользовался самогон, который хозяин, видать, по причине его значимости и кропотливости изготовления назвал собственным именем: “Николай”. Курил он его целую неделю, рецепт держал в секрете, и выходил у него, нет, не самогон, а какое-то великолепие, восторг души, от которого всё твоё нутро наполняло мягкое тепло, а во рту и на языке ещё долго сохранялось блаженство запахов, вкусов и переживаний, которые забыть невозможно. Так что упивался астахинский народ “Николаем” вусмерть, с великой радостью.

Бьянка наблюдала за происходящим из приоткрытых в сени дверей. Она не знала, что видит хозяина в последний раз, что жизнь её скоро изменится, равно как и жизнь иных веселящихся в доме людей. С каждой следующей рюмкой гости становились красней, громогласней, покуда, наконец, не превратились в единое, слитно гудящее хмельное скопище. А время подошло, дружно понурили головы, загрузили о своей тяжкой доле, роняя слёзы в стаканы с самогоном. Тогда только слаженным хором, с высокими женскими подголосками, запели протяжные, от стариков ещё памятные песни, ну, и народные понечно.

Бьянка пьяных не любила. Не любила исходящего от них запаха перегорелого самогона вперемешку с луковым духом и селёдкой. Не любила человеческих глаз, в которых не видно улыбки или радости, или даже пугающей злости, а только тяжёлый, мёртвый туман. Не любила бессмысленных, тем и опасных движений и звуков — их издавал пьяный, приближаясь не только к животине, но и к такому же, как он, человеку. Получить от пьяного кованым сапогом в бок или оглоблей по хребтине — обычное дело. А потому, только лишь наполнилась рябининская изба скандальным, пьяным гулом, Бьянка поднялась со старой телогрейки в сенях и вышла во двор. Следом — Костя Космонавт.

В пыли возле штакетника, увитого девичьим виноградом, — благодатная тень, в которой нежилась беззаботная юная сучонка Булка. Мать опустила рядом с нею, в ту же тёплую пыль, лизнула белую мордочку горячим языком и положила голову на вытянутые лапы, позволяя своему ребёнку дурачиться, даже прикусывать её остренькими молочными зубками. Костя Космонавт примостился рядом, на старинной, лет сто назад вырубленной дубовой скамье, порезанной именами родни и знакомых, за долгий век меченной разрушительной работой древоточцев, снегопадов, жары обжигающей. Посох свой Костя примостил к штакетнику, отвязал чайник и наполнил из него колодезной водицей жестянку с выцветшей нашлапкой “Сайра”. Поставил рядом с собакой. Бьянке пить не хотелось, она двинула банку ближе к дочери. Та набросилась на влагу с жадностью. Костя меж тем с пронзительной грустью взирал на собак, качал седой головой. И вдруг заговорил:

— Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу

славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе στεναем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

Произносил он эти незнакомые и загадочные слова тихим голосом, который при этом звучал, словно торжественный гимн, словно чарующее заклинание, от которого сердце Бьянки пришло в необычайное возбуждение, отчего она тут же завывала, как бы подпевая юродивому. Вслед за ней тонким фальцетом завыл и её щенок.

— Псалмопевцы вы мои милые, — улыбнулся в бороду Костя, и лицо его озарилось светом, благодатью, идущей из глубин его чистой души. — Всякое дыхание да славит Господа! И то: идём со мною, собачки? Велика земля наша, да бестолкова, темна, душою озлоблена. Вот мы и отдадим земле нашей любовь. Я — человечью, свою, ты — тварную, собачью.

Как и вчера, как и тысячу, и даже миллион лет назад клонился к закату раскалённый шар солнца. Лёгкий ветерок с Паденьги наносил запах илистых камней, хариусов, ряски, прибрежных кустиков пижмы. Печальные голоса кроншнепов и чибисов, кружащихся над косогором, становились тише, тише, и даже зорянка перестала тенькать в ивах. В столбах золотистой пыли, в клубах пара, исходящего от горячих крупов и тутого, полного молоком вымени, возвращались с пастбищ коровы, сопровождаемые юным пастушком в отцовской фуфайке, с вихрами нестриженных волос цвета прошлогодней соломы. Где-то транзистор с лопнувшей мембраной динамика исполнял арию Ленского дрожащим, но всё равно знакомым голосом Лемешева. Текст телевизионного диктора в другом доме возвещал о сокрушительной победе российских гимнасток. Где-то рыдала женщина.

Подходил к концу ещё один, самый обычный день человеческого бытия, в который вместились тысячи смертей и новых жизней, неисчислимое число людских трагедий и радостей, предательств, измен, свершений и побед. Среди этого необъятного человеческого моря незаметно и ничего не значаще, словно пыль, терялась жизнь странного юродствующего человека и двух собак, лежащих у его голых ступней. Мимо них, пошатываясь, а то и падая, тянулись по домам гости. Последним вышел на порог хозяин. Постоял, облокотившись о дверной косяк, и тихо, даже как-то заговорщически посмеиваясь, направился к Косте. Сел рядом, обнял за плечи и, обдавая лицо блаженного водочным перегаром, прошептал: “Прощай, Родина!” Резко обернулся, словно кто его наотмашь ударил, ткнулся лицом в ладони. И зарыдал горько.

17

Отцвёл май, июнь налился соком молодой травы, украсился завязью плодов, в земном пару и мареве зрел будущий крестьянский урожай — прокорм на скорую, лютую зиму. С тех пор, как уехал дядя Николай из Астахино, он позвонил всего-то разочек из таксофона мадридского аэропорта Барахас, который доносил его голос до родного дома с такими искажениями и мутациями, что казалось, звонит он из могилы, из самого, прости Господи, загробного мира. Ольга не узнала его вначале, а поверив, что это именно он, Николай, испугалась больше всего, что тратит муж на разговоры с нею драгоценную валюту. А уж потом только от того, что говорит он голосом не здешним. Однако говорил он слова понятные. О том, что долетел благополучно, что самолёт ему понравился, особенно красивые стюардессы в одинаковой форме и с платочками на тонких шейках, а ещё — дармовая выпивка и харчи. О том, что встретила его душевно переводчица по имени Лола, нанятая адвокатской конторой для сопровождения нотариальных услуг и дяди Николая вместе с ними. Что у Лолы этой бабушка из наших, коминтерновских, родилась и воспитывалась в Советском Союзе, но, лишь только испанским детям разрешили вернуться на родину, умчалась туда одной из первых, продав родительскую квартиру и часть бабушкиного архива с подлинными автографами Ленина, Троцкого, Бухарина, Долорес Ибаррури и Пабло Пикассо. По словам Рябинина, бабёнка эта, Лола, ему не понравилась. Однако тренированная женская интуиция подсказывала Ольге, что всё

обстоит с точностью до наоборот, что неведомая Лола, которая теперь будет сопровождать её мужа по незнакомой стране, та ещё лярва. Но вида не подала. Сказала только: “Ты там поосторожнее. Мало ли чё. Всё одно — чужбина”. В ту же секунду на том конце провода что-то замкнуло, тренькнуло и отозвалось короткими, словно сердечный перестук, гудками. Ольга звала мужа ещё, раз десять окликала по имени, но ответом были только чужие гудки. Повесив трубку, она долго сидела на табуретке возле алого, как кровь, телефонного аппарата, думала про своего Николая. И сердце её саднило.

И чем больше дней проходило с того их разговора, чем больше ночей проводила она в одиночестве на своей кровати напротив потухших лампад под образами, чем дольше вглядывалась в лики Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца, тем тяжелее, муторнее становилось на душе. Словно кто буравил её, горемычную.

Порой казалось Ольге (и телевизор её в этих страстях поддерживал), что муж её, по неопытности и незнанию тамошнего языка, угодил в сети испанских работорговцев. Порой грезился он ей весь переломанный, на больничной койке, с трубками и проводами, по которым втекает в него кровь и мутная жидкость из капельницы. Но иногда она видела его на берегу моря, каким показывает райскую жизнь русское телевидение: в окружении молодых бабёнок с бесстыдно выпяченными титьками, с зелёной жидкостью в потных бокалах, в окружении фимиамов и дыма марихуаны. Эти мысли она старательно гнала прочь, утешая себя тем, что Николай её уже не молод, местами даже плешив, фигурой неказист да речью косноязычен. Такие девкам молодым не нравятся. Да и вера его православная не позволит ему такого бесстыдства. Словом, Ольга готова была поверить в любую причину мужниного молчания, включая измену Родине, инвалидность, рабство и даже внезапную гибель, кроме паскудства прелюбодеяния.

Время шло, а от Николая по-прежнему — ни весточки. Чуть ли не каждый Божий день добегала Ольга до почты в ожидании заграничного письма или хотя бы телеграммы. Однако Нюра Собакина всякий раз, вслед за визгом дверной пружины, увидев её на пороге, улыбалась, словно бы извиняясь, и качала головой в рыжих завитушках перманента:

— Нету вам ничего, тётя Оля.

Нюра будто и свою вину чувствовала за отсутствие писем. Ведь это она, Нюра, рассказала Рябиным, как просто теперь отправиться за границу.

Но однажды, уже в июне, числа восьмого, Нюркино лицо осветилось искренней радостью. Она даже подскочила со своего места навстречу Ольге, сжимая в руке широкий лоскут писчей бумаги.

— Телеграмма вам, тётя Оль! Оттуда! И вот ещё — перевод!

У Ольги от этих новостей ноги ослабли, и всю словно обдало жаром. Сердце затрепетало в смятении. Она опустилась на стул и, проведя рукой по волосам, попробовала читать телеграмму. Но как её прочесть, если написана она нерусскими буквами?

— На-ко, Нюра, прочти сама. Что-то я ничё тут не разберу.

— Это транслитерация, — объяснила шибко грамотная ученица штукатурного техникума, — слова-то русские. Только написаны они латиницей. Там у них нет телетайпов с русской клавиатурой.

Ольге эти объяснения сделались теперь ни к чему. Она лишь хотелось услышать слова, которые написал ей, наконец, муженёк пропащий.

“В права наследования вступил, — значилось в телеграмме. — Получил землю, дом и хозяйство. Теперь разбираюсь. Скоро не жди. Управляйся пока сама. Посылаю тебе тысячу долларов. Этого хватит на первое время. Целую. Николай”.

Оторвав взгляд от лоскута писчей бумаги, Нюра посмотрела на Ольгу. Она застыла, как если бы превратилась в кусок льда или гранитную глыбу. Как это — “управляйся сама”? Как — “скоро не жди”? — потерянно повторила Ольга. Что значит — “на первое время”? Нюра Собакина не умела отвечать на эти вопросы, а если бы и умела, всё равно не знала, что сказать. Не зря же говорят, что чужая жизнь — потёмки. Тем более — жизнь заграничная. А Ольгу словно контузило. Раскачивалась вперёд-назад, уставившись

немигающим взглядом в одну точку. Наконец, жалобно взывала. Нюра метнулась к графину с водой, плеснула в стакан, накапала двадцать четыре капли корвалола и заставила Ольгу выпить. Воздух в почтовом отделении наполнился сладким ароматом чабреца и корня солодки, а Нюра непрерывно гладила ледяную Ольгину руку, утешала её, как умела.

И та начала отходить понемногу: светлеть взглядом, розоветь лицом, вдыхая глубоко, размеренно, понемногу впускать в сознание новую свою жизнь — в изгнании. Наконец, поднялась, выпрямилась и, аккуратно сложив телеграмму, спрятала её в карман василькового платья.

— Где деньги? — спросила отрывисто, жёстко.

Расписалась в квитанции на получение денежного перевода на тысячу долларов США (в пересчёте на родные, деревянные), отправила толстую их пачку в карман вслед за телеграммой и решительно вышла вон.

У дверей её ждала Бьянка: снаружи услышала хозяйкин вой, принялась скрестить дверь, пытаясь отворить её лапой. Завидев Ольгу живой и здоровой, торопилась подняться на задние лапы, поцеловать её зарёванное лицо, утешить: “Я — с тобой навсегда! Я люблю тебя”. Но Ольга не внимала собачьей радости, отмахнулась от утешений. Устремилась к своему дому в окружении двух лаек, повизгивающих, заглядывающих ей в глаза.

Так началась новая жизнь простой русской женщины Ольги Андреевны Рябининой — женщины, хоть и не овдовевшей, но неожиданно брошенной, забытой, отложенной на потом, что для сердца бабьего — ещё горше, ещё больней. Лишённой опоры, теперь ей приходилось рассчитывать только на себя. На собственные силы, смекалку, сообразительность, на бесценный, наконец, опыт деревенской жизни, позволяющий человеку прокормиться, согреться и выжить в самых невероятных условиях и катаклизмах — будь хоть это, не приведи Господь, ядерная зима или оранжевая революция.

Однако даже в тяжёлом деревенском быту существует разделение труда. Женское дело — управляться со скотиной, поддерживать чистоту в доме да кашеварить, да обстирывать, да шить, да рожать, конечно, ребятишек. А тут пришлось Ольге иной труд осваивать, каким прежде только в мужнином исполнении любовалась. Пришлось колоть дрова, таскать пятидесятикилограммовые фляги с водой, столярничать, орудуя кургузым, но до бритвенной остроты заточенным топориком да долотом, да рубанком; разбираться в премудростях электрических соединений, щитков и трансформаторов, рулить на тракторе “Беларусь”, чтобы вспахать полюшко да боронить его, да косить траву для скотины. Пришлось учить наизусть молитвы из ветхой Николаевой книжки, поскольку одной-то бабе, да без помощи Божьей, с хозяйством таким нипочём не совладать.

Слава Богу, ещё когда она была пацанкой, отец научил её тракторному вождению, устройству этого замечательного агрегата со всеми его насосами, свечами, акселераторами да сцепами. И вот теперь, поднявшись в кабину трактора да взявшись рукой за промасленные, пыльные рычаги, она вдруг начала вспоминать, что здесь к чему и как устроено. А когда, крутанув несколько раз шнур “погонялки”, услышала знакомый треск работающей магнето, а, переключив бентикс, и размеренный перестук работающего двигателя, сердце её наполнилось детской радостью, которую испытывала, сидя рядом с отцом, высоким и статным мужчиной в промасленной телогрейке и морской фуражке на затылке.

Бьянка тоже почувствовала перемены. Теперь Ольга почти не обращала на неё внимания, забывая не то, чтобы подлить в миску свежей водички или поласкаться, но даже, порой, и покормить. Если бы Бьянка жила одна, она бы, скорее всего, не обратила на это внимания, однако рядом с ней теперь была Булка, требующая питания, тепла и защиты. Бьянка не сердилась на вечно занятую Ольгу, понимала, что, в отсутствии дяди Николая, она теперь единственная хозяйка в доме, на неё легла вся ответственность, в том числе и за жизнь обеих собак. Не мешало и самой Бьянке подумать о пропитании. В тот год она была энергичной, здоровой и сильной собакой, способной пройти лесом не один десяток километров в поисках пропитания. И вернуться с добычей.

Ранним рассветом, когда корова Маркиза уже нетерпеливо вздыхала в тёплом хлеву, а первые пичужки стайками слетались к берегам Паденьги, чтобы утолить ночную жажду, когда Ольга ещё молилась перед образами в последней надежде вернуть своего блудного мужа, Бьянка, оставив на лежанке спящую дочь, лезла сквозь дыру в штакетнике, торопясь на утреннюю охоту. Лето для такой охоты — самое подходящее время. Ещё не встали на крыло первые выводки боровой дичи, ещё слишком малы и беззащитны детёныши зайцев, лис, енотов да кабанов. Ей и со взрослыми зверями впору было сойтись, однако, что толку: охотника позади тебя нет. Да и тащить из лесу добытого взрослого зверя ей одной было бы не под силу. После нескольких охотничьих рейдов она уже знала, где обитают три выводка лесных курочек, на каком болоте устроила гнездо глухарка с птенцами, на какой полянке грызут осиновую кору зайчата. Несколько раз она замечала медведицу с двумя сеголетками, но предусмотрительно обходила их стороной. Почувяв собачий дух, царица русского леса останавливалась, жадно вдыхала верховой запах, фыркала недовольно — и поскорее уводила своих малышей в бурелом.

За каких-нибудь пару часов успевала Бьянка придавить какую-нибудь мелкую животину или нерасторопных слетков. И сразу же, покуда добыча была тёплой, а в иных случаях только раненой или оглушённой, мчалась обратно, в деревню, чтобы положить дичину возле спящего щенка.

Так бы и жили они с хозяйкой Ольгой, каждая в заботах о хлебе насущном, если бы не тот июльский сенокос.

Трава после затяжной дождливой весны да вёдрого, жаркого мая уродилась высокой, сочной. Кустились высокие клевера с пожухлыми шапочками соцветий, колыхались в душном мареве метёлки луговой овсяницы, источала над полянами аромат густо зелёная душица. И, словно райские острова, посреди колышущихся на ветру зелёных волн, — васильки, ромашки да полыни. Время сенокоса столетний опыт сельского жителя определял безошибочно: зацветут махонькие кружева богуды, значит, остальная трава поспела, сбросила в ветер и почву семя. Тут то, сразу после Петрова дня, и наступает жаркая, каторжная пора сенокоса. Косить, стоговать, ворошить да волочить сухое сено домой, особенно в прежние, даже и колхозные времена, собирались целыми кланами. Советская власть, по скупости своей и нелюбви к сельскому жителю, отводила сенокосные участки подальше от колхозных угодий, на лесных полянках, где государственная техника не пройдёт, где только вёрткая, словно бритва цирюльника заточенная хозяйская литовка да седьмой бабий пот могут поднять, выдержать четыре росы, высушить, чтобы ушла горечь, и сложить в стога, казалось бы, нехитрый, вовсе дармовой урожай. Потом ещё волочить его на собственной горбине километров не меньше пяти до дому. Да носить на поветь. Прежде, рассчитывая необходимые на зиму запасы сена, говорили как? “На одну ножку, да по промёжку”. Четыре промёжки для козы, скажем, составляли четыреста килограммов сухого сена, а для коровы — уже четыре тонны. Стало быть, именно столько требовалось Ольге накосить сей год для Маркизы, чтобы она зиму пережила.

Дядя Николай справился бы с этой работой недели за две. Для Ольги, которая в прежние годы только ворошила и стоговала сено, теперь, без хозяина, сенокос мог растянуться на месяц. Она бы могла, наверное, нанять помощников среди соседей. Но рассудила про себя здраво, что деньги, присланные Николаем, покуда тратить не станет. Пачку банкнот упрятала в жестяную коробку из-под датского печенья и уложила на самое дно родительского сундука с нехитрым, скопленным стариками за жизнь добром — их платьями, штанами, кофтами да рубашками. Ещё и на амбарный замок заперла. А ключ от замка — на верёвку и в сиськи.

Сарай, в котором Рябинин хранил хозяйственный инструмент, от времени, снега и солнечного жара подёрнулся свинцовым налётом, шифер пошёл зелёными разводами плесени, а местами и мха. Но стоило пробраться внутрь и повернуть ручку старого выключателя, как входящему открывался многообразный мир хозяйских увлечений. Здесь можно было увидеть малиновый велюр переходящего красного знамени с гордым профилем Ильича

и большой школьный глобус с выпуклыми океанами, континентами и материками. Лодочный мотор “Ветерок” мощностью в десять лошадиных сил, прекративший вспенивать речную воду лет тридцать тому назад. С потолка свисали нейлоновые рыбачьи сети с пенопластовыми поплавками и транспаранты времён горбачёвской “перестройки”, призывающие “ширить гласность” да “углублять демократию”. Ржавый китобойный гарпун соседствовал тут со старыми вологодскими наличниками искусной северной резьбы, а могильный кладбищенский крест со стёршимся именем владельца — с китайской напольной вазой с карминовыми карпами времен династии Цин. Были тут, конечно, и привычные сельскому жителю “струменты”: литовки, берёзовые грабли, каменные жерновцы для зерна, оцинкованные шайки, лопаты различного назначения, вилы да топоры, из которых лучшими считались те, что выковали в пятьдесят третьем году, аккуратно в год смерти товарища Сталина. В стальных бочках с пятнами ржи хранился гудрон, отработанное машинное масло да солидол, похожий на сливовый мармелад. В пакетах из толстого пластика держал Рябинин селитру, мочевины и костяную муку для огорода, а в пакетах из двойного крафта — цемент, побелку, алебастр.

Нужный Ольге агрегат прислонился к правой стене сарая, покрылся пылью и пауками тенётами. Назывался он “косилка сегментная КС-2.1”. Только такой и можно накопить требуемые четыре тонны сена. Однако, приглядевшись получше, она поняла, что в одиночку ей с этим агрегатом не справиться. Вместе с механизмами, режущим полотном, пальцами и ножами весил он не меньше ста пятидесяти килограмм. А ведь требовалось ещё закрепить косилку на тракторном редукторе.

Всё утро потратила Ольга на то, чтобы решить эту инженерную задачу. Используя лебёдки, домкраты, тракторную тягу, стальные цепи да природную крестьянскую смекалку, она, хотя и умудохалась, как говорится, до крайней степени, однако КС-2.1 к “Беларуси” всё ж подцепила. В трудовом порыве готова была тут же забраться в кабину, чтобы испытать агрегат в деле, но, прикинув время — жаркое солнце в зените — да объём предстоящих работ, решила начать назавтра, по росе.

Утро в тот день выдалось погожее. Солнце только показалось из-за таёжного горизонта, пробовали воздух на вкус первые певчие птицы, с Паденьги поднимался молочный туман, и каждую былинку, травку будто подёрнула ночная испарина. Роса и на облупившейся краске тракторного капота, и на стекле кабины, так что Ольге пришлось даже провести по нему рукавом спецовки. Сквозь протёртое стекло кабины по-особому увидела она свой большой северный дом, где ей теперь придётся встречать одинокую старость, может, и смерть, окинула взглядом широкое нескосенное поле, которое предстоит сегодня скосить, самодельный, крашенный жёлтой краской крест на Никольском храме. Вспомнилось: муж не уставал повторять, что дом и жизнь его соседствуют с храмом его же имени не иначе, как по промыслу Божьему.

Увидела она и Бьянку, мчащуюся ей навстречу, но мысли её были заняты совсем другим. Пора было начинать. Ольга нажала на кнопку массы. Затем выжала педаль сцепления и переключилась с нейтральной на шестую передачу. Трактор с поднятым агрегатом, покачиваясь на ухабах и выбоинах, постукивая и отплёвываясь чёрной гарью отработанной солянки, медленно пополз в сторону поля. Среди нефритовой травяной зелени Ольгин тракторишко издала напоминал лазоревый катер, плывущий по какому-нибудь Саргассову морю. И во всей этой пасторали бытия не звучало ни единой нотки тревоги, ни тени надвигающейся беды.

Перед началом первого прокоса Ольга, перед тем как опустить агрегат сантиметров на двадцать от земли, оглянулась, убеждаясь, что ножи ходят по режущей рамке исправно, ровно, выжала педаль сцепления и на самой нижней передаче помаленьку двинулась вперёд. Теперь она не видела агрегата. Но срезанная трава ложилась стройно, дружно, не касаясь прошлогодней пашуши, оставляя после себя ровное стриженое жнивье. В конце поля Ольга вновь подняла агрегат и, развернувшись, приладившись, пошла на второй прокос. Солнце теперь светило в глаза оранжевым горячим жаром. Пахнущая остро соком травяная труха, мельтеши мотыльков-однодневков,

что погибнут уже на закате дня, свежий ветерок лета — всё это вызывало в женской душе безотчётное ликование, ощущение полноты жизни, радости бытия, которые даровал Ольге сегодня Господь. Но Ольга плохо понимала промыслительное. Заслоняясь от солнца ладонью с обручальным кольцом, она деловито правила к концу второго прокоса.

Бьянку она не заметила. А та вынырнула из оранжевого марева, неслась к хозяйке — навстречу лязгающим ножам агрегата. В следующее мгновение и поле, и ближний лес, и небо оглушил пронзительный собачий визг, от которого внутри у Ольги всё оборвалось. Она сразу поняла: Бьянка попала под нож. Пробеги она на метр дальше, ничего бы с ней не случилось. Но бежать по стерне было легче, чем в высокой траве, и она бежала по ней до самого её края. Дальше нужно было прыгнуть в высокую траву. И она прыгнула, не замечая лязгающей в траве стали. Задние лапы её угодили между стальными пальцами и движущимися лезвиями. Их отсекло в секунду. Боли Бьянка не почувствовала, по инерции продолжила бег и вдруг упала подкошенная. Странное ощущение потери опоры в ногах вызвало в ней неописуемый ужас. Вслед нахлынула острая боль, разрывающая на части её тело. Она завизжала. Заглушив двигатель, Ольга выпрыгнула из кабины. Белая лайка лежала возле ошетилившейся ножами косилки и тихо стонала. Агрегат перерезал ей задние лапы. Одна лежала отдельно, на окровавленной стерне, другая держалась на голубоватом сухожилии. Ольга опустилась перед Бьянкой на колени, проговорила:

— Всё будет хорошо, девочка. Потерпи немного. Я тебя тут не оставлю.

С трудом подняла собаку в беремя и без продыху к дому помчалась. Бьянка не открывала глаз, уткнувшись носом в хозяйкину спецовку, в тепло её горячего, распаренного тела. Силы покидали её. В обморочном тумане она бежала ещё, переполненная радостью нового утра, вслед за уходящим трактором хозяйки, видела, как сиганул из-под куста серый зайчишка, но не кинулась вслед, летела вперёд, полная радости и дурманящего чувства свободы.

Добежав с собакой до дома, Ольга положила её на хозяйский верстачок и первым делом отсекла топором сухожилие, на котором держалась отдельная от тела вторая лапа. Поглядела внимательно, не раздроблены ли кости. Лапы были отсечены с хирургической точностью по суставы. Ольга кинулась в дом, тут же выбежав оттуда с ведром студёной воды и ворохом чистого тряпья. Промыла культи, засыпала их белым порошком стрептоцида, залила флаконом зелёнки и накрепко перевязала тряпками. Бьянка тяжело дышала, словно не Ольга, а она проделала весь этот безумный, лихорадочный путь к дому.

18

Пока культи не заросли, не покрылись крепкими, похожими на коросту моzoлиями, лайка передвигалась по двору по-пластунски: выбрасывала передние лапы и, садня рёбра о мелкие камешки, подтягивала обрубки задних. Постепенно освоилась и вскоре проделывала необходимые движения на удивление ловко. А уж когда выучилась опираться на перемотанные тряпками культи, могла бы сойти и за здоровую собаку. Увечную, но вполне жизнеспособную. Только в лес далеко не убежишь и писать непривычно. Будь она кобельком, задрала бы культю да прыснула на штaketник. Ну, а ей-то как? Приходится враскоряку.

Булка шепутная, похоже, и не заметила, что мать обезножела. Прихватывала за уши маленькими, но востренькими зубками, вылизывала морду, носилась по двору, приглашая мать включиться в её детские игры. Белая сука взирала на неё строго, порою даже огрызалась, щерясь брылями. Однако напускная эта строгость тут же сменялась негой, светом материнства, которые испытывала Бьянка к дочери в пору своей, пусть и омрачённой инвалидностью зрелости.

Всякое утро ещё до рассвета она ползла приветствовать хозяйских кур. Те сонно моргали на насестах морщинистыми веками, а их господин — великопeнный петух брамской породы с расклешёнными перьями вокруг лап, взиравший на неё вначале надменно, — теперь павлинил хвост, хлопал

крыльями и пронзительно голосил, пробуждая Астахино к новому дню. Тут же, в курятнике, она раскланивалась с пекинской уткой Дусей. По старости Дуся яиц не несла, пары не имела и оттого вела замкнутый образ жизни. Затем ползла приветствовать глупых крольчат с их трепетными ушами. Это были уже, наверное, правнуки тех кроликов, с которыми она познакомилась в первые дни своей деревенской жизни и которые, как ни печально, окончили свой бранный путь в кастрюле дяди Николая. Их косточки и по сей день находила за штакетником Булка. Из крольчатника прямая дорога вела в хлев. Здесь пахло сеном, свежим, не убраным пока назёмом и парным молоком вчерашней дойки. Маркиза тоже не спит, переминается с ноги на ногу в ожидании быстрых хозяйских ладоней на вымени, на горячих сосцах. Лайка тычется носом в коровью ляжку, выражая Маркизе своё почтение, и та отвечает ей задорным помахиванием хвоста. На обратном пути к дому лайка призывно тявкает у схрона полёвки, отчего пожилая мышка вздрагивает, подскакивает в страхе, но тут же в утренней неге переворачивается на другой бок.

Последней в чреде приветствий была хозяйка. Неслышно, словно опытный лазутчик, вползала лайка в её одинокую “опочивальню”. Не мигая, смотрела, как хозяйка домучивает свои чёрно-белые сны, в которых уже нет места мечтаниям и фантазиям, но только одна забота да люта тоска.

Тягостно вздыхая и вздрагивая всем телом, Ольга пыталась освободиться, но сон держал её крепко, мёртвой хваткою. И тогда наступал черёд Бьянки. Подползая к пружинистой кровати, она, наконец, вставала на свои обрубки и “целовала” лицо хозяйки. Ольга открывала глаза. Смотрела мутно. Потом яснее, добрее, лучистей. Иногда протягивала руку, чтобы благодарно почесать лайку за ухом. Иногда просто тихо улыбалась в ответ. И всякий раз говорила:

— Доброе утро, Бьянка. Пусть оно будет для нас с тобою добрым.

В такое именно утро, поглаживая лайку по животу, пальцы Ольги наткнулись на крохотное, не больше спичечной головки, уплотнение у соска, на мгновение задержались и поползли выше. В домашних хлопотах, в душном июльском мареве Ольга скоро забыла об этом. А вспомнила только через несколько недель, вновь поглаживая собачье пузо. Уплотнение стало больше. И это встревожило Ольгу.

Она вспомнила тихую аккуратную бабушку Пелагею. Та читала ей, девочке, сказки Пушкина да предания далёкого Урала о горных козлах, вышибающих копытом драгоценные камни, о подземном цветке из малахита, о злой хозяйке Медной горы. Бабушка Пелагея жила смиренно в своём, тряпочками да чистыми половичками убранном голбце, где всегда было уютно у белёного бока печки. Заболела Пелагея, кажется, осенью, а к зиме надорвалась, из голбца не показывалась. Маленькая Оля носила ей тарелки с харчем да выносила за ней ведро. Бабушка Пелагея сильно исхудала, кожа её стала серой, как обёрточная бумага в сельпо, взгляд, прежде живой, весёлый, угас. Она начала съёживаться, уменьшаться. Превращаться в ребёнка. Старческий кашель, всё более грозный, сотрясал убежище Пелагеи. Вскоре, выплёскивая на дворе её ночное ведро, девочка заметила кровавые ошмётки. И с ужасом подумала, что это внутренности Пелагеи, куски её лёгких, что выходили из неё вместе с грохочущим кашлем. Девочка не сказала никому о своём открытии. Каждый день ходила в голбец, со страхом смотрела в восковое лицо бабушки Пелагеи, будто силилась распознать причину её ужасной болезни. Пелагея умерла на Пасху, но этого никто не заметил. Только на другой день Оленька увидела в постели прибранную, одетую в саван бабушку с ручками, сложенными на груди, с бумажной иконкой Спасителя в окоченевших пальцах. Почувствовав близость конца, Пелагея сама, никого не утруждая и не беспокоя, приготовила себя к смерти. И встретила её наверняка с облегчением.

Та же самая болезнь, как подозревала теперь Ольга, могла поразить её собаку. Бьянка, конечно, не бабушка Пелагея, но всё равно жалко.

Тем же днём отправилась Ольга к сельпо, против которого стояло двухэтажное строение из шлакоблоков, именуемое официально ФАП — фельдшерско-акушерский пункт.

Заправляла тут местная интеллигенция: Мотя Едомский со своею женой Ангелиной. Оба — люди пришлые, оба — с образованием, полученным лет тридцать назад в мединституте. Приехали в Астахино по распределению да так и остались. Эскулапам за их трудовое геройство по решению местной администрации был срублен большой дом из соснового кругляка. Мало того — пристроен и сдан в эксплуатацию стоматологический кабинет, оборудованный бормашиной БПК, креслом, взятым из районной парикмахерской, и автомобильной фарой вместо бестеневой лампы. И хотя советская бормашина работала на низких оборотах да к тому же беспрерывно вздрагивала, отчего из разверстой пасти пациента струился сизый дымок с запахом горелой кости, сельские жители восприняли местную стоматологию как научно-технический прорыв. В прежние времена ведь только щипцы да “козья ножка”. И по живому!

Помимо сверления зубов, Мотя умел вправлять вывихнутые и поломанные кости, резать чирьи, укрощать лихоманку, ушивать килы, изводить чесотку, золотуху и сучье вымя. По пьяному делу, случалось, грозился, будто может разрезать человека от горла и до лобка и даже вскрыть ему череп, однако продемонстрировать это варварство ему пока, слава Богу, не удавалось. Нуждающийся в хирургическом вмешательстве народ отправляли в райцентр. Супружница его Ангелина специализировалась больше по бабьему делу: сражалась с маститами в грудях, подсобляла акушеркой при родах, но чаще выписывала направления на выскабливание в районную больницу. Она и сама скоблила обрюхатевших баб — втихаря, на ранних сроках и по большому, как говорится, благу. Про этот подпольный абортарий, помимо рядовых гражданок, знал и местный участковый, и глава сельской администрации Ветгин, однако по причине личной заинтересованности собственных жён тайну эту хранили пуще государственной.

В шлакоблочном здании фельдшерского пункта народа — не пропихнуться. Кто отсёк себе литовкой фалангу, кто поганых грибов обожрался, кто обжёгся ядовитым борщевиком, а у кого — обычный понос. Стоят и сидят смиренно на лавочках в коридоре, покуда Мотя рвёт Льву Николаевичу Толстому “гнилушку”, после которой у светоча сельского образования останется восемь своих зубов, да ещё ровно столько же вставных, из металла. Едомский уже и десну скальпелем разрезал и обколот с обеих сторон новокаином. “Гнилушка” крошилась трухой, но упиралась. “Видать, у ней корень, язви твою мать, кривой, — рассуждал вслух Едомский. — Будь у меня рентген, я б тебе явственно доказал”. Однако рентген появлялся в Астахино единожды в году — для обязательной проверки на туберкулёз. Так что Моте приходилось лечить и рвать зубы вслепую. Наконец, он извернулся, вогнал в “гнилушку” козью ножку и потянул изо всех сил, упираясь локтем в грудь старого учителя. Что-то хрустнуло в голове Льва Николаевича, и в то же мгновение озарилась солнцем морда. В окровавленных пальцах он победно сжимал гнилой учительский зуб.

Запыхавшаяся Ольга ввалилась в его кабинет без очереди, пользуясь приоритетным правом коренного населения, тремя увесистыми матюгами в адрес наглеющих “дачников” да подзатыльником какому-то пареньку. Без лишних разговоров сунула эскулапу два десятка парных яиц в берестяном кузовке в качестве оплаты за консультацию и, примостившись на краешке кресла из парикмахерской, принялась рассказывать про свои опасения. Едомский слушал внимательно, не перебивал. Спросил:

— Ты мне про кого рассказываешь? Чёй-то я не пойму.

— Да про собаку мою, Бьянку, — ответила Ольга и споткнулась о вскипающий огнём взгляд доктора.

— Да ты в своём уме! — заорал он, вскакивая с табурета. — Мне тут людей некогда резать. А ты — с собакой! Если я буду ещё и животин кромсать, что от меня останется?

— Да не прошу я кромсать мою собаку, — закричала в ответ Ольга, — ты мне дай совет, как человек в этом деле понимающий. Другого не прошу.

Они ещё долго орали друг на друга, так что в кабинет вбежала Ангелина в клеёчатом рыжем фартуке, забрызганном каплями крови. Послушала,

о чём токовище, убедилась, что морду её мужу никто не бьёт, плюнула разочарованно и вернулась к своим пациенткам. Преппирательства Ольги и Матвея вряд ли могли кончиться договорённостью. Врач пытался объяснить деревенской женщине, что любая онкология требует специальных знаний и оборудования, позволяющих не только локализовать опухоль, но и понять серьёзность заболевания. Ольга же взывала к Едомской совести и добросердечию, понимая бабьим чутьём, что, если человеческая душа откликнется, все непонятные её рассудку преграды будут разрешены. Давила она, естественно, и на жалость к одинокой, коварным мужем брошенной женщине, которой одной приходится управляться с неподъёмным хозяйством. Так что без подкупа её дело никак не решалось. Посулив эскулапу четверть фирменного “Николая”, Ольга, наконец, встретила понимание.

— Ладно, хозяйка, — вмиг оттаяв, согласно молвил Едомский, — вечером зайду, погляжу твою животину. Только ты об этом — ни-ни! Узнают по деревне, на весь свет ославят ветеринаром!

Вечером он и вправду явился в дом Ольги под пристальным взглядом старух, отслеживающих, словно радары, нечастое передвижение по улице деревенского люда. В сенях его уже ожидала извлечённая из погреба потная четверть, а сама хозяйка обрядилась в светлое платье с ландышами да заплела в косу тяжёлые пряди каштановых волос, ещё и окропила шею и ложбинку промеж высоких грудей маслом болгарской розы.

Это благоухание Мотя почуял своим ноздреватым носом с порога. Вдохнул его глубоко, чувственно, словно редкую восточную сладость, не понимая ещё, что исходит оно от этой статной, мягкой, что твоя булка, женщины с манящим взглядом.

— Проходи, Матвей, — проговорила она. — Садись. Чай, ухайдакался на работе. Морсу брусничного налить тебе аль чего покрепче?

От такого ласкового приёма Едомский смутился, оробел. Казалось ему, кто-то смотрит на него неотрывно, осуждающе. Вдруг откроется дверь, и в избу завалится блудный дядя Николай? Не то, чтобы Мотя трусил находиться один на один с замужней, хоть бы и формально, женщиной, однако что-то подсказывало ему, что встреча эта похожа на искусную ловушку. Поведись он сию минуту на ласковые слова и восточные ароматы, вся жизнь его может уйти под откос, точно состав, подорванный партизанами.

— Ничего не нужно, Оля. Да и времени у меня в обрез, Ангелина уже на стол собирает. Веди что ли свою собачонку!

Женщина понимающе улыбнулась, но всё ж таки гибче изогнулась станом, поднимаясь с венского стула, вышла в сени. И вернулась, пропуская вперёд Бьянку.

Белой суке было не понять, для чего появился в их доме этот человек. Она узнала его, помнила с тех давних пор, когда вечерами провожала из магазина домой продавщицу Любашу или с напрасной надеждой ожидала Форстера на остановке. Никогда этот человек её не ласкал, как другие, не протягивал угощенья, сторонился. В Астахино помнили, как несколько лет назад на Едомского, нечаянно забредшего в чужой огород, набросился здоровенный алабай. Может, потому избегал Мотя чужих собак? Однако теперь зачем-то поманил к себе Бьянку, уговаривая не нервничать, не переживать. Лайка обернулась к хозяйке и, не увидев в её лице запрета, подошла к доктору. Тот не стал её гладить, а с мягкой настойчивостью уложил на пол, потом, не настораживая собаку, отчего-то сразу доверившуюся его рукам, перевернул на бок и не спеша, спокойными движениями пальцев принялся ощупывать её тёплый живот. Бьянка почувствовала — рука его вдруг остановилась. Переползла к шее, ушам. Тронула нос. Вновь вернулась к животу и, наконец, отпустила.

— Хреново дело, — проговорил Едомский, поднимая взгляд к соседке. — Опухоль молочной железы. Уже и лимфатические узлы воспалились. Проживёт месяца два. Или три. Не больше.

— Ей еще можно помочь? — спросила Ольга.

— Если тока резать, — ответил Едомский. — только тогда поймут, куда метастазы проросли. Мне думается, поздно уже. Мобуть, и обратно зашьют.

Говорить людям о близкой смерти для врача всегда не просто. Даже для сельского фельдшера Моти Едомского. Напрасно говорят люди, что со временем докторское сердце черствеет, словно вчерашний ломоть хлеба. Со стороны лекари кажутся циниками, поскольку говорят о сокровенных частях и недугах человеческого тела с прямою сантехников и электриков. Но приглядевшись внимательнее, увидев их в деле, понимаешь: такова особенность их труда. И сердце у них — такое же, как у всех, из крови и плоти.

Поднявшись с колен, Едомский потрепал жёсткий загривок лайки, виновато улыбнулся стоящей перед ним женщине, как бы извиняясь за то, что не уделил ей мужского внимания, и за то, что сообщил печальную весть. Попрощался и вышел во двор.

Жаркое солнце клонилось к закату, завязнув в трясине перьевых облаков и превращая их в розовый кисель. Над рекой к лесу потянули первые вальдшнепы, а с полей на реку с тяжёлым плеском садились дикие утки. Из каждого перелеска, из каждого куста доносился щебет пеночки-веснянки, неприметных гаечек, щеглов и зырянок. Распускались пышно, лишь на три летних ночи, лимонные цветы ослинника, да гроздья смолёвки придерживали вокруг себя гиацинтовый аромат, слышимый особенно такими вот тихими вечерами и собирающий на этот чарующий запах целые стайки трепетных совок.

Вот она, жизнь! Со всеми её горестями, утратами, разочарованиями и даже смертью! Вечно будут цвести смолёвки, вечно будут заливаться зырянки, вечно будет нести свои воды эта река и солнце будет заходить за горизонт.

Весь-то вечер, когда планета Венера особенно ярко сияла отражёнными лучами Солнца, просидела Ольга на полу возле своей собаки в печальных размышлениях о будущем. Она понимала, что не сможет оставить хозяйство ради спасения Бьянки. Если и найти кого-то, кто мог бы отвезти собаку в район, к ветеринару, то на операцию, на выхаживание, на лекарства не хватит даже той тысячи долларов, которые прислал ей блудный муж. Да и смысла нет платить. Сказал же Мотя: операция может и не помочь, всё слишком запущено. Да и где видано, чтобы обыкновенный человек, селянин, повёз вдруг собаку или иную какую животину на операцию? Не было такого в сознании деревенском, в многовековом укладе жизни северных крестьян. А вслед за мыслями о несчастной Бьянке нахлынули на Ольгу собственные печали о том, что и сама она похожа на свою собаку — всеми брошенная, позабытая. Придёт беда — некому будет даже, как говорится, воды подать. Так и содохнешь. “Без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка...” Хорошо, коли помрёшь летом, а если зимой, когда на всё Астахино остаётся не больше тридцати стариков, а ближние избы и вовсе с заколоченными ставнями стоят. Разве кого докричишься? Ольга видела собственными глазами картину смерти одинокого человека, когда повесилась старуха Спиридониха. Провисела в вымороженной избе дней пять. Покрылась колкими иголками инея, словно старая снежная королева с фиолетовым распухшим языком. Зато мыши не погрызли лицо и руки, и сама она не протухла.

Надежды на дочь у ней тоже не было. Жила она теперь в городе Вельске с промышлявшим вырубкой леса вдовцом. Жила без официальной росписи на положении сожительницы, а то и прислуги, няньки двум его злым-девчонкам, десятилеткам. Вдовец валил лес вахтовым методом, уезжал на месяц, а то и на два. Так что Маруся большую часть одинокого времени предавалась туманным мечтаньям и неизбежной русской тоске по несбывшему счастью. Оттого, видать, и зашибала. Уходила в запой, не обращая внимания на голодный вой падчериц, на загаженную однокомнатную квартирку, на осуждающие взгляды соседей.

Казалось бы, всего-то до Вельска километров двести, а будто на другой планете. Вести от дочери приходили всё реже. Тоньше делалась нить, соединяющая её с матерью.

“Что моя жизнь?” — спрашивала теперь себя Ольга и с горечью сознавала, что всего-то три дня была на свете этом грешном счастлива: когда ловила солнечных зайчиков на бревенчатой стене родительской бани, когда выходила замуж за Николая и, конечно, когда родила (прямо в хлеву) Марусю.

Всего-то три дня. Из пятидесяти лет сознательной, вполне зрелой жизни. Не мало ли счастья?

Ей стало невыносимо жалко себя, и непрошено, градом хлынули слёзы из глаз. И падали, всё падали на платье в ландышах, на мозолистые грубые пальцы, на белоснежную шерсть лежащей у ног лайки.

19

Булка тем временем превратилась из щеночка в подростка с тутой зако-рючкой хвоста, но потешными отвислыми ушами. Пока стояло лето, она предавалась охоте за бабочками, изучением ближнего к дому перелеска, где уже отыскала и звонко, профессионально облаяла лесного ежа, да беззаботной послеобеденной неге в горячей пыли возле скамейки с рунами клана Ряби-ниных. Она теперь всё реже бывала с матерью, чаще, проشمгнув сквозь пролом в штакетнике, мчалась на волю, в душное, сладкое марево цветуще-го дуга, зрелого лета.

Бьянка, наоборот, старалась от дома далеко не уползать. Днями лежала в прохладных сенях, пахнущих можжевельновыми вениками, на том точно ме-сте, где родила своих детей, где простился с ней доктор Форстер, где до сих пор висел на гвоздике кожаный его ягдташ да поводок из городской её жиз-ни. Просыпалась она теперь с ощущением внутренней тяжести и тоски, без всякого желания съедала невкусное, жирное варено. Пасть её сохла до состояния наждака, так что теперь она укладывалась рядом с миской чистой воды. Глаза её слезились, наполнились солёной влагой, отчего на шерсти воз-ле глаз появились бурые подтёки. Казалось, вместе со слезами сама жизнь утекает из неё капля по капле. Но боли никакой она не чувствовала, хотя сосцы в нескольких местах опасно налились спелыми виноградинами.

В начале сентября, после того, как ребятишки пошли в школу, пропала Булка. Как обычно, шмыгнув спозаранку сквозь штакетник, умчалась юная лайка в ближний лес. И к обеду не вернулась. Миска с её баландой осталась нетронутой. Наступил вечер. Бьянка с трудом поднялась с лежанки, вышла во двор и долго стояла, задрав белоснежную голову, верховым чутьём стара-ясь определить местонахождение дочери. Несколько раз позвала её высоким поскуливанием, вслушивалась.

Над селом шли низкие тучи, гудел ветер в проводах, шелестел вызрев-шей травой, раскачивал тяжёлые ветви дубов. Не слышно было Булки.

Ночь прошла без сна. Бьянка вздрагивала от малейшего шума, шороха во дворе. Поднимала голову. Вслушивалась в надежде распознать знакомый бег. И не слышала ничего.

Чуть свет, глотнув похлёбки, Бьянка ушла в лес на поиски заплутавшей дочери. Она помнила, знала по собственному опыту, что с молодыми лайка-ми такое случается. Стоит им почувствовать зайчишку, они увлекаются пре-следованиями, а косой, путая следы, кружит по лесу, заманивает неопытную охотницу в глухую чащобу, вдалеке от жилья и дорог. Длится такая гонка не по одному часу, а завершается для молодой и горячей собаки полной по-терей ориентации.

...Следы Булки лайка нашла сразу, метрах в трёхстах от околицы. Хо-рошо, что прошедшей ночью вслед за ветром не пришёл дождь. Иначе бы ис-кать пришлось гораздо дольше. Следы вели напрямик к ближней берёзовой рощице.

Ранняя осень кружила первым яично-жёлтым берёзовым и кленовым ли-стом, проступала пурпурными пятнами на осинах, рябине, черёмухах. В воз-духе уже слышалась слабая зимняя нота. Небо приблизилось, покрылось се-рой рябью, лохмотьями облаков. Запахи сделались влажными, терпкими, как живица. Дикие птицы давно обзавелись потомством, иные выводки разо-шлись по болотным ягодникам. Дикий зверь вместе с потомством нагуливал жир на ягоде, мёде, орехах, желудях и грибах, чтобы запаса хватило на дол-гую северную зиму.

Бьянка шла на запах дочери не быстро, ущербно припадая на культы, но чутьём — уверенно, не теряя следа ни на мгновение, не отвлекаясь на

другие запахи — перезревшей травы, свежего тетеревиного помёта, заячьей мочи. Нужный ей след вёл дальше, сквозь берёзовую рощу, через полянку с сухими трубками борщевника, через чистый карминовый ручей — прямым в глухую чащобу Марьянова леса, чьих пределов Бьянка не знала, а простирался он ещё на триста верст, до самого секретного города Плесецка.

В лесу этом она бывала и прежде, однако даже бывалый охотник пробирался тут по заросшим тропинкам, оставленным гусеницами трелёвщиков в пору расцвета пиратской вырубki леса, по самым его закрайкам. Флибустьеры русского леса сколотили тут и крепкую избушку из мачтовой зимней сосны, оснастили её нарами да печкой-буржуйкой, чтобы коротать ночь в сезон браконьерской охоты. Останавливался в ней некогда и нынешний барон дядя Николай вместе с Бьянкой. Вместе с хозяином они проверяли в радиусе пяти километров все звериные тропы, все лежанки да кормовые уголья. Набили мешок рябчиков да подняли трёх тетеревов на болоте, да одного глухаря на току. Теперь в избушке уже, видать, давненько никто не селился. Дверца заперта ржавым замком, заросла паутиной, оконца — мутные, глаукомные. На гвоздике сохнет заячья шкурка, вывернутая чулком наизнанку, добытая, судя по жёлтой шёрстке, в начале нынешней зимы. Однако ни заячья шкурка, ни остывшее человеческое жильё не прервали долгого хода юной лайки, и следы её уводили всё глубже в чащу тёмного леса. Тем более, что к следам Булки теперь добавился ещё один запах: вонь дикой свиньи с выводком.

В чаще всё было иначе, чем в милых сердцу лайки рощицах и перелесках неподалёку от дома. Могучие, столетние сосны, до которых, по счастью, не добрались ещё немецкие бензошлы пиратов, высились редко, но монументально. Разлапистые ели окружала молодая пахучая смена, пенились кусты чёрной бузины, дикого шиповника, уходили вверх пепельные стволы осин, чьи пурпурные листья снизу не сразу заметишь. Вся эта дикая, буйная поросль густо заслоняла небо, едва пропускала на землю солнечные лучи. Лишайники цвета морской волны свисали с елей былинными бородами. Разноцветные мхи — ярко-зелёные сфагнумы, голубоватые исландские, лимонные очитки и багряный кукушкин лён — выписывали на болотистых прогалах божественный орнамент, по которому даже бежать в радость — так мягко пружинит он под ногами. А во мхах-то — черничная и брусничная россыпь ягод вперемежку с лаковыми жёсткими листочками. Алые и чёрные ягоды набрали летнюю сладость и теперь ждут-дожидаются глухаринного ли выводка, мишки косолопного или стайки припозднившихся дроздов. Тут же и грибы породистые, духовые, как на подбор, — пятирублёвые маслята, крепкие красноголовики да упитанные боровички в матовых шоколадных шапочках. Источают гниlostный аромат переростки, готовые упасть, орошая землю спорами будущих грибниц, красуются лубочные мухоморы да “дедушкин табак”, даже от лёгкого прикосновения извергающий фонтанчики махорочной пыли.

Вот уже и день клонится к закату, Бьянка всё тяжелее ковыляет лесною тропой по следу дочери — через валежины, поваленные поперёк тропинки стволы деревьев в изумрудных лишаях, через бойкие ручейки, где лишь на секунды останавливается перевести дыхание, напиться ключевой воды.

Снежную шёрстку Булки лайка заметила неожиданно, лишь только обогнула вывороченную с корнем сосну. В чуткий нос её кучно, больно ударили запахи разлагающейся плоти, кабаньей шерсти, остывшей крови. Бьянка замерла на мгновение и затем осторожно пошла в сторону снежной шёрстки, понимая уже совершенно отчётливо, что случилось непоправимое.

Приблизившись к месту с вытоптаннми, кое-где вывернутыми мхами, с подсохшими сгустками крови, с ключьями жёсткого кабаньего волоса, увидела она, наконец, несчастную Булку. Она смотрела в сторону близящегося заката стеклянным, остановившимся взглядом. Нос её совершенно высох. Шёрстка — в пятнах подсохшей грязи, сукровицы, живых пятнышках навозных мух, которые, жужжа, уже слетелись на мертвечину. На левом боку — от паха и до грудины — широкая чёрная рана, из которой фиолетовой массой вывалились ошметки кишок и внутренностей. Тугая прежде закорючка

хвоста обмякла. Пасть оскалилась в последнем крике. Жизнь оставила Булку ещё накануне.

Всю-то ночь выла Бьянка над трупом дочери. От этого плача, оглашавшего лес на километры окрест, взлетали с деревьев испуганные совы, сторожкие зайчата прижимались ниже к земле, замедляли ночной бег волчьих стаи. Безмолвная галактика со всей своей вселенской печалью роняла на землю частые плачущие звёзды.

Стихла Бьянка только к рассвету. Очнувшись от короткого забытья, вновь подползла к мёртвой дочери, долго, тщательно вылизывала её морду, ещё раз взглянула на истерзанное тело. Затем отвернулась и принялась то одной, то другой лапой, а то и задними культями отбрасывать на труп комья земли, перемешанной с травой и хвоей, стремясь засыпать ею несчастную Булку. Так закапывала она своего ребёнка, пока не укрыла его лишь слегка, оставив припорошенный труп на краю звериной тропы. И, не оглядываясь, медленно побрела к далёкому дому, по остывшим запахам и приметам пытаясь понять, что же случилось с Булкой два дня назад.

А случилось с ней вот что. Никакой заяц её, хитроумно путая следы, не гонял. Да и не видела она зайцев в тот день ни разу, даже духа их не чувствовала. Увлёк юную лайку запах дикой свиньи, что ломанулась от неё в сторону, спасая трёх своих “матросиков”. По их-то следу, повинувшись молодому азарту и природному инстинкту, Булка и пошла. Шла так довольно долго, не прибавляя хода и не пытаясь напасть. Наконец, звери остановились, притихли. А перед ними неожиданно возник тёмный силуэт молодого секача с жёлтыми, как слоновий бивень, клыками. Он жадно вдыхал терпкий осенний дух и пока не замечал Булку, которая стояла на тропе с подветренной стороны. Но ветер вдруг переменялся, и зверь почувствовал лайку. И сразу кинулся навстречу. Булка взвизгнула от неожиданности и бросилась наутёк. Если бы побежала она обратно, к дому, может, и отстал бы от неё секач. Но горячая кровь и охотничий азарт заставили её сделать резкий разворот, обойти секача сзади и вцепиться зубами в его армированный калкан. Если бы знала она, что осенью даже стрелять по кабаньему калкану бессмысленно, ибо даже пуля отлетает от него, как от титанового слитка. Но она по молодости лет, конечно, не знала об этом. Острые её зубы только чиркнули по звериной шерсти. Секач обернулся и в секунду подскочил к лайке клыками. Собака взвизгнула, ещё не чувствуя боли, а только сокрушительный удар в грудь, который кинул её на заросли мхов, и она отлетела на них, обильно орошая их хлынувшей кровью.

Последних минут жизни — собачьей ли, человеческой — не разгадать и не осмыслить живущим. Оторопь ли перед неизведанной, иной жизнью, ужас или облегчение испытывает всякая тварь Господня, очутившись на пороге непроницаемого, невозвратного? И отчего же тогда, перешагнув черту, испытывает лёгкость, состояние благодати, неведомой прежде эйфории, а земные радости, пусть и самые яркие, кажутся чем-то незначительным, ничтожным?... Настолько ничтожным, что к прошлой жизни и возвращаться не хочется. Особенно душам непорочным, юным. Хочется верить, что им уготована вселенская вечность. И вселенская радость.

Если бы Бьянка была человеком, она бы, возможно, думала примерно так, однако она была всего лишь лайкой. Всё её существо переполняла любовь к тем, кого она однажды произвела на свет и теперь потеряла.

Горькое это утро раскрылось солнечным, прозрачным. Палал осенний лист, и в падении этом тоже была печаль расставания, смерти. Но по-весеннему звонко щебетали лесные птицы, нити паутины невесомо парили над сухим жнивьем, над которым во всей своей безбрежности растекалась бескрайняя голубая атмосфера. Красота мироздания рождала горькое и одновременно светлое предчувствие: жизнь продолжится, даже если мы этот мир покинем. Он останется прежним, невыразимо прекрасным, а мы, возможно, обретём другой мир — лучший.

Медленно, с частыми остановками и свинцовой тяжестью во всём теле, с непреходящей болью в израненных культях, тащилась Бьянка к дому. Иногда останавливалась, ложилась на жухлую листву, закрывала бессонные глаза, чувствуя под животом влажную прохладу грядущих стуж, а шкурой —

нежаркое касание солнечных пятен. И вновь поднималась, брела звериной тропой к чужой теперь, наполненной её одиночеством деревне.

Бьянка тащила к хозяйке, еле передвигая стёртые в кровь культы. Опустив голову к земле, не заглянув в глаза Ольге, подползла, упёрлась головой ей в колени. Женщина наклонилась к несчастной и, ещё не понимая причины столь долгого отсутствия лайки, не подозревая гибели Булки, чутким бабьим нутром угадала собачье горе. Остро почувствовав и себя несчастной, без сил после тяжёлых дневных трудов, вслед за скулящей ей в колени Бьянкой Ольга и сама заскулила от неизъяснимой тоски и печали. Так и плакали они — собака и человек — одни-одинёшеньки на этой земле, под равнодушным солнцем, клонящимся к тускло багровеющему в тучах закату, под редкими горошинами звёзд, давным-давно уже умерших во Вселенной.

20

В конце октября до Астахино, наконец, добралось очередное послание от дяди Николая. Сообщила об этом, взволнованно пуча глаза, Нюра Собакина, встретив Ольгу в сельпо. Народу в магазине было немало: ждали, когда чечены подвезут свежий хлеб.

Со вчерашнего ещё дня Любаша записывала карандашом всех желающих в общую ученическую тетрадку, где хранила пометки о товарных кредитах престарелых односельчан, что получали продукты в долг, до следующей пенсии, которую, к тому же, носили нерегулярно. Едва Нюрка сообщила во всеуслышание, что из Испании Ольге пришла долгожданная депеша, как ожидавший хлеба народ, словно по команде, оборотился к Рябининой. Всем было интересно, что она на это ответит? Но Ольга не сказала ни слова. Кивнула Нюре и вышла вон. Граждане тут же принялись эту “санта-барбару” обсуждать, высказывать предположения, отчего это Николай не возвращается, уж не нашёл ли себе на чужбине заместо законной супруги иностранную сударушку? Не предал ли он этим и Родину заодно?

Граждане, как всегда, были правы.

Вскрыв на почте заграничный вытянутый конверт с двумя уточками-мандаринками на марке, Ольга развернула лист дорогой бумаги с водяными знаками. И прочла следующее:

“Дорогая моя Олошка! — писал как-то уж совсем подозрительно складно и ласково Николай Игнатьевич. — Прежде всего, передавай от меня привет нашему голове Августу Карловичу Веттину и супруге его (сыр и ногу я ему уже давно купил, отправлю на днях посылкой), директору школы Льву Николаевичу Толстому, Матвею Едомскому с Ангелиной, Харитону, сестре моей Зинке, племяннице Любке с мужем, Серафиме Аркадьевне, Нюрке Собакиной, егерю Витьке Кузину да остальным ребятам. Скоро ты сможешь с гордостью меня называть Николас де Бланко Видаль, поскольку после смерти отца могу унаследовать его титул барона. Я уже написал об этом заявление в Министерство юстиции Испании и теперь буду ждать, когда его подпишет король. Но на это уйдёт не меньше двух лет. Как ты понимаешь, я вступил уже в права наследования отцовского имущества, которое состоит из 63 гектаров оливковых деревьев в Андалузии, одной фермы для выращивания боевых быков для корриды в деревне Буэнамадре, двух имений в Ла Манче и дома в Ронде, где имеется ещё большой апельсиновый сад, семи автомобилей, цены которых я пока не знаю, и даже личного самолёта в аэропорту Менисес. Конечно, отец оставил мне большое состояние, которое хранил в банках под проценты. Одним словом, я стал вдруг богатым человеком! В моих делах помогают мне управляющие и известная тебе Долорес, без которой я вообще, как без рук, поскольку по-испански покуда не балакаю. Она — как ты! Только ещё добрее. Предлагал ей деньги за её работу, но она от них отказывается, говорит, что не в деньгах счастье, и помогает мне бескорыстно.

Хочу сказать тебе, что мне было бы приятно, если бы ты смогла приехать сюда, пусть даже и насовсем. Продавай к лешему избушку да сарай, да животину с техникой и перебирайся сюда. Можешь даже никаких вещей

не брать, кроме икон. Я тут всё тебе куплю и поселю по высшему разряду: хочешь — в Ла Манче, хочешь — в Ронде. Поживёшь хоть в своё удовольствие на старости лет. Неужели мы этого не заслужили с тобой? Можешь и Маруську прихватить. Мы найдём ей тут достойного кабальеро, а не вдовца с лесоповала. Отдельным переводом я послал тебе ещё десять тысяч долларов, чтобы ты уже ни в чём себе не отказывала. Таких деньжищ в Астахино сроду не видывали. Их хватит и на поездку, и на переезд, и на всё остальное. Заживём втроём с моей Долорес дружно и счастливо. Любящий тебя муж Николай Рябинин”.

“Он, должно быть, от деньжищ-то этих совсем умом тронулся, — подумала про себя Ольга без злости, но с искренним сожалением. — Или горькую глушит”.

Следующая мысль поразила её своей ясностью и прямоотой, поскольку исходила из самой сердцевины северной женской души. “Надо его спасать, — подумала Ольга. — Жена я ему али нет? Негоже так от мужика-то отказываться. А уж бобылкой остаток дней прожить — тем более”.

— Нюр, — обернулась она к Собакиной, — купи-ка ты мне путёвку!

— Куда, тётъ Оль?

— Да в Испанию эту поганую, подери её лешак.

— И вы тоже? — изумилась Нюра.

— Мужика своего из басурманского плена вызволять поеду, — улыбнулась задорно Ольга.

Через четыре недели или поболее того путёвка заграничная была готова. Неведомый Ольге авиалайнер собирался унести её на Иберийский полуостров в начале декабря. А покуда ей предстояло разобраться с хозяйством.

Почитай целую неделю кумекала Ольга Рябинина, что ей делать с большим наследством испанского своего идалго. Трактор сбавила сразу, за полцены, на пилораму, где, на счастье, собственная техника надолго вышла из строя, как водится, по причине лености нерадивого тракториста. Сети, мотор “ветерок” да китовый гарпун в довесок уступила за бесценок местным браконьерам. Уложила в сундук иконы, укутав байковым детским одеяльцем, туда же отправились альбом с фотографиями — осколками прежней, молодой и счастливой её жизни, — сберегательная книжка с беспроцентным вкладом на шесть тысяч рублей, ветхие документы, подтверждающие её появление на свет, заключение брака да трудовую деятельность, по которой можно было проследить весь путь Ольги Андреевны Рябининой со дня окончания восьмого класса до развала СССР. Уместились в кованный специальными “мороженными” накладками сундук фарфоровый сервиз Ленинградского завода, подаренный ещё родителями на свадьбу, мамыны коралловые бусики, гипсовый барельеф с профилем товарища Сталина, несколько писем в жёлтых конвертах, посланных ей в районный роддом щедрым когда-то на нежные слова мужем. А ещё — почти новое Евангелие в зелёном переплёте, затёртый молитвослов да дерматиновый помянник с длинной вереницей имён ушедших.

Хотя и считались Рябинины по местным понятиям людьми зажиточными, однако ж, когда пришло время, что называется, собирать камни, поняла Ольга, что похвастаться ей особо нечем. Из всех богатств разве что золотой крестик на шее ценою в три тысячи рублей, что подарил ей на пятидесятилетний юбилей Николай, и золотое колечко с бирюзой — на рождение дочери. Остальные деньги, полученные от продажи молока, шкурок, картошки и кроликов, вновь, как теперь говорят, инвестировались в дело: в новый инкубатор, в прививки для скота и птицы, в запчасти к тракторам и, само собой, в бочки с соляжкой. Может, и были у Николая какие тайные от неё схроны да заначки, однако про них ей было неизвестно.

Многое решила оставить, как есть. Всю мебель. Коврик с фигурами трёх охотников на привале. Телевизор цветной со спутниковой антенной, корейский радиотелефон, самогонный аппарат, посуду и кухонную, так необходимую ещё недавно дребедень: чугунки, кастрюли, ведра, ухваты. Не тащить же ухват в Испанию! “Да мало ли что, — рассуждала Ольга, — вдруг что пойдёт не так, что, если брешет Николай про свои богатства или бабёнка

новая успела ободрать его, как липку. Будет куда отступать. И куда, на худой конец, вернуться”. Да и для Маруськи дом — родное гнездо, пригреет, коль опостылет ей кальсоны вдовца стирать да девкам его подтирать сопли.

Когда с недвижимостью, техникой и сборами было, наконец, покончено, пришёл черёд думать, как поступить с живностью.

Пошла по соседям Ольга, вывесила на лазоревой дощечке возле сельпо рукописное объявление, мол, продаю утку Дусю, корову Маркизу, тридцать безымянных кроликов да куриную стаю. Покупатели на кроликов нашлись на удивление быстро. Фельдшер Мотя Едомский с Ангелиной, оказывается, давно к ним приглядывались. Могучие фландры, которых дядя Николай несколько лет назад заказал знакомому барыге привезти из Москвы, с международной выставки кролиководов, теперь обзавелись здоровым, крупным потомством, а те уже заматерели и сами строгают ушастых почём зря. А ведь с одного фландря не меньше семи, а то и десяти кило чистого мяса. Да шкура ещё, да пух. За такой кроль, если сдавать мясо заготовителям, можно получить пару тысяч рублей! Ольга отдала их местным эскулапам по тысяче за голову, оптом. Получилось аж тридцать тысяч рублей, которые люди в белых халатах вернее всего заработали на подпольных абортах. Деньжищи немалые! Упрятала их в тот же сундук под замок и принялась устраивать судьбу Маркизы.

Добрая, доверчивая корова холмогорской породы, которая жила у Рябиных четырнадцать лет, была любимицей Ольги. Она помнила её игривой комолой тёлочкой в чёрных кляксах по белой шкуре, будто промокашка из ученической тетради. Права она была ласкового, но вместе с тем преисполнена некоего внутреннего достоинства, породистости, чувства меры. Именно поэтому и назвала её хозяйка Маркизой.

Если бы не Маркиза, не пережить им было бы лихолетье девяностых годов, когда власть то и дело сшибалась с народом, хмельные вожди рвали в клочья СССР, и дело чуть не дошло до братоубийства. Отзвуки московских боев, хоть и транслировались центральным телевидением, доходили до Астахино в виде приказов и распоряжений с большим опозданием, так что об экономическом, как по “ящику” говорили, коллапсе, местный народ узнал не сразу. Началось и тут с задержек пенсий и зарплат, которые худо-бедно ещё платили в колхозе. Но тут и колхоз стране оказался не нужен, и ни фондов, ни денег, ни солярки, ни даже страхового семенного запаса вокруг на сотни вёрст не сыскать.

Не сразу поняли крестьяне, что рассчитывать им теперь, кроме как на самих себя, больше не на кого. А как раскумекали, принялись колхозную собственность, понемногу вначале, а затем всё шустрее растаскивать. Покойничек Камиль Фёдорович Бухалов на правах председателя “Заветов Ильича” пытался было по тогдашней государственной моде переиначить колхозников в сознательных фермеров: выделить им в собственность пай да акции в зачёт задолженности по зарплате. Только народ этот подлый в светлое капиталистическое завтра почему-то ломиться отказывался. Пришлось Камилу Фёдоровичу пустить народное прежде имущество с молотка: ГСМ, технику — хоть даже на металлолом, и без того не многочисленный, оголодавший колхозный скот — на мясо. Несколько недель стоял над фермой протяжный коровий стон, а из распахнутых ворот на сахарный снег стекали реки невинной крови. Несколько забрызганных кровью мужчин и парней, вооружённых топорами и разделочными ножами, орудовали, что называется, без устали. Резали ревущие в испуге горла. Кромсали тёплую ещё плоть. Рубили суставы и кости. И потянулись по селу кровавые обозы. Прицепами, багажниками ржавых автомобилей, да и просто санками тащил по норам народ свою добычу. На что уж идейный, но и дядя Николай тоже приволок на ледник килограммов триста говядины.

Жировали всем селом до лета, покуда стратегический запас не начал подванивать. Тогда наварили из говядины тушёнки да по банкам харч закатали. И всё же к будущей зиме и эту заначку прикончили. Наступили голодные времена. Пенсии — и те не платили. Знатный прежде колхоз “Заветы Ильича” разграбили, растащили, а теперь и бывшие колхозники, отставные труженики полей, естественно, оказались никому не нужны.

Да в завершение всей этой истории Бухалов самолично скупил колхозные пай да акции с тем, чтоб через несколько лет продать их вместе с колхозом и народом его криминальным авторитетам из города Кондопоги. Да что-то в документах и расчётах своих при продаже, видать, напутал. Нашли Камилля Фёдоровича в светлом березнячке возле погоста со сквозной дырой посреди геройской груди. Менты, как водится, посчитали это самострелом и дело закрыли. Новые хозяева местностью этой и своим приобретением не шибко интересовались. Они рубили русский лес и продавали его чухонцам.

Вот тогда-то Маркиза семейство Рябининых и спасла. Тёплое её молочко с лёгкой голубизной тут же отправлялось в новый, с фермы украденный сепаратор, превращаясь через считанное время в густые сметану, сливки, масло. Вечерами квасили да варили, да отжимали в марлечке творожок, который, стоит ему постоять ночь на леднике или даже в сенах, превращался в изумительный продукт, особо если его крыжовенным вареньем сдобрить или конфитюром из лесной земляники. А после и за сыр принялись. Опять варили молоко, но теперь с творогом, кефиром и сметаной. Добавляли своего деревенского маслица да своих же парных яиц, да ещё боровичков жареных, да душицы с сухой мятой. Стоял такой сыр под гнётом несколько дней. Зато уж потом от лакомства этого, как говорится, за уши не оттащить. Молока у Маркизы было столь много, что Рябинины могли бы им ещё и торговать, однако народ местный и сам был не в худшем положении, а городские приезжали в Астахино не часто. Особливо в те смутные времена. Ухоженная, сытая Маркиза честно платила своим хозяевам сладким молочком и коровьей любовью, проявившейся в томном взгляде из-под белёсых ресниц, прикосновениях шершавого языка к доящей руке да глубоких вздохах. За дойкой Ольга всегда разговаривала с коровой, делилась с ней переживаниями, страхами, пересказывала деревенские новости, а порою пускала слезу, жалуясь на каторжную свою долю. После того как дядя Николай откинулся на Пиренейский полуостров, сокровенней подруги у Ольги, пожалуй, и не было. Маркиза да Бьянка — две живые, родственные души.

Вот и теперь, лишь только исполнилась решимостью избавиться от коровы, Ольга, взяв в руки подойник да скамеечку свою заветную, пришла в хлев, чтобы поговорить об этом с верной своей подругой.

Маркиза, как и всегда во время утренней дойки, уже взбрыкивала передним копытом, мотала приветливо пахнущей сеном мордую да хвостом с угляной кисточкой на конце во все стороны помахивала. Ольга пристроила скамеечку у маркизинового правого бока, вымыла тёплой водой полное молоко вымя, обтёрла тряпичей байковой.

— Ты уж не сердчай, моя хорошая, — промолвила Ольга, надавливая пальцами на соски, из которых тут же тугими струями брызнуло в подойник парное молоко. — Я ведь не по своей воле свожу тебя со двора. Вишь, как оно всё сложилось: мужика свою надобно из чужбины выручать. Иначе как? Пропадёт он там со своими деньжищами да бабёнкой его подколодную. Я уж по-всякому думала да гадала. Оставить тебя да хозяйство на Маруськино попечение? Или денег кому дать, чтоб за вами, сердешными, пока езжу, ухаживали? Да кому вы, бедолаги, нужны? Даже за деньги. Лучше мамкиной-то любви всё одно не сыскать! Да и не станет Маруська со своей-то кодлой с вами ещё, как я, мудохаться. Живо пустит в расход. Ей, может, только того и нужно.

Подойник живо полнился молоком в то время, как животное внимательно слушало хозяйку, казалось, даже кивая согласно на некоторые её слова.

— Вот и получается, что никому-то ты, родная, окромя меня, не нужна. Потому и решила я устроить тебя к добрым людям на попечение.

Тут Ольга не выдержала. Голос её, по-стариковски задребезжавший, отворил путь слезам, и она, оторвавшись от дойки, утирая рукавом крепко солёную влагу, заголосила, прислонилась головой к тёплому пятнистому боку подруги. И слёзы её капали и капали в тёплое молоко Маркизы. И исчезали в нём без следа.

— Да на кого же я тебя оставляю! — выла Ольга. — На каку погибель отдаю! Ты ж меня спасала! Ты ж всех нас скока лет кормила-поила! Скока

слёз я по тебе пролила, когда заблудишься да застудишься, да титьками надсадишься. Прости меня, подруга моя верная, прости хозяйку свою, зло замышляющую. Прости за разлуку вечную! За горяшко, против воли моей чинимое! Прости меня, прости!

Маркиза слушала Ольгу, не понимая причины её слез, но чувствуя близкую, наваливающуюся беду. Утешая хозяйку, повернула тяжёлую голову, лизнула наждачным языком её солёные щёки. Молоко Маркизино отчего-то перестало спеживаться. А в воздухе застыла тягостная тишина. Будто согласные две струны разом оборвались внутри животного и человека.

А на Астахино ночью сыпанул снег. Он растаял, оставляя под ногами Ольги чёрно-белую чересполосицу, по которой шла она на поиски покупателя. Первым делом — к сельским эскулапам Моте Едомскому и жене его Ангелине. Те собрались к себе в ФАП, стояли на улице в резиновых сапогах, дружно огребая лопатами ночной снег с дощатой дорожки, ведущей к дому.

— А сколь ты за неё просишь? — щуря глаз, спросил Едомский.

— Я коров никогда не продавала. Не знаю. Может, тыщ пятнадцать.

— В своём ты уме, соседка? — отозвалась тут же Ангелина. — Корова у тебя старая. Через год-два доить перестанет. Что, на тушёнку её? Дороговата тушёнка получится.

— Зачем нам ещё и корова? — вмешался Едомский. — У нас две своих, да бычок, да поросята. Да кролей твоих прибавилось. Мы ж не “вротшильды” какие. Прости, конечно, Ольга, но Маркиза твоя нам и даром не сдалась.

— А ты её — под нож! — предложила Ангелина. — Мясом быстрее выручишь.

— Под нож?! — удивлённо вскинула брови Ольга. — Ведь жалко её!

— Ну, раз жалко, ничем, соседка, не могу тебе помочь.

— Извини, — шаркнул деревянной лопатой Едомский.

Что ж делать? Отправилась Ольга дальше по сельской улице, исхоженной ею вдоль и поперёк. Здесь знаком ей каждый бугорок, каждое дерево в чьём-то палисаде, каждый булыжник под ногой. Теперь-то их выбрасывают, а прежде использовали для каменки в бане или как гнёт при засолке капусты. Памятна Ольге и каждая скамеечка у ворот, на которой соседки вплоть до пенсионного возраста высиживали и глобальные, и местные новости.

Возле сельсовета — председательская усадьба. Дым из трубы — берёзовый, дегтярный. Знать, Август Карлович ещё дома, блины на простокваше кушают. Вон и автомобиль его служебный, “козёл”, перед воротами пердит, хозяина дожидается.

У Веттиных, при всей их политической значимости, хозяйство большим не считалось. Всего-то с десяток курей да пара подвинков, да телочка молоденькая. Весь провиант Август Карлович предпочитал закупать в городских магазинах, придерживаясь ошибочного мнения, что иноземная жратва, хоть и дороже, однако вкуснее, здоровее. На почве всей этой кока-колы, чипсов, гамбургеров, пиццы да сникерсов заработал он вскорости диабет второй группы. Однако от привычки своей не избавился, упрямо приближаясь к слепоте, гангрене и инсульту.

Завидев у калитки Ольгу, от блинов своих не оторвался, сохраняя начальственную и родовую степенность.

— Ну, и где этот твой рыцарь печального образа? — огорошил её с порога. — Возвращаться-то собирается? А то мне уже из ФСБ звонили, уточняли, где он и что.

— Вот я и еду его возвращать, — ответила Ольга, — уже и билет купила.

— Во как! — удивился Веттин. — Стало быть, тоже Родину предаёшь?!

— Плохо вы судите обо мне, Август Карлович. А ведь я вам ничего дурного не сделала. Вот, пришла, думала коровёнку свою предложить. А вы враз — “предатель”.

— Стало быть, коровёнку? — остывал Веттин. — Оно, конечно, в заграницу её не попрёшь. А сколь ты за неё просишь?

Памятью о своей слишком высокой, как оказалось, цене за Маркизу в пятнадцать тысяч рублей, Ольга сделала скидку сразу на пятьдесят процентов.

— Знаешь, что, любезная Оля, — промолвил в ответ Август Карлович, — Маркизу твою за эти деньги у нас не продать. Сама, небось, понимаешь, как люди живут. Пенсии приносят с опозданием. Да и пенсии-то — крестьянские, грошовые. Вот я тебе и предлагаю: ты мне эту коровёнку отдай. Подари, значит. Другого пути у тебя не будет, увидишь.

Не хотелось Ольге отдавать Маркизу Веттину за бесплатно. У него, подлеца, деньги, конечно, водились. Куда больше того, что она за корову просила. Одни его закупки в городских гастрономах чего стоят! Возвращается оттуда с десятком пакетов, рук не хватает нести.

Опечаленная новым отказом, пошла она дальше по деревенской улице, стараясь угадать, дома ли хозяева и чем заняты. Если дверь припёрта еловым дрыном, значит, дома никого нет. Если пахнет румяной корочкой, значит, у хозяйки в печи хлебушек доходит. Если наносит можжевельником, особо духовитым под крутым кипятком, зная, хозяин с утра распалил до генной огненной баньку — одну из немногих усад русского человека.

Однако ж, куда бы она ни заходила, с кем бы ни разговаривала о печальной участи Маркизы, никто из односельчан горем её не проникся и в положение не вошёл. Денег живых, сетуя на бедность и горесть бытия, народ платить не желал. Некоторые и позлобствовались: муженёк-то, бездельник, поди, в море-океане полощется, а жена от нищеты попрошайничает.

Помыкалась Ольга по дворам, только сердцем измаялась и духом пала. Возвратилась к Веттину обречённо.

— Твоя правда, Август Карлович! Забирай Маркизу в подарок.

Ночь проревела Ольга в остывающем, уже готовящемся к прощанию доме. Всё в нём, кроме треснувшего в иных местах Ольгиного чемодана из свиной кожи, оставалось на своих местах. Но предчувствие грядущего запустения уже скользило по стылым половицам, вздыхало тенётами в углах, осыпалось угольной печной сажей. Той ночью вспоминала Ольга сызнова всю свою жизнь, все тридцать лет, что прошли в этом доме, оставили свой незабываемый след: свадебной ли фатой в шифоньере, цинковой ли ванночкой для младенца в дровянике, вымпелом ударника социалистического труда над кроватью, дюжиной фотографий, собранных по деревенской традиции под одну большую раму, откуда теперь смотрели за ней неотступно выцветшие на солнце лики родителей, юный паренёк в ефрейторской форме войск ПВО, в котором хозяина не сразу и признаешь, сияющую Маруську на трёхколесном велосипеде.

Через несколько дней эта жизнь останется в её прошлом, в заколоченном досками доме с еловым дрыном у двери, означающим отсутствие хозяев. Это походило на смерть. Но и в рождение жизни новой хотелось ей верить. Неведомой, чужой, может, и хорошей даже, но совсем иной.

Бьянка тоже страдала. Не от болезни своей смертельной, а от предстоящего прощания с Маркизой. Вечером лайка заползла в её стойло, устроилась подле коровы на утоптанном, местами подгнивающем сене. Лежала, припав к тёплому коровьему боку, положив голову на лапы, и, помаргивая, смотрела на Маркизу. Она давно, хорошо знала свою подругу — её безразлично-добрый взгляд, тёплое вымя в синих венах, протяжные, утробные вздохи. Но вряд ли понимала, что завтра тут уже никого не будет. Маркиза уйдёт покорно в другое стойло, к другим людям, оставив в доме только Бьянку и Ольгу. И те станут последними, кто вскоре покинет своё жилище.

Эти дни Ольга ходила, как чужая. Собирала ещё какие-то вещи, перемыла зачем-то сервиз, подмела и намыла водою с нашатырём крашенные Николаем года два назад половицы. В суматохе, в мыслях о будущем, о прошлом не раз забывала покормить собаку. Алюминиевая её миска подёрнулась коркой застывшего жира и пованивала. А Бьянке есть не хотелось. Она исхудала, вышерла рёбрами, осунулась, взглядом померкла. Жизнь её, наполненная смыслом, заботами об одном, потом о втором хозяине, о щенках, об охоте, да и просто радостью от каждого нового дня, сделалась бесцветной, лишённой даже самых скромных целей. Она не понимала, но чувствовала,

что с нею творится неладное, силы окончательно покидают её. И всё закончится совсем скоро.

В тягостных предчувствиях провела она ночь подле Маркизы. Наутро Ольга пришла в хлев неприбранной, в ночнушке, с распущенными волосами и принялась (в последний же раз!) доить корову. Лайка не отходила от неё, глядела на хозяйку с недоверием, даже с какой-то враждебностью.

И когда ближе к полудню Ольга потащила на верёвке за собой Маркизу на двор к чужим людям, Бьянка неотступно ковыляла следом, пачкая культю, хвост и живот жирной просёлочной грязью. Потом ждала хозяйку под дождём, возле чужих ворот. Вышла из калитки Ольга одна, с красными воспалёнными веками, с платочком в крепко, до судороги сжатом кулаке. Поглядела на Бьянку. И от одного лишь вида мокрой, больной, израненной, грязной собаки слёзы вновь навернулись ей на глаза.

— А с тобою-то что делать?! — в голос закричала она.

21

На другой день в Астахино снова пришла зима. Хлопья снежной ваты падали с неба ночь и утро, укрывая шиферные крыши домов, дороги, деревья, мост через Паденьгу — весь северный край — девственным, невесомым покровом, который вряд ли продержится до вечера.

Таким утром дрова в печи трещат, поют особенно радостно. В прежние дни Ольга ещё потемну поставила бы хлеб да кролика, что томился в чугушке с вечера, да внесла бы в избу трёхлитровую банку парного молочка от Маркизы. А теперь? Кому всё это надо?

Через два дня заказанная ею “буханка” под управлением Харитошки и в сопровождении любопытной Нюрки Собакиной умчит её до районного центра Вельск. А оттуда — в столицу на вечернем поезде, а оттуда ещё страшнее — на самолёте, да в город Мадрид — столицу испанского королевства.

За прошедшую неделю она, кажется, все дела привела в порядок. Хозяйский сарай замкнула на новый замок, который промазала поверх железа солидолом от ржи: здесь после распродажи ещё много чего осталось. Вымела, вымыла баньку — в молодую пору она любила париться в ней вместе с мужем, до сих пор помнила, как тот любовно, не спеша охаживал её можжевеловым и дубовым веничками. Потом уж ходила туда в одиночку — парилась в алюминиевом тазу опухающие ноги. А теперь поклонилась баньке да заперла её на замок. В хлеву и птичнике было так тихо, непривычно, что Ольга даже не решилась туда войти, страшась увидеть горе запустения и вновь разрыдаться. Уже стоял у двери собранный чемодан да Николаев охотничий рюкзак, да корзина с деревенскими яствами: завёрнутым в тряпицу шматком солёного сала, банкой копеечных рыжиков, а ещё — с густой сметаной и домашним сыром. И самой в дороге подкрепиться, и мужу гостинец чудесный. Посуду, кухонную утварь уложила в несколько коробов, завернув каждый предмет в газету “Важский край”. Герани и толстянки, и мясистый алоэ, и “тёщин язык”, что выращивала в жестяных банках из-под польских маринованных огурцов, она ещё на позапрошлой неделе отволокла в сельскую библиотеку — заведовала в ней дальняя её родственница Серафима Аркадьевна Моргенштерн. Из репрессированных.

Настороженно смотрела Бьянка на поспешные хозяйкины сборы, не понимая их назначения, только сердцем предчувствуя беду. Лайка теперь почти не выходила из дома, с трудом и болью поднималась в сених с той самой телогрейки, на которой рожала своих щенят, зализывала культю, боролась, да так и не совладала с болезнью. Иногда заходила в избу, страшась непривычной её пустоты, гулкости. Ольга не ругала её, как прежде, за вторжение на хозяйскую половину. Только смотрела с грустью, даже с отчаянием.

Чего только не передумала она, решая судьбу Бьянки. Хотела пристроить в хорошие руки, но таковых на больную собаку не нашлось. От идеи взять лайку с собой отказалась сразу, и сама-то не понимая ещё, как доберётся до места. Оставить возле дома одну, бросить? Нет! Надвигалась зима, голод. И неумолима, жестока была собачья болезнь. Оставалось только одно,

единственно правильное, по разумению Ольги, решение — о нём она думала все последние дни.

Вечером, накануне отъезда, прихватив в селёпо бутылку водки, отправилась она в избу Любаши. Та как раз бутылку эту Ольге и отпустила, не подзревая, зачем она ей понадобилась.

Муж Любаши, воротясь с работы на лесопилке, восседает на кухне в неизъяснимой обиде на окружающий мир. Рядом сын Павлуша школьное изложение аккуратным почерком выводит. Зина собирает на стол нехитрую снедь из картошки, капусты тушёной и солёных огурцов да ругается, матерится тихонько, себе под нос, чтоб не разозлить сына. Тот не поглядит, что мать, врежет без промедления, если что не по его сказано или даже взглянуто не так. Нелюбезной матери ветерана Ольга объяснила, что пришла договориться с её сыном о помощи. Конечно, оплаченной. Ветеран слушал Ольгу, уставившись на многообещающий газетный свёрток у неё в руках. И когда она протянула ему его, кивнул, согласный на всё. Сговорились на завтра.

В эту ночь Бьянка спала, впервые не чувствуя ни боли, ни времени. Хозяйка разбудила собаку, гладила, виновато отворачивая лицо с заплаканными глазами. И вдруг надела на неё городской ошейник, купленный лайке ещё покойным Форстером. Защёлкнула на нём ржавый карабин поводка. Отворила дверь, двинулась решительно к покосившемуся, но ещё крепкому штакетнику. Бьянка в поводке ползла следом, виляя крючком хвоста, радуясь, что хозяйка решила с ней погулять. Ей так хорошо было увидеть знакомый лес вдалеке, поникшие стебли осоки, рослые, сухие скелеты борщевика. Вспомнить их запах.

Бьянка доверяла хозяйке. Знала, что она позаботится о ней, если Бьянка не сможет дальше терпеть боль. Даже если им придёт пора проститься, хозяйка сделает всё, как надо.

Дойдя до штакетника, Ольга привязала поводок к крепкой жердине. И опустилась перед собакой на колени.

— Прости меня, милая Бьянка, — всхлипывая, говорила она, а слёзы всё катились — по щекам, по губам, по шее. — Я плохая хозяйка. Я это знаю. Но по-иному я поступить не могу. Прости меня за предательство. За то, что не уберегла тебя и деток твоих. За то, что ты страдала, а не жила. Господь меня накажет за это. А я буду до конца своих дней просить у Него прощения. Ты только не бойся, голубушка. Не бойся ничего. Хорошо?

Бьянка не понимала её слез. Сделала то, что сделала бы на её месте всякая собака, чувствующая страдания любимого человека. Она лизнула её в солёное лицо. И ещё раз. И ещё, слизывая и глотая горькие женские слёзы. Но они набегали вновь и вновь.

Наконец, шмыгая носом и не обтирая лица, Ольга поднялась с земли. Коленки её серых рейтуз потемнели от грязи, снега, увядшей травы.

— Прощай, Бьянка, — тихо молвила Ольга и, не оборачиваясь, пошла к дому.

Лайка рванулась за ней, позабыв про поводок и ошейник, которых не знала все долгие годы деревенской жизни, но тут же упала в студёную жижу. Культями сучила по скользкой, гуталиново-чёрной земле, покуда, наконец, не выгребла на дерн. И только тут поняла: в её мире сейчас произойдёт необратимое, страшное. Она видела, как Ольга с чемоданом прошла мимо дома, свернула на просёлочную дорогу. Поняла: она уходит навсегда. И чтобы остановить её, возвратиться обратно, закричала Бьянка во всё своё хриплое, надсаженное горло. Вся боль, все страдания, что выпали на долю этой породистой, ладной когда-то лайки, соединились теперь в её стоне. Она звала долго, обреченно, пока окончательно не сорвала горла. А потом лишь скулила жалобно, всё ещё пытаясь высвободиться из неподдающихся кожаных пут. Жаловалась всё слабее, всё безнадежнее.

Сначала Бьянка не поняла, кто движется ей навстречу. Портки цвета хаки, заправленные в болтающиеся ботфорты резиновых, закатанных по колено бродней, куртка с засаленными рукавами, шлем танкиста на голове. Следом за человеком по-стариковски перебирал лапами чёрный кобель Чурка — его Бьянка могла бы учуять, даже если б была слепой от рождения.

Тот самый Чурка, нежеланный бывший муж на короткий сучий её срок, с которого начались все беды её и несчастья. Старый пёс стоял позади своего хозяина и неотступно наблюдал слезящимися глазами за последними минутами жизни белой лайки.

А ветеран с железным хрустом переломил ствол “вертикалки” шестнадцатого калибра, вставил оснащённую жаканом жёлтую пластиковую гильзу, прицелился в Бьянку.

Звук преломленного ружья Бьянка знала сызмальства, но вначале не поняла, в кого целится человек, а когда увидела, что целится он в неё, послушно легла в тающий снег.

Над Астахино опять кружило ледяную канитель, стайка соек с радостным щебетом слетела с рябины. Как и сто, и тысячи лет назад, Паденьга неслла тёмные воды к Великому океану, из труб северных изб струился смоляной до горечи еловый дымок, а в местном клубе или библиотеке звучала сладкая ария из “Любовного напитка” Доницетти.

Вдруг вспомнилась мама, озорной ценячий выводок, запахи свежего сена и увядших васильков. Вспомнился добрый Иван Сергеевич Форстер со своею Сироткой, сапожник Алим, скрежет вагонных сцеп. Вспомнилась добрая девушка Люба, учитель Толстой, семейство Едомских, Костя Космонавт и последние её хозяева — дядя Николай и Ольга. И ещё, конечно, вспомнились её собственные дети — безвременно канувшие и лишившие её дальнейшую жизнь цели и смысла. Вспомнилась, как-то разом и быстро, вся её прошедшая жизнь, самые главные её мгновения, которых на поверку оказалось не так и много. Бьянка не успела испугаться или удивиться людской жестокости. Она даже выстрела, расколовшего низкое астахинское небо, не испугалась. Мгновение — и сокрушающие всё на своём пути двадцать шесть граммов свинца ударили собаке в грудь, разорвали в клочья её сердце. “Не страшно”, — мелькнуло в голове Бьянки. Тёплая волна ласково укрыла её в своей пучине.

Через какой-нибудь час с небольшим приблизился к Бьянке, дребезжа связкой банок, Костя Космонавт в лохматой овчине. Опустился на колени перед её растерзанным телом, горько заплакал. Слезы из стариковских глаз сыпались тёплым градом на собачью морду, на рану отверстую, на старый кожаный ошейник на шее. Костя снял его, с трудом поднялся на ноги и сгрёб в охапку окоченевшее тело, выпростав и на овчину, и на седую бороду чуть не миску густеющей крови. И медленно, задыхаясь, двинулся в сторону леса, над которым сыпало особенно густо, оставляя на ветвях, на пнях, на цветастом мху лёгкое покуда снежное покрывало.

Здесь, возле смолистого ствола ели, помнившей ещё британскую интервенцию русского севера, опустил Бьянку на землю и, вооружившись жестяной кружкой, из которой обычно пил горячую воду, принялся с усердием копать последнее прибежище для собаки.

Земля еще не продрогла и потому поддавалась Косте легко, лишь иногда задерживаясь на крепких на излом еловых корешках и вкраплениях речной гальки. Но много ли жестяной кружкой наковыряешь? Это не заступ, не лопата. Трудился юродивый без усталости, взмок. Сбросил с плеч волглую от снега овчину, остался в цветастом рубище, состроенном из старых бабьих платков, военного френча да оранжевой жилетки дорожника. Могилка получилась хоть и не глубокая, зато аккуратная, сухая. Костя выстлал дно еловым лапником, уложил на него Бьянку. И долго, старательно засыпал ее сухой землей. Надгробный крест собаке не полагался. Костя начертал пальцем на холмике только имя — Бьянка. Зачем-то латинскими буквами, которых сроду не знал. На буквы тут же стал сыпать хлопьями снег и вскоре скрыл навеки и имя Бьянки, и само её существование.

Только это случилось, где-то у горизонта громыхнуло раскатисто, грозно, и над мутными за снегом зубцами тайги вспыхнула яркой звездой и все дальше уходила в бездну вселенной теперь уже крохотная, будто светлячок, баллистическая ракета. Она поднималась всё выше — над лесом, над стылым северным краем, над прекрасным, чарующим миром, который мы называем планетой Земля. Над одной из песчинок в безбрежных дюнах мироздания.

Костя-Космонавт следил за полетом ракеты, улыбаясь чему-то счастливо и осеняя ракету размахистым крестным знамением.

— Царствие небесное! — прокричал он радостно вслед едва мерцающему светлячку. — Царствие небесное!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

А жизнь семейства Рябининых пошла своим, теперь уже по-иному, по-нездешнему скроенным правилам.

Добравшись до города Мадрида, Ольга, не теряя времени даром, поёрла, прежде всего, из имения мужнину любовницу Лолу, пригрозив ей не только косы повывергать, но и, по совету адвокатов, упрятать в тюрьму за попытку захвата чужого добра.

Весь следующий год она приводила в порядок разваливающееся на глазах состояние. И, к собственному и окружающих удивлению, добилась в своём предприятии больших успехов, даже приумножила капитал. В тот же год Ольга вызвала из Вельска Марусю, пролечила молодуху от пьянки в хорошей клинике, купила ей большую квартиру неподалёку от собора Святого Семейства в Барселоне и удачно выдала замуж за молодого наследника легендарных подвалов Pedro Jimenez в приграничном городе Херес, где как раз и производили одноимённый напиток.

Николай Игнатьевич Рябинин тем временем совсем устранился от дел, предпочитая им рыбалку то в норвежских фьордах, то где-нибудь на Маврикии. В Россию он больше не приезжал. Смерть, по счастью, настигла его внезапно, в возрасте семидесяти восьми лет. Сгусток крови, спрятавшийся в венах его голени, оторвался в то время, когда он тащил пудовую сайду из океана в трёх милях от водоворота Мальстрём, и добрался-таки до его сердца. От того места до берега час-полтора ходу, так что спасти его не удалось.

После смерти мужа Ольга прожила в достатке и относительно душевном равновесии ещё почти десять лет, окончив жизненный путь в роскошном доме для престарелых курортного городка Марбелья, куда была отправлена по настоянию Маруси, её состоятельного мужа и двух взрослых внуков — Ванечки и Хуана.

Прежнюю жизнь в русском Астахино Рябинины вспоминали редко, а внуки и вовсе о ней не знали. В их русской речи появился акцент, молитвы стали короче, а потом и вовсе исчезли из семейного обихода. Полуиспанцы, они сделались равнодушны к бедам и заботам бывшей родины, а свою жизнь доживали, на их взгляд, вполне благополучно.

Но за семь минут до смерти, лёжа в удобной ортопедической кровати, под присмотром мониторов, опутанная прозрачными трубками и проводами, Ольга вдруг увидела Бьянку, её белоснежную мордочку и, кажется, почувствовала на своём лице тепло её влажного языка. “Спасибо тебе, спасибо”, — еле слышно прошептала Ольга. Медицинская сестра, протиравшая влажной салфеткой её лицо, наклонилась, но не разобрала ни одного слова.

ТАТЬЯНА БАШКИРОВА



ВЕЕТ ТЕПЛОМ ОТ ЗЕМЛИ

* * *

Над своим немудрым бытиём
Не взгрустну, мой недруг: ты не жди.
Был у лета яркий окоём,
А теперь вот — слякоть и дожди.

Только свет в окошке не погас,
Не растаял горестно, как дым.
Вот природа — ты мудрее нас:
В грязь дороги сыплешь золотым.

Кликну Слово — пусто у ворот,
А его дыхание — горячо!
Мне звездой сияет и зовёт
Стих мой, не написанный ещё.

Рвутся строки в облачную высь,
Чтоб упасть цветком иной весны...
Дай-ка, Осень, мне рябины кисть —
Я зажгу сугробы седины!

БАШКИРОВА Татьяна Фёдоровна родилась в Коломне. Поэт, член Союза писателей России. Автор книг "По обе стороны времён", "Годы-листья кружат над Окой". Печаталась в журналах "Москва", "Смена", "Молодая гвардия", в газетах "Российский писатель", "Литературная газета", "День литературы" и др. Награждена литературной медалью им. И. И. Лажечникова. Член редколлегии "Коломенского альманаха". Живёт в городе Коломне Московской области.

ПАХАРЬ

Засеял поле, лоб утёр ладонью
И лёг, усталый, на краю земли.
Из-за реки шальные вражьи кони
На Русь беду большую принесли.

И не собрали вызревшего хлеба
Мозолистые руки старика...
Последним семенем старик засеял небо,
И тот посев пророс через века.

МОЛИТВА

“Господи! Травы взошли,
Боже, беду отведи!”
Веет теплом от земли,
Зреет дитя у груди.

Тих и покоен закат,
Только нахмурился лес.
Дальние ветры гласят:
“Слышишь тревожную весть —

Двигается дикая рать.
Над безголосым селом
Будет лишь ворон летать
С чёрным сожжённым крылом!”

Отзвуки смолкнувших битв
В славные песни легли.
След от далёких копыт
Скрыли давно ковыли.

Тяжкие стоны земли
Слышит досель небосвод:
“Господи! Травы взошли,
Господи, туча грядёт...”

УЛИТКА

В движениях вовсе не прятка,
Трамвайный не слушая звон,
Ползёт по дороге улитка
На влажный зелёный газон.

Глаза дивным светом мерцают,
Стремятся познать бытиё.
Она, простодушная, знает,
Что мы не обидим её.

Совсем не торопится, право,
В своём многотрудном пути.
Ей только б в тенистые травы
От жаркого солнца уйти.

Улитке ведь надо немного:
Чтоб рядом — вода и трава.
Того же мы просим у Бога,
В пыли мельтеша по дорогам,
Взглянув на природу едва.

БОРИС БУРМИСТРОВ



Я ВИЖУ, КАК БРЕДЁТ НАРОД

МУЗЕЙ ВРЕМЕНИ

Станный дом, ни окон, ни дверей,
Кирпичом замурованы ниши.
А вокруг ни людей, ни зверей —
Только кот, будто сторож на крыше.

Охраняет заброшенный дом
Кот-баюн серо-дымчатой масти.
Время спит в этом доме пустом,
Там утихли все споры и страсти.

Сто иль тысячу минуло лет,
Прокатались и бури, и стужи.
То закат наступал, то рассвет,
Только всё это было снаружи.

А внутри среди плесени стен —
Только темень да тишь вековая.
Сколько было в миру перемен...
Вдалеке слышен грохот трамвая.

БУРМИСТРОВ Борис Васильевич родился в 1946 году в городе Кемерово. Член Союза писателей России, председатель Правления Союза писателей Кузбасса, секретарь Правления Союза писателей России, автор поэтических книг “Не разлюби”, “Душа”, “Поклонись земле русской”, “Лирика”, “Песочные часы”, “Живу, и радуюсь, и плачу”, “День зимнего солнцестояния”, “О чём не сказано ещё”, “Сквозь сумерки времён”. Живёт в Кемерово.

Мир меняет привычный свой вид,
Расширяет пределы пространства.
Только дом этот странный стоит
На границе незримого царства.

ИСХОД

Боюсь назвать тот страшный год,
Боюсь пророчества отныне.
Я вижу, как бредёт народ
С сумой по выжженной пустыне.

Покинув Родину свою,
Бредёт, бредёт живой стеною.
Я эти лица узнаю —
В них много схожего со мною.

Народ мой, стой, остановись.
Нельзя без Родины, как птицам.
Вся наша будущая жизнь
Лишь на земле родной продлится...

* * *

*Давно привыкший в жизни ко всему,
И к доброму исходу, и к дурному...*

И. Ляпин

Я не привык, прости меня, мой друг,
Ни к доброму исходу, ни к худому.
Вся жизнь моя — какой-то странный круг —
Мой путь от дома и обратно к дому.

Прощать другим и не прощать себе
Я научился в этих передрыгах.
Ведь было больше доброго в судьбе,
Хоть приходилось защищаться в драках.

Привыкнуть ни к чему я не сумел,
Да и, похоже, вовсе не пытался.
Бывало так, что я сквозь слёзы пел,
Бывало, что сквозь слёзы улыбался.

Привыкнуть невозможно ко всему,
Ни к доброму исходу, ни к худому...
Всё доброе с добром в душе приму,
Не поддаваясь обаянию злему.

* * *

Снова май, черёмуховый холод,
Белый цвет кружится и кружит,
Снова май, и я, как прежде, молод,
Хоть и время быстренько бежит.

Белый сад, высокая ограда,
Фонари оранжевые в ряд,

На скамейке возле палисада,
Как всегда, влюблённые сидят.

Прошрое так стало близко нынче,
Даже скрип калитки узнаю,
Снова песни, снова трели птички
Так же душу трогают мою.

Также сердце ёкает тревожно,
Не спугнуть бы тишину аллея.
Подойду и сяду осторожно
На скамейку памяти моей.

ГРАНИ СУДЬБЫ, ИЛИ ОДА СТАКАНУ

Стакан гранёный, сколько граней,
Пустых надежд, пустых мечтаний!
Под звон стекла давай, дружище,
До дна давай, давай до днища.
Потом сыграем в кошки-мышки,
Потом ни дна нам, ни покрывки!
На гранях матовые блики,
Сквозь эту муть светлеют лики
Друзей, товарищей далёких —
Не сосчитать мне граней многих,
Не сосчитать потерь случайных
Тех лет весёлых и печальных.

АЛЕКСАНДР АМУСИН



ПРИГОЖЕЙ ОСЕНИ ПОРТРЕТ

ЛАТАЕТ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!

Латает осень золотая
Кафтаны старого двора,
Шарфы троллейбусов, трамваев...
В заплатах город, лес, гора.
И сарафаны речки милой,
И шушуну родных берёз,
И рукава аллей стыдливых,
И звёзд наряды в сонме грёз.
И время в латках, что в медалях
От солнца или от луны...
Мгновений иглы наметали
Для ветра ниточкой любви...

Но поздно всё!

Увы, напрасно!

Улётся горизонтом снег,

И понимаешь...

как прекрасен

В заплатках листьев

лета след!

АМУСИН Александр Борисович родился в 1959 году. Окончил агрономический факультет Саратовского сельскохозяйственного института им. Н. И. Вавилова и отделение журналистики на факультете общественных профессий. Автор девяти книг прозы и поэзии. Лауреат многочисленных литературных конкурсов. Председатель Ассоциации саратовских писателей. Произведения переведены на английский, немецкий, мордовский, персидский и другие языки. Член Союза писателей России и исполкома Международного сообщества писательских союзов.

УХОДЯТ В ОСЕНЬ ЖУРАВЛИ

Уходят в осень журавли
За белым мысом.
В мир без калины на крови,
В мир кипарисов!
Не вьют там гнёзда в тростнике,
Где вьётся речка,
Живут попроще, налегке,
Почти беспечно!

Как на курорте отдохнуть,
В тепло спустились!
Чтобы весной себя вернуть
К родной полыни!

ОТ ЯСЕНЯ ДО ОСЕНИ

От ясеня
до осени —
Две капли тишины,
Две тайны нежной просины
Апрельской глубины.
От осени
до ясеня —
Сожжённая стерня,
Полоска неба грязного,
Два высохших зерна.

А дальше там,
за осенью,
Где белая трава,
Лежат в январской просины
Из ясеня
дрова...

ПРИГОЖЕЙ ОСЕНИ ПОРТРЕТ

Пригожей Осени портрет
Рисует ветер листопадом.
Из туч серебряный берёт,
Под ним дождиночки парадом!
Кокардой молнии блестят,
А под ногами — снег на лужах!
В руках, конечно, рыжий стяг,
А руки — из терновых кружев.
Клин журавлиный — росчерк глаз,
На губы — ягоды калины
Не пожелел, как напоказ,
Облил их соком из малины!
Да! Щёчки сочной клюквой жгут,
Глаза — печальной голубикой!
Синички на плечах поют
Над почерневшей повиликой.
А снегири, эх, снегири!
Забыв про алые мундиры,
Танцуют с дятлом на пари
Весёлый твист по струнам лиры!

Пригожей Осени портрет
Рисует ветер листопадом!
И ничего мудрее нет
Её оранжевого взгляда!

МОЖЕТ, ОСЕНЬ ТАКАЯ КАПРИЗНАЯ

Может, осень такая капризная,
Может, лето вернулось в слезах!?
Только тучи грохочут над тризною,
Что ликует в цветастых садах.
Листопадом укрыли тень прошлого.
Морось гасит зажжённый костёр,
Ветр, суливший нам столько хорошего,
Вдруг завёл о зиме разговор!

За спиной на снежинках с дождинками
Бьются молнии в рыжей траве,
А в ногах золотистой льдинкою
Опустились стихи о тебе!

НУ, ВОТ И ВСЁ!

Ну, вот и всё — темнеет снег,
Метель охрипшая плетётся.
На костылях из старых слег
Сосулька исповедью льётся.
В окне от гордых туч черно,
Ручьями пахнут сны и тени,
Дороги древнее сукно
В заиндевелых нитках сена.
Раскрылись звёзды в тишине,
Дыханием весны согреты,
Усталый месяц снял шинель,
Блестят над речкой эполеты...

Ну, вот и всё!

К чему слова!
На ветках скоро вздрогнут почки,
И вспыхнет

первая листва
Зимы последним
многоточьем...

ВЛАДИМИР КАРПОВ



ТАК МНЕ ЛЕГЧЕ

РАССКАЗ

Сильная рослая прима стриптиза с ресницами, похожими на крылья летучей мыши, орудовала на шесте: вышколенно бесстыдная, отдаленная потоками прыгающего света, недоступная в холодной расчетливости своей.

В кружении лучей и грохотании музыки, питии водки и вина к нему придвинулась непомерной грудью дама и протянула визитку, на которой было написано: “заступник министра”. Вале очень понравилось, что на Украине у министра есть заступник: он даже изобразил, как понял, суть ее работы — сделал боксерские движения. Женщина рассмеялась, жеманно поведя могучими плечами. По-русски должность “заступника” звучала не столь романтично: заместитель министра.

Он носил центнеровую, пронзительно взвизгивающую тетку на руках. Будто вырезанные картинки, прыгали в пучках выстреливающего света забавные человечки.

Летучая мышь металась на постаменте в густых лучах и дымовой завесе, вращая фантастическое прекрасное тело.

Не успел присесть, как к нему, крепкому и коротко стриженному, а потому похожему на привычного, щедрого на размах посетителя, подскочили девушки в стилизованных мини-халатиках санитарок и резким движением оголили груди. Валя доселе полагал, что знает, что делать рядом с обнаженной женской грудью, но тут растерялся. Выпяченные вперед выпуклости

КАРПОВ Владимир Александрович родился в 1951 году в городе Бийске Алтайского края. Окончил Ленинградский театральный институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Первые его рассказы были опубликованы в журнале “Наш современник”. Автор книг прозы “Бежит жизнь”, “Плач по Марии”, “Танец единения душ” и других. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени А. М. Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

были еще не оформившимися, набрякшими от каких-то неясных невероятных усилий.

— Девчонки, я не знаю, что мне делать? — честно признался он.

И девчонки заметно растерялись.

— Ох, мне плохо! — спас положение сидящий рядом “телевизионщик из Киева”, он опрокинулся на спинку стула и разбросил беспомощно руки.

И две тоненькие, изящные, как весенние листочки, санитарки принялись его “лечить”. Ему сразу полечало, когда они, “жалееючи”, приложили “больную голову” к своим юным грудкам. Просвещённый киевлянин сунул им по денежке куда-то пониже пазух, и девчонки, с визгом, укатили санитарную коляску. Трясли цыгане по Руси перед барами грудью, в народных игрищах чего только не бывало. Но такой жалостливостью, жуткой ущербностью повеяло от этих взвизгивающих девчушек и грудок их, как бы оброненных, словно низвергнутые маковки колоколен.

Подтягивались еще какие-то важные сановные персоны. Так было с ним всегда в застольях с присутствием ответственных лиц: прозвучали заздравицы, тосты, рукоплескания, рюмка, другая, и скоро чиновные люди, которые еще недавно держались напыщенно и недоступно, тянулись чокнуться с Поцелуевым. Не только потому, что он был представителем центральных СМИ. А кто из них смел кружить замминистра на руках? “Заступница” смягчала его участь, приваливаясь баллонами грудей.

“Это не экстракт жизни”, — томился Валя, оглядываясь вокруг.

По небу, ослепшему от прожекторов, дивным ангелом проплыла какая-то неведомая девочка из вечного его сна: пряди волос в лучах волнами вздымались за ее спиной.

Жаркий, распаренный, он покинул бар. Море было видно отсюда, громадное, переливающееся. Светила живая луна. Деревья клонили ветви. “Господи, — покаянно, страдая за все человечество, ударил Валя себя ладонями о грудь. — Ты нам подарил такое счастье, ширь небесную и земную, а нам надо залезть в конуру, в пещеру, сбиться в стадо, и думать, что мы высшая цивилизация!”

Женский стон заставил повернуться. На каменном постаменте, метрах в трех от него, в отсветах ресторана молодая пара справляла нехитрую плотскую утеху. Странное моральное осуждение мелькнуло под сердцем. Тогда как глаз, опять же со странной ревностью, отметил поразительную красоту прогнутой девичьей спины. Валентин свернул в сторону: будто бы идет себе мимо и ничего не замечает. Однако видел, как пара распрямилась. Он полагал, что люди сейчас начнут торопливо и стыдливо одеваться. Но девушка просто села на камень и, широко раскинув на редкость красивые ноги, открыто посмотрела на него в ночных всполохах огней.

Город словно набухал в празднике. На площади, заполненной народом, гремел рок, который перемежался комедийными сценками из загробной жизни. Зрители, молодые люди, подростки, отсмеявшись, запрокидывали вверх доньшком бутылки с пивом, делаясь похожими на младенцев с сосками.

Проснулся Валя, как всегда здесь, на море, с ясной и чистой головой.

Утренняя площадь была усыпана битым бутылочным стеклом. А по морю — небесному зеркалу — водными минами плавали вверх доньшком пластмассовые пивные бутылки. Он встречал консервные банки и бутылки в природных на скальных пещерах Алтая. И в чудной африканской стране над песками сказочными зловещими птицами витали целлофановые пакеты. В этой стране все русского человека встречали приветствием “аллях” — брат. И почитаемый народом лидер, окутанный в красные одежды, шесть часов кряду перед бездыханно внимавшими людьми мог говорить пламенную речь о справедливости и вере, и семьдесят прекраснейших из женщин, собранных со всего мира, белые, черные, желтые — телохранительницы — располагались вокруг, украшая его присутствие, как тычинки и листья цветка. Женщины, считал вождь, надежнее, смелее и жертвеннее, нежели мужчины: когда бомбы сыпались и взрывались вокруг, женщины закрывали великого имама своими телами. Когда отхлопали ладоши и закончили бой барабаны, Валя, делегированный от народной социалистической партии,

напрямик поинтересовался про цветник, окружавший опустевшую сцену: “Это гарем?” Была ночь, пылали факела, лица людей налились ощущением судьбоносной важности момента. По группе русских посланцев пробежала судорога, все глянули на Валою, а потом также от решительно него отвернулись. “Что вы, это исключительно охранная структура”, — мягко ответил восточный человек. “Мудро”, — согласился Поцелуев.

Подростки на камешках и вдоль пирса с утра накачивались пивком. Тщедушный, “закуранный” паренек семафорил крупным синяком под глазом и красочно, ломаной жестикуляцией, вел рассказ, варьируя буквально три слова: “х-х”-“е-е”-“б-б”! — боевым кличем вылетали из гортани заглавные буквы. Всех он раскидал и раздолбил в каких-то очень крутых разборках.

Занимались физкультурой еще два человека: условно приседал дед, и крепкая пожилая женщина поднимала булги. Валя с досадой подумал о славянах, хорошо помня, как в Дагестане вдоль всего берега утром выстраивалась на тренировку цепочка молодых людей. А ведь еще в его детстве мальчишки и парни около дворов вкапывали столбики, укладывали сверху лом, прибив скобами, и по всему лету крутились на этих турниках. Зимой не слезали с лыж, не говоря уж о том, что было много физической работы по хозяйству: напилить и наколоть дрова, вскопать и обиходить огород. Сидущка-то, она до сих пор и играет — на фоне молодых “чинариков” он чувствовал себя геркулесом!

Морская гладь очищалась на глазах: к обеду плавали уже две, три пластиковые бутылки, а пока он прогуливался по набережной, море и эти всосало в себя. Природа выказывала свою величественную терпеливость и силу, способную в любой момент уравновесить свои отношения с человеком: остается гадать, что будет, когда океан устанет.

Море стало удивительно чистым, будто приготавлилось для того, чтобы из блистающих вод вышла девушка с королевской статью и упругой крепостью морячки. Чудо природы! В благородных чертах лица угадывалась страсть, светлые волосы совпадали по тону с белесыми, будто небесные проемы, выгоревшими глазами. Рельефы втянутого живота, талии и бедер относили память к индуистской культуре: на Востоке именно эта область женского тела напоена в искусстве мистического значения.

Красота моря вдруг отступила. Сконфуженно деформировалась, обнаружив свое несовершенство перед красотой, дарованной женщине. Валентин физически почувствовал образовавшиеся круги. Один — отодвигал его за свои пределы, как недостойного. Туда, в этот круг, приближающий к женщине, мог войти только редкий удалец, писанный красавец или же несметно богатый мужчина. Другой круг — чертился за его спиной, захватывая женскими чарами вне всяких условий. Сердце выстукивало новый ритм — встреча с девой была главным условием “экстракта жизни”! Красавица растирала волосы полотенцем, склонив голову набок, блистая оголившимися белками глаз. Афродита!

Поцелуев прохаживался, втянув живот, поигрывая добрыми плечами, и пальцы ходили ходуном, словно у пианиста, настраивающегося на исполнение концерта. Это ничего не значило: он просто любовался красотой, отстраненно, отвлеченно. Просто!

— Я никак не могу понять, — обратился к девушке Валентин в глубокой задумчивости, — какого цвета море? Иногда мне кажется, что оно синее? А иногда... что оно цвета морской волны?

Девушка рассмеялась.

— Оказывается, без женщины море молчит, — продолжил мужчина в искреннем удивлении. — Оно шумит, плещется, но говорить начинает, только когда рядом появляется женщина.

Зеркально гладкое море вдруг, кажется, колыхнулось, качнув туловом и крылами.

— И о чем оно говорит?

Валентин опьяненно шел вдоль моря с самой красивой девушкой побережья, ступая широко и уверенно, как боксер-тяжеловес, получивший пояс чемпиона:

— Нет ничего прекраснее моря, — протягивал он ладонь, как локационный прибор, улавливающий голос моря. — Но море не может родить от мужчины. Нет ничего удивительнее неба, но небо не может родить от женщины. Нет ничего величественнее горы, но гора не может родить от мужчины. Господь так устроил, что женщина должна родить от мужчины. Поэтому для мужчины нет ничего прекраснее, удивительнее, величественнее женщины. Равно, как и, наоборот, для женщины в природе нет ничего прекраснее, удивительнее, величественнее мужчины. Потому что только от женщины она может родить ребенка. И никакие прелести мира не заменят им друг друга, женщина и мужчина могут быть счастливы в космосе, в замкнутом пространстве спутника, ибо и там у них остается все, остается с ними великая перспектива проложить род человеческий!

Хороша была Злата необыкновенно! Феромоны развеивались за ней бисером, легко шелестящим серпантинном. Мужики плыли взглядами вслед, будто захваченные волной, кавказцы, те просто столбенели, округлив глаза. Они, конечно, замечали, что ухажер на порядок старше девушки, и как особи возрастом моложе пытались предложить себя. Впрочем, это касалось довольно зрелых мужчин. Юным ровесникам Златы все было, что называется, до фонаря. Этот народ жил собой, сновал на роликах, непомерно накачивался пивом и принимал жизнь, как она есть. Лишь тоненькое существо с громадными замершими глазами, не то мальчик, не то девочка, в темных длинных полотняных затрапезных одеждах гуманоидом двигалось за Валентином с розами на длинных ножках и немо предлагало купить цветы.

Златка, взяв Валентина за руку, горделиво шествовала рядом, словно тоже получила награду. Они катались на американских горках, как бы в опасности друг к другу припадая. В аттракционе, где прикрепленные к стене кресла зловеще вычерчивали круги, Злата сидела в ряду детворы, вся напряженная, с блистающими счастливо глазами. “А-а-а”, — взвизгивала вся команда хором, ухая вниз с верхней точки. “Ребенок, — умилялся Валя, — не наигравшийся ребенок”.

В диско-баре, на танцевальной площадке этот “ребенок” стал выделять такое, что теперь глаза округлялись у Валентина. Ее бедра, грудь, живот выписывали переливчатые восьмерки, и волосы спадали пеной морской, и всполохами металась браслеты на длинных руках. Что стало твориться дальше, Валя никак не мог уразуметь. Сначала с одного столика, дальнего, оставив скучать двух дюжих парней, также, подняв руки, качая бедрами, прошла девица и стала кружить вокруг Валентина, как бы отгесняя Злату. Потом она вдруг сорвала с себя платье, и медленно потащила вниз колпаки лифчика. Ну, подумал Валентин, может, перепила? Однако уже с ближнего столика, оставив дородного мужчину, к нему потянулась другая девица, тоже начав обнажаться. Валя продолжал мужественно танцевать в некотором недоумении, полагая, может быть, он сегодня фосфоритится, или что-нибудь еще с ним происходит из потустороннего. Но скоро вокруг него вились несколько девиц, и кое-кто из них норовил коснуться обнаженными сосками.

Валя ждал агрессии, но мужчины, не выражая и не предьявляя никаких претензий, потихонечку оттаскивали своих женщин, пытаясь их одеть и вернуть на прежние места. Те, словно привороженные, с фанатичными глазами опять бросались на пяточок возле музыкантов и льнули к Вале.

Объяснилось все просто:

— А ты разве меня не помнишь? — улыбалась Злата. — Ты же был у нас на презентации, я тебя запомнила. Ты так растерялся, когда к тебе наши девчонки из номера подъехали — санитарки.

— В шоу?! Это ты на шесте?! — он приставил ладони к бровям. — Летучая мышь?!

Теперь она не сразу поняла. Догадалась. Тоже сделала уголком ладони:

— И на шесте, и танцевала.

— Помню. Там такой свет, что я даже не понял, вы в конце разделись или в колготках остались?

— В этом весь и фокус, — она хохотала, тряхнув гривой.

Злата была звездой курортного стриптиза. Ее знали. Она в определенном плане умела завести людей. К ней рвались, как к появившемуся на людях кумиру. Ей подражали.

— Танцовщицы с тебя умирали, — продолжила Злата с украинским выговором. — Сразу видно: человек никогда не был на стриптизе.

— Если честно, — наклонился он над столиком с шепотом, — я не понимаю тех, кто любит шампанское вприглядку.

— Я тоже! — Златка запрокидывала от смеха голову.

— А как же меня ты запомнила?! Столько людей, ведь это же постоянно?

— Некоторые запоминаются, — польстила она.

В тот вечер Златка была тверда в решении: домой, к маме.

— Я знаю, — говорила она по дороге, — в Москве вы думаете, что если в стриптизе, то проститутка. Но у нас это не так. У нас это нормальная работа: полгорода девчонок летом в ресторанах танцуют.

Дверь квартиры открыла бабушка, и вмиг обмякшая внучка упала в ее объятия.

— Мама мне сказала, — огорошила его с утра Златка, — “какой тебя красивый мужчина вчера привел!”

Произвести Валю, который сам себе в зеркале напомнил с утра залежалый блин, в красавцы — было делом невообразимым. Да и гнать бы таких мужчин от дочерей куда подальше! Наконец:

— Так тебя же бабушка встретила?!

— Это мама. Она вообще-то мне бабушка, но я зову ее мамой. Она меня одна вырастила.

— И я ей показался красивым?

— Так одни же бандитские рожи вокруг!

Выехали со двора, покатали по улице, мимо рынка. Злата указала на пожилую женщину, сидящую перед ящиком с разложенными кучками вяленой рыбы: ее бабушка-мама торговала не на рынке, где место стоит денег, а около входа, где и сидят рядом старушки.

— Мне было полгода, когда отец убил маму.

Девушка была полна достоинства: граненые черты — высокий лоб, прямой нос, выпуклый подбородок, который принято называть “волевым”. Губы — резко очерченные, своенравные. Надменные стрелки бровей.

— Приревновал? — Валентин думал, что если мать была похожа на дочь, то можно сойти с ума от ревности.

— Обкурился. Им было по восемнадцать.

В Чуфут-Кале они кружили с запрокинутыми головами в рукотворной пещере. Сколько труда надо подложить, чтобы выскрести у скалы нутро?! Стены до сих пор хранили сантиметр за сантиметром словно бы выгрызенные ложбинки. Чтобы прокормиться, человек тратил усилий с наперсток в сравнении с непомерным трудом на то, чтобы защититься, остаться в живых, спрятаться, укрыться от врага. Или же наоборот, поймав его, засадить в каменный мешок и сделать рабом.

— Мой отец отсидел двенадцать лет, — по дороге вновь заводила рассказ Злата, сидя по правую от него руку, как изваяние. — Когда он вернулся, мне было двенадцать. А ему — всего тридцать. Мне он таким старым показался! Мне было двенадцать, и я начала танцевать в стриптизе.

— В двенадцать?!

— Я выглядела почти так же, как сейчас. Худее только. Я танцами занималась. Танцами и рисованием: костюмы, которые ты видел у нас — по моим эскизам. Меня пригласили выступать: я не понимала, куда я попала, я думала, что стала артисткой.

В Бахчисарае, в покоях дворца хана Гирея они остановились у “Фонтана слез”. Валентин как-то забыл или никогда не знал, что “фонтан” этот — всего лишь капелька, вытекающая из камня, рассыпающаяся по заусенцам... Вечно набухающая и скатывающаяся слеза. Пушкин, двадцати одного года, побывав здесь, в поэме “Бахчисарайский фонтан” описал страсть и коварство восточной женщины, которая не могла примириться с любовью хана

к богобоязненной славянке. Согласно древней легенде все выглядело иначе: уставший тиран полюбил маленькую полонянку отеческой любовью. А девочка, как птичка в клетке, просто утасла от тоски. Хан повелел привезти из Ирана известного мастера, который, выслушав Гирея, сказал: “Если заплакало сердце великого властителя, то заплачет и камень”. Так камень и льет ханские слезы уже много веков...

От татарской обители до православного наскального Успенского собора было рукой подать.

По обе стороны распадка, в отвесных стенах ущелья, словно чижинные норы, зияли глазки монашеских келий. Какое чудо тысячелетия назад помогало беглым византийским монахам вырубать в камне эти жилища: не птицы же они, чтобы висеть в воздухе? Страх? Да нет, эти знали только Божий страх, потому и уходили в далекие земли, спасая веру.

К наскальному Храму, сооруженному тогда же, вел долгий каменный подъем.

— Мне было полгода, а мне кажется, что я все помню. Как отец зашел, как мама испугалась. Как он бил ее ножом. А я лежала в коляске. Может, так кажется, потому что взрослые потом об этом много говорили. Хотя никого из них в комнате тогда не было. А были только я и мама.

Как она несла себя: с ума сойти можно! Ни одного лишнего движения, ни радости, ни горя — признак “белой косточки”.

— Отец хотел меня забрать, когда вернулся, — они восходили по каменной дороге. — Или помогать, говорит, буду. Я его не пустила. На порог не пустила. Увидела, что на него похожа. Мне и раньше говорили, что похожа. Но мне не хотелось, хотелось на мать быть похожей. Увидела, что на него, — было мне двенадцать лет, — и как отсекла. Не приходи, говорю, больше.

— А если бы не на него? — удивился Валентин.

— Еще хуже было бы...

Около притвора горбоносый православный монах с густой черной бородой — словно вчера из Византии — объяснял прихожанам-туристам, почему в долине происходят столкновения с татарами мусульманами: выходило, из-за того, из-за чего люди дрались всю жизнь — из-за земли.

— И что, ты отца так больше и не видела?

— Нет.

— И ничего не знаешь про него?

— Почему? Знаю. Женился, ребенок у него. Мальчик. Он недалеко живет, в Старом Крыму.

— Это же по пути. Мы проезжали.

Злата кивнула.

— Звонил недавно мне. Говорит, бабушка умерла — его мама, — приезжай. От нее дом остался, по завещанию, часть принадлежит мне.

Валентин смотрел вопросительно.

— Что я его, резать буду, — чуть пожала она плечом, — там же люди живут?

— Можно взять деньгами.

— Не хочу. Ничего от них не хочу.

Сумрак стоял в Храме, двигались полутени. В туго повязанном белом платке Злата стала похожа на древнюю воительницу или греческую богиню — Фемиду, богиню правосудия.

Арбузы, надрезанные для пробы, дыни виселись вдоль дороги горами, пестрели лотки с яблоками, клубникой, помидорами и прочей зеленью.

“Старый Крым” — оповещал знак у дороги. Поцелуев невольно посмотрел на Златку, как она?

— Вот здесь он живет, — кивнула Злата вглубь пересекающей улицы, — в конце, третий дом от реки.

Валентин резко свернул к обочине.

— Там река?

— Пруд.

— Заедем?

— На пруд? Он грязный.

— К отцу.

— Зачем?

— Ты же все равно о нем думаешь. И думать будешь.

— Тебе это зачем?

— Не могу, когда женщина со мной думает о другом. Пусть это и отец. Она улыбнулась.

— Не из-за наследства. Я бы хотела задать один вопрос. Только один вопрос.

Миновала встречная машина, и руль податливо стал набирать левые круги.

Рослый молодой мужчина заливал фундамент пристройки к дому: он в одиночку размешивал лопатой раствор из цемента и щебенки, и спешно заполнял им емкости опалубки, приращенной к стене.

Обнаженный по пояс, мускулистый, с выгоревшими русыми длинными волосами, налегающими на уши, работник, скорее, был похож на актера, игравшего принцев. Но потому, как человек внешне не придавал значения, не замечал остановившейся напротив его дома машины с тонированными стеклами, из которой не выходят, а явно наблюдают за ним люди, как при этом настороженно собрался и следил боковым зрением, можно было определить в нем бывшего “сидельца”.

— Вперед, — повел головой Поцелуев.

Злата набрала грудью воздух, улыбаясь. Теперь она не скрывала волнения.

Мужчина распрямился, лишь в первое мгновение глаза его пробежали по двум приближающимся людям. В следующее — он смотрел только на дочь.

Если фигурой он выглядел молодо — на свои тридцать семь лет, — то лицо было почти старческим: с глубокими морщинами на лбу.

Отец впустил дочь, мельком глянул на Валентина, на машину, на раствор, который в считанные минуты мог “застыть” и превратиться в камень. Опередил Злату, шагнул к двери дома, передумал, повел на летнюю терраску в сад.

— Давай раствор зальем, — предложил Валентин. — Потом говорить будем. Мы не спешим особо.

Отец растерянно смотрел на дочь.

— Я подожду.

В две лопаты они заполнили до краев опалубку. Пожали друг другу руки, вспотевшие. Хозяин тоже про Валю многое понял.

— На северах школу проходил? — спросил он.

— Где еще нашего брата лечат.

Хозяин принес закуску. Валя выставил выпивку — без бутылки он обычно в дорогу не отправлялся.

Златка долила себе в стакан до того уровня, который был у отца. Понужнула одним хлопком, по-мужски.

— Как ты? — вопрос отца относился ко всей ее жизни.

— Нормально, — пожала плечом дочь.

— Работаете где?

— Танцую.

Отец продолжительно кивнул. Помолчали. Хозяин снова посмотрел на машину, на Валентина, хотел что-то спросить, не стал.

— Мне журнал с тобой принесли! — вскочил он.

Руки отца подрагивали: он не знал, как к этому относиться, — на титульной обложке была фотография дочери — со спины, влоборота, с черными полосками стрингов ниже пояса. “Мисс Эротика”, — гласила крупная надпись. На развороте журнала также размещалась эта фотография, но уже маленькая, среди десятка других. Текст сообщал, что в течение года проводился конкурс читательских симпатий, и вот победительница определена: ею стала Злата Залевская из Феодосии!

— Мне говорили, — едва глянула Злата. — Письма стали приходить. Сама я не видела.

Валентин снова налил отцу и дочери — ей меньше. Златка опять дополнила стакан.

— Дом от матери остался. Избушка. Продать думаем. Тебе — четвертая часть, — посмотрел отец.

— Ты зачем маму убил? — заострила взгляд дочь.

Они сидели друг против друга, два, словно точеных, профиля. “Шляхтичи”, — подумал Валя.

Отец молчал долго. Медленно опуская голову. Лоб еще круче забуровил-ся морщинами.

— Так мне легче, — тихо поднял он глаза.

— И не жалеешь?!

— Так мне легче. — Тверже повторил он.

Женщина, молодая, полная, с тяжелой сумкой в руке, отворяла калитку. Внимательно смотрела в сторону терраски. Мальчик лет пяти, опередив мать, побежал по тропинке.

— Папа, мы машинку купили! — протягивал он игрушку.

Остановился в застенчивости, наткнувшись на взгляд строгой “тети”.

— Иди сюда, познакомься... — Отец осекся, не зная, как назвать, как представить дочь — сестру мальчика.

— Пошли, — будто жена, кивнула девушка Валентину.

Резко поднялась.

— Я понимаю, что я тебе должен! Но я нищий! Я бы тебе весь дом отдал, но там не я решаю, там дети сестры.

— Не надо мне ничего от тебя! От вас ничего не надо! Ему так легче! А ты думал, как мне?! Мне легче?! Я росла, маму твою не видала! Где она была?! Бабушка нашлась! Перед Богом она откупиться захотела! Не надо! Я сама заработаю!

— Заработаешь! — потряс журналом отец.

— Заработаю, — вырвала Злата журнал.

Хлопнула калиткой. Хлопнула дверцей машины. Исчезла за непроницаемыми стеклами.

Валентин пожал руку мужику, мол, ничего, перемелется, мука будет, жизнь.

Журнал с фотографией словно уходящей обнаженной Златы лежал на заднем сидении.

Она долго смотрела вперед. Она положила ему голову на плечо: неожиданно мягко, приотившись, как маленькая обиженная девочка. Он был для нее отцом в эти мгновения. И она — дочерью. Но он — не был отцом. Он — был чужим мужчиной, мужиком, которого хотелось ощущать родным.

Злата потянула его в горы, над морем: машину они оставили внизу. Раскинулся морской простор, яхта, чуть накрываясь, держала курс вдоль берега, полоски пляжей было видно с маленькими человеками.

— Здесь я лишилась девственности, — вела его по своей жизни Злата. — Мне было четырнадцать лет. А ему двадцать два. Он был очень красивый лицом, но невысокий ростом. Выглядел моложе. Он и сказал мне, что ему восемнадцать. А я прибавила, сказала, что мне семнадцать: я так и выглядела, на семнадцать. Он стал звать меня замуж. Тогда я ему сказала, что мне четырнадцать. Он так испугался! Так меня ругал! Мы с ним остались хорошими друзьями.

— Почему ты всегда говоришь о прошлом?

— О чем ты хочешь, чтобы я говорила?

— Говори, о чем хочешь, мне интересно. Просто, когда человек живет прошлым, ему трудно зажечь настоящим.

— Я не живу прошлым. Я люблю танцевать. Я танцую. У меня был муж. Ну, не совсем муж: гражданский брак.

— Муж? Когда ж ты успела?

— Я с двенадцати лет танцую в стриптизе. Он был из крымских татар, милиционер. Он поставил условия: брось стриптиз. А я не хочу — мне это нравится.

— Танцевать? Или обнажаться?

Она подумала:

— И то, и то. Это такое чувство. Это совсем не то, что я голая, продаюсь. Ты даже не понял, когда мы сняли с себя все. Муж бил меня ногами. Я сказала ему, что из танцев не уйду. Больше мне ничего не интересно.

Камень лежал вокруг с редкими прогалинами жидкой травы. Девушка смотрела чуть искоса. Он был должен стать первым ее мужчиной. И она должна была стать девственницей, отдавшей ему себя.

Она была очень сильной, она привыкла летать, кружиться вокруг шеста. Она заставила море ходить волнами от края до края. Она вымещала обиду, лечила боль, она хотела быть любимой.

И была холодна. Была почти бесчувственна. Потому что хотела быть с ним, хотела быть с тем, первым, с другим, жаждая быть нужной, но она, будучи и с тем, первым, и с ним, и с другим, еще не была ни с кем. Была ли она в себе? С собой? Или эта прекрасная телесная оболочка жила автономно, отдельно от души, оставшейся там, где ей было двенадцать лет?

В курортном поселке он снял комнату с видом на утес, похожий, как все здесь утверждали, на профиль жившего здесь поэта.

Злата полулежала, приподнявшись на локте. Поцелуев жестко провел рукой, будто из-под нее, как из-под резца мастера, выходила эта рельефная, волнистая линия, начинающаяся с широкого плеча, перекатывающаяся в узкую, словно перехваченную невидимым обручем талию и вновь круто вздымающаяся к бедрам.

— Итальянец, — показывала Злата фотографии, — он письмо прислал на украинском! Я сама украинского не знаю, а он написал. А это предприниматель, из Киева.

— Это же Воровский? — узнал Валя пожилого актера на небрежно брошенном снимке.

— Пишет, что я ему напомнила его первую любовь.

— Молодец, не стареет!

Вдруг ее голос совершенно изменился, наполнившись почтительной серьезностью:

— А это — из тюрем. — Держала она отдельно сложенную пачку.

Тюрьма ли, куда отправили папу и о которой постоянно вспоминали вокруг, жила в ней с детских лет? Или то сердобольное бабье чувство, которое на Руси извечно вело жен за ссыльными мужьями в Сибирь, на каторгу?

От последнего снимка — Злата протянула его, не в силах сама оторваться — дхнуло холодом, подземным, знакомым, стылым. В черной робе, с номером на груди, с развилкой шрамов на бритой голове, с фотографии смотрел несомненный красавец: питанный, сильный, суровый.

— Лет десять — срок? — предположил Валентин.

— Четырнадцать. Двенадцать отсидел.

— Двенадцать? — Валя повторил число, которое из уст Златки звучало как магическое.

— Двенадцать.

— Убийство?

— Грабежи и убийства.

— Хороший жених.

— И мне он понравился, — чуть смущенно сказала она.

Валя вздохнул.

— Он пишет, что выйдет и начнет новую жизнь. Будет работать, учиться.

— Вы переписываетесь?

— Да. Я ему ответила.

— А еще кому?

— Больше никому.

— Ясно. — Валя помолчал. — Ну, если он, правда, решил взяться за ум, то ему должны помочь. За это потом придется отработывать, но пока где-то его пристроят.

— Нет, он не хочет связываться с бывшими друзьями.

— Так он пишет?

— Да.

— Дай почитать.

Злата вновь взяла сумочку.

— Нет. Прости. Не могу. Он мне пишет. Он мне доверился.

— Ты к нему ездила?

— Собираюсь, — она забрала снимок. — У меня был муж, милиционер, он меня ногами избивал. Я его не боялась. Я смеялась над ним. А этот, только на фотку гляну, жуть берет, — возбужденно проговорила она.

Он рассмеялся:

— Вот ведь что женщине надо!

Он ясно представлял, как девочка в белых колготках поднимала ножку перед зеркалом в танцевальной студии. Какой же удивительной виделась ей жизнь впереди?!

Сердце затомилось, и он набрал SMS-сообщение той, которую тоже часто представлял маленькой, слушающий пение в Храме. Оттого и отдал ее другому, молодому, с возможностью подарить судьбу впереди. Телефон тотчас проиграл музыку ответного послания: "Skusau", — было набрано латинскими буквами.

Женщины — удивительно чувствительны. Злата с пониманием улыбнулась, поднялась, оглянулась, как это умеют женщины, — накинув взглядом невидимый аркан, — пошла на открытую терраску. "Что женщине надо?" — говорило каждое ее движение.

Перед лунной морской дорожкой, тающей в бездне, она виделась плоть от плоти этого мира, первозданной женщиной: если Бог дал человеку Еву, то она должна была быть именно такой. Спадающие волосы, развернутые плечи, прямая, чуть прогнутая спина, гладкие полushария ягодиц, все ровно в меру, хищно и складно скроено, напоено силой. "Что женщине надо?" — натягивался незримый аркан. Девушка закурила, склонившись к перилам, окончательно обратившись в зов первобытного бытия. Феромоны упали в комнату продолжением звездного неба.

Мужчина на аркане протискивался сквозь обжигающий ряд и в следующий миг увидел свои, как бы отдельно от него зажившие руки, скользившие по нежным изгибам млечного пути. "Фжи-их", — прокатилась волна прибоа.

Перед морскими бликами и скалой, напоминавшей профиль поэта, ей легко было быть с тем, которого она еще не видела, не знала, а только стремилась к нему, сильному мужчине со шрамами на голове, двенадцать лет отбывшему в тюрьме.

Утробно щелкнул ключ, с перестуком открылся засов. Тяжело подалась вперед массивная литая дверь.

Сколько раз, в детстве, Злате мерещилось, как приедет к отцу. Так же, на свидание. Незаметно, в рукаве, пронесет с собой нож, маленький, перочинный. И когда они останутся вдвоем — она видела в кино, как заключенный и гость остаются вдвоем, — вытащит нож и ударит отца прямо в сердце. За маму. За бабушку, которую стала звать мамой.

Злата переступила порог тюремной камеры — комнаты свиданий.

Он стоял, ее избранник, такой, каким рисовала она мужчину, когда училась в художественной школе, в двенадцать лет: нависал скалой, затмевал пространство широкими плечами:

— Не верил, что ты приедешь, — над крутым подбородком проплыла застенчивая улыбка.

— Я обещала.

Он повернулся к охраннику в военной одежде, протянул деньги, много:

— Коньяку, Шампанского, шоколад, закуски разной. И цветы. Цветы найди! — распорядился заключенный, будто перед ним был официант.

— Остаться можешь? — глаза его по обе стороны тонкой, чуть расплющенной, переносицы, смотрели с надеждой. Добрые глаза.

— Здесь? — удивилась она.

— Ну, не насовсем. До завтра, дня на два. Есть помещение, для близких родственников.

— Для близких?

— Для жен, матерей.

— А ты где будешь?

Он помолчал.

— С тобой.

— Так можно?

— Договорюсь, — положил он руку на карман.

— Я на день отпросилась. Я ведь танцую.

— Позвоню ребятам, договорятся.

Теперь подумала она:

— Я сама договорюсь.

Вновь щелкали замки. Двигались, как заводные, вооруженные конвоиры. Стучали, уходили в свои оковы, за спинами, по другую сторону запирающихся дверей, тяжелые засовы.

Замкнутое пространство. Решетка на окне. Страх, промелькнувший, острый: а как не выпустят отсюда? — скатился от плеч по локоткам, застыл ледяными каплями в кончиках пальцев. Он положил на ее плечо руку — сильную, стальную, способную раздробить кости в порошок, — мягко, бережно коснулся. И посмотрел — как ребенок, потерявший маму.

Она познала мужчину в четырнадцать лет. С той поры мужчин в ее жизни было немало. Она знала радость, похожую на ту, которую несла со сцены, когда танцевала, обнажаясь, и видела устремленные, воспаляющие глаза.

Она никогда не знала мужчины, танцующего для нее. Таяли льдинки в кончиках пальцев, растворялись, жгли. Растворялись железные полозья, так долго сковавшие ее тело, мешавшие всей ее жизни. Она превращалась в желе, теплое, разливающееся. Становилась ласковым, желанным для истомленного зноим пловца морем.

Старая железная кровать отыграла свою африканскую, со звуками там-тамов, мелодию.

— Выйдешь за меня? — прозвучало в вящей тишине.

— Выйду.

— Мне еще два года.

— Я подожду.

Мужчина вздохнул, сладко, с надеждой. Вздохнула и она: будущее удивительно прояснилось.

За полночь он дождался Злату около “развлекательного центра”. Там, за кубами, меж металлических конструкций, похожих на трибуну стадиона, еще бухала музыка, и диджей орал, срывая горло, и мелькал всполохами неоновый свет. А Златка, быстрая, вся в белом, вынырнула из двери и быстро потащила его прочь.

— Я всегда ухажу, пока девчонки еще заканчивают номер.

Валентин отметил: он видел ее в одиночестве, когда не знал. Когда они были вместе, он не разу не замечал, чтобы она, выросшая в этом городке, поздоровалась с кем-то, подбежала к кому-то, заговорила, как это бывает обычно с местными девчонками, и никто ей не кивнул, не подошел. Злата всегда шла, как в шорах, ни на кого не глядя, не замечая никого.

— А то проходу не дадут? — развил он вслух мысль.

— Не давали, — поправила она.

В белом костюме и белых туфлях ее поджидал — жуткий красавец, венчанный веточкой шрамов на обрастающем волосами темечке. Валя знал эту породу непредсказуемых, импульсивных парней.

Он со скрытой настороженностью пожимал руку — железные тиски.

Свадьбу они сыграли в тюрьме. Жениха в наручниках этапировали в загс, и только на время росписи в документах о заключении брака сняли “браслеты”. Через месяц молодожена освободили условно-досрочно: парень давно показывал себя только с хорошей стороны. Злата взяла в банке кредит, и в ее городе Рома предстал одетый так, как ей представлялось: в белом и строгом классическом костюме.

С двенадцати лет у нее не было подруг. Теперь постоянно встречались бывшие одноклассницы, девчонки, с которыми занималась в танцевальном

коллективе, мальчишки из стриптиза — все закатывали глаза, разводили восхищенно руки: какой мужчина! Она сама таяла, глядя на мужа, рядом с которым можно было никого больше не бояться.

Валентин поздравил молодых. Еще раз пожал руку, и они пошли: не пара, а загляденье!

Злата сама нашла его: Поцелуев распростер объятья, полагая, что ей нужен он.

— Покупатель на дом нашелся, — объясняла она, — отец позвонил, говорит, без моей подписи не продашь. Свою долю получу, можно сразу расплатиться за кредит и долги отдать. Отвезешь нас?

Ехали втроем. Друг Валя вел машину, руки его были заняты, а муж, убийца и грабитель Рома смотрел ему в затылок, зная о прежних отношениях своей жены с мужчиной за рулем.

— Ты в Москве там, — заговорил Рома, — не слышал: “Бои без правил”?

Как почти все уважающие себя бывшие “зека”, Рома не благовал, хорошо владел “гражданским” языком и даже бравировал чистым хорошим голосом.

— Слышал. По телевизору видел, — ответил Валентин.

— Не знаешь, сколько им платят?

Валя поглядел из-за плеча на парня: боец тот был, может быть, и несокрушимый.

— Не думаю, что много. Смотря с чем сравнивать.

— Не надо нам никакие “бои”, — встряла Злата. — Так можно работу найти.

— Грузчиком?

— А чем грузчиком плохо?

Рома хмыкнул.

— Для начала грузчиком. Потом учиться надо, — проявляла Злата материнскую разумность.

Сидели в очереди к нотариусу, здесь был еще и отец.

— Может, я поеду? — сказал Валентин.

— Останься, прошу тебя! — Злата редко бывала взволнованной.

Дом продали за двадцать тысяч гривен: Златке причиталось — пять. Конечно, это тоже деньги, но когда говорилось “наследство”, то казалось, что речь идет не о тысяче долларов.

— Сейчас на побережье цены упали, — словно оправдывался отец. — А у нас — половина улицы продается, все в России работают!

— За кредит расплатиться не хватит, — посмотрела Злата на мужа.

Рома тоже посмотрел: внимательно проследил за рукой тестя, спрятавшего остальные три четверти выручки за дом во внутренний карман.

Около машины Валя предложил Роме сесть на переднее сидение, мол, пусть отец с дочерью побудут рядом. Нельзя было вводить парня в искушение, устроив за спиной человека при деньгах.

— У меня здесь жена работает, бухгалтером, мне надо заскочить к ней, — излишне засуетился отец Златы.

Вернулся скоро, сообщил также излишне непринужденно:

— При нашей жизни деньги дома держать... В сейфе, у жены, оставил. Заехали в магазин, взяли продуктов, водки.

Над фундаментом, который, в прежний приезд дочери, заливал хозяин, выросли стены.

Хозяйка была дома.

— А как ты вперед нас?! — нарочито удивлялся хозяин. — Пока мы в магазине, что ли, были, обогнала?

Он, убийца по любви, жил семейной трудовой жизнью, и теперь не мог сладить со страхом, накопленным за лагерные годы перед убийцами по охоте.

Застолье пошло с размахом:

— Мир, доченька, мир, прости меня, — забирала отца, еще молодого человека, старицкая слеза. — Кто у тебя, кроме бабушки? Только я. Жизнь — штука долгая.

Странно: Валя привык думать, что жизнь — коротка. А здесь, для человека, убившего любимую женщину и треть жизни проведенного в заключении, она долга, будто его тюремный срок не кончался.

Дочь по-мужски протягивала руку. Слезы не рониала.

Хлебный нож лежал посреди стола. Валя видел, как наточенное лезвие притягивает взгляд Ромы. Налил всем по стаканам. Взял нож, нарезав хлеба, убрал оружие подальше с глаз.

Жали крепко друг другу руки и зять с тестем. В прошлом — все хлебнули горького. Вместе — оно легче, если, конечно, все по-людски, по-хорошему.

Рома был немногословен, кивал с пониманием, располагая к себе участием.

Молодым постелили в новой пристройке, а Вале — в смежной комнате.

В ночной тиши хорошо различались звуки шуршания одежды, сбившегося дыхания, взаимного движение тел: стенка была из “оргалита” — одно название, что стенка. У Вали даже под ложечкой засосало — так вдруг стало досадно, что Златка не с ним.

— Валить надо твоего тятю, — будто треснула сухая ветвь, прозвучал мужской голос.

— Зачем? — чувствовалось, как женщина отстранилась от мужчины.

— Ты же хотела за маму отомстить?

— Хотела.

— Бабки возьмем: они твои.

— Он же в сейфе деньги оставил, у жены?!

Мужчина с глубоким выдохом сладострастно матюгнулся, видимо, притискивая женщину к себе:

— П-с-дш-ешь! Кому он влива-ать взд-у-умал?! Я картежник — я коло-оду сквозь вижу, — вожделение подогревало чутье хищника. — Бабло где-ес-сь!

Сопенье в тишине. Одинокое, долгое.

— Я документы подписывала у нотариуса. Нас тут все видели! — женщина взывала к здравомыслию.

— Ма-аленькая, я все разложи-ил, — хищника распаляла скорая добыча. — Картежник всегда все сечет. Москаль твой хлеб резал. Пальцы на но-же его-о!..

— И что?

— Он с России. Его искать не будут.

Она молчала. Продолжительно молчала.

— Он уезжать не собирался.

— Море большое. Он же на море приехал? — Рома нетерпеливо хихикнул, уверенный в своем хитроумном плане. — Тачка наша!

— Машина российская.

— Номера перебыют.

Валентин прислушивался, ожидая, что она начнет отговаривать мужа, защищая его, такого внимательного друга, привезшего их сюда. Молчание сменилось новым слышимым движением, шорохом ткани.

— Давай так, лежа, — раздался сдавленный женский шепот.

— С-стой, как с-стоиш-шь.

— Ну, больно, больно мне так!

— Потерпи.

— Привык на ягодички возбуждаться! Сколько в тюрьме мальчиков перепортил?! — и она страдала этой женской привычкой: в самый неподходящий момент вывести мужчину из себя.

Густой шлепок. Падение тела.

— Еще раз такое скажешь, — говорил вновь Рома иным, сдержанным веским тоном, — убью.

Скрипнула половица. Наступила тишина. Никаких противоречий. Только дыхание.

Валя думал. Он заприметил у ворот лопату и теперь решал: сходить, взять и сходу уделать этого Рому. Или разумней спокойно выйти, открыть ворота во дворе, сесть в машину и поминай, как звали.

На воротах, с внутренней стороны, висел замок: хозяин, зная, позаботился о сохранности его машины, запер двор. Валя постоял, кинув руки на штакетины забора, посмотрел на звезды. Вечно его тянет влезть в какую-нибудь муть, и зачем все это ему надо?! Уйти, оставив машину, в баре где-нибудь посидеть до утра, вернуться, и как раз узнать, чем тут все закончится? Или разбудить хозяина: предупредить человека. Заодно ворота откроет?

— Замучил, — рядом закуривала Злата.

Лопата стояла у забора, по левую руку: ухо надо было держать на чеку.

— Не выбежит тебя искать? — предупредил он девушку.

— Нет. Удовлетворение получил, теперь до утра будет храпеть.

— Зато секс с ним особенный, — провоцировал Валя. — Вам же нравится, когда страшно? Экстремальный секс!

— На весь век, по-моему, отбил охоту ко всякому сексу.

— Ты же говорила, там, в тюрьме, это было необыкновенно!

— Там было. Там он был человек. А здесь — хуже зверя. Что ему надо: заложить стакан, кого-нибудь избить — в компанию друзей приведешь, обязательно или оборвет кого-нибудь, или избьет. По улице идешь с ним, видит человека, тот по телефону звонит хорошему или деньги достал, все, у него ноздри раздуваться начинают. И не остановишь — бесполезно останавливать.

Валентин это знал: некоторым нужна тюрьма, монастырь, или жизнь под секирой, чтобы они были людьми. Также иным женщинам нужны оковы, висящая на стене камча, грозящая в каждый миг пройтись по спине, опасность биения камнями, строгие нравы и суровый моральный суд, — иначе они себе не будут рады. А возведи рамки, устраняющие личный выбор, и человека вернее не найдешь.

Она курила, смотрела во тьму, рассказывала: освобождала душу.

Злата устроила свадьбу в ресторане — ну, не свадьбу, как это бывает у людей, а застолье с друзьями. Посетители ресторана многие ее знали, официанты, музыканты, все помогали, посылали на их стол коньяк и шампанское, получилось, может, и круче, чем у людей. Хватало всего. В какой-то момент молодая жена заметила, как ее Рома ушел в себя, словно опрокинулся внутрь. И оттуда, изнутри, смотрел на веселящихся людей в зале, как зверь из засады. О чем-то стал с жаром шептаться с бывшей одноклассницей, ставшей проституткой. Скоро она вышла, следом исчез он. Вернулись довольно быстро, возбужденные, радостные. Злата сделала вид, что не заметила отсутствия. Рома вдруг предложил перейти на второй этаж, устроенный, как балкон: сверху — веселее смотреть! Расположились на новом месте — молодой муж стал швыряться деньгами — официантки, и без того готовые услужить, крутились вокруг, музыканты теперь играли только для него! Откуда деньги? — недоумевала Злата. “Заначка, тюремные”, — пояснил он. Что же тогда он их раньше скрывал, платила только она? Рома кружил в танце ее и подруг, даже дурачился с “голубыми” из стриптиза — Злата не ревновала. Насиделся, пусть потешится.

Милиционеры, целый наряд, приблизились к столу. С ними — мужчина с разбитой губой. “Этот”, — показал мужчина, вытирая кровь.

В милиции Злата имела хорошие связи. “Что за дурака нашла?! — возмущался знакомый лейтенант. — В ресторане, в котором гулял, взялся грабить! Да ладно бы хоть ушел, а то там же остался!”.

Оказалось, школьная подруга, по совету Ромы, вывела запримеченного им мужчину на улицу, следом выскочил герой, разыграл сцену ревности, то ли для правдивости, то ли из любви к искусству — избил. Ограбил.

Снова требовались деньги, и Злата собрала последние, залезла в долги — выкупила мужа!

— Хоть бы незаметно сделал! — выговаривала ему жена.

— Лады, — пообещал он.

И принес с десятков мобильных телефонов.

— Сдай барыгам, — потребовал.

— Ты же обещал, обещал, что все, со старым покончено.

— Это разве старое? Это так. А куда деться: не берут меня нигде?!

Она устроила его в магазин, грузчиком. Хозяин рассчитал работника к вечеру.

— Извини, — позвонил он Злате. — Не могу. Я рядом с ним как под напряжением хожу.

Рома стал уговаривать ее заняться “делом”. Схема оставалась известной: она знакомится с состоятельными мужчинами, заводит в условленное место — на природу — а он, муж, появляется. До судимости на него таким образом работали три девушки, начиналось все с проституции и сутенерства, а закончилось грабежами, разбоем и убийствами.

— И опять на двенадцать лет?! Или теперь уже пожизненно? — отрезала Злата. — И я за тобой?! Спасибо!

Долги и деньги за кредит надо было отдавать, она сама напомнила отцу про “наследство”, которое оставила бабушка.

— Уже год покупателей на дом найти не можем! — оправдываясь, говорил отец.

Ворованные телефоны пришлось продать. Появилась новая партия аппаратов. Злата снова их снесла в ларек. И скоро опять она искала деньги на выкуп Романа, поднимала связи с милицией.

Свела мужа с местным криминальным авторитетом — хотя тот давно уже числился в бизнесменах, и на вид производил впечатление самого добропорядочного гражданина: с простоватым курносым лицом, прической горшком, какие носили в прошлом веке.

— Одинокий волк. — дал отповедь уважаемый в городе человек. — На свободе он — не жилец.

Никакого просвета в жизни не было видно: кредиторы грозились “поставить на счетчик”, хоть, в самом деле, иди и грабь вместе с мужем. А там, в казенный дом — прокормят.

Поцелуев слушал. Поражаясь тому, насколько в человеке много животной природы. Кобели в своре собак на помойке крутятся вокруг сучки: один сполз, а другой уже вскакивает! А у философского Достоевского во всех романах мужики до сумасшествия выются вокруг женщины — не на тех дрожжах, что ли? И в нем, вместо должного чувства безразличия к женщине, в которую только что сбросил семя какой-то тупоголовый бык Рома, начинало все внутри подрагивать, звенеть. И вдыхаемый воздух наполнялся вибрацией: феромоны, батенька, феромоны!

— Он же картежник, что он, картами не может заработать? — был по возможности спокоен Валентин.

— С кем здесь играть? Одна нищета.

— Ну, не знаю. Сколько приезжих? Да и здесь богатеньких-то!..

— К ним его не допустят.

— Ну, да.

Златка вдруг резко подалась к нему, посмотрела с надеждой:

— Вот если бы с тобой, на пару? Вот пошло бы?!

Он ответил изумленным взглядом, усмехнувшись.

Усмехнулась и она, понимая.

Они замерли, глядя друг на друга.

У Валентина была великолепная реакция: в заключении он зарабатывал деньги простой игрой — двое соединяют ладони тыльными сторонами, на верхней руке — лежит монета. Если человек, поставивший руку снизу, успел схватить монету, она его. Успел пальцы сжать тот, кто держит руку сверху — этого! За все время один человек смог с ним тягаться в скорости — это был Коля Шереметьев, “Достоевский”.

Поцелуев не успел даже шелохнуться — обнаружил себя под воротами. От удара горел висок.

Роман мог бы забить его кулаками и ногами. Но “боец без правил” стоял над ним с ножом.

— Бабло, ксиву, ключи от мотора, — теперь он был блатным.

У Вали появилась возможность подняться, он лез в один карман, вставая на колено, рывся в другом, распрямляя ногу. Отдавал, оттягивая время, что требовали. Понимал — выбора нет. Нож, при любом исходе, Рома пустит в ход. Лопата стояла, приклоненная к штакетине. Не успеть!

— Не у меня, мне не надо крови! — отец Златы влетел между ними. Он уже не боялся, был зол. — Ты знаешь, он мой гость, здесь я за него отвечаю.

— И ты знаешь. Я не проститутка, — показывал Рома нож в руке. — Не он — тогда ты.

— Тогда я, — встала перед мужем Злата.

— Отойди, уйди, дура! — завопил Рома. — Завалию же!!!

— Все равно жизни не видала.

Как же спокойна и прекрасна она была!

Валя успел заметить, как дрогнул парень, тряся ножом, как забилося в нем сомнение. Лопата поднималась долго. Описывала полукруг. Уже, казалось, за эти растянувшиеся мгновения можно двадцать раз его достать ножом, ударить. Лопата стала опускаться и... рассекла воздух. Он точно видел, что не попал. Но Рома лежал на земле. Навзничь. Пена, словно выпаренная соль, выступала вокруг рта. Стальное тело сотрясали судороги. Златка склонялась над ним. Держала плечи, раздвигала тесно сжатые челюсти.

— С ним случается, — поясняла она. — Припадки.

“Все пребывают в вымышленном мире, — склонился помочь и Валя. — Какие ему бои без правил?!”

Рома, отлежавшись, поехал навестить друзей. Златке позвонили на следующий день: опять требовались деньги, иначе условно-досрочному освобождению суженого придет конец: его взяли с поличным прямо в поезде.

Перед ее отъездом к мужу пообедали в ресторане: как ни туго с деньгами, Поцелуев шиканул на прощание — коньяк, осетрина. Но около открытой привокзальной забегаловки Златка тронула его за локоть:

— Мы, когда с танцевальным кружком ездили, всегда здесь чебуреки ели. В пятом классе.

— Тебе было двенадцать?

— Двенадцать. Здесь были такие вкусные чебуреки!

Они стояли за высоким продолговатым столом, склоняясь, чтобы не выливать сок из тонких и пустых лопастей обжигающих чебуреков.

Женщина, лет тридцати семи, необычайно легкая в движениях — скользящих, летящих, — убирала грязную посуду, вытирала столы. И тело было еще тугим, ладным. И крепки груди. И пушистые прозрачные волосы молодого бежали к плечам. Но главное — глаза. Они искрились, лучились все еще юношеским ожиданием. И всем бы она была хороша, если бы... не отечный синяк под глазом.

“Летящая по волнам”, — как мысленно назвал уборщицу Валя, — опрометью скользила меж столов. В каждом ее движении виделись былые времена: она шла, устремляя за собой стайки парней; звенели гитары, лилось вино; ее кружил на крепких руках загорелый красавец; заезжий “друг” с перстнем на руке подливал в хрустальный бокал искристого шампанского в дорогом ресторане, все вращалось вокруг нее, вся жизнь, любовь...

— Вот видите, — вдруг стремительно подошла она к Вале, страдальчески посмотрев в глаза, — чем я вынуждена заниматься?!

Женщина сказала так, будто они были тысячу лет знакомы. И вот — встретились!

Златка медленно, не теряя породистой осанки, подносила к губам длинную кружку с пузырящимся пивом. Окружающее ее не касалось.

— В тюрьме — он человек. Пусть сидит, — решила Злата. — Так мне легче.

Она повторила один в один слова своего отца, убившего жену: “Так мне легче”.

В следующий его приезд по Крыму везде висели российские флаги. Развлекательный центр, в котором прежде работала Злата, перестраивался под иное заведение. На набережной, где встречались люди даже против своей воли, он также Злату не увидел. Зато девчонок, похожих на Злату, стало немало. Вот идет вдаль, с развернутыми плечами, спадающими светлыми волосами, приближаешься — совсем другая.

Море нагоняло волну за волной.

ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА



ИДЁТ ВСЕМИРНАЯ ИГРА...

ЗЕЛЁНЫЙ РАЙ...

Груз восторгов и обид,
Как туман вечерний, тает...
Даже возраст — не томит.
И судьба — не угнетает.

В этом утреннем раю
Всё яснее видит око:
Что приемлю, что люблю —
Многозначно и глубоко.

Точность слов и опыт лет.
Свет зелёный — в лоно лета.
Ни тоски, ни грусти нет.
Миг святой!.. Пройдёт и это...

А пока издадека
Свет небесный щедро льётся,
Боль стихает, жизнь — легка,
В лад с Россией сердце бьётся...

ЩИПАХИНА Людмила Васильевна родилась в Екатеринбурге. Юность прошла в Волгограде. Окончила Литинститут им. Горького. Поэт, автор около пятидесяти книг стихов и поэтических переводов. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Всероссийской премии им. Александра Твардовского. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Все окольные пути
Безобразны, бесполезны,
Хоть до пенсии дойти,
Как дойти до края бездны...

ВПЕРЁД, РОССИЯ!

“Вперёд, Россия!” — мы кричим
И от футбола ждём победы!
Но тренированно молчим,
Когда неистовствуют беды...

“Вперёд, Россия!” — мощь крепи!
За экономику сражайся.
И униженья — не терпи.
На власти — ах, не обижайся!

Сражайся там, где ты стоишь!
Не доверяй словам убогим...
Твой крик раскалывает тишь,
Но только слышен он немногим.

Он в шуме дней неразличим.
И враг страны не взят на мушку...
“Вперёд, Россия!” — мы кричим
В свою пуховую подушку...

ВСЕМИРНАЯ ИГРА

Когда над миром зреют войны,
А спорт хмелит нас, как вино,
Я понимаю: непристойно
Так жить на свете! И — грешно!

Быть полунищим, полуголым,
Лишь обещания жевать,
Но любоваться каждым голом
И от мяча — торжествовать...

Такие миллиарды вбухать!
Такие силы расточать!
Чтоб на трибунах дружно ухать,
У телевизоров — кричать!..

Вот и о том стихотворенье.
Как дань дежурного пера...
Настало... умопомутнение.
Идёт ВСЕМИРНАЯ ИГРА!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк идёт сквозь годы!
Мы доблестью его согреты.
Сегодняшние патриоты,
Мы тоже в будущем — портреты.

Бессмертный полк! Как много наших!
И нас, живых, ещё немало...
Душ очарованных, не павших
Под смертной хваткой капитала.

Без предрассудков, без различья —
Ещё для битв открыты двери...
Остатки бывшего величья...
Неизгладимые потери...

Бессмертный полк! С такою силой,
Что не покажется и мало...
Что ж ты, Великая Россия,
Свой СССР не отстояла?

* * *

Неужто доволен, неужто ты рад,
Что нынче без русских живёшь, Ашхабад?
Не с русским ли ты вдохновенно копал
В пустыне Великий Туркменский канал?

Дружили в песчаных просторах земли...
Нас, русских, приветствовал Махтумкули...
И слал благодарность с высоких небес
Певец миролюбия — Молланепес.

Последнего русского видишь в толпе...
Их нет ни в Чарджоу, ни в Геок-тепе.
Не спрятались от каракумской жары —
Покинули Кушку и город Мары...

Туркмения!.. Давняя боль и урок...
Но в сердце — нетронутый есть уголок.
И капают слёзы на утренний стих...
Последние русские... Я — среди них!

ЛЕОНИД БЕЖИН



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СУЛТАНА ОМАРА

РАССКАЗ

Я не могу назвать себя биографом Любови Омаровны Султановой, великого учёного, признанного во всём мире, лауреата многих отечественных и международных премий, кавалера орденов и т. д., совершившего ряд выдающихся открытий в области химии нуклеиновых кислот. Но как у ближайшего ученика, постоянно бывавшего в доме Султана Омара (так её прозвали друзья и коллеги), у меня скопились кое-какие материалы, которыми, я надеюсь, воспользуются будущие биографы. Среди этих материалов есть один трогательный, интимного свойства документ, которым я особенно дорожу: подробное описание событий последнего дня жизни великого учёного, её бесед с близкими, высказанных ею суждений. Оно-то, на мой взгляд, представляет наибольший интерес для будущих биографов, поскольку как друг дома я пользовался источниками, недоступными другим. Рискую показаться назойливым, я пытливо расспрашивал родных и друзей Любови Омаровны, что же было в тот роковой день, просил их припомнить всё до мелочей (самого меня, к величайшему сожалению, тогда не было, да и никто не мог предвидеть, что он окажется последним).

Сразу хочу оговориться, что ничего особого она не изрекла — напрасно было бы ждать от Любови Омаровны откровений, исповедей или чеканных

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ и аспирантуру при нём. Прозаик, автор романов, повестей, рассказов. Лауреат нескольких литературных премий. В данное время является ректором Московского института журналистики и литературного творчества.

афоризмов. Напротив, мои записки, может быть, примечательны именно тем, что позволяют при всей её необычности увидеть в ней *обычного* человека со всеми его слабостями и недостатками. Ошибаются те, кто считает, что отсвет величия должен лежать и на смерти великого человека, что он не может сойти в могилу, как простой смертный. Нет, господа, позволю себе с вами не согласиться. Пресловутый отсвет — это скорее дань дурно понятой мифологии или беллетристике, ненавистной Любви Омаровне в том случае, если её вкрапления (сама она сказала бы — примеси) нарушали чистоту стиля научной статьи.

Да и вообще смерть не терпит бутафории, театральных декораций, какой-либо напыщенности и позы. Беллетристом тут скорее выступаю я, поскольку по мере сил стараюсь дать связный рассказ, связать отдельные реплики в нечто целое и набросать живые сценки, используя сведения, полученные мною при опросах. Вскользь замечу, что при всей нелюбви к бутафории и простоте высказываний, Любовь Омаровна всё-таки нет-нет, да и поднимается над житейской суетой и даже позволяет себе некий пафос. Позволяет там, где что-то её особенно задевает, тревожит, мучит, возмущает и гневит. Она ведь всё-таки патриотка — в старом, почти забытом смысле этого слова (вскользь замечу, что возвращение Крыма Любовь Омаровна горячо приветствовала).

В заключение напомним (хотя эта дата есть во всех энциклопедиях), что Любовь Омаровна Султанова умерла тридцатого сентября две тысячи пятнадцатого года и похоронена на Ваганьковском кладбище, открытом для посещения.

1. Полдень; время приблизительно 12:10.

— Ты что разревелась? Вытри слёзы. И носом не шмыгай. Подойди ко мне. Встань тут. — Любовь Омаровна пальцем указывает внучке, где встать, чтобы не надыхаться ядовитым дымом от кальяна, плавающим по комнате, и не задеть локтем кофейник, стоящий в опасной близости к краю стола. Ценою самых угрожающих ультиматумов она завоевала право курить кальян и пить крепчайший кофе. С ней устали спорить, на неё махнули рукой. “Пусть делает, что хочет. В конце концов, она сама распоряжается своей жизнью”, — так решили *дети* — её дочь Марина (её часто звали Марусей) с зятем Феликсом. И отвернулись, снимая с себя всякую ответственность. А Любви Омаровне только того и надо. Теперь она может предаться своим *гнусным порокам*. И она с наслаждением предается, чтобы поскорее умереть и не мучиться от ужасных давящих болей в боку: диагноз ей поставлен безнадёжный. Смерти Любовь Омаровна не боится и особенно радуется тому, что она избавит её от *химии* — той, которой занималась всю жизнь, проводя опыты в специальной лаборатории и читая лекции студентам университета, и той, на которую её возят каждую неделю в онкологический центр. Особенно её допекает вторая химия. Из-за неё она стала хромать, совершенно облысела, а затем и вовсе утратила способность ходить. Этого она не может ей простить и в отместку втягивает дым, округляя свои огромные, *шамаханские*, навывае глаза, и пьёт густую, иссиня-чёрную жидкость. Вот только внучка Стефания помешала ей тем, что без стука вошла в комнату. Любовь Омаровна уж хотела выпнуть беспардонную особу (шутануть, по её словам). Но заметила, что та — вся зарёванная, слёзы размазаны по щекам и кончик беличьего носа (сама она рыжая, как белка) покраснел. Вот и решила выяснить причину. — Ну, рассказывай. Опять с родителями поссорилась, горе моё? Из-за чего?

— Они меня отругали. — Стефания отвернулась, от обиды даже не желая смотреть в ту сторону, где остались отругавшие её родители.

— Надо полагать, была причина. — Любовь Омаровна пустила дым сквозь ноздри крючковатого носа и отпила из чашки кофе, не желая отказывать себе в удовольствии, пока разговор с внучкой ещё не казался ей серьёзным и не требовал особого внимания. Удовольствие ей доставляло также удобное и покойное кресло, которое стало уже расшатываться и заваливаться набок, но его недавно починили (по её словам, оно стало как новое). И было приятно, что после пасмурного, хмурого утра выдался такой

чудесный осенний день: из-под сизых, с чернильно-свинцовым отливом туч выглянуло малиновое солнце, следы ночного дождя стали повсюду высыхать, потянулась испарина, на оконных стёклах под солнцем засквозили золотом налипшие кленовые листья и засверкали царапины. И даже умирать уже не хотелось... — Причина-то была, я спрашиваю?

— Была. — Стефания неохотно подтвердила наличие причины, словно это заставляло её признать нежеланную правоту родителей.

— Какая? Что я из тебя клещами вытягиваю!

— Бабуля, они мне вдалбливают, а я не понимаю. Что я, виновата?

— Может быть, соблаговолишь, наконец, объяснить, что тебе вдалбливают?

— Собла... согла...

— Не пытайся. Все равно не выговоришь. Это взрослое слово.

— А я уже взрослая. Я, как тебе известно, учусь в седьмом классе.

— Свистуха ты, а не взрослая. Ну, что внушают-то? Что?

Стефания смирилась с тем, что всё-таки придётся произнести то, что произносить так не хотелось.

— Внушают, что надо... любить Родину, — уныло возвестила она и состроила рожу, желая назло Родине показаться уродиной.

— Перестань кривляться. Что же здесь непонятного? — Любовь Омаровна откинулась на спинку скрипнувшего кресла, удобно развалилась в нём, вся размякла и расплзлась (растеклась), словно этой позой ей было легче выразить своё недоумение.

— Я не понимаю, что такое Родина. И у нас в классе никто не понимает. Только Бальзаминов один трюндит. Он на меня и пожаловался — позвонил матери, сказал, что я зачинщица и заводила. Вот она и взбесилась.

— Стало быть, ты инициатор антипатриотического движения. А кто такой Бальзаминов?

— Учитель литературы.

— Трюндит, а ты не понимаешь.

— Не понимаю. И у нас в классе никто...

— Ты что, дура? — перебила её Любовь Омаровна и зашлась хриплым, бухающим кашлем, поднося ко рту кулак с зажатым в нём платком.

— Может, и дура. Но я честно признаюсь. — Высохшие было слёзы снова выступили на глазах Стефании. — Я люблю свою улицу, двор, наш дом, даже эту противную школу люблю, потому что я к ней привыкла. Но почему я должна любить какую-то дурацкую Родину? Где она? Покажите мне её. — Стефания оглянулась вокруг себя, демонстрируя, что даже если бы ей что-то и показали, она бы ничего не увидела.

2. Время 12:40 (плюс-минус пять минут).

Любовь Омаровна смекнула, что за *это дело* надо взяться основательно и объяснить всё внучке толково, доступно, на простом и понятном Стефании языке. Таким языком она прекрасно владела, чуждая всякой зауми. Но ей помешала внезапная боль в боку, и некоторое время она не могла пошевелить языком, словно прилипшим к гортани, и только едва слышно стонала, закрыв высохшей фиолетовой ладонью глаза. Лишь когда боль немного утихла, она с трудом произнесла, страдая из-за несоответствия невнятно выговариваемых (как будто при заморозке зуба) слов их глубокому и важному смыслу:

— Видишь ли, моя дорогая. И дом, и двор, и улица, столь любимые тобой и для тебя привычные, есть проявление чего-то ещё более высокого, вечного, всеохватного, универсального по своему значению.

— Как в химии? — насмешливо спросила Стефания, привыкшая к тому, что бабушка на всё приводит примеры из химии.

— Болтушка ты. Химия здесь ни при чём. Давай мыслить логически. Вам на уроках рассказывали о конкретном и абстрактном? Вот Родина — это, в отличие от конкретной улицы, дома, двора, и есть абстракция, — произнесла Любовь Омаровна и сама удивилась, что безупречная логика привела её к такому абсурдному выводу. — Впрочем, извини. Не то. Беру свои

слова обратно. Это всё из-за проклятых болей. Сейчас курну, и в голове прояснится. — Любовь Омаровна затянулась дымом из кальяна.

Стефания с любопытством проследила, как дым выходит у неё из ноздрей, и с некоторым опозданием сказала:

— Вот видишь. Ты и сама не понимаешь, а ещё Султан Омар...

— Я, милочка, всё понимаю. Я хочу, чтобы ты у меня дотумкала. Поэтому зайдём с другой стороны... — Любовь Омаровна заворочалась в кресле, собираясь с силами для своего нового захода.

— Двор, улица, школа — это атомы, а Родина — это большая-большая молекула, — возвестила Стефания, подражая голосу бабушки с её особым выговором.

— Фу, какая ты глупая. Скажи, где ты родилась?

— Ну, в роддоме. Значит, роддом моя Родина, что ли? Ладненько, я согласна, буду любить роддом.

— Ты родилась в Москве, а Москва — это часть России. Вот Россия и есть твоя Родина.

— Твоя Россия, — Стефания брезгливо сморщила свой маленький белочий носик, — это просто страна, такая же, как другие страны, только хуже, бестолковая и со всякой дурью. Страна, но никакая не Родина. Вот у нас в классе Алиска Снегирёва родилась в Америке. Поэтому её и прозвали Аляской. Так что же? Значит, Америка её Родина?

— Но она же русская, — бухнула Любовь Омаровна вместе с новым приступом кашля.

— Такая же, как и ты. — Стефания сочла нужным о чём-то напомнить Султану Омару. — У неё мать русская, а отец аргентинец. Что ж у неё, три Родины?

— Как это три?

— Америка, Россия и Аргентина.

— Не важно, кто и где родился, а важно...

— Ты же сказала, что важно. Только что сказала: раз я родилась в Москве, а Москва — часть России, то значит...

— Ты меня совсем заморочила. Не буду я с тобой спорить. Твои родители что тебе говорят?

— Они говорят то, что им напел Бальзаминов. Он на этой Родине свихнулся.

— Бальзаминов — это, надо полагать, прозвище... А фамилия у него есть?

— Зачем тебе?

— Человека подобает звать по имени и фамилии.

— Есть у него фамилия — Кнорре.

— А он не сын Петра Герасимовича Кнорре, выдающегося химика, моего коллеги?

— Без понятия. Да мне и по барабану. Этих Кнорре полно, как собак нерезаных.

— Фамилия, однако, немецкая. Что ж он так за Россию радеет?

— Он за всех радеет. Считает, что девочкам из Чечни надо разрешить носить джихад.

— Не джихад, а хиджаб, наверное.

— Ну да. Ну да... Говорит, что за карикатуры на Пророка он бы на кол сажал.

— А Родина здесь при чём?

— Осквернять чужие святыни способны лишь те, у кого нет чувства своей Родины. Вообще с ним интересно поговорить, хотя он и дурак. У нас одна девочка из Чечни даже в него влюблена — тоже дура.

— А ты, часом, не влюблена?

— Вот ещё! Я влюбиться не могу. Я — фанатка.

— Чья же?

— Фредди Меркьюри, конечно. Чья же ещё! — сказала Стефания, бессмысленно и блаженно возводя к потолку светло-карие — белочьего цвета — глаза.

— Ладно, фанатка, иди. Устала я от тебя. Дай мне немного подремать.

— Иду. Тебе что-нибудь нужно?

Любовь Омаровна ничего не ответила и лишь махнула рукой, устраняя последнее препятствие, мешавшее ей закрыть глаза.

3. Время 13:30 (дочь каждый раз, заходя к матери, зачем-то смотрела на часы).

Но вздремнуть ей не удалось. Вскоре после того, как закрылась дверь за Стефанией, в комнату мягко, на цыпочках вошла дочь Марина-Маруся (родителям нравились оба имени, и они долго не могли выбрать). Она была узкоплечая, с тонкими руками, худая до пояса, но неудержимо полнеющая книзу, по линии бёдер и ног. Ноги она вообще скрывала, из-за чего носила длинные юбки. Марина-Маруся плаксиво и страдальчески сморщилась от плававшего в воздухе дыма, с которым она давно и безуспешно вела войну. Любовь Омаровна сделала вид, что спит. Но Марина-Маруся позволила себе ей не поверить, зная, что она долго притворяться не сможет.

Так оно и вышло. Любовь Омаровна поняла, что вздремнуть всё равно не удастся, и открыла глаза.

— Опять ты куришь этот ужасный кальян! — произнесла дочь с преувеличенно ласковой улыбкой, призванной смягчить адресованный матери суровый упрёк.

— Опять двадцать пять.

Марина-Маруся озадаченно встретила эту присказку матери.

— И что сие означает? Может быть, двадцать шесть? Или вообще тридцать девять, сто четырнадцать, двести сорок восемь?

— В тридцать девятом году я родилась. Всю жизнь мечтала попробовать кальян, да случая не было. Не было даже тогда, когда я стажировалась в Ташкенте. Или что-то мешало, и прежде всего, собственная трусость. И вот теперь какое счастье — ничто не мешает... Вернее, никто, кроме родной дочери.

— Ну, конечно... как же... Дочь у тебя ещё та злодейка. — Марина-Маруся воспользовалась своим правом на злодейство, чтобы открыть форточку и проветрить комнату.

— Я бы не сказала. Дочь как дочь. Это я виновата в том, что многого в жизни не попробовала, а теперь навёрстываю. Вот и кофе не пила — всё больше жиденький чай. А теперь всё себе разрешаю. Веду разгульную жизнь. — Любовь Омаровна сделала жест, выражающий упоение разгулом.

— И себя этим губишь, — сухо заметила дочь.

— Не гублю. Я бессмертна. Я никогда не умру, и вы меня не хороните. Я только засну и постепенно буду высыхать, потому что я святая, и моя плоть — это будущие мощи. А святая я потому, что целиком отдала себя науке. Нуклеиновым кислотам. Из-за этого и тебя родила слишком поздно. Науке отдала, но открытий особых не совершила. Так, знаешь... всё мелочи, иначе бы я была великой. Но святой быть лучше, чем великой. Вон твоя дочь отказывается понять, что такое Родина, — неожиданно заговорила она совсем о другом, чтобы не тешить себя иллюзией, что сказанное прежде сказано не впустую.

— Я и хотела с тобой об этом поговорить, — вкрадчиво зашептала Марина-Маруся. — Меня это ужасно беспокоит. Нам учитель звонил. С ним Феликс разговаривал.

— Бальзаминов? Тот, который призывает всех на кол сажать?

— Что ты, он тишайший человек. Деликатнейший. Может, немного запоздал в прошедшем веке.

— Твой Феликс в разговоре, конечно, показал себя молодцом.

— Насчёт молодца не знаю. Но он выслушал и согласился. Пообещал провести воспитательную работу. Но сначала удивился, словно для него было открытием, что дочь не понимает. Для меня это тоже, честно говоря, открытие.

— Слава Богу, что хоть такие открытия в нашей семье совершают, что, кроме тупицы-бабки, есть светлые головы и большие умы. Ничего, настанет

время, будет и пора, как говорит моя Белла Рудольфовна. Повзрослеет Стефания — поймёт, хотя, может быть, и не дай Бог, чтобы поняла. Для этого ведь нужны испытания, хождения по мукам, а я моей внучке этого никак не желаю. Лишь бы жила, хотя бы и без Родины... Мне ведь тоже помирать не хочется, особенно в такие дни, как сегодняшний. — Любовь Омаровна долго смотрела в окно.

— Зачем же ты себя губишь?

— А разве это жизнь — каждую неделю на химию? Вот химия меня и доконала, проклятая. Совсем другой химией обернулась... Вон я вся облысела. Кто меня теперь замуж возьмёт?

— Найдутся кавалеры...

Любовь Омаровна повернулась в кресле так, чтобы высказаться решительно и придать своим словам убедительность.

— Знаешь, голуба, ты меня в четверг не вози. Ну его к лешему... Пустое это.

Марина-Маруся сдавленно улыбнулась и погладила её по лысой голове.

— Мы тебя ещё на операцию отвезём в Париж.

— Не поеду. Не упрашивайте. Лучше позовите священника. Исповедаться хочу.

Любовь Омаровна отвернулась и, чтобы больше ничего не говорить, стала снова смотреть в окно.

4. Время 14:40—14:50.

Солнце побледнело, подёрнулось дымкой и скрылось за розоватой, неприятно рыхлой тучей. Сразу стало сумрачно и неудобно. Вскоре небо совсем заволокло. Покрапал, потенькал по карнизам дождик, затем всё затянуло туманной изморосью, стёкла расчертило наискось, и в водосточных трубах загудело, выметывая на тротуары белую пену.

Внучка Стефания внесла в комнату телефон, волоча по полу шнур и держа в руке поднятую трубку.

— Бабуля, тебя.

— Кто, родная?

— Твоя лучшая подруга Белла Рудольфовна, — громко оповестила Стефания, а затем добавила едва слышно: — Старая пердунья.

— Что ты там бормочешь?

— Я говорю, что она беспокоится о твоём здоровье.

— Зачем кричишь? Я не глухая. Давай сюда телефон. — Любовь Омаровна села прямо и поставила телефон на колени. — Алло, дорогая моя. Чем занимаешься? Лекарство приняла? Погода, похоже, портится. У нас зарядил такой дождь...

В трубке ответили едва пробивающимся сквозь булькающий, хриплый, сияющий кашель голосом:

— А у нас ясно. Приняла я твоё лекарство, такая горечь, что чуть не выплюнула.

— Твой гренадёр в юбке приходил? — Гренадёром они называли рослую и плечистую домработницу.

— Приходил. Убрался и — убрался. Вот теперь сижу и решаю шахматную задачу.

— Ну, молодец. Какую?

— Расставить на доске восемь ферзей так, чтобы ни один не попал под удар другого.

— Ну, и как?

— Пять ферзей расставила.

— Умница. Теперь дело за малым. Как твоё здоровье?

— Ты же знаешь, у меня насморк. — Под насморком подразумевалось то, что у Беллы Рудольфовны ещё полгода назад отнялись ноги. — А у тебя как?

— Немного чихаю. — Любовь Омаровна и вправду чихнула из-за того, что дочь открыла форточку. — Совсем мы с тобой расклеились. Ну, ничего, мы ещё повоюем, себя покажем. В Крым-то поедем?

— А как же! Всенепременно. В двухместном купе. Как твоя внучка? — Вопрос о внучке входил в число таких же обязательных, как и вопрос о здоровье.

— Хорэ, как она сама выражается, — отрапортовала Любовь Омаровна и тотчас вспомнила о не совсем приятном разговоре со Стефанией. — Моя внучка, как выяснилось, Родину не любит.

— А за что её любить? — спросила Белла Рудольфовна, тоже патриотка, но большая ёрница. — Родина у нас больна. У неё *простуда* и *насморк* похуже нашего. — Она выделила голосом слова, которые следовало понимать не в прямом значении.

— Как это? — Любовь Омаровна не совсем улавливала, что имеет в виду подруга, чьи высказывания часто зависели от капризов настроения. Поэтому, несмотря на бодрые признания о Крыме, сначала следовало выяснить, в каком настроении она проснулась. — Ты сегодня кофе пила с удовольствием?

— Без всякого удовольствия, — в тон ей ответила Белла Рудольфовна.

— Что так?

— Да прочла тут в одной газете. Вернее, газетке. А ещё верней, дрянной газетёнке...

— Что же пишут?

— Зачем тебе расстраиваться...

— Говори, раз уж начала.

— Хорэ. — Белла Рудольфовна переложила трубку в левую руку, чиркнула спичкой и закурила. — Две затяжки мне можно. Скажи мне в таком случае, какая у нас теперь цель образования? Ради чего существуют школы, академии, университеты? Ради того, чтобы раскрывать в детях творческие способности, обогащать их знаниями, развивать интеллект? Нет, дорогая моя, конечная цель образования — воспитывать грамотного потребителя. Ей-богу, я сама читала. Грамотного потребителя! Чтобы, придя в магазин, он знал, что ему купить, и как можно больше накладывал в тележку. Знаешь, такие тележки в магазинах. Ха-ха-ха! — Белла Рудольфовна раскатисто рассмеялась в трубку, и настроение у неё сразу улучшилось оттого, что она позволила себе закурить и ей дали высказаться. — Заметь, производителя материальных ценностей они не воспитывают, потому что все уже произведено. Произведено даже с переизбытком. Все прилавки завалены. На складах всё гниёт и тухнет. Поэтому теперь нужен потребитель, чтобы прилавки вновь опустели. А ты о какой-то любви... Наивно и смешно, ей-богу.

— Ты так говоришь, что я не знаю, смеяться мне или плакать.

— Смейся, — убежденно посоветовала Белла Рудольфовна. — А чтобы тебе стало повеселее, я тебе анекдот расскажу.

— Только приличный. — Любовь Омаровна не позволяла непристойностей даже близкой подруге, хотя она и была ёрницей.

— Приличнее не бывает. Как раз для твоих целомудренных ушей. Один другого спрашивает: “Что такое демократия?” Тот отвечает: “Власть демократов”. Ну, как? Оценила?

— Оценила, — ответила Любовь Омаровна, не расслышавшая анекдот из-за внезапных болей в боку.

5. Время 15:30.

Когда боль стала понемногу затихать, Любовь Омаровна — вместо того чтобы совершить необходимое — позвать дочь со шприцем и попросить её сделать укол, дала себе поблажку — позвала *всего лишь* внучку:

— Стефания, забери телефон.

Но внучка то ли не услышала, то ли была настолько поглощена своими заботами, что позволила себе пренебречь просьбой бабушки и в ответ на неё затихнуть, промолчать, не отозваться. Стефания оправдывала себя тем, что бабушка просит о пустяках, тогда как она сама занята важным делом. Телефон же может и подождать, тем более что он никому сейчас не нужен и звонить никто в доме не собирается.

— Забери, а то мне неудобно держать. Рука затекла. — Любовь Омаровна была вынуждена повторить свою просьбу, но с меньшей настойчивостью,

чем в первый раз: это была дань тому, что боль совсем прошла, и Любовь Омаровна могла позволить себе мысль о том, что этак она, пожалуй, и выздоровеет, и проживёт ещё годик-другой. К тому же и солнце выглянуло, засияло, словно омытое недавним дождём, и это заставило её... сердито, почти гневно ещё раз позвать Стефанию. Этому она искренне удивилась, не зная, чему приписать то, что вместо радости поддалась внезапному гневу и раздражению.

— Сейчас, бабуля, сейчас, — с опозданием отозвалась из соседней комнаты внучка, сразу залезавшая оттого, что бабушка на неё явно сердита.

— Чем ты там занята? — спросила Любовь Омаровна, желая поторопить Стефанию и в то же время чувствуя, что никаких желаний у неё нет.

— Я на день рождения собираюсь.

— К кому? — И интереса ни к чему не было.

— К Аляске, то есть к Алиске, но мы её так зовём...

— Ничего лучше не могли придумать. Ну, скорее же... Посмотри, какое солнце. Я, пожалуй, ещё проживу годик-другой. — Она вдруг поняла: причина её раздражения в том, что она не верит в своё выздоровление и вообще ничему хорошему не верит, зато верит всему плохому и гадкому. Верит своей близкой — *при дверях* — курноске-смерти.

Стефания, уже наряженная, с чёлкой на лбу вошла в комнату и взяла у бабушки из рук телефон. Но уносить его не спешила.

— Бабу-у-у-ля... — просительно протянула она, — мне подарить нечего.

— А я тут при чём? Что ж ты не позаботилась заранее?

— Да уж такая я курноса. — Стефания тронула пальцем свой беличий носик.

Любовь Омаровна от ужаса вздрогнула.

— Тыфу, тыфу, глупая! Никогда так себя не называй.

— Почему? — Стефания испуганно отдернула палец от носа.

— Потому что... да что я буду тебе объяснять, почему! Не называй, и все.

— А если я курносая?

— Ты сначала дурочка, а лишь потом курносая.

— Хорэ, бабуля. Договорились. — Стефания замолкла, как замолкают перед тем, как сказать что-то особо важное, заранее заготовленное. — Можно, я посмотрю у тебя в шкатулке?

— Да ты и так уже всё раздарила.

— Пожалуйста!.. Тебе жалко?

— Мне ничего не жалко, — сказала Любовь Омаровна и вдруг убедилась, что это на самом деле так: ей действительно ничего не жалко. — Ну, посмотри... Если что-нибудь найдёшь, покажи мне.

Стефания стала рыться в шкатулке, как белка роется в листве, отыскивая орехи.

— Ба-а-а, я нашла. Кулон или как он называется?

— Это нельзя. Впрочем, бери.

— А серьги?

— Тоже нельзя. Бери, бери.

Стефания по виду бабушки поняла, что брать нельзя не столько запрещённое, сколько разрешённое.

— Что ж, обойдусь без подарка. Спасибо.

— Что ж ты не берёшь? Обиделась?

— Вот ещё! Я не обижаюсь. Как тебе моё платье? — Стефания повернулась так, чтобы бабушка могла оглядеть её со всех сторон.

— Очень-очень.

— Ну, я побежала... Вернусь — обо всём расскажу.

— Ты так ничего и не взяла?

— Ничего *твоего* я не взяла. Не будь собственницей.

— Покажи руки.

— Бабуля, тебе не кажется, что это унижительно?

— Я хочу уберечь себя от разочарования, а тебя — от греха.

— Вот, пожалуйста... — Стефания протянула обе руки, сначала ладонями вверх, а затем ладонями вниз. — Уберегла?

Любовь Омаровна оставила вопрос без ответа и лишь сказала:

— Ну, беги... Только допоздна не задерживайся.

Стефания, уже слышавшая это и от матери, и от отца, лишь в изнеможении вздохнула, ещё раз убедившись, что взрослые по сравнению с ней — сущие дети.

6. Время 17:00.

Марина-Маруся снарядилась проводить Стефанию на день рождения (шла за ней, выдерживая дистанцию в десять шагов) и ещё не вернулась. Видимо (как всегда в таких случаях), она проводила рекогносцировку на местности, дабы установить, что за компания, какие мальчишки, нет ли среди них внушающих подозрение. Столь же важно было разведать, что собираются пить и чем закусывать, хотя выставленные на столе бутылки — не гарантия, что мальчишки ничего не принесли в карманах. Всё это требовало навыков опытного разведчика и, главное, времени: нельзя было уходить сразу и всё пускать на самотёк.

Дома оставались лишь Любовь Омаровна и Феликс. Странно было бы, если б Феликс при этом не заглянул к ней и не осведомился о самочувствии, хотя он не любил к ней заходить, тем более один. Не любил, но теперь сразу постучался, словно торопясь воспользоваться тем, что им никто не помешает.

— К вам можно? Вы позволите?

— Заходи. С чем пожаловал, друже?

— Банальный вопрос. Как вы себя чувствуете?

— Замечательно. У меня был ученик Володя Бак. Он к концу обеда — а мы часто собирались, — всегда шутил: “Мой бак уже полон”. Почему-то это казалось смешным, и все дико смеялись. А я теперь без всяких шуток скажу: “Мой бак уже полон. Доверху. Конец”.

— Вы пообедали? Вас накормили?

— Господи, какой ты... дурачок. Я не об этом. Я о другом.

— Я понимаю. О жизни. О прожитых годах.

— Ну, слава Богу. С чем пожаловал-то? Ведь не просто так заглянул к старухе...

— У меня к вам такой вопрос, если позволите. — Любовь Омаровна давно заметила: даже если Феликс плутовал, привирал и обманывал, он старался казаться честным, честно смотреть, честно говорить. Вот и сейчас он смотрел на неё такими правдивыми глазами (Любовь Омаровна называла их глазами бога Ормузда), что у неё мелькнуло предчувствие: в чём-нибудь наверняка сплутует.

— Позволяю любые вопросы, пока у меня ничего не болит. Только не смотри на меня так честно, а то страшно становится...

— Извините, иначе не умею.

— Ну, говори, говори же...

— Трудно говорить, если вы меня в чём-то подозреваете... — Феликс опустил глаза.

— Успокойся. Не подозреваю.

— Вы ведь пенсию давно не получали? — нехотя спросил Феликс, словно его к этому вынуждали.

— С полгода, как слегла. А что?

— Позвольте я буду получать.

— Сделай милость.

— Только надо оформить доверенность. Я выясню, как оформляется в том случае, если получатель не способен передвигаться. Наверное, через нотариуса. Так вы не против?

— Я буду только рада... Хотя я надеюсь, что сама встану.

— Встанете, я уверен, — сказал он без всякой уверенности, — но пока вы лежите... вернее, сидите в этом кресле. Мы вам его недавно починили...

— Вам за это на небесах венцы приготовлены. Что ещё ты хотел сказать?

— Сказать... сказать... — Феликс сделал вид, будто что-то припоминал. — Ах, да! Такая вот штука... Нам обещали, что химию вам будут делать бесплатно. В скором времени. Но пока надо платить... Конечно, вам большая скидка, но всё-таки...

— Ах, вот зачем тебе пенсия.

— Вы уж простите, но мы не так уж много зарабатываем. Может быть, составим доверенность не только на пенсионную, но и на *другую* сберкнижку? — Феликс смотрел себе под ноги, словно что-то искал и не мог найти.

Любовь Омаровна изумилась, но усилием воли заставила себя принять это как должное.

— Ради Бога, я не возражаю. Но, видишь ли, у меня там совсем немного... Я думала, на похороны и поминки...

— Похороны — это само собой... А можно взглянуть на вашу сберкнижку?

— Она в тумбочке.

Феликс достал сберкнижку, раскрыл её и тоже изумился.

— Как? Всего лишь? А ваши премии?

— Я всё тратила на оборудование для лаборатории и... ассистентам подкидывала.

— А о нас вы забыли? Тогда вы, может быть, доверите мне ваши ордена и награды?

— Ордена я продала, когда монтировали установку.

— Полный дефолт. Вот почему вы не написали завещания.

— Да, мне стыдно, что нечего завещать. Не накопила. Все профинтила.

— А ваша дача в Крыму?

— Милый, откуда? Нет никакой дачи...

— Но правительство вам подарило...

— Откуда эти слухи? Кто вам, извините, наплёл?

— Мне наекнула Белла Рудольфовна.

— Ах, мерзавка! — Её лицо расплылось в улыбке, словно она никого не любила так восторженно, как эту мерзавку. — Выпороть её надо! Ёрница! Она же ёрница! Хулиганка!

— Не буду вам мешать. — Феликс сделал упреждающий жест, позволяющий ему удалиться.

7. Время 19:45.

Марина-Маруся вернулась с дня рождения и сообщила, что компания застучала и, по всей вероятности, скоро нагрянет сюда. Во всяком случае, Стефания обещала их всех привести. Любовь Омаровна, услышав это из своей комнаты, позвала к себе дочь и стала ей с озабоченностью внушать, что надо же их угостить. На это Марина-Маруся ответила, что они все сытые, пьяные и нос табаке.

— Как это нос в табаке? — спросила Любовь Омаровна с недоумением: смысл поговорки она всегда понимала буквально, особенно если слышала их от дочери. — Они что, курят в таком возрасте? Кто же им позволяет?

— С тебя пример берут, — сказала дочь и приятно ей улыбнулась.

Вскоре компания и вправду нагрянула. Друзья Стефании ввалились всей гурьбой, стало шумно, от чьих-то тяжёлых шагов (наверняка кто-то очень толстый и грузный) зазвенели чашки в буфете. Послышались шуточные — шутковские — возгласы, истошные, сдавленные крики, какими в компаниях изображают буйное веселье. Кто-то затренькал на гитаре, кто-то пытался запеть, а кто-то подвывал, чтобы получалось отчаянно смешно.

Любовь Омаровну это быстро утомило, и она задремала. Очнувшись от сна из-за того, что у неё за дверью шептались и шушукались. “Что они там?” — подумала она недовольно. Голосов разобрать было невозможно, но один голос она не могла не узнать — голос внучки, та явно верховодила. Затем голоса разом смолкли. Стефания приоткрыла дверь, просунула голову и притихшим голосом произнесла:

— Бабушка, к тебе священник. Мама вызвала из церкви. Отец Павлин.

“Какой еще Павлин? — подумала Любовь Омаровна, не ожидавшая никаких гостей, тем более священников. — Хоть предупредили бы заранее...” Она заворочалась в кресле, оперлась на один локоть, затем — на другой, попыталась сесть прямее, принять соответствующую позу. Но из-за слабости и головокружения не удержалась в этом положении, стала сползать и, обессиленная, снова откинулась на спинку кресла.

Священник вошёл (она слышала шаги) и встал у неё за спиной.

— Готов принять вашу исповедь, почтенная.

— Благодарю, святой отец. Вас моя дочь пригласила?

— Не совсем, — неопределённо отозвался он и тотчас поправился, словно получив чьё-то внушение: — Да, конечно, дочь. Кто ж ещё! Лишних прошу удалиться, — обратился он к собравшейся публике.

— Лишних у нас нет, все необходимые, — произнёс в ответ чей-то голос.

Но Стефания на это ответила, разом пресекая попытки непослушания:

— Удаляйтесь, раз велено. После всё расскажем.

— И вы, барышня, тоже... прошу. — Строгий голос священника давал понять, что и она не исключение.

— Можно, я тут в уголке постою? — притворно захныкала Стефания. — Я о бабушке и так всё знаю.

— Прошу, прошу. Не положено. — Отец Павлин, похоже, всё-таки вы проводил Стефанию (сама Любовь Омаровна этого не видела, поскольку не могла повернуться), а затем обратился к ней:

— В чём вы грешны?

Любовь Омаровна сразу не нашлась, что ответить, но затем произнесла с покаянным вздохом:

— Вот кальян курю...

— Да, кальян — это грех. Вам следует отказаться от курения, — сказал священник у неё за спиной, и ей показалось, что от него слегка пахнет, потягивает перегарцем. — В чём ещё вы грешны, почтенная?

— Бывает, что и выпью рюмочку, — призналась Любовь Омаровна больше для того, чтобы испытать священника.

Тот кашлянул. Кажется, немного смутился.

— В малых дозах разрешается. Продолжайте.

— Веду вольные разговоры с подругой Беллой Рудольфовной. Всё осмеиваем, выпучиваем, ёрничаем. Самой иногда противно.

— Так-так. Власть ругаете?

— Ругаем, святой отец. Слишком все там заворовались.

— Всё равно нехорошо ругать. Нет власти, кроме как от Бога. Дальше. Любовь Омаровна задумалась, что же там может быть дальше.

— Не могу внушить внучке, чтобы она Родину любила... — Прежде чем продолжить, Любовь Омаровна ждала, что на это скажет священник.

Тот тоже задумался, помолчал.

— Это не ваш грех.

— А чей же? — Любовь Омаровна искренне удивилась.

И тут священник удивил её еще больше. Он словно нехотя коротко сказал:

— Мой.

— Как это ваш, святой отец?

— А так, что я никакой не святой отец, а учитель литературы из класса вашей внучки. Моя фамилия Кнорре, а прозвище — Бальзаминов.

— А что же тогда исповедь?

— Вы извините, мы выпили немного. Всё-таки день рождения. Исповедь — это дурацкий спектакль. Розыгрыш. Или, как они говорят, прикол. Я ведь и не одет, как полагается. Вот, взгляните...

Кнорре-Бальзаминов встал перед ней так, чтобы она увидела, как он на самом деле одет (учитель был в клетчатом пиджаке и почему-то в украинской сорочке).

— Бабуля, это я придумала. Это мой прикол. Моё ноу-хау. — вмешалась Стефания, стоявшая в углу.

— Как же вы посмели! — вознегодовала Любовь Омаровна, и это ей дорого стоило: тотчас напомнила о себе боль, такая сильная, что она еле сдержалась от стога.

— Простите, ради Бога. Бес попутал...

— Бабуля, прости, а то я сейчас заплачу.

— Но вы же меня оскорбили. Вы поступили низко. С этим не шутят.

— Если хочешь знать, мы и не шутили. Иван Петрович когда-то был священником. Вернее, чуть не стал им.

— Это правда?

— Не совсем. Я был дьяконом, а до священника не дослужился. Да и дьякон из меня не вышел.

— Нет, всё-таки это низко. Это скверно. — Любовь Омаровна слегка смягчила свой гнев: ей стало жалко неудавшегося дьякона, а кроме того, она опасалась нового приступа.

— Возможно, вы не будете на меня слишком гневаться, если я вам скажу, что я сын вашего доброго знакомого, коллеги, единомышленника Петра Герасимовича Кнорре.

— Кнорре? Вы его сын?

— Может быть, и непутёвый, но — сын.

— Господи, всё-таки я была права. Ах, как я рада! — Любовь Омаровна смущённо тронула глаза платком.

— Видишь, бабуля, ты уже не сердись, — сказала Стефания таким зловредным голосом, словно ябедничала на бабушку ей же самой.

После этого учитель Иван Петрович счёл нужным снова встать за спиной у Любови Омаровны, словно так ему было легче подготовиться к последующим действиям и произнести:

— И ещё я верну вам одну дорогую для вас вещь.

— Какую ещё вещь? — Любовь Омаровна словно не знала, чего ей теперь ждать от гостя.

Иван Петрович достал из кармана нечто, бережно завернутое в салфетку.

— Этот образок.

— Ах, боже мой! Он же хранился у меня в шкатулке! Откуда он у вас?

— От верблюда, — сказала Стефания, обиженно отвернувшись.

— Что значит “от верблюда”? — Любовь Омаровна с недоумением смотрела на обоих.

Учитель Иван Петрович решил, что на этот вопрос лучше ответить ему:

— А то и значит, что образок был подарен имениннице, но я подумал: “Здесь что-то не то”. Меня что-то смутило. Насторожило. И я на всякий случай его конфисковал.

— Из всего этого следует, что ты взяла образок из шкатулки! — Любовь Омаровна с трудом смогла повернуться так, чтобы видеть Стефанию.

— Это называется не взила, а украла. Я у тебя воровка. — Стефания нагнулась, чтобы обнять её и прижаться щекой.

— Не смей себя так называть.

— Нет, я буду себя так называть, если тебе для меня жалко какой-то иконки.

— Мне не жалко, шпанёнок, но этот образок мне достался от мамы. Она меня с ним рожала и перед смертью мне его подарила. Мне было бы страшно его лишиться. Как я вам благодарна! — Она обратилась к учителю. — Значит, вы сын Петра Герасимовича. Где он сейчас? Как он?

— Он умер три года назад.

— Какое горе! Умер... А его жена? Добрейшая Варвара... Варвара... ах, отчество забыла...

— Прохоровна.

— Да, да, Варвара Прохоровна.

— Она, к несчастью, тоже умерла. От сердечной недостаточности.

— Вот это были учёные! Зубры! Я по сравнению с ними — мелюзга.

— Бабушка, не смей так говорить. — От обиды за бабушку Стефания сглотнула слёзы. — А то я буду тебе назло считать себя воровкой.

— Ах, ладно, идите. Что-то мне нехорошо.

— Маму позвать?
— Не надо. Я подремлю, если вы не будете шебаршиться за дверью.
— Шебаршиться... Мы же не мыши... — Стефания усомнилась в выборе слова. — К тому же все уже расходятся. Всем пора домой.
— Ладно, ладно. Мне тоже пора. — Любовь Омаровна в полудреме сама не понимала, что сказала, хотя Стефания и учитель её поняли. Или им так показалось.

8. Время 21:14.

Стефания толкнула коленом, а затем ещё и боднула лбом дверь и со стаканом смородинового морса подошла к креслу. В окне висела огромная фарфоровая луна, светившая ярче, чем мигающий фонарь перед окном. Любовь Омаровна в свете луны казалась страшной, величественной и смешной, с запавшими глазами, обведёнными синевой, голым, словно бильярдный шар, теменем и носом, как у Бабы-Яги.

— Бабушка, ты спишь? Я тебе попить принесла. Просыпайся. — Стефания тронула её за плечо. — Прости меня за образок и за прикол. Я тебя очень люблю. И тебя, и твою дурацкую Родину.

Любовь Омаровна открыла глаза, посмотрела в пустоту и снова закрыла.

— Прощаю, шпанёнок. Только она не дурацкая.

— Хорошо, хорошо, умняцкая. Даже преумняцкая.

— Просто Родина.

— Ты попей. Он сладкий, хотя и кислый.

— Что это?

— Морс из чёрной смородины. Я на даче сама собирала.

— На моей крымской? Правительственной?

— Что?! У тебя в Крыму дача? — Стефания от удивления чуть не уронила стакан.

— Шучу, шучу. Это твой папа так считает. Поставь вот тут, рядом свой кисель. Я попозже. А шампанского у вас там не осталось? Принеси-ка мне бокал шампанского, — попросила Любовь Омаровна, не открывая глаз.

— Всё выпили, бабуля. Разве эти чукчи что-нибудь оставят!

— Чукчи сами не пьют. Их только спаивают. Ну, тогда водки... чуть-чуть, полстопочки. А лучше налей стопку.

— Тебе же нельзя. Мать рассердится.

— А ты потихоньку. Своруй. Ты же у меня воровка, — произнесла Любовь Омаровна так, словно больше всего на свете любила воровок.

— Бабуля! — Стефания для порядка возмутилась. — Ладно, попробую. Если что, сама выпью.

— Я тебе выпью. И думать не смей. Мне принеси. Надо напоследок всё взять от жизни.

Без пяти минут двенадцать Любовь Омаровна тихо и блаженно (она всё-таки выпила стопку) умерла. Так закончился — завершился — последний день жизни Султана Омара.

17 сентября 2017 года

ЮЛИЯ ВЕРБА



НЕ ПИШИТЕ О ВОЙНЕ ТОРОПЛИВО...

* * *

Мы жизнь измеряли буханками жёсткого хлеба,
Глотками воды под бомбёжкой, в крови и огне,
Кусочком бездонного синего мирного неба,
Иконно сияющим в грязном подвальном окне.

Мы жизнь измеряли румянцем рассвета над дымом
Любимого города, вскоре разбитого в прах.
Разрушенным домом — ведь каждому необходимо
Хранить его в памяти. Или хотя бы в мечтах.

* * *

Не пишите о войне торопливо,
Если память не висит тяжким грузом:
Вы не видели, как в грохоте взрыва
Небо лопается алым арбузом.

ВЕРБА (АРТЮХОВИЧ) Юлия родилась в г. Грозном. С отличием закончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Работала редактором книжного издательства, преподавателем. Пережила обе чеченские войны. Доктор философских наук, профессор. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Работает в Волгоградском государственном техническом университете и в Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова. Живёт в Волгограде.

Не пишите о войне — вы не дети,
Чтобы строчками палить вхолостую.
Вам не больно. И никто не ответит
За придуманную байку пустую.

Не пишите, молодые, вам рано
Знать обугленную правду седую.
Пусть напишет тот, кто старые раны
Опалёнными стихами бинтует.

Неподвластна вам военная лира —
Не по чину, не к лицу, не по росту.
Напишите о любви и о мире.
Это будет справедливо и просто.

АНГЕЛ МОЙ

Словно платье, пропахшее дымом потерь,
Сброшу памяти груз, где занозой война.
И навечно замкну опалённую дверь
В мертвый город, в котором была рождена.

Ангел мой
С перебитыми крыльями!
Мы дорогами пыльными,
Шли с тобой от беды.
Ангел мой,
Пусть поля изобильные
За крестами могильными
Скроют наши следы!

Злую силу всегда нелегко побороть,
И любить нелегко среди слёз и огня.
Но зачем-то в войну всемогущий Господь
Сохранил нас и спас: и тебя, и меня.

Ангел мой
С перебитыми крыльями!
За штормами и штилями
В мирном море плыви!
Ангел мой,
Мы с тобой будем сильными,
Доброй воли посыльными
В светлом мире любви!

ПОКРОВ

Когда старая рана Земли кровит,
Когда поправлено злом добро,
Богородица — светлая Мать Любви —
Простирает над нами Покров.

Этот тонкий сияющий омофор —
Неразрывен, один на всех —
Покрывает большой вселенский позор
И случайный маленький грех.

В неразумном мире, забывшем стыд,
Чистый разум и ясный свет,
Нас спасает пока от большой беды,
От которой защиты нет.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ



МЫ НЕ БУДЕМ НИКАК НАЗЫВАТЬСЯ

СТИХИ О 1993 ГОДЕ

Вместо вступления

...И вот, как некий нестареющий пергамент,
Ночами тайными читаемый в тиши,
На высоте души — дымящийся Парламент
И катакомбный путь — во глубине души.

1

РУССКИЙ ВОПРОС

Если погаснет огонь у Кремлёвской стены,
Если обрушится вечность, как рушатся стены,
Если и русский язык, не стерпевший измены,
Гибкость утратит и станет рабом тишины,

ЯКОВЛЕВ Андрей Викторович родился в 1959 году в Москве. В 1983 году окончил Отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России. Работал инженером, грузчиком, разнорабочим; поставил преподавание бурского языка (африкаанс), ранее в СССР не преподававшегося. Автор 95 научных трудов по языкознанию, стиховедению и южноафриканистике. Стихи публиковались в журнале “Студенческий меридиан”, в газетах “Завтра” и “Наша Смоленка”, а также в ряде других изданий.

И опустеет навеки российский Парнас,
И причастимся, уже беззащитны, незримо,
Судьбам Египта, Шумера, Эллады и Рима, —
Память... — какую останется память о нас?

2

ИЗ БУНКЕРА ДОМА СОВЕТОВ

Белый снег над нашими скорбями.
Белый Дом в очнувшейся стране.
Ждём вас. Верим.
Божья Сила — с нами.
Мы — на Третьей мировой войне.

3

ОСТАНКИНО

Памяти Славы Журавского

Ты не узнал,
кто победил.
Ты не увидел
свежих могил.
А то, что было тебе суждено,
Запомнят спутник и друг.
Многим запомнить и вспомнить дано
(Время — одно,
И место — одно)
Тот гадкий, совсем не такой, как в кино,
Громкий
сухой
звук.

4

Алексею С.

С неизменной и сладкой тоскою
Вспоминаю — с тобою вдвоём —
Обесфлаженный Дом над рекою,
Почерневший от копоти Дом.

И ещё. Хотя, поверь, нелегко мне
О несбывшемся вновь говорить —
но —
Сколько раз мы в то время — припомни! —
Сколько раз
мы могли
победить...

5

Так нам и надо!
Так
Нам всем
И надо,
Раз во всей нашей армии

Не нашлось ни одной дивизии,
Верной Присяге.

6

Андрею С.

Не уходи! Наш Чёрно-белый Дом
Зовёт, взыскует и не отпускает.
Да не коснётся суэта мирская
Сердец, принявших посвященье в нём.

Мы все одним опалены огнём,
Мы знаем, что герои — есть; и зная,
Уже не сможем жить, не вспоминая
И не мечтая — вместе — об одном.

Да будет каждый вздох твой, каждый шаг
И каждый помысел — движением к победе.
Приблизь её на миг, на час, на день.

И над Москвой расцветшую сирень
Над Белым Домом в чистом небе встретит
Наш чёрно-жёлто-бело-красный стяг!

ПОСТСКРИПТУМ

* * *

Всё чаще снятся. Бункер освещён
И площадь перед нашим Домом Белым
Спокойным, лёгким, призрачным сияньем.

Не то, чтобы зовут меня к себе
Все те, кто не отделался бронхитом,
Но просто снятся. И танцует каждый
С красивой девушкой. Им суждено,
Должно быть, вечно праздновать победу,
И к ним вернулось третье октября.

А мой приход приветствуют спокойно:
Не то, что призывают, но как будто
Мне говорят: “Смотри, захочешь к нам —
Тебя мы примем”.

И все чаще снятся.

* * *

Благодатью закатного света
Озарило таинственный час:
То Незримые Дома Советов —
Те, погибшие, молят за нас.

И молитва неслышная льётся,
Заглушая стозвучье речей —
Это войско небесное бьётся
За спасенье России моей.

СВЕТЛАНА ЛЕОНТЬЕВА



ВЕТРЕННЫЙ САД

* * *

Это, как в детстве, где ключик на шее вместо креста,
крестик, он есть, но остался на полочке дома:
порвана ниточка. Все говорят: “Неспроста!”
Детские шалости — я не боюсь даже грома.

На коммунальной замызганной кухне
всегда есть еда.
Едет трамвай за углом, и грохочет он тяжко.
О, эти вишни! На ветках висят изо льда,
их не сорвали под осень — такая промашка.

О, как глядела на этот я ветреный сад,
как выбегала на улицу в лязги и крики!
Алые, сочные, зимние, знобко висят
прямо под небом вишнёвые, острые блики.

Вот говорят, что из глины мы слеплены все.
Как непослушную можно слепить из святого?
Либо в неправильной выжила я полосе
на параллелях, скрещённых из сна шерстяного.

ЛЕОНТЬЕВА Светлана Геннадьевна родилась в г. Свердловске. Окончила Уральский электромеханический техникум, курсы сурдопереводчиков, филологический факультет Горьковского университета, Высшие литературные курсы в Москве. Автор более десятка стихотворных сборников, в том числе “Ткань на крыльях”, “Светосказы”. Член Союза писателей России.

Я не помню, война с кем, за что, кто спасён,
кто сражён? У кого земля наша, в чьей горсти?
Я не помню, чья эра? Но Божье чело,
как в горячке под сорок и бисером — пот.
На коленях прошу — землю и небосвод:
там ребёнок! А ножки устали идти.
Он не плачет уже: только стон, только всхлип.
Мне его приласкать бы, дать мёд и сыр.
Я умею детей поднимать! Я — мир!
Будет музыка, книги, цветенье лип.
Будет, будет! Рву время! Во сне, наяву!
Белый свет, как ты можешь так жить сейчас?
Сквозь погибшую Трою дитя я зову,
Карфаген прогоревший и сквозь Донбасс!
Я сама — лишь лоскут в этих звеньях, цепях,
я к другим лоскутам с краю пригвождена.
Есть картина с названием “Мать и дитя”,
а на небе — звезда! Я — сплошная вина!
Я спасаю... выхватываю я, хрипя,
замурованный крик твой безмерно родной
и задавленный плач за огромной стеной.
Жизнь в тебя переплавлю, сколь хватит, мою,
если можно, о, Господи, всю перелью!

МАКСИМ ЧИН-ШУ-ЛАН



УТРО ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ

РАССКАЗ

— Возможно, стоит ещё немножко повременить, — сказала женщина.

Её муж, до этого момента старавшийся сохранять спокойствие и доесть ужин, помрачнел и отодвинул от себя тарелку с едой. Теперь он был точно уверен, что последние полчаса, потраченные на объяснение причин, почему он больше не может оставаться в полиции, его не слушали. И сейчас его терпение кончилось. Начинался скандал.

Вдруг кто-то позвонил в дверь. От неожиданности он и она одновременно вздрогнули и, как по команде, посмотрели друг на друга. “Ты кого-нибудь ждешь?” — одним своим видом спросила она. “Нет”, — отрицательно мотнул головой он. Тогда женщина перевела взгляд на часы, висевшие над входом. “Ровно двадцать три”, — подсказали часы.

Снова звонок, а за ним ещё один, и ещё. Не выдержав, женщина встала.

— Иди, открой, — сказала она. — А я пойду проверю ребёнка.

Не говоря ни слова, он медленно поднялся. Вытер жирные пальцы и только потом пошёл открывать.

— Мама! — не сдержав удивления, выкрикнул он.

Но вместо объяснений или приветствий ночная гостья быстро перешагнула порог и всучила ему два пакета продуктов.

— Мама, что ты здесь делаешь? — спросил он, наблюдая за тем, как она безуспешно пытается закрыть старый замок.

В конце лета редакция “Нашего современника” в рамках совместного проекта Фонда СЭИП и литературных журналов провела в Хабаровске Школу молодых писателей Дальневосточного федерального округа. Публикуем рассказ участника Школы Максима Чин-Шу-Лана и статью председателя Клуба писателей Хабаровска Марины Савченко о литературных местах столицы ДФО.

— Подожди, дай я. — Он отодвинул её в сторону и после небольшого усилия привычным движением закрыл дверь. — Мама, почему ты здесь? Ты же должна быть в больнице, — повторил он свой вопрос по-другому.

— Должна, должна, — тяжело дыша, ответила женщина. — Что мне там одной в воскресенье делать? — С этими словами она опустилась на стул, чтобы отдышаться.

— Здравствуйте, Галина Николаевна, — раздался за его спиной голос жены. — Вас отпустили? Вам лучше?

— Привет, Надя, — все ещё тяжело дыша, поприветствовала мама невестку. Она даже попыталась улыбнуться, но улыбка, не успев появиться, моментально сменилась глубоким и болезненным вздохом. — Лестница, — попыталась объяснить она, мотнув головой в сторону двери. — Захотелось пройтись, пять этажей, и, смотри-ка, надо же, как прихватило. — Она приложила три пальца к запястью и, едва шевеля губами, принялась считать пульс.

— Сколько? — не выдержав затянувшейся паузы, спросил он.

— Восемьдесят, — подвела итог мама.

— Это нормально? Так ведь и должно быть? — не поняла невестка.

— Для вас — да. А для меня — не очень.

— Может, вам “скорую” вызвать?

— Для чего? Чтобы они снова меня увезли? — ответила мама, и на этот раз улыбка у неё получилась почти такой же, как до того, как она заболела. — Не беспокойся, птичка моя. Не нужно мне “скорую.” Я и на такси прекрасно передвигаюсь, — сказала она, успокаивающе поглаживая руку невестки.

Он заметил это и подумал: “В последнее время они стали ладить. Жаль, что так было не всегда, а только после того, как начались первые проблемы со здоровьем”.

— Внук уже спит? — спросила мама, успевшая встать и поглядывающая теперь в сторону детской.

— Только-только вот сейчас уложили, — поспешно ответила Надя.

— Mam, не меняй тему, ответь на вопрос. Что случилось?

— Ничего... — она сделала паузу, подняла со стола тряпку и положила обратно. — Операцию отложили.

— Как отложили? — воскликнули они в один голос.

— Не знаю. Взяли и отложили. Подробностей мне не сообщили. А я и не уточняла, жила же спокойно без операции... — Мама взяла со стола тарелку и понесла её к остальной посуде, замоченной в раковине.

Закатив рукава, принялась мыть посуду.

— Что за ерунда? Я точно договорился на четверг. Какие тут могут сложности?

— Не знаю. — Она поставила перед сыном чистую тарелку, затем ещё одну, и ещё.

— Мы же с твоим врачом всё решили. Неужели ничего нельзя сделать по-человечески? Всюду бардак! А деньги? Про деньги тебе что-нибудь говорили?

— Какие деньги?

— Что я заплатил для того, чтобы тебе пораньше и всё хорошо сделали.

— Нет, про деньги они мне ничего не сказали.

— Ну, конечно!

— Сынок, ты бы лучше думал над этим поменьше. Перенесут на ближайшее число, куда они денутся? Мне сегодня, кстати, когда я уезжала, так и сказали. Лучше принеси продукты из коридора и выложи, чтоб не пропали.

Он вышел из комнаты, затем вернулся, держа в руках туго набитые едой пакеты. Боже, сколько всего было куплено: овощи, фрукты, мясные полуфабрикаты, консервы и хлеб.

— Хлеб-то зачем?

— Как ты себя сейчас чувствуешь?

— Лучше всех.

— Нет, я серьёзно. Нельзя же так взять и без объяснения причин оставить человека без лечения. Статья даже есть. Я врачу позвоню.

— Нет, не звони.

— Тебе нужна эта операция. И в самое ближайшее время.

— Нужна. А что толку? Ну, сделают, и что с этого? В моём-то возрасте новый сердечный клапан — это пять, максимум — шесть лет жизни. А потом...

— А потом его опять поменяют.

— Боюсь, уже нет, не поменяют.

Стало тихо. Где-то далеко за окном завывала собака. От первых же звуков мама вздрогнула и, кажется, даже немного побледнела, как будто кто-то коснулся её холодной рукою. А вой всё длился и длился, так долго, как будто ему не будет конца. Обрывался и начинался опять.

— Вой на свою голову.

Собачья мелодия стала тише, а после затихла совсем.

Он почти закончил разбирать гостинцы, как вдруг остановился и замер. У него на ладони лежала ярко-красная упаковка с шоколадными шариками внутри. Конфеты. Внизу лежали еще одни, уже синие. А рядом — раздавленный йогурт. Он улыбнулся.

— Взяла попробовать. По-моему, мы такие ещё не ели, — сказала мама, отбирая конфеты. — Возьми себе две. А эту я заберу.

— Тут всего две.

— Как две? — переполошилась она. — Должно было быть три.

Он внимательнее покопался в пакетах, даже потряс один для полной уверенности. Нет, всё-таки две.

— Не может этого быть! Я помню, как брала три. Точно — три. Ещё подумала: один тебе, один Саше и один мне. Неужели опять на кассе забыла? Это кассирша. Это она меня заболтала. И не напонила. Наверняка видела же. Сейчас, наверное, жрёт мои конфеты и радуется.

— Да бог с ними! Зачем ты вообще столько всего набрала? Кто это будет есть? Пропадёт.

Мама домывала посуду и теперь, видимо, что-то разыскивая, открывала одну тумбочку за другой.

— Ты уже убрал эскалоп? Да? Ну-ка, доставай его обратно. Сейчас твоё любимое мясо будем готовить, — скомандовала она, продолжая стучать дверцами. — Сыр, лук, всё вынимай.

— Мама, уже поздно. К тому же мы только недавно поужинали. Нада меня накормила.

— Где у вас тут сковорода? Что за привычка постоянно всё переставлять. Никакой тяги к порядку.

— Слева от тебя.

— Слева, слева... Я там, кажется, посмотрела. А, нет, нашла. Вечно вы перекладываете. Ничего не найти. Вот ты у меня когда-нибудь подобное видел?

— Ма-а-ам, — взмолился он.

— Слушай, мне кажется, она плохо помытая.

— Быть такого не может.

— Да вот. Точно тебе говорю.

Она показала сковородку ему. Два масляных подтека ржавого цвета заставили его отвернуться.

— Ну, убедился? — торжествующе заявила она. — Спорю, это твоих рук дело. Бросил всё так и ушёл. Боже мой, почти сорок лет, а всё где-то витает.

Он стоял, не шевелясь, но внутри у него всё так и кипело. Он чувствовал, что ещё немного — и будет предел, и он наконец-то взорвётся. Повысит голос или даже накричит. А она всё причитала и причитала. Ходила туда-сюда, мыла, тёрла, доставала и снова мыла. При этом постоянно жалуясь по любому, даже самому маленькому поводу, и ему стало вдруг до того смешно от всего этого, в особенности от самого себя, что злость, внезапно возникшая, сама собою исчезла.

— Ну, и чего ты сидишь? Разморозь мясо и начни резать овощи, пока я тут приготавливаюсь. Знаешь, маленький ты был гораздо умнее, всё сам делал. Только подойдёшь к тебе что-то помочь, а ты сразу: “Мама, я сам”, “Уйди, мама, я сам”. Такой самостоятельный, не нарадуешься, а сейчас... — Громкость её голоса постепенно понижалась, слова теряли смысл, пока он, наконец, не понял, что мама больше не ворчит, а что-то тихо напевает себе под нос, наслаждаясь готовкой. И всё это: и воспоминания, и мамины причитания, и его злость, и даже пение — напомнили ему о давно минувшем детстве, когда мама так же была постоянно недовольна его поведением и всегда говорила, что раньше он был гораздо умнее и лучше. Жаль, сейчас она этого, конечно, не вспомнит.

Первым на раскалённую сковороду отправилось мясо. Горячее масло довольно зашипело, забрызгало и тут же затихло в ожидании овощей. И тут готовка разгорелась вовсю. Он попытался ещё раз заговорить о её болезни. О сроках. Но она его больше не слушала.

Кухня ожила. Теперь это уже была не комната для откровений, теперь здесь радовалась и играла сама жизнь. Запах кружился, призывая поскорее попробовать наслаждение на вкус и ощутить, наконец, вкус хрустящего мяса.

Штука в том, что мама никогда не готовит по рецепту, всегда есть что-то новое. Сама она называет это опытом. Он же, в шутку, алхимией. Вот и теперь вместо корейской заправки в шипящее блюдо отправилась добрая ложка майонеза, да еще с горкой.

— Песни не испортит, — заметила мама. — Давай, готовь стол.

— Тише. Ребёнок.

— Садись.

Мощный поток белого пара, подражая волшебному джинну, взвился в воздух, стоило ей только снять крышку. Комната моментально наполнилась запахом жареного мяса, позолоченными кусочками лежавшего посреди ещё кипящего масла. А сверху всего этого богатства белоснежной шапкой лежал майонез. Он сделал глубокий вздох, жадно вдохнул частицу горячего пара и ощутил, что ужасно голоден. Так сильно всё в нём радовалось предстоящему празднику жизни, еде.

— Я только и делаю в последнее время, что ем. Ещё не хватало поправиться, — сказала мама. Прямо перед ней, еле дымя, остывала кружка горячего чая.

Небрежно подув пару раз, он закинул первый кусок мяса в рот целиком и застыл. Глаза его округлились. Горячее мясо каталось у него во рту, обжигая и никак не желая становиться прохладнее.

Быстро сообразив, что к чему, мама раскрыла перед ним салфетку, но он отрицательно мотнул головой, и, собрав волю в кулак, с красным лицом и слезами начал жевать. Первое время он не чувствовал ничего, кроме жара, но потом из смеси огня и жжения вместе с соком начал появляться вкус. И с каждым следующим движением челюстей вкуса этого становилось всё больше и больше, и лицо его расплылось в довольной улыбке.

— Как маленький, — заметила мама.

Он попытался что-то ответить, но не смог — надо было дышать. К тому же нечто тёплое согревало его теперь изнутри, и ему хотелось ещё.

— Ну, вот, а ты сказал — сытый. Кто тебя ещё так кормить будет, когда меня рядом не будет?

— Ма-а-ам, — произнёс он с полным ртом.

Всё было, как в детстве, только вместо школы — работа, вместо мальчика — взрослый мужчина. И только мама, несмотря ни на что, оставалась мамой.

— Не “ма-а-ам”, а правда, — сказала она, кладя полотенце себе на колени. — Врачи думают, у меня на сердце инфекция.

В комнате потемнело, и еда стала безвкусной.

— Всего лишь догадки, но операцию на всякий случай отложили.

Тяжёлая и продолжительная болезнь приучает к плохим новостям. Меньше паники, когда не берут трубку. Не так пугают долгие гудки. Прощаешься с человеком каждый раз, когда он молчит, и приветствуешь снова,

когда тебе отвечают. Так постепенно, лишаясь и возвращая его опять, ты привыкаешь терять человека. Привыкаешь, но никогда не будешь готов.

— И что? Что теперь? — беспомощно сказал он.

— Не знаю, наверное, опять заставят трубку глотать. Как тогда, когда клапан чистили.

Он не понимает, при чём тут какая-то трубка, в последнее время, намеренно или нет, но мама из-за страха многое путает, однако он услышал слово “инфекция”, поэтому машинально забормотал, чтобы “она не боялась и делала всё, что врачи велят”.

— Ага! Тебе легко говорить. Знаешь, как больно? В тот раз у меня даже слёзы потекли. Не хочу. Там, скорее всего, нет ничего.

Она заговорила про хирурга, который так плохо сделал первую операцию, что теперь нужна новая.

— Сволочь. Из-за него надо целый клапан менять. Разрезать грудную клетку. Ты бы видел их инструменты, как у строителей...

Открыть грудную клетку, подключить пациента к аппарату искусственного сердца, удалить повреждённый клапан, поставить новый, отключить искусственное сердце, зашить. Казалось бы, несложные действия. Таких операций в стране делают тысячи, десятки тысяч, может быть, миллион. Но это же мама... Он посмотрел на часы и почувствовал, как время беспощадно катится на него своим колесом.

— Ладно, что толку об этом говорить, — вздохнула она. — Лучше скажи, как у тебя на работе? Соседки в палате как узнали, что ты у меня полицейский, так и заохали. Много, говорят, теперь получают. А я им: “Да-а-а, платят сыну нормально”. И мне так сразу гордо за тебя стало, ты себе представить не можешь.

— Всё нормально, — отвечает он сдержанно. — Хорошо.

— Хорошо? Ты же увольняться хотел вроде бы? А теперь что, опять передумал?

— Mam, давай я как-нибудь сам, без тебя разберусь.

— А что я такого сказала? Ты посмотри на него! Я просто хотела знать, что тебя не устраивает? Зарплата нормальная. Гарантии. И, самое главное, стабильность. Знаешь, чем завтра семью кормить. Ты же помнишь, как нам с твоим отцом, царство ему небесное, тяжело было тебя растить. Образования нет, работы нет. А у тебя всё есть, живи — не хочу. И нет, не угодишь, не нравится.

— Так, слушай, не лезь.

— Да ты мне только скажи, почему? Я же не уговариваю тебя там остаться. Мне только хочется знать, почему?

— Да мне всё равно, что тебе там хочется. Я, кажется, ясно сказал, что не хочу говорить об этом.

— О чём?

— Да ты отстанешь от меня или нет? — начал он выходить из себя. — Отвали.

— Как... Как... — растерялась она, подбирая слова. — Как ты со мной разговариваешь?!

— Сама виновата. Я же сказал ясно: нет. Закрыли тему.

— Я смотрю, ты решил довести меня, да?

— Ничего я не решил. Успокойся.

— Да что?! Что я сказала такого? Ты совсем озверел с этой, что ли?

— Да замолчи ты уже, наконец! — Его ладонь тяжело опустилась на стол, посуда испуганно вздрогнула.

— Сам замолчи! Заткнись! Замолчи! Ещё слово и... О, Господи, — залепетала она, — довести меня хочет, скотина. Сердце, кажется, опять заболело. Хочешь, чтобы я померла?

— Ага, тут дождёшься, — сказал он, не подумав.

— О, — выдохнула мама. — Нехорошо мне. Дышать нечем.

— Хватит. Чуть что — сразу сердце. Что, если сердце, то тебе и слова нельзя против сказать? Ага, шас.

Ответа не последовало. Почувяв неладное, он, наконец, посмотрел в мамину сторону, так как всё время, пока они ссорились, он упорно глядел себе на руки, и... Мама сидела, откинувшись на спинку стула и держала себя за запястье. Грудь её тяжело поднималась. "Двадцать два, двадцать три", — считала она.

— Мама, — позвал, он. Потом громче: — Мама! Что с тобой?! Тебе плохо? "Скорою" вызвать?

Не отзываясь, она продолжала считать:

— Сорок шесть, сорок семь, сорок восемь...

Он кинулся набирать номер.

— Не надо звонить, — слышался слабый, но твёрдый голос матери. — Сто двадцать один.

— Но... — возразил было он.

— Не надо, — медленно повторила она. — Сейчас пройдёт. Я не хочу обратно в больницу. — Лицо её было бледным. На лбу выступил пот. — Иди ко мне. Посиди. Сейчас мне станет лучше. Сейчас. Пару минут.

Не сводя с неё взгляда и не выпуская из рук телефон, он взял стул и сел напротив неё.

— Кажется, начало проходить. Что, испугался, да? — попыталась усмехнуться она. — Вот будешь знать, как меня доводить.

— Тебе лучше?

Она взяла чай, сделала несколько жадных глотков.

— Теперь да, — с облегчением словно её мучила жажда, сказала она.

Воспользовавшись паузой, он быстро наполнил её кружку.

— Что случилось у тебя? На работе проблемы? — спросила мама другим, слабым голосом. — Ты же знаешь, как я за тебя сильно волнуюсь.

— А ты не волнуйся.

— Ну, как я могу за тебя не волноваться? Я же твоя мама. Как ты переживаешь за Сашу, так и я за тебя.

Помолчали.

— Да, разругался я там. Знаешь, меня в третий раз с начальником отдела кинули.

— Как? Снова?

— Да, назначили вообще никому не известного человека. Со стороны пригласили.

— Они же тебе обещали...

— Ну, мало ли, что кому у нас обещали. Жди, говорят, это родственник, сам понимаешь. А мне какой смысл ждать? Он младше меня на два года. Я и не выдержал, сказал всё, что думаю. И заявление написал, только отнести надо. Хотя, может уже и не надо. Вот весёлое время начнётся...

— А извиниться никак уже больше нельзя? — осторожно заметила мама. — Скажешь, взыл, с кем не бывает...

— Мама, ты не представляешь, как меня достала эта работа! За столько лет она у меня вот здесь, в горле сидит. И нервный я стал, раздражительный. Вскипаю по пустякам. Нет, устал я, мама, от всего этого. Просто устал.

Он взял её кружку с чаем и вышел.

— И куда ты пойдёшь? — спросила мама, не дожидаясь, когда он напьётся.

— Не знаю. Ты же у нас умная. Предложи что-нибудь.

— Опять начинаешь.

— Да разные есть варианты. Может, в другую структуру переведусь или займусь частной практикой.

— Частной практикой... А сколько тебе до пенсии осталось?

— Пять лет.

— Может, потерпишь? Всё-таки пенсия. Семья.

— Слушай, я же тебе говорю, не переживай ты так за меня. Руки-ноги есть, как-нибудь выкрутимся.

— Ладно. Как сделаешь, так и сделаешь. А форма тебе очень идёт...

— Идёт, конечно. Ты успокойся. За лечение твоё я заплатил. И спешить тоже не собираюсь.

— Значит, подумаешь?

— Подумаю, мама, конечно, подумаю. Только ты сделай обследование. Это действительно надо.

— Не хочу.

— Сделай.

Вместо ответа она неопределённо кивнула. Снова завывла собака, отрывисто, короткими воплями, как будто стучалась снаружи.

— Вой на свою голову, — по привычке сказала она.

А он ничего не сказал, только поднял взгляд на часы. И ему показалось, что те идут слишком быстро, торопятся. Вот только недавно было одиннадцать, а сейчас уже полпервого.

— Надо позвонить дяде, чтоб ехал меня забирать.

— Ты не останешься?

— Нет. Я так долго лежала на больничной койке, что хочу домой.

— Оставайся. Мы себе в детской постелем. А ты на нашей поспишь.

— А Надя? Не станешь же ты её будить.

Он почесал голову.

— Об этом я как-то не подумал.

— Поверь мне, я очень хочу домой. Соскучилась. Да и вообще, мне надо заехать в круглосуточную аптеку, за лекарством. Свои я в больнице оставила. А без них мне нельзя. Пью эту гадость по четыре раза в день. И всё никак не могу привыкнуть.

— И сколько тебе их пить?

Она улыбнулась:

— До конца жизни теперь, пока не умру. Ну, давай, звони дяде. Пусть забирает.

Он позвонил.

— Сейчас приеду к себе, — мечтательно заговорила она, — посмотрю, как там дом без меня. Стоит ли ещё? Может быть, рухнул уже... — Она засмеялась. — Почти месяц как без хозяйки. Старые люди, помню, говорили, что дом не должен оставаться долго один. У него, говорили они, душа есть. И я вот смотрю на дома у нас на улице, в которых больше никто не живёт. Стоят, бедненькие. Так жалко. Никто за ними не ухаживает. Покосились. Света в них нет. Окна чёрные. А ведь кто-то их строил, ухаживал. Столько сил отдал. А потом это всё никому не нужным оказывается.

— С этим ничего не поделаешь.

— Дед, помнишь, который выше по улице жил, умер.

— Как умер? Я же его вот только, недавно бы видел.

— Так и умер. Как люди умирают. Инсульт. Внучка, вот, весной приходила, деньги на похороны собирала.

— Здоровый же был. Не пил. На велосипеде всю жизнь, помню, катался.

— А ты думаешь? Это самое страшное и есть, раз — и всё. И “прощай” сказать не успеешь. Внучка его, кстати, дом продала и почти сразу уехала, а новый хозяин, кореец, всё поломал, что дед строил: дом, баню, сарай. Ничего не осталось.

— И что там сейчас будет?

— Магазин, автосервис, не знаю, что-то там для бизнеса строит. Я к тому, что вот жил человек, жил, а как умер, так никому до его дела нет. Ты смотри, ухаживай за домом, береги. Этот дом ещё твой отец строил. Глядишь, тебе и твоим детям останется. Вдруг квартиру новую не купите, так в доме все и поселитесь.

— Да что мы всё о смерти да о смерти. Никто же умирать не собирается. Все живы. Ты выздоровеешь... И жизнь, она продолжается.

— Ты прав, — не поднимая головы, ответила мама. — Ты, конечно же, прав. Надо поправляться. Болеть нельзя. Ещё столько дел впереди, столько работы. А планов? Огород убрать, крышу сделать. Ещё хорошо бы ворота поправить, чтоб не упали, тогда вообще будет замечательно.

— Огород я убрал, — не без гордости сказал он.

— Когда ты это успел?

— Позавчера. Заехал к тебе и решил поработать немного. Мусор пожёг и пару грядок вскопал. Теперь в следующем году земля легче будет. Может, Сашу заставим.

Она улыбается.

— Удивляюсь, что это на тебя такое нашло?

— И чему? Я и весной это делал, — напомнил он ей. — Ты просто забыла.

— Да, помню я, помню. Это я просто так. В этом году ты хорошо потрудился. Работничек мой, — она ласкова взяла его за руку.

— Кстати, — вставил он, заметно обрадовавшись, — ты ещё не знаешь, что внук твой натапцывал на приз зрительских симпатий.

— Правда?

— Да, именно так.

— И ты мне только сейчас об этом сказал?

— Он сам тебе хотел рассказать. И, между прочим, он выступал не один, а с девочкой в паре.

— Да ты что? С девочкой? — Мама всплеснула руками.

— Знал, что тебе понравится.

— Я так рада, так рада и за него, и за вас. Ну, надо же, такой маленький, а вот, уже с девочкой. А ты мне скажешь, как...

Телефонный звонок не дал ей закончить. Это был дядя. Пришло время прощаться. Они встали. Две горбатые тени, одетые в чёрное, тоже поднялись и пошли вслед за ними. До этого сдержанный, он заговорил быстро, без пауз рассказывая о сыне, о танцах, о девочке. А мама только коротко охала, словно подгоняя его. Дошли до лифта и там замолчали. Столько разговоров, но самое главное не сказано. Слова эти, давно не произносимые, почти забытые, застряли у него в горле и никак не хотели наружу.

— Мама...

— Что?

— Мама... Знаешь... Я люблю тебя, мама...

От такого неожиданного признания она сперва удивилась, а потом спросила:

— Что это с тобой?

— Ничего.

— С тобой всё в порядке? Заболел, что ли? — улыбнулась она и, чтобы сгладить неловкость, встала на цыпочки и прикоснулась к его голове — якобы температуру померить.

— Слушай, я завтра заеду к тебе, — сказал он после паузы.

Судя по грохоту, лифт был уже совсем рядом.

— Приезжай. Конечно, приезжай, — согласилась она и обняла его на прощание, скромно добавив: — Я тебя тоже люблю. И не забудь убрать со стола. Не ложись так.

Он вернулся назад. Квартира показалась ему чужой и заброшенной, словно прошло не десять минут, а неделя. Он молча сгрёб всё со стола, вымыл и, потушив свет, медленно опустился на стул, на котором только что сидела мама. В голове у него промелькнула однажды где-то услышанная мысль: "Счастье — это когда тебе шестьдесят, и ты всё ещё можешь позвонить маме".

— Как она? — послышался голос жены, стоило ему войти в соседнюю комнату. Она не спала, а значит, всё слышала.

— Как всегда, не хочет лечиться. Ты ж её знаешь, — ответил он, садясь с краю.

— Она не сбежала?

— Из больницы? А чёрт её знает! Ей сказали обследовать сердце на инфекции или что-то такое. А она сильно боится. Сперва операция, теперь ещё и это.

— Но это же надо? — Она подвинулась поближе.

— Надо, не надо... Обследование, как и операция, очень болезненно... А в сущности, ни то, ни другое не сделают человека здоровым. Это и не лечение, о всего лишь отсрочка. Год, два или пять. — Тут он почувствовал,

что она гладит его по спине. Он взял её руку в свою и, не сжимая, просто оставил лежать у себя на ладони.

— Вы поэтому поругались?

— Нет. Там другое.

Её тонкие пальцы ухватили его за ладонь.

— Не волнуйся. Всё будет хорошо, — сказала она.

— Конечно, — ответил он и поцеловал её в лоб.

— Папа, папа, — неожиданно позвал его голос из детской. Он посмотрел на жену. “Иди”, — беззвучно сказала она.

— Мучение, а не ребёнок. И чего он не спит?

Её пальцы разжались, молча повторяя: “Ты ему нужен. Иди”.

Двигаясь в темноте, словно кошка, он медленно приблизился к детской кровати.

— Что случилось? — спросил он, зажигая свет и улыбаясь натужно. — Уже так поздно, а ты не спишь. Детям давно пора спать. Согласен?

Мальчик, накрывшись одеялом до носа, кивнул.

— Тогда закрывай глаза и спи, — он потянулся было выключить свет, но застыл.

— Я боюсь, — сказал мальчик.

Он внимательно посмотрел на него. В его глазах, в каждом из которых, казалось, было по небу — такими большими, ясными и голубыми были они, — он увидел что-то похожее на тень страха.

— Я боюсь, — повторил мальчик сквозь плотную ткань, подтягивая одеяло ещё немного повыше.

— Чего ты боишься? — искреннее спросил он.

Мальчик молчал.

— Ну, мне-то ты можешь сказать. — Он присел на корточки рядом с кроватью так, чтобы они были на равных. — Чего ты боишься?

— А ты никому не расскажешь?

— Могила.

— И маме?

— И маме.

— И Вадику?

— Даже ему.

— Обещаешь?

— Клянусь. — Он поднял руки, чтобы показать, что пальцы не скрещены. — Так о чём ты хочешь, чтобы я не рассказывал?

— Я боюсь злого духа, — медленно произнёс мальчик, снова накрываясь одеялом, как бронёй.

— Злого духа? — даже не думая смеяться, переспросил он. — Почему? — Сегодня мы были на озере. И ребята сказали мне, что надо собрать все камни и кинуть в воду, а не то дух придёт и заберёт тебя.

— Подожди. Что ты делал на озере? — Озером дети называли затопленный котлован неподалёку от школы. — Ты опять убежал с физкультуры?

— Я не сбегал. Учитель не пришёл, и нас отпустили.

— Всё равно. Я же тебе говорил не ходить туда. Там опасно.

— Нас было несколько, я и...

— Всё равно. Ты мне обещал.

— Прости, — дрожащим голосом произнёс мальчик.

— Ещё раз так сделаешь — я тебя накажу, — сказал он и выпрямился, намереваясь уйти, но тут из-под мягкого панциря донеслось еле слышимое:

— Пап, не уходи. Останься. Злой дух. Я боюсь.

— Какой ещё дух? А, дух...

— Я забыл выкинуть один камень. Вдруг из-за этого он придёт и похитит меня.

— Послушай, что я скажу тебе: никаких злых духов нет. К тому же, здесь ты в полной безопасности. Твой папа тебя защитит.

— Правда?

— Хочешь, чтобы я посмотрел?

Мальчик кивнул.

Отец заглянул под кровать. Проверил в шкафу и в каждом ящике тумбочки. Пусто. Злого духа, разумеется, не было.

— За дверью, — подсказал мальчик. Он глянули и там. Никого.

— Вот видишь. Всё нормально. Не бойся.

— А если он придёт после? Когда ты уйдёшь?

— В таком случае закрой глаза и скажи про себя, как заклинание: “Этого нет”. Ты должен поверить в эти слова, и его не станет. Взрослые постоянно так делают.

— Хорошо быть взрослым, — осторожно заметил мальчик.

— Теперь давай спать, — с этими словами его рука потянулась обратно к светильнику.

— Бабушка приезжала, да?

— Да. — свет, остался включённым. — Как ты узнал? Понятно, ты не спал. Ты не спал, когда она к тебе заходила?

— Я думал, она догадается.

Он лёг рядом, привлекая сына поближе.

— Думаю, она поняла.

— Её уже выписали из больницы? Когда мы к ней снова поедem? — продолжал спрашивать мальчик.

— Скоро. То есть, нет, наверное, не скоро.

— Ей стало лучше? Она выздоровела?

— Не до конца. Но ей лучше.

— Бабушка ведь умрёт, да?

— Умрёт? Нет, кто тебе такое сказал? — начал он говорить под испытующим взглядом ребёнка. — Нет, бабушка обязательно выздоровеет. Врачи ей помогут, и мы снова будем ездить к ней на выходные, как раньше.

— Но она всё равно когда-нибудь умрёт?

Какими холодными и серьёзными показались ему детские глаза в тот момент.

— Да. Но прежде, чем это произойдёт, пройдёт много-много лет.

— И ты тоже умрёшь? И мама?

— Да. И я, и мама. Но даже так мы всегда будем рядом.

— А как вы будете это делать после того, как умрёте?

— Как духи. Только добрые. — Он легонько толкнул сына в плечо, прижал к груди.

— Пап?

— Чего?

Мальчик задумался.

— Пап! А ты не можешь не умирать?

— Постараюсь.

— Мама говорит, нельзя говорить “постараюсь”.

— А как она говорит?

— Надо говорить “сделаю”.

— Сделаю, — сказал он, глядя мальчика по голове. — Ты молодец, надо слушаться маму.

— Не оставляй меня, — произнёс ребёнок перед тем, как заснуть.

— Не оставляю, — дал обещание он. Время шло. Он подождал, пока дыхание мальчика окончательно станет спокойным и ровным. Потом осторожно вынул свою руку из-под его головы, погасил свет и вышел.

В дверях он остановился, оглянулся назад. Мальчик лежал неподвижно, но так, словно обнимал кого-то во сне, кого-то, кого уже нет.

— Спит? — спросила жена, когда он вернулся.

— Да.

— Ты уверен?

— Да...

Ему хотелось молчать. Наверное, почувствовав что-то, она обняла его. Заглянула в глаза. Два ничего не выражающих камня.

— Верю. Мама поправится.

Он повернул к ней лицо. Кажется, впервые за то время, что они вместе, она назвала её мамой.

— Мы же семья.

— Ты права.

Надя поднялась с постели и надела халат.

— Я пойду посмотрю, не притворяется ли. А ты ложись. Уже, должно быть, два или три. А тебе рано вставать.

— Слушай, Надь, я, наверно, задержусь на работе ещё немного, хотя бы до пенсии...

— Позже об этом погорим, — сказала она и ушла в детскую комнату, оставив его одного. Сквозь туман мыслей он едва заметил, что перед тем, как уйти, она потрепала его за кончики пальцев и только потом удалилась. Он знал, сегодня ночью ему придётся спать одному, она не вернётся. Чтобы не сомневаться в том, что ребёнок уснул, она ляжет рядом. И мама, и сын будут вместе всю ночь. Она всегда так делала, сомневаясь, спит Саша или нет. И ему придётся смириться.

Он лёг. Попытался уснуть. Через три часа бесплодных попыток встал. Жены рядом не было. Он вышел на балкон. Холодный ветер встретил его прикосновением миллиона холодных иголок. Он поёжился, но возвращаться не стал. Перед его глазами на бесконечной равнине неба начиналось утро. Он видел, как раскачиваемый первыми лучами солнца задвигался неподвижный воздух, из бледно-серого превращаясь в нежно-голубой. Видел, как пролетели первые птицы, сначала одна, затем ещё две и ещё одна, целое семейство. Темнота возвращалась в космос. Мир оживал.

Его лицо скривилось от горькой ухмылки. Утро он не любил. Точнее, перестал любить, когда узнал, что люди чаще всего уходят именно на рассвете. Умирают с восходом солнца. Стена света, которая сейчас неумолимо движется ему навстречу и вот-вот накроет его с головой, поднимает одних и забирает других. От неаккуратного блика, запрыгнувшего ему прямо в глаз, он зажмурился. Возможно, что именно в этот момент чей-то дух улетает на небо.

Не любил он утро ещё и потому, что как бы мрачно ни было у него на душе, какое бы ни случилось страшное горе, оно всегда приходило и никогда не опаздывало, а значит, ничего не остановилось, не замерло, и безразличное ко всему завтра всё-таки наступило. Он не любил утро и не любил себя. Вспомнил своё недавнее признание маме, и ему стало стыдно. Как привыкает человек быть грубым с теми, кого любит, и ещё грубее с теми, кто любит его. А ему бы хотелось подняться над всей этой обыденностью, как солнце, стать выше, научиться искусству ценить время, проведённое вместе, а не злиться, что его так мало осталось. И, самое главное, чаще говорить близким о любви, но так, чтобы искренне.

В третий и последний раз завывла собака.

— Чтоб ты сохла, — сказал он и зашёл обратно в квартиру. Но свет не оставил его, желтовато-алым пятном расплзаясь по шторам. Чтобы не встречаться с ним взглядом, он повернулся на бок и закрыл рукою глаза. “Если представить, что этого нет, то ничего нет”, — сказал он себе, как закливание. Ничего нет. Он долго лежал и, наконец, уснул, и видел сны, а за окном бесшумно свершалось чудо каждого дня, чудо рассвета.

МАРИНА САВЧЕНКО

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГУЛКА ПО ХАБАРОВСКУ

Если смотреть из окон бывшей Высшей партшколы, а ныне Российской академии госслужбы в Хабаровске, то можно увидеть оживлённую широкую улицу, по ней движутся люди, машины, раздаются задорные трели трамваев. Отсюда открывается парадный вид на город: площадь имени Ленина, которую украшают фонтаны, яркие клумбы, красивые девушки... Здесь находится правительство края, так называемый “Белый дом”. За массивным зданием “сталинской” постройки РАНХиГС следует старейший в крае вуз — медицинский, ныне ДВГМУ. За памятником Ленину стоит старинное краснокирпичное здание бывшего городского реального училища.

Здесь соединяются две исторические “правды” по-хабаровски: дореволюционная и советская, которая плавно переходит в постсоветскую, организуя современное пространство. Поэтому улица графа Муравьёва-Амурского так естественно продолжается линией бывшего идеолога социализма Карла Маркса.

Этот исторический казус принимается жителями как данность. Вообще-то главная улица когда-то называлась Хабаровской, а потом Большой. Сохранился её отрезок, ведущий в северную часть города. Сюда в годы освоения приамурской земли сворачивали воронежские крестьяне, прибывавшие по Амуру из Центральной России, чтобы основать новое поселение, известное ныне как Воронеж.

Графу Муравьёву-Амурскому в Хабаровске стоит памятник на самом видном и почётном месте — на утёсе над Амуром. Он был поставлен стараниями его ученика и единомышленника князя М. Волконского ещё в 1891 году. Был свержен с пьедестала вандалами после революции. И восстановлен усилиями местного краеведа Антонины Дмитриевой в 1992 году в прежнем виде — таким, каким создал его знаменитый скульптор Опекушин. Именно сюда, в городской сад, а сейчас — в Краевой парк, стремятся, особенно в хорошую погоду, хабаровчане, чтобы полюбоваться пейзажем, закатом на широкой дальневосточной реке. Эти прогулки от площади до площади — от Ленина до Комсомольской — давно стали “ритуальными”. И вместе с городскими бульварами — Амурским и Уссурийским с его прекрасными прудами и фонтанами — излюбленными местами отдыха для хабаровчан.

Вот и мы с вами пройдемся по главной улице, но не без цели, а познакомимся с её литературно-историческим прошлым. Тем более, прошлое и современное, город и история тесно взаимодействуют друг с другом. Я не претендую на краеведческие лавры и исторические изыскания. Моя задача более простая — познакомиться, увидеть и разглядеть за фактами и событиями реальную жизнь людей и города. И рассказать вам.

Итак, начну с главной площади, бывшей Николаевской, а сегодня имени Ленина. По ней в праздничные дни идут с музыкой и песнями местные жители. Здесь шумно илюдно в майские дни: Девятого мая и в День рождения города. Проходят военные парады и городские демонстрации. В девятидесятых годах девятнадцатого столетия эта была окраина, которая заканчивалась погостом. Однако вскоре кладбище перенесли дальше, а площадь, расширив, благоустроили. И начали застраивать.

Площадь окаймляют сразу две “литературные” улицы — Пушкина и Гоголя. Они находятся рядом, параллельно друг другу. Примечательно, что при жизни писатели были в тёплых дружеских отношениях. Неудивительно, что и в нашем городе классики литературы находятся в близком соседстве. Названия, как и расположенная неподалёку улица Льва Толстого, улицы получили ещё до революции.

Улица Пушкина или, как изначально она называлась, Пушкинская обрела имя к столетию русского классика в 1899 году. Она стала одной из первых в России, носящих имя великого поэта. Произведениям А. Пушкина была отведена на окраине империи почётная роль: открывать так называемые первые Народные чтения. В 1894 году жители молодого города вместе с губернатором Сергеем Михайловичем Духовским с интересом внимали “Метели” и “Станционному зрителю”. У теща — окружного врача Владимира Перфильева — были хорошие артистические задатки. Следующие чтения прошли для молодёжи в Алексеевской женской школе, расположенной неподалёку — на улице Гоголя (позже школа № 30, здание снесено). Для девочек был припасён волшебный фонарь с чудесной демонстрацией диапозитивов: “Некоторые из детей, очевидно, в первый раз видели туманные картины и даже подходили ощупывать руками отражение их” (Л. Востриков., З. Востоков. “Хабаровск и хабаровчане”, 1991).

Вскоре публично прозвучали гоголевский “Тарас Бульба”, пушкинские страницы из “Евгения Онегина”, а за ними — отмеченный первым поэтом России “Конёк-Горбунук” Ершова. Народные чтения сыграли огромную роль в просвещении народа, организации досуга, формировании библиотечных фондов. Издания, нужные далёкой провинции, закупались складчину на известном в России книжном складе А. Калмыковой. Вскоре книги Пушкина, Гоголя, а с ними Тургенева и Крылова появились не только в Хабаровске, но и в сёлах Ильинка, Нижнетамбовское, Никольское (Уссурийск). Итогом деятельности комитета чтений стало строительство собственного здания. На углу улицы Пушкина, спускающейся к Плюснинке, ныне Уссурийскому бульвару, в 1904 году был построен первый на Дальнем Востоке Народный дом, но при реконструкции улицы, к сожалению, он был снесён.

И ещё один “пушкинский” след в Хабаровске. Если пройти по главной улице к Педагогическому университету, то можно увидеть памятник великому поэту. Существует интересная и весьма примечательная история. Попав сюда в 1937 году в год смерти поэта, так называемая “парковая” фигура классика пролежала несколько лет на хозяйственном складе института. Лишь после Великой Отечественной войны бетонный монумент Пушкина украсил сквер пединститута. Через пятьдесят три года заново отреставрированный в меди, он занял своё постоянное место у входа в университет. Это одно из любимых мест многих горожан. Здесь назначают свидания, проводят студенческие мероприятия, читают стихи. Поэтические чтения, приуроченные ко Дню рождения поэта шестого июня, собирают у памятника хабаровского Пушкина не только студентов, но и местных поэтов, литераторов, любителей словесности.

Хочется сказать, что в городе немало “литературных” улиц. Помимо улиц Пушкина, Гоголя, Толстого, есть улицы Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Шевченко, Чехова... Впрочем, такой список встречается почти в каждом российском городе. Но примечательно, что, кроме русских классиков, хабаровские улицы носят имена местных писателей: Комарова, Нагишкина, Вахова, Сысоева... Кроме того, есть улицы в честь писателей, чья жизнь связана с Дальним Востоком — Арсеньева, Гайдара, Фадеева... Но о них речь пойдёт впереди, нужно только прогуляться по центральной улице.

Улица Муравьёва-Амурского — магистральная, главная линия города Хабаровска, она расположена в Центральном районе. И идёт по вершине среднего из трёх холмов. Три горы, так называемые Средняя, Военная и Артиллерийская (с улицами Муравьёва-Амурского, Серышева и Ленина), определяют своеобразный городской ландшафт. Между холмов протекали небольшие

речушки Плюснинка и Чардымовка, с конца 1950-х годов забранные в трубы. На их месте расположились живописные бульвары — Амурский и Уссурийский. Улицы на холмах были изначально широки и просторны, под стать величественному Амуру. На них расположилось множество зданий, поначалу деревянных, а потом каменных, красной и серой кирпичной кладки. Кирпичное узорочье — отличительная черта домов и домиков старого Хабаровска. Они и сегодня украшают центр города и радуют глаза жителей и гостей.

Учёный и путешественник М. Венюков, посетивший пост Хабаровку осенью 1858 года, оставил такие впечатления о молодом поселении: “Хабаровка, поставленная на превосходном, возвышенном берегу, представляла утешительный вид. Здесь... возникали не только дома, но и лавки с товарами... Купцы своим коммерческим чутьём поняли, что тут в будущем предстояло возникнуть большому торговому городу...”

Хабаровский краевед и военный топограф Григорий Лёвкин считает, что основателем Хабаровска является сам генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьёв-Амурский. Он прибыл на Усть-Уссурийский пост Казакевича 31 мая (12 июня по новому стилю) 1858 года вместе с одним из “амурских сплавов”. Убедившись в недостаточности территории для размещения около устья реки Уссури селения, выбрал высокий правый берег Амура. По разным сведениям, будто бы сам для этого взойшёл на Амурский утёс. И подобно Петру в произведении Пушкина, указал, где будет впоследствии “город заложен”.

Кстати, Ерофей Хабаров, землепроходец, предприниматель родом из под Великого Устюга, в честь которого был назван военный пост, а потом и город, никогда здесь не бывал. Потому как осваивал амурские земли несколько веков назад, в далёком XVII столетии. Хотя, возможно, проплывал мимо будущего поселения вниз по течению Амура. Фамилия, укоренившаяся в литературе, скорее всего, родовое прозвище. “Хабар, — как пишет В. И. Даль, — старинное русское слово, означавшее удачу, везение, счастье, прибыль, барыш, поживу”. Кстати, в 2008 году в Хабаровске при активной поддержке Приамурского географического общества была издана книга московского учёного Георгия Красноштанова “Ерофей Павлович Хабаров”, которая основана на подлинных документах, с текстами многочисленных “скасок”, челобитных второй половины семнадцатого века.

Вслед за экспедицией губернатора Н. Муравьёва-Амурского прибыли строители 13-го линейного Восточно-Сибирского батальона. Первые срубы были поставлены на крутых склонах будущего Хабаровска на левобережье речки Бури (позднее Чардымовки). Это были деревянные постройки военного ведомства — казармы и небольшие домики для семейных солдат, штабные здания с почтой и телеграфом. На противоположном берегу речки находились склады, гауптвахта и лазарет. В роще за Амурским утёсом, где позднее разобьют городской сад, была сооружена церковь во имя Марии Магdalины, впоследствии на месте её алтаря построят небольшую деревянную часовню. Поселение росло по склону в сторону вершины среднего холма и вдоль берега Амура. Строения ставились хаотично, по складкам рельефа. На правобережном склоне речки Бури было разбито первое кладбище, сначала с часовней, затем с церковью. По гребню Военной горы возводятся гарнизонные постройки, на Артиллерийской горе размещаются здания артиллерийских складов и казармы.

Первым управляющим поста Хабаровки стал капитан Яков Васильевич Дьяченко, который и руководил строительными работами до 1863 года. Образ первостроителя дальневосточного города — “капитана родом из Полтавы” — запечатлён в книгах известного хабаровского писателя Николая Дмитриевича Наволочкина “Амурские вёрсты” (Хабаровск, 1983) и “Главное дело капитана Дьяченко” (Хабаровск, “Частная коллекция”, 2007). Историк по образованию, Н. Наволочкин провёл настоящее расследование, чтобы увековечить деяния командира батальона, на несколько лет ставшего отцом и наставником солдат-линейцев. Теперь в городе есть не только улица имени Дьяченко (перулок у Амура), но и памятник.

30 мая 2008 года в Хабаровске в честь 150-летия со дня образования города открыт бронзовый монумент Якову Дьяченко. Четырёхметровый памятник изготовил московский скульптор А. Рукавишников. Поскольку реальный портрет Дьяченко неизвестен, скульптор создал собирательный образ военного середины XIX века. Бронзовый капитан Дьяченко установлен на гранитном постаменте лицом к Амуру, недалеко от места высадки его батальона, в районе улицы

Шевченко (пересечение с переулком Арсеньева), которая полтора века назад стала первой улицей нового города. Увековечить память первостроителя помогли пожертвования хабаровчан, собравших почти два миллиона рублей.

Кроме военных, в Хабаровку постоянно прибывали новые поселенцы — купцы, крестьяне; здесь селились бывшие солдаты линейных батальонов. Деревянные дома ставились по берегам рек Бури и Хабаровки, а также на склонах к Амуру — ближе к воде. Из-за проблем с водоснабжением, так как в колодцах часто отсутствовала вода, селение разрасталось неширокими полосами вдоль речных берегов. Застройка велась вдоль Амура: от Артиллерийской горы до Казачьей (названия они получили позже). Самыми лучшими в селении считались дома Амурской торговой компании. Поначалу здания строились преимущественно из дерева. Первая улица селения сформировалась вдоль Амура, называлась она Береговой (ныне Шевченко). Главную магистральную улицу называли Хабаровской.

Скоро административный центр переместился в Хабаровку. Он быстро рос, благодаря своему выигрышному географическому положению. В 1880 году бывший пост Хабаровка становится городом и административным центром Приморской области. С 1883 года — Приамурской губернии. Начинается широкая каменная застройка центра города. В 1893 году он получает новое название — Хабаровск.

В конце июня 1890 года сюда приезжает Антон Чехов, прибывший по Амуру пароходом. Он останавливается в красивом каменном здании Военного офицерского собрания (ныне Дальневосточный художественный музей). О памятной остановке писателя говорит и мемориальная доска на доме. Поднимается на высокий берег, видит Амурский утёс, левобережье, читает газеты в квартире полкового писаря по улице Тургеневской (дом снесён). Отдохнув два дня, вновь собирается в путь.

А мы продолжаем идти — к синющим на горизонте хребтам Малого и Большого Хехцира по направлению к Амуру. Перейдя трамвайные пути, оказываемся у дерева, посаженного известным дальневосточным писателем, путешественником Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Это маньчжурский ясень, укоренившийся здесь в честь приезда в Хабаровск брата учёного Александра, окончившего Межевой институт в Москве. Дереву уже больше ста лет, но оно по-прежнему радуется пышной зелёной кроной и причастностью к истории и литературе. Владимир Клавдиевич проживал в Хабаровске в первом десятилетии прошлого столетия, работал директором музея им. Гродекова с 1910 года по 1918 год, а также при советской власти с 1924-го по 1925 год.

Известны пять хабаровских адресов Владимира Арсеньева. По одному из них, на бывшей Портовой (сейчас переулок Арсеньева) около гостиницы “Интурист”, намечалось открыть мемориальный музей. Про него в народе так и говорили: “Дом Арсеньева”. Но, к сожалению, здание не сохранилось. Кроме того, Арсеньев жил некоторое время (это съёмные квартиры) на улицах Хабаровская (ныне Дзержинская), в переулке Полковом (улица офицера-пограничника Павловича). На ней сохранилось небольшое одноэтажное здание типичной для Хабаровска краснокирпичной кладки. Возможно, что именно здесь проживал в семье Арсеньева знаменитый проводник-удэгейец Дерсу Узала, ставший героем повестей “По Уссурийскому краю” и “Дерсу Узала”. В них, как заметил Максим Горький, автору удалось “объединить в себе Бремена и Фенимора Купера”. Книги Арсеньева были написаны простым и одновременно образным языком, с тонким и добрым юмором.

Затосковав по воле, Дерсу ходил стрелять ворон в парке — ныне территория военного Волочаевского городка. Прожив у Арсеньева полгода, удэгейец снова собрался в очередное путешествие. Путь туземца пролёг в сторону Хехцирского перевала. Именно там он был убит в марте 1908 года вблизи станции Корфовская. Вероятно, грабителя прельстила новенькая пехотная винтовка системы Бердана, подаренная накануне удэгейцу Арсеньевым. С этого печального факта начинается знаменитый фильм японского режиссёра А. Куросавы, где в роли В. Арсеньева снимался актёр Юрий Соломин.

Стараниями хабаровского писателя-природоведа Всеволода Сысоева на месте гибели охотника в п. Корфовском у дороги установлен мемориальный знак — огромный камень, а рядом шумят посаженные школьниками сосны. Память В. Арсеньева увековечена в городе, о нём напоминают ясень, переулок и мемориальная доска на здании Краеведческого музея им. Гродекова.

По распоряжению губернатора Приморской области Г. Казакевича в 1864 году землемером М. Любенским разработан первый план будущего города. Ось центральной улицы, Хабаровской, была зафиксирована по средней горе. Холмы с улицами на гребнях прочертили восемь идущих от Амура менее значимых параллельных.

Как я уже отмечала, пересекая улицы, невольно любуешься дореволюционными особняками и более поздними памятниками конструктивизма. Выделю бывший Дом коммуны — театр драмы. Притягивает взгляд здание бывшей городской думы — ныне Дворец детского творчества, Центральный универмаг с башенкой и часами наверху. Здесь в кафе “Чашка чаю” выступали пленные австро-венгерские музыканты, которых безжалостно расстреляли калмыковцы в 1918 году на утёсе. На улице Муравьёва-Амурского сохранилось немало старинных домов, слегка или основательно перестроенных и заново оштукатуренных. И у каждого — своя статья и история. О них можно при желании писать рассказы, а если получится — повести или романы. Совершенно не узнать теперь первую Министерскую женскую гимназию, она основательно изменена, пострадав после артобстрелов японцев в апреле 1920 года. Теперь это один из корпусов Медицинского университета рядом с почтамтом. В особняке с кафе “Лавита” на первом этаже прежде располагался Русско-Азиатский банк, а в гостинице “Бельведер” и первом кинотеатре “Иллюзион” сейчас “Совкино”.

Вот и Протодьяконовская, сегодня это улица Фрунзе. Сделаю небольшую остановку. Здесь жили и работали герои известного романа хабаровчанина Дмитрия Нагишкина “Созвездие Стрельца” — мальчик Генка Лунин и его мать Фрося, учитель Вихров и многие другие. Об авторе и его романе хочется поговорить подробнее.

Д. Нагишкин хорошо известен в городе, благодаря созданным по мотивам дальневосточного фольклора “Амурским сказкам”. Автор немало творческих сил отдал героике и романтике гражданской войны, создав в своё время роман “Баневур”. Последний роман Нагишкина — “Созвездие Стрельца” — про жизнь фронтового периода 1940-х годов остался мало замеченным. Вышла эта книга после гибели Дмитрия Нагишкина, уже в 1962 году. Но именно там он и описал главные тайны Хабаровска.

Характерно, что в “Созвездии Стрельца” Хабаровск не называется. Он просто “город”:

“... Те, кто живёт в нём давно или родился здесь, утверждают, что теперь он совсем не похож на тот, каким был ещё недавно. Был же он и маленьким, и плохоньким... — пишет Нагишкин. — Среди толпы приземистых домов, недружелюбно поглядывавших друг на друга через грязные улицы, одиноко возвышались самые приметные здания — универсальный магазин фирмы “Кунст и Альберс”, кафедральный собор на лысой площади, губернаторский дом с огромным садом, который по праздникам на два часа открывался для гулянья горожан и откуда виден был величественный памятник Муравьёву-Амурскому со свитком бумаги в одной руке и другой рукой, положенной на шпагу.

Общественное собрание, куда не всякому члену городского общества был открыт доступ, красные кирпичные казармы, которые, как солдаты на параде, выстроились особняком на одном из холмов, Арсенал с вечно дымящейся трубой и, наконец, городская дума, похожая на боярский терем, где на почётных местах сидели потомственные почётные граждане Плюсин и Чердымов...”

Конечно, если в этом городе был губернаторский дом и жил сам губернатор, то это значит, что город был губерньским. И потому его жители смотрели на остальных обитателей этого края, земель которого хватило бы с избытком на полдесятка европейских государств, как на троглодитов. Вероятно, петербуржцы не с таким презрением глядели на жителей этого города, очень далёкого от столицы, чем последние на население всей округи.

Город и после установления советской власти остался административным центром края. И по-прежнему отовсюду из огромного края именно сюда ехали все те, кто ожидал от начальства каких-нибудь решений. И по-прежнему тут было много всяких начальников — больших и маленьких, толстых и тонких, сердитых и добрых, плохих и хороших, молодых и старых.

Недаром какой-то остролов сказал про город: “Три горы, две дыры — сорок тысяч портфелей”.

Кстати, сам Дмитрий Нагишкин жил на улице Фрунзе в доме 67, известном как общежитие для работников культуры — в Доме коммуны. В нём в своё

время останавливался Аркадий Гайдар, здесь жили Александр Фадеев, кинорежиссёр А. Довженко, сценарист П. Павленко и другие известные люди культуры и искусства.

Герои последнего романа Д. Нагишкина обитали на той же улице, что и автор, только в маленьком деревянном доме в глубине двора. Перед ним сейчас стоит двухэтажный дом, в котором расположился Художественный фонд и мастерские художников, а ниже — известный в городе Дом творческой интеллигенции.

На противоположной стороне улицы — другой интересный адрес: пятиэтажное здание на Фрунзе, 76. На последнем этаже жил замечательный хабаровский охотовед и писатель Всеволод Петрович Сысоев. Именно с ним изъявил желание встретиться Михаил Шолохов, посетивший Хабаровск в мае 1966 года по пути в Японию. За год до этого М. Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе “за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время”. Чем же привлёк автора “Тихого Дона” хабаровчанин? Всеволод Сысоев — известный в крае знаток дальневосточной природы, охотник, стрелок, тигролов, директор Краеведческого музея и создатель в нём знаменитого отдела природы. Написал книгу “Охота в Хабаровском крае”, а затем и повести “Тигроловы”, “Золотую Ригму”. В процессе общения он пригласил Шолохова в тайгу поохотиться на амурских тигров. В ответ автору очерков о таёжных обитателях была прислана рекомендация в Союз писателей СССР.

Продолжая путешествие по главной улице, заглянем в магазин творчества “Тайны ремесла”, директором которого является Светлана Юрьевна Черепанова — известная подвижница и защитница хабаровской культуры. На её счету огромное количество дел: организация фонда “Новые имена”, выставок художников, театральных, литературных и музыкальных вечеров. Арт-подвальчик — незабываемое место встреч деятелей культуры города и края, художников, артистов, поэтов. Здесь и я неоднократно встречалась с музыкантами и литераторами на концертах творческого объединения “Галатей-арт”. Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд известен за пределами края. Гостями здесь побывали Никита Михалков, Михаил Задорнов... А на набережной Амура стоит в бронзе памятник отцу сатирика — известному дальневосточному писателю Николаю Задорнову, автору исторических романов об освоении Дальнего Востока, в том числе романа “Амур-батюшка”.

Вот и улица Калинина (бывшая Поповская), пересекающая улицу Муравьёва-Амурского. Небольшой каменный особняк под номером 86. Здесь, в редакции краевой газеты “Тихоокеанская звезда”, в 1932 году работал советский писатель Аркадий Гайдар. Об этом говорит памятная доска, установленная на доме. В Хабаровске чтут его память. Есть Детский парк имени Гайдара с памятным бюстом автору “Тимура и его команды”, улица в центре города, имя Аркадия Гайдара носит Детская городская библиотека в Хабаровске. Недавно сотрудники библиотеки побывали в Арзамасе на юбилейных торжествах, посвящённых писателю, подарив Дому-музею писателя книгу, в которой собрали материалы, касающиеся его пребывания на Дальнем Востоке. Известно, что “Военную тайну”, сказку про Мальчиша-Кибальчиша, писатель задумал и создал в нашем городе. Об этом знает, наверное, каждый хабаровчанин.

Но вернёмся в редакцию “Тихоокеанской звезды”. Прежде чем переехать в новое обширное помещение на Серышева, 31, газета сорок лет — с тысяча девятьсот двадцать пятого года — помещалась в небольшом двухэтажном особнячке и дала хабаровской литературе немало ярких писательских имён. Корреспондентами “ТОЗ” работали писательница Юлия Шестакова, поэт Пётр Комаров; прозаик Дмитрий Нагишкин начинал здесь художником. Это было излюбленное место общения местных литераторов и творческой интеллигенции.

Но самый “звёздный” литературный адрес нас ждёт на улице Комсомольской, 80. Там многие годы располагались местное отделение Союза писателей и региональный литературно-художественный журнал “Дальний Восток”.

У истоков литературного журнала с первоначальным названием “На рубеже”, да и вообще хабаровской литературы стоял Александр Фадеев. Несколько лет он почти безвыездно жил в Хабаровске. С 1933-го по 1935 год он курировал процесс создания местной литературной среды в городе. В 1935 году в качестве редактора А. Фадеев издал очередной выпуск журнала “На рубеже”.

Вот что пишет о литературной среде хабаровский филолог, журналист, писатель Олег Копытов: «С конца <19>40-х до своей смерти в 1971-м жил, писал необыкновенные исторические романы пушкиновед, исследователь, автор книги «Пушкин и его время», бывший колчаковский журналист, харбинец Всеволод Никанорович Иванов. Отсюда уехал в Москву, оставив в редакции «Дальнего Востока» повесть о великой войне, бесстрашный фронтовой разведчик Эммануил Казакевич. Здесь работал автор знаменитого романа «Далеко от Москвы» Василий Ажаев.

Сюда в 1954-м приехала за романтикой выпускница исторического факультета ЛГУ робкая Римма Казакова, а уехала в 60-х в Москву уже одной из самых ярких романтических поэтесс. Вообще отношения между литературным Хабаровском и литературной Москвой — отдельная история. Когда-то так и не решился отнести в «Дальний Восток» свою первую повесть молодой военный переводчик КДВО Аркадий Стругацкий. На заре своей писательской карьеры прилетел в Хабаровск Василий Аксёнов, оставил в редакции журнала свой рассказ».

Хабаровская литература стремительно развивалась, энергично и напористо шагая вперёд. Дальний Восток был привлекателен для романтически настроенных натур. Писатели, корреспонденты сюда стремились за новыми темами и героями, «туманом и запахом тайги». Неудивительно, что в 1949 году в Хабаровске состоялась первая творческая конференция писателей Дальнего Востока. Для её проведения руководство Союза писателей СССР направило сюда А. Твардовского, В. Ажаева, М. Луконина, Г. Маркова. Это стало крупным событием в культурной и общественно-политической жизни всего региона.

Г. Марков — автор «Строговых» — предложил даже провести Декаду сибирской и дальневосточной литературы в столице.

В декабре 1952 года в Москве впервые состоялись Дни дальневосточной литературы. С восточной окраины страны выехала большая делегация, в которую вошли Д. Нагишкин, А. Пришвин, Н. Шундик, С. Смоляков, И. Машуков, Н. Максимов, Н. Наволочкин.

«А какие прекрасные Дни советской литературы проходили на Дальнем Востоке, когда большие делегации писателей, литературоведов, литературных критиков, издателей, преподавателей вузов приезжали на Дальний Восток! — пишет сотрудник архива Е. Ходжер в журнале «Словесница искусств» (№ 2, 2015). — Одна из самых масштабных встреч состоялась в августе-сентябре 1972 года. Большая делегация писателей со всех уголков страны прибыла в Хабаровск на декаду советской литературы в Хабаровском крае, посвящённую 50-летию образования СССР и 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. В июне 1978 года в Хабаровске состоялась выездной секретариат правления Союза писателей РСФСР. Приехали известные всей стране писатели С. Михалков, А. Алексин, Н. Шундик, В. Поголяев и многие другие — всего около 30 человек. Главная цель выездных секретариатов состояла в сугубо внутренней литературной работе. Высокие гости анализировали литературную деятельность региона, обсуждали произведения дальневосточных авторов, давали критические оценки, рекомендации и, конечно же, сами выступали перед благодарной публикой».

В 1969 году на улице Муравьёва-Амурского, 22 было открыто возобновлённое Бюро пропаганды художественной литературы. Поэты и прозаики выступали в школах и вузах, на заводах и автобазах, в военных частях и на фермах — в самых разных учреждениях и аудиториях города и края. Развитие хабаровской литературы шло по нарастающей линии, настоящая кульминация пришлась на конец семидесятых — начало восьмидесятых годов прошлого столетия.

Постепенно местная литература «выросла» и «созрела». По-прежнему основными темами были история города и края, охрана рубежей, природный, национальный и краеведческий колорит. Комсомольцы, пограничники, тигроловы, охотники, золотодобытчики, строители становились героями романов, повестей, поэм, стихотворений. Свой вклад в русскую литературу внесли немало хабаровских поэтов и прозаиков, среди которых Всеволод Иванов и Иван Ботвинник, Алексей Вальдю и Василий Ефименко, Анатолий Вахов и Александр Грачёв, Владимир Клипель и Николай Наволочкин, Андрей Пассар и Григорий Ходжер, Пётр Комаров, Степан Смоляков, Владимир Руссков, Людмила Миланич, Сергей Тельканов, Георгий Пермьяков, Борис Копалыгин, Анатолий Максимов, Виктор Еращенко...

Думал ли купец первой гильдии Василий Плюснин, что в его торговом доме, одном из самых красивых каменных зданий, выполненных в стиле русский модерн, разместится библиотека?.. Причём главная и самая крупная в Хабаровском крае. Сегодня это Дальневосточная государственная научная библиотека, расположенная по адресу: улица Муравьёва-Амурского, дом 1. В краеведческих фондах библиотеки хранится немало изданий хабаровских писателей. В особые юбилейные дни их творчеству посвящаются книжные выставки. В знаменитом “Тигровом зале” нередко проходят литературные встречи, лекции, вечера, работает литературная площадка “Амур и Я”. Дом купца Плюснина, построенный в 1902 году, стал несомненным украшением города и остаётся таковым до сих пор. Вместе с соседними строениями предпринимателей Танцыревых, Хлебниковых, Пьянковых и Кровяковых составил целый квартал каменной застройки.

Из окон купеческого особняка можно увидеть вдали сияние полноводного Амура, синеещие сопки Хехцира, площадь, раскинувшуюся над рекой. На ней – памятник героям гражданской войны и собор Успенья Божией Матери. И вновь, замечу, встречаются прошлое и... прошлое: советское и дореволюционное образуют новую данность в названиях мест – Комсомольская и Соборная площадь.

А недавно неподалёку появилась и площадь Воинской Славы. Здесь, на Дальнем Востоке, 2 сентября была поставлена точка во Второй мировой войне. Хабаровск до осени 1945 года оставался прифронтовым городом, все годы лихолетья опасаясь японского вторжения.

В Успенском соборе в 1893 году был похоронен первый Приамурский губернатор Андрей Николаевич Корф. Об этом сохранились истории и легенды. Одна из них подробно рассказана в упоминавшейся уже книге Д. Нагишкина “Созвездие Стрельца”. Особенностью соборов до революции было то, что в них хоронили людей выдающихся. В Хабаровске таковым был генерал-губернатор А. Корф, который умер прямо на балу: во время танца у него не выдержало сердце. Событие это произошло сразу после первого на Дальнем Востоке Съезда сведущих людей. Некоторые историки утверждают, что в 30-е годы при разборе храма прах барона Корфа выкинули чуть ли не на свалку. На самом деле, как рассказал известный краевед А. Жуков, “через два-три года супруга вывезла его прах на родину в Либаву. В 1945 году американцы прошлись бомбёжкой по этой местности. Снаряды попали также и на кладбище, где был перезахоронен губернатор Корф, и там всё смешалось с землёй”.

Хочется отметить, что нынешний храм, построенный в 2001 году, является памятником уничтоженному в 1930-х годах собору и, устремлённый ввысь к синему небу, не стал копией прежнего. Первый кафедральный собор Успенья Божией Матери появился на площади в 1886 году. Был он построен из красного и серого кирпича, а ещё через пять лет к нему пристроили придел в честь посещения города цесаревичем Николаем.

Строили первый в городе храм всем миром несколько лет. Главным меценатом был купец А. Плюснин, дело которого продолжили младший брат Василий с сыновьями.

Но хватит истории, я вернусь к литературе, её современной жизни. От нынешнего храма пройдем вниз по улице Тургенева и зайдем в Дом писателей, что расположился в переулке первостроителя города. В небольшом уютном двухэтажном особняке на Дьяченко, 7а находятся Хабаровское региональное отделение писателей России, клуб “Поэтическое содружество” и старейший в регионе журнал “Дальний Восток”. Сюда хабаровские литераторы переехали в начале 1990-х годов, после основательного ремонта и реконструкции здания. Современная писательская организация насчитывает сегодня около пятидесяти членов Союза писателей России, включая авторов из регионов – Комсомольска, Еврейской автономной области. В 2014 году хабаровские литераторы отметили 80-летие организации. Девяностые годы были самыми трудными и проблемными в истории хабаровской литературы. В это время её возглавил поэт Михаил Асламов и руководит по сей день.

Несмотря на сложности, организация продолжала существовать, постоянно прирастая новыми прозаиками и поэтами. Картину современной хабаровской литературы вместе создают Александр Гребенюков, Анатолий Полищук, Кирилл Партыка, Александра Николашина, Владимир Василенко, Владимир Иванов-Ардашев, Виталий Краснер, Константин Куролена, поэты

Наталья Костюк, Александр Урванцев, Юрий Ковалёв, Елена Неменко, Ирина Комар, Елена Добровенская, Василий Ушаков, Марина Самаркина и другие.

Есть в городе региональное представительство Союза российских писателей (председатель — поэт Марина Савченко), в котором плодотворно работают писатели, члены Союза российских писателей Аркадий Федотов, Геннадий Богданов, Виктор Заводинский, Марина Макова, Валерий Алёшин и другие. “Клуб писателей” — литературное объединение СРП в Хабаровске — насчитывает не менее тридцати человек. Живут в Хабаровске и иные литературные сообщества, например, “Поэтический звездопад”, “Музы при свечах”, поэтическая группа молодых авторов “СОЛО”...

В августе 2018 года местным литераторам удалось побывать на открытии Всероссийской школы писательского мастерства в ДФО. Посетить семинары, круглые столы, творческие встречи, которые провели гости из Москвы и Екатеринбурга: заместитель главного редактора журнала “Наш современник” Александр Иванович Казинцев и писатель Роман Сенчин. В работе Школы приняли участие одиннадцать молодых авторов, приехавших из дальневосточных регионов: Сахалина, Камчатки, Приморья, Хабаровского района, к ним присоединились молодые поэты и прозаики из столицы ДФО — Хабаровска. Такие встречи были организованы Фондом СИЭП (социально-экономических и интеллектуальных проблем), возглавляемым С. А. Филатовым, и обещают стать ежегодными.

Хочется заметить, что литературная учёба — дело нужное и важное. Литературные семинары и мастер-классы для начинающих не проводились в городе с середины 90-х годов. Молодые авторы “варятся в собственном соку”, организуя свои группы по интересам, публикуясь в социальных сетях, лишь некоторые осмеливаются принести свои рукописи в журнал “Дальний Восток” или на рецензию опытным писателям. Школа молодых писателей может стать для них настоящей литературной учёбой, “взрослым” литераторам расширит рамки общения с коллегами из столицы, поможет поделиться опытом с молодыми, рассказать о своём творчестве.

Не думаю, что атмосфера литературной жизни благодаря этому факту сможет измениться, по крайней мере, скоро. Ситуация довольно запущена, авторы издаются на свои средства и сами распространяют свои произведения. Лишь некоторым удаётся получить официальную финансовую и рекламную поддержку. Но такая картина, скажете, везде... Тем не менее всем нужны молодые новые и талантливые имена. И потому работа Школы поможет увидеть и узнать творческий потенциал региона.

Известно, что про молодых авторов охотно пишут и снимают на телевидении сюжеты. Только откуда им взяться? Для того чтобы дерево выросло, необходимо тщательно и кропотливо формировать крону, ухаживать, поливать и рыхлить землю. Лишь в том случае появятся новые достойные авторы в дальневосточной литературе, если будут соответствующие среда и уход. А пока молодая поросль развивается, подобно дичкам, которые неспособны без прививки давать хорошие культурные плоды.

В дальневосточном регионе есть своя самобытная интересная история, здесь накоплен огромный культурный и литературный багаж, на который можно по-настоящему опереться молодым авторам, если они не витают в иной реальности. Нет ничего реальней нашей реальности, а следовательно, можно с лихвой черпать в ней темы для произведений, облекая их в новые формы и жанры. Нужно только хорошенько присмотреться, а не сбегать в иные дали и веси.

“Люди, годы, жизнь” — так называлась книга известного писателя Ильи Эренбурга, документальный цикл рассказов о наиболее значимых для автора литературных встречах. Мой рассказ на ту же тему, но несколько иного рода. Привязанный к небольшому историческому отрезку, улице графа Н. Н. Муравьева-Амурского в Хабаровске, он больше походит на литературно-исторический обзор, нежели на воспоминания мемуаристки.

Мне удалось вместе с читателями пройти пешком по любимому маршруту хабаровчан — от Центральной площади до великого Амура. Бросая взгляды на здания, встававшие на моём пути, я вспоминала о наиболее значимых и интересных людях и событиях литературной среды, чьи судьбы связаны с хабаровскими адресами.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“МОЙ НЕИЗБЫВНЫЙ ВЕРТОГРАД...”

В подмосковном Реутове в небольшой квартирке я сидел напротив Николая Ивановича Тряпкина, который читал мою статью о его книге избранных стихов, незадолго до этого вышедшей в “Молодой гвардии”.

Время от времени он чему-то улыбался про себя, поднимал на меня наполненные прозрачной голубизной глаза, снова углублялся в чтение, потом прерывистым заикающимся голосом просил прочесть вслух то или иное место. Я читал, а он вслушивался, погрузившись во что-то своё, останавливал меня, давал пояснения, благодарил за найденное точное слово... Ободренный его благожелательным вниманием, я попросил прочитать несколько стихотворений вслух.

— Я н-н-не ум-м-мею ч-чи-итать. Я п-пою-ю-у.

И дальше началось чудо. Послышался распев, переходящий в речитатив, в котором не было ни малейшего голосового сбоя. Плеск воды, шум листвы, шёпот земли слышались в этом распеве, напоенном глубинной энергетикой почвы и космоса, завораживающем, погружающем в таинственные глубины бытия.

*За мосты, что мы позамостили,
За весёлый сон в родном краю
Поклоняюсь всем соцветьям лилий
И всему, что знаю и люблю.*

*Поклоняюсь вам, поля и веси,
За непышный мой и добрый кров.
За вечерний сумрак перелесиц,
За полночный ропот проводов.*

*А ещё за то, что нас — растили,
А ещё за то, что мы — росли
И великий свет своих воскресий
По земным дорогам пронесли.*

Он пел и только что написанную “Литанию”, и старое “Суматошные скрипы раки...”, и, наконец, прозвучал знаменитый “Стих о Николае Клюеве”. И чем дальше, тем больше нарастало ощущение лишь поверхностного прикосновения к таинственному матерiku, вырастающему на моих глазах.

Хотелось слушать ещё и ещё, впитывая в себя каждую ноту... Тряпкин остановился, светло заулыбался, приспустил веки.

— Н-ну, в-в-всё-ё. П-подож-дите-е-е, я в-вам п-прин-н-несу...

Он вынес несколько страниц машинописи. Это были недавно написанные стихи, которые ни при какой погоде в то время не могли пойти в печать. Среди них были “Песнь о российском храме”, “Стенания у развалин Сиона”, “Молчи, Иеремия!..”, “Обращение неопита к народу у дверей первого христианского храма”.

— В-возьм-м-мите себ-бе. Почит-тайте-е-е.

Это было летом 1982 года.

... Потом были ещё встречи, уже в его московской квартире и в Доме литераторов, где я однажды с трудом уговорил его напеть несколько стихотворений для записи на магнитофонную плёнку... Но та, первая встреча ярче всего вспоминается по сей день.

* * *

Два поэта, два ровесника, с совершенно разными судьбами уже на склоне лет, вспоминая начало своей земной жизни, словно вступили друг с другом в заочный непримиримый спор.

Эти строки принадлежат Ивану Елагину.

*Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой!
Я родился под красно-зловещей звездой государства.*

*Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного “яблочка” пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.*

И совершенно иное — не воспоминание, ощущение — “великого и страшного” восемнадцатого года у Николая Тряпкина.

*Ах, не свет исторгает глина
И не с громом сходится гром —
То отец повстречался с сыном,
То расплакались сын с отцом.*

.....
*Не припомню, что дальше было,
Только чую в своей крови:
Вся земля ходуном ходила
От великой своей любви.*

*И сквозь тысячи Млечных светов
Проносился вселенский бал.
И гремело “За власть Советов”
У истоков моих начал.*

“Я родился при Советской власти, и другой не мыслю для себя”, — писал позже Тряпкин, до конца осознавая цену как “великой любви”, разлитой по мирозданию в период мирового катаклизма, так и зловещего света красной звезды, осветившей и его крестьянский род, и весь мир, “таинственный и древний”, русской деревенской Ойкумены.

* * *

Мощная ветвь нашей литературы, названная ещё в начале XX века по недоразумению “крестьянской поэзией”, была обрублена к началу 30-х годов. Она завершила своё существование, казалось, не успев дать новых зелёных побегов. По сути дела, это было лишь начало своеобразного, яркого потока в русской изящной словесности XX столетия. Увы, создалось впечатление, что продолжения не последует, да и откуда было ему взяться? Родоначальники этого направления — Николай Клюев и Сергей Клычков, — достигнувшие

к концу 20-х годов подлинной творческой зрелости и гармонии, сначала были выжиты из литературы, а потом физически истреблены. Пимен Карпов дожил до начала 60-х годов в полной безвестности, не имея возможности в течение почти четверти века опубликовать ни одной своей строки. Ни Пётр Орешин, в наиболее радужных тонах писавший о колхозной деревне, ни представители более молодого поколения — Василий Наседкин, Иван Приблудный — не пережили “Большого террора”. С 1927 года не прекращалась бешеная посмертная травля великого русского лирика — Сергея Есенина. Даже самые злейшие враги поэта вынуждены были признать, что его имя и его поэзия пользуются огромной популярностью в народе, и, дабы не превращать его стихи в запретный плод, который, как известно, особенно сладок, вынуждены были издавать небольшими тиражами есенинские сборнички с соответствующими предисловиями, “объясняющими” поэта и намекающими на нешуточные последствия для тех, кто не внимал этим “объяснениям”.

Казалось, всё кончено, проповеднический глас Николая Клюева и пронзительная лирическая песнь Сергея Есенина навечно остались в прошлом. Коллективизированная деревня рождала новых певцов. Их появлению предшествовало издание в 1928 году первой книги Михаила Исаковского “Провода в соломе”, которого тогда же противопоставили “старикам”, ушедшим и ещё живым, и объявили “подлинно народным поэтом”. И всё творчество Михаила Исаковского 30-х годов оправдывало выданные спервоначалу авансы. Явление Александра Твардовского, воспевавшего зажиточную колхозную жизнь и декларативно отрешившегося от прошлого, в том числе и от своих родителей, подвело окончательный, как казалось, итог: старая “крестьянская” поэзия, основанная на “реакционном развитии фольклора”, обречена на слом и может существовать лишь в качестве не слишком желательной “музейной ценности” (как назвал одно из своих “гражданских” стихотворений, проникнутых ненавистью к историческому прошлому России, Семён Кирсанов).

Первые опубликованные стихотворения Николая Тряпкина были ещё в русле того направления, которое было воплощено Исаковским и Александром Прокофьевым. Но ощущалось и нечто другое, время от времени слышались ноты, вроде бы ещё недавно полновзвучные, но заглушённые и замолчанные. И это не осталось незамеченным. Талант был очевиден, и Александр Фадеев в докладе на IX пленуме правления Союза писателей специально отметил: “Н. Тряпкин — ещё далеко не оформившийся поэт, но остро видящий новое в нашей колхозной действительности...” Тут же последовал ответ Твардовского: “В докладе Фадеева положительную оценку получил молодой поэт Н. Тряпкин. А его стихи — дело ещё очень сомнительное. Нехорошо, когда современную деревню представляют себе в виде тройки, бубенцов, баб в панёвах”. Анатолий Тарасенков, одним из первых обративший внимание на молодого поэта, неодобрительно отметил его сходство с Николаем Клюевым, с поэзией “новокрестьян”, декларировал это не где-нибудь, а в “Правде”: “Не раз в журнале публиковались слабые в идейном и художественном отношении стихи Н. Тряпкина, вызвавшие ряд протестов читателей...” Имелся в виду журнал “Октябрь”, главный редактор которого Фёдор Панфёров грудью встал на защиту молодого таланта: “Пускай его ругают. А мы печатаем и будем печатать!”

Сам Тряпкин иронизировал по этому поводу в стихах 1949 года: “Только вывел я нашу вечерку // на концерт своих первых стихов, // моё имя пошло на подкормку // боевых долбунов петухов. // Не горлань ты узорно, гармошка! // Ты, колхозная тройка, стоп! // Нам припишут клычковскую кошку, // что мурлычет про Ноев потоп...”

Но не так уж прост сам по себе вопрос, касающийся тряпкинских “ученичества”.

Вадим Кожин, по самому высокому счёту оценивший тряпкинскую поэзию ещё в середине 1960-х годов, на склоне лет в статье, посвящённой поэту и написанной для “Словаря русских писателей”, подчеркнул безусловное превосходство Тряпкина перед Клюевым: “Крестьянский мир нередко предстаёт у Тряпкина в качестве не “объекта” творчества, а своего рода точки отсчёта: поэт говорит о мире — притом сугубо современном мире — в целом, но соотносит его с вековым и извечным бытием деревни — колыбели человечества. Это было характерно и для творчества Н. А. Клюева, но Тряпкин далеко “превзошёл” своего предшественника...” И далее в качестве подтверждения своих слов он сослался на оценку Юрия Кузнецова: “Николай Тряпкин близок к фольклору, но близок, как летающая птица. Он не вязнет, а парит...” Очевидно,

в этом, по мысли критика, и состояло преимущество Тряпкина, в отличие от “вязнущего” Клюева.

Совершенно иначе оценил поэзию Николая Ивановича Георгий Свиридов, прочитав одну из тряпкинских книг. “В. В. Кожин прислал мне книгу стихов Н. Тряпкина. Он ценит этого поэта выше Клюева. Я прочёл эту книгу внимательно... Нет — стиля, похоже на многое, и на Есенина, и на Мартынова (с его претенциозной рифмой а la Бальмонт) и т. д. Тряпкин даже не поэт деревни, это поэт остаточной “резервации”, где доживают свой век бывшие крестьяне, а ныне даже не знаю, как их назвать, — “работники на земле”, что ли? В них сохранилось ещё ощущение своей русскости (остаточное). Но это люди, уже начисто лишённые чувства <собственной> земли, что-то производное от “бастардства”. В них нет уже и чувства нации как целого, ибо оно невозможно без веры, без религии... (Свиридов, естественно, не знал неопубликованных тогда “библейских” стихотворений Тряпкина. — С. К.). Трогательная, вяловатая лирика, честная, лишённая какой-либо фальши, даже в моментах стилизации. Он — Русский человек, обитатель деревни (переставшей быть деревней, “резервация для русских”), но не крестьянин, не земледелец, не “мужик” — нет чувства своей земли, нераздельности с нею...”

По сути, диаметрально противоположные оценки двух выдающихся мастеров отечественной культуры. Но истина — не посередине. Она в несколько иной плоскости, при всей точности отдельных наблюдений, содержащихся в высказываниях и Кожина, и Свиридова.

* * *

Николая Тряпкина, действительно, нельзя назвать ни подражателем, ни покорным учеником. Он шёл своей дорогой десятилетия, почти на ощупь, испытывая и горечь не столь уж малочисленных неудач, и радость творческих побед, редких вначале, всё чаще и чаще посещавших его с годами. Он развивался и рос в течение полувека, медленно, неуклонно совершенствуя свой талант. Со временем то, что лишь отдельными штрихами проявляло себя и давало возможность говорить о Тряпкине как о наследнике Николая Клюева (не издававшегося в России с 1928 по 1977 год), обрело полновесное звучание. Но уже в тот период, когда стало ясно, что Тряпкин не ограничился поднятым и бережно сохранённым наследием, в его поэзии открылось новое дыхание, оборванное в период “канунов”, вольная песня “крестьянской” лиры, сохранившая в голосе и памяти всю страшную эпоху перелома, шум которого поначалу глухо отзывался в его стихах, со временем начиная звучать всё более и более пронзительно:

*Проснись, моё сердце, и слушай великий хорал.
Пусть вечное Время гудит у безвестных начал.
Пусть пролетает Другое вослед за Другим,
А мы с тобой — только травинки под ветром таким.*

*А мы с тобой только поверим в Рожденье и Рост
И руки свои приготовим для новых борозд.
И пусть залепечет над нами другая лоза,
А мы только вечному Солнцу посмотрим в глаза.*

С годами выявлялся определяющий мотив творчества Николая Тряпкина — мотив Памяти. Памяти, несущей в себе всё тяжёлое, трагическое, надрывное, что сосредоточилось в истории ухода с исторической сцены русского крестьянства и его самобытной культуры. Эта тема дала себя знать не сразу — должно было пройти время, прежде чем пережитое, накопленное стало воплощаться в стихи. Сам Тряпкин отнюдь не надрывен, он отдал щедрую дань смеховой, песенно-плясовой стихии народного творчества. Не так уж мало в его наследии стихотворений, где он не прочь и над собой поиронизировать, и над окружающими по-доброму посмеяться. И всё же, если читать его стихи в хронологическом порядке, ощущение земной тяжести и боли за утраченное будет нарастать.

“Я всё тревожнее с годами, // ревнивей к прожитому дню...” — это признание прозвучало ещё в 1948 году, в стихотворении, написанном тридцатилетним поэтом. Но поистине нужно было ещё пережить первый приступ радости внутреннего освобождения, чтобы по-настоящему осмыслить этот “прожитый

день” и через него обратиться к более давним временам, к “скрипу своей колыбели”, который напомнил поэту его родословную и народную трагедию, отзвуки которой всё чаще звучали в его стихах, написанных уже в 60-е годы.

*Сколько снегов промчалось!
Сколько дождей пролилось!
Сколько опять — в коренья,
Сколько опять — в зерно!
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось —
И на сыновние плечи
Прямо упало оно.*

Память надвое рассечена рубежом, по одну сторону которого слышится “звон боевых копыт” и скрип детской колыбели, а по другую — совсем иные, тревожные звуки: треск сломанного дерева и тоскливый вой пурги. Тряпкин поразительной силой художественного дара сумел удержать в равновесии светлые и тягчайшие воспоминания, не дав перевеса ни одному из них. Свирель, поющая над погостом, — ещё не символ конца жизни, это лишь этап, страшный отрезок, который проходят несколько поколений, чтобы те, кому Бог дал, выжили и сумели донести до потомков свою горькую повесть, и спеть старую, народную, исполненную удалого раздолья и сердечной тоски, почти забытую ныне песню... “Эта песенка сполюбилась нам, // да промчались мы по своим костям...” Сколько их, промчавшихся, от которых и следа не осталось на этой земле, вроде Степана, героя одноимённого стихотворения, что “разругался в дни в тридцатый год” и исчез бесследно в военном лихолетье так, что никто уже никогда не узнает, “под каким ракиновым кустом” затерялась его могилка, или вроде Ваньки-однолишника, о котором осталось лишь вздохнуть: “Запропал ты где-то там... Ой-ё-ёй! // Душу грешную, Господь, упокой...”?

Медленно, шаг за шагом подходил поэт к эпическому сказанию о своей жизни. Первые главы его были написаны в начале 80-х годов, когда Тряпкин обрёл былинную поэтическую мощь, когда прежние отдельные попытки совместить временные пласты отступили перед открывшейся картиной народной трагедии, в которой органически слилось недавнее прошлое и видения набегов и захватов, переселений народов и исчезновений их с лица земли, отделённые от нас веками и тысячелетиями.

*И настало то утро, зачавшее это сказанье,
И подводки со скарбом стояли уже у крыльца.
И толпился народ, и галдел, как на общем собрание,
Хлопотали отцы, не забыв про стаканчик винца.*

*И стучал молоток, забивая горбыльями окна,
И лопата в саду засыпала у погреба лаз.
И родная изба, что от слёз материнских промокла,
Зазвучала, как гроб, искони поджидающий нас.*

*Это было — как миф. Это было в те самые годы,
Где в земной известняк ударял исполинский таран.
И гудела земля. И гремели вселенские своды.
И старинный паром уходил в Мировой океан.*

Диву только даёшься, читая в известной антологии Евгения Евтушенко в предисловии к подборке Тряпкина: дескать, виделся талантливым балалаечником, и вдруг оказался поэтом с душой бунтаря. Разглядели! Словно не было написанных и напечатанных в 60-е годы стихотворений о судьбах людей, сорванных и гонимых мусорным ветром по земле, остававшейся родной, но обезображивавшейся на глазах. “Сеял рожь на счастье кто-то, сеял рожь. // Уродилась у кого-то лебеда. // У кого-то, у кого-то дегтем вымажут ворота // — и от жизни у кого-то ни следа...” А ведь песенная, плясовая мелодия, торжественная хоральная и протяжная трагическая нота реквиема по невинно убиенным, перемолотым в мясорубке, размалывающей “мир насилия до основанья”, образуют в его поэзии неразрывное гармоническое единство, симфонию Времени и Жизни в её полноте.

Как удалось Тряпкину повенчать в своей душе ощущение единства и разлада — не будем гадать. Он пришёл к этому после долгих и целенаправленных поисков, и факт остаётся фактом: невозможно ощутить в его самых трагических стихах чувства глухой безнадёжности, а самые весёлые и “беззаботные” строки отнюдь не способствуют наплыву безмятежного спокойствия.

Ответом на счастливые вопли о том, что “нет счастливей участи” (столь созвучные со знаменитым “я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”), может быть лишь это:

*А между тем, лишь погляди спокойней,
Вот он — итог свершений мировых:
Всё тот же пресс, всё та же маслобойня,
А ты, в конце концов, всё тот же жмых.*

*И вот он, круг призвания земного,
И вот он, круг истории людской,
И нет пока что выхода другого,
И нет пока истории другой.*

Но Тряпкин не был бы Тряпкиным, если бы подобный вывод был для него окончательным и бесповоротным. Он не может впасть в безысходность, он, вопреки всему, сохраняет своё неизбывное жизнелюбие, доставшееся ему от предков и старших собратьев-поэтов, от которых он во всей полноте унаследовал его вопреки всему.

И как бы переключаясь с давно ушедшим старшим собратом, пророчествовавшим более полувека наза: “Только будут, будут стократы // на Дону вишнёвые хаты”, — Тряпкин не может не верить в то, что мир не рухнет в пропасть и не сгорит в испепеляющем пламени, что его родная земля, его Россия снова встанет “смирительным щитом” среди “людских кровавых смут” и спасёт этот мир, обезображенный, но ещё не утерявший окончательно своей красоты, спасёт во имя “иных времён”, во имя будущих поколений.

*Среди лихой всемирной склоки,
Среди пожаров и смертей
Все реки наши и потоки
Для нас всё ближе и святей,*

*И каждый цвет, и прозябанье,
И солнца вешнего набат...
Земля моя! Моё сказанье!
Мой неизбывный Вертоград!*

* * *

Не устаёт поражать внутренняя свобода, с которой Тряпкин соединял разнородные языковые пласты — три основных слоя — в неразрывном смысловом, сущностном гармоническом сочетании. Слой фольклорный, слой, разработанный классической русской поэзией XIX века, и слой современного живого разговорного языка.

Через устное народное творчество Тряпкин постиг сам мир поэзии и воспроизвёл в ранних стихах ноты народных песен и частушек непосредственно, как бы по-иному перекладывая их, взятые из первоисточника. Немного удач было на этом пути, но лучшие стихотворения начального периода лишены всяких признаков стилизации, искусственности, оранжерейности. Удача приходила к поэту, когда он не подражал народной песне, а создавал её.

При этом Н. Тряпкин был менее всего озабочен привлечением читательского внимания к своим стихам за счёт эксплуатации фольклорных мотивов. Напротив, он обратился к ним в то время, когда любые признаки народнопоэтических традиций в поэзии объявлялись “архаикой” и “оторванностью от современности”. Тряпкин долго и напряжённо искал себя как поэта. Первый его сборник вышел в 1953 году, когда поэту было 35 лет. После этого прошёл длительный период творческого созревания, который завершился на рубеже 60–70-х годов.

Песенная линия не сошла “на нет”, но основное место в творчестве Н. Тряпкина заняли стихи эпико-философского склада. “Крестьянская” традиция сказывается в них в остро публицистическом пафосе, с каким поэт подчёркивает свою принадлежность к народу, свою крестьянскую сущность.

В этих стихах невозможно не почувствовать того органического сплава песенной стихии и глубинных размышлений о России, судьбе национальной культуры, что находит своё воплощение в строчках, поражающих своей свободой, раскрепощённостью и одновременно внутренней сосредоточенностью. Публицистический пафос, соответствующий нелёгкому движению поэтической ноты, вырывающейся из потаённых глубин, сродни пафосу Николая Клюева, о котором неизбежно приходится вспоминать, говоря о Тряпкине.

В стихах, посвящённых памяти “Аввакума двадцатого столетия”, Тряпкин делает акцент на органичной связи подлинного поэтического слова с природой, с Матерью Сырой Землёй, опосредованно подчёркивая наиболее отличительную черту своего собственного творчества. Слово, имеющее глубокие корни в родной почве, в национальной стихии не пропадёт и не сгинет, даже если долгое время будет существовать под спудом в драматические минуты истории, принакрытое невидимой завесой Тайны, скрывающей от непосвящённых божественную мелодию.

*Он сам себя швырнул под ту пядь,
Из-под которой — дым, и прах, и пламя.
Зачем же мы всё помним ярость ту
И не простим той гибели с мощами?*

*Давным-давно простили мы таких,
Кому сам Бог не выдал бы прощенья.
А этот старец! Этот жалкий мних!
Зачем в него летят ещё камни?*

Кровная связь Тряпкина с народом, глубокая духовная связь его поэзии с народной культурой, связь, оплаченная по высшей цене, подобной той, которую платил за каждую свою строку олонецкий песнотворец, обусловлена всей жизненной судьбой поэта. Он родился в глухой тверской деревушке Саблино, сохранившей патриархальный крестьянский уклад жизни.

Не призванный на фронт по состоянию здоровья, он в первые годы войны оказался в эвакуации в сольвычегодской деревне, недалеко от Котласа. А о дальнейшем сам поэт рассказал в автобиографии.

“Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди... У меня впервые открылись глаза на Россию и на русскую поэзию, ибо увидел я всё это каким-то особым, “нутряным” зрением. А где-то там, совсем рядом, прекрасная Вычегда сливается с прекрасной Двиной. Деревянный Котлас и его голубая пристань — такая величавая и так издавна видная! И повсюду — великие леса, осенённые великими легендами. Всё это очень хорошо для начинающих поэтов. Ибо сам воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. И я впервые начал писать стихи, которые самого меня завораживали. Ничего подобного со мною никогда не случилось. Я как бы заново родился, или кто-то окатил меня волшебной влагой”.

*Августовские ночи! И сузем, и лещуга,
И земной полубред.
Это было на Пижме, у Полярного круга,
У застывших комет.*

Вселенское Время в творческом сознании поэта сжимается, проносятся в течение мгновений целые тысячелетия. В единую секунду бытия начинают существовать Рождение и Закат человеческой цивилизации, зачатие Вселенной и распад узловых корней земного существования. В нерасторжимом единстве сплетены общенародные, государственно-национальные взгляды и общечеловеческая, космическая мысль. Поэту доступно воплощение всемирности, единовременности всего происходящего на Земле и в Бесконечности. Словно по спирали он расширяет свой духовный мир, что даёт ему возможность раздвигать границы прекрасной эстетической традиции. Каждая секунда бытия отпечатывается в сознании поэта, притом, что сам он как бы вечен, подобно немеркнущему свету звёзд.

*А над миром сияли полуночные горы
В полуночном венце.
Это было в Начале, у истоков Гоморры,
Это будет в конце...*

*Сколько веков я к порогу Земли прорубался!
Застили свет мне лесные дремучие стены.
Двери открылись. И путь прямо к звёздам начался.
Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!*

Здесь, на грани Земли и Космоса его глазам открывается прошлое, настоящее и будущее, здесь он — творец мира. Россия сама становится частью Космоса, венчает Землю своей светящейся короной. Органическая связь России и русского поэта остаётся нерасторжимой и здесь, “на последней черте”.

*Чёрная, заполярная,
Где-то в ночной дали
Светится Русь радарная
Над головой Земли.*

.....
*Пусть ты не сила крестная
И не исчадьё зла,
Целяя поднебесная
В лапы твои легла.*

И сам поэт выстраивает вертикаль от подземных глубин в Божественные выси, ощущая себя единосущным с Русью, удерживающей мировую вертикаль, бросая взгляд на великих предшественников и создавая свою неповторимость. Не царь, не раб, не червь и не Бог (вспоминается Державин!), но — русский человек в своей переменчивости, в своих многочисленных ипостасях и в своей гармонии, единстве тела, души и духа, принимающий на себя всю силу земных катаклизмов и таинственных стихий, значение которых остаётся за гранью человеческого сознания.

*Пусть я не тварь Господняя,
Но и не червь Земли.
Небо и преисподняя
В песни мои легли.*

На рубеже “какой-то смутной веры” ему доступно сдвинуть временные пласты, увидеть то или иное историческое событие наяву, пристально вглядеться в происходящее на его глазах, даже если это происходило за много столетий до его рождения.

Такие стихотворения, как “Чёрная заполярная...”, “Где же ты, сердце моё?..”, “Жёлтый тайфун”, намечали путь Н. Тряпкина к большому эпосу. В них поэт сдвигает подчас несколько временных срезов, соединяя их в одном ракурсе. Он идёт на прямое соединение былинного начала и бытового повествования о сегодняшних днях. Широкое эпическое полотно, развёрнутое на протяжении нескольких строф, исполнено в то же время глубокого лиризма.

Столь характерное для поэта совмещение реального и исторического пластов ярче всего воплощено в одном из его лучших стихотворений — “Песнь о хождении в край Палестинский”. Легенда, рассказанная поэтом о своём дедушке-богомольце, воспринимается как реальность, но одновременно и как далёкое прошлое, окутанное идилической дымкой, не имеющее ничего общего с нынешней трагедией на иорданских берегах.

Этот образ набожного старика родствен образу Савелия Пижемского, рождённого фантазией поэта, с удивительной творческой дерзостью сопоставляющего различные эпохи. Трагическая фигура пьяного забулдыги, бывшего старообрядца, безбожника и охальника, шумящего по улицам, чередующего пьяные частушки и “псалом о местах пересыльных, о решётках пяти лагерей”, напоминает Савелия — богатыря святорусского, воплощение русской удали и богатырства, или былинного Святогора, так и не нашедшего применения своей чудовищной силе, и, наконец, того сказочного богатыря, которого видел в своих пророческих снах Гоголь.

“Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразась в глубине моей; неестественною властью светились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, не знакомая земле даль! Русь!..”

Но не стало места, где бы можно было развернуться богатырю. Незаурядная натура, богатырская во всех смыслах слова, обречена. Вселенский великан становится Савелием Пижемским — убийцей и богохульником, свистящим по ночам под чужими дворами.

*“Эй вы, у-лоч-ки,
Переу-лоч-ки...”
Что за хрен такой на прогулочке?
Полупьяная бестия, в дым борода,
Заводила, чудила, шалыва.
Матюгами швыряешь туда и сюда...
Ой ты, Савва!*
.....
*А кругом — только чёрные скитские ели,
Только ели, куда ни качнись...
Самолёты летят. И в таёжные прели
Молодые стрелки подались.*

И ещё один богатырь прежней эпохи, “отче Никаноре”, идёт “ко святым местам”, дабы окунуться в святую реку, приобщиться к мировому духу, пройти по пескам Палестины... Минуло почти восемьдесят лет с той поры. На иорданских берегах “курятся и поднесь дедушкины печки”, но от спокойствия, религиозного умиротворения не осталось и следа.

Полыхают пожары, доносится запах гари и крови, слышатся стоны погибающих. “Священная война”, “война за Божью землю” или как там ещё, на поверку оказавшаяся кровавой бойней, в которой современные фанатики пытаются чужой кровью отплатить за собственную историческую невоплощённость.

*Что же вы творите здесь опять,
Ироды-злодеи?*

*Почему кровавы здесь пески
И в слезах горючих?
И не Бог ли рвёт свои виски
На сионской круче?*

Убеждённость в неотвратимом возмездии сливается с трагедийным чувством, которое слышится в голосе поэта, обращающегося к векам и мирозданию от имени погибших, принявшего на себя их боль и воплотившего её в голосе, обретшем пророческую силу, словно пронизывающем земной круг и космические дали...

*Грохотала земля. И в ночах горизонты горели,
Грохотали моря. И сновали огни батарей...
Ты прости меня, матушка, что играла на тихой свирели
И дитя уносила — подальше от страшных людей.*

.....
*Проклинаю себя и все страсти свои не приемлю.
Это я колочусь в заповедные двери твои:
Ты прости меня, матушка, освятившая грешную землю,
За неверность мою, за великие кривды мои.*

* * *

В последние годы у Тряпкина, всё набирая силу и полноту, звучала нота сопротивления. Сопротивления пошлости, чужебесию, расчеловечиванию. Он, тяжело переживший развал страны, октябрьский расстрел

1993 года, не мог и не хотел смириться с происходящим: “И фриц, и лях, и тарва, // хватало и другого хама. // Но не видала ты, Москва, // такой блевотины и срама”... “И все наши рыла — // оскаленный рот. И пляшет горилла // у наших ворот... // Огромные гниды // жиреют в земле. И серут хасиды // в Московском Кремле. Давайте споём!” В его стоицизме ощущалось нечто аввакумовское, его непримиримость была сродни непримиримости огнепального протопопа.

Пророчество новых грозных испытаний слышалось уже в “библейском цикле”. “Ну, кто из пастырей земли // упреки мудрых переносит? // Какие в мире короли // глупца на пир свой не попросят?..”, “И видел я, как подлость торжествует, // и как неправда судит правоту, // и как жрецы за глупость голосуют // и тут же всласть целуют ей пятую...” Время сделало свою немолчаливую работу, и то, что раньше плачем и стоном отзывалось в стихах поэта, с годами отлилось в строки, вопреки всему, несущие жизнь и свет — ибо не в “назём и глину” ушли его предшественники, его предки, оставившие поэту молчаливое завещание — досказать недосказанное ими: “Не помянем злую раскулачку, // чёрный лёд колымских рудников. // Превратим великую заплачку // в золотой и гордый Песнослов...” Тряпкин от едких и ироничных в своей беспощадности частушек переходил к величественным гимнам, слава, вопреки всему, “великий Советский Союз” и “великое братство людское”.

Он лучше ошалевших демократов знал цену, заплаченную за это братство, но не желал смириться с наплывом безбожной пошлости, растлением душ и умов, очередным геноцидом русского народа. Изнемогая под гнётом житейских невзгод, он с тревогой вглядывался в грядущее Отчизны, видевшейся ему, подобно Христу, распятой на кресте и терпящей поношения от ничтожных властителей. Но торжество тёмной и злой силы не вечно. Нечисть исчезает под лучами Божественного света, аки дым, не оставляющий следа.

*Пусть же провеет над нами крыло Серафима,
В сердце моём закипит огневая слеза!..
Снится мне Русь под созвездием Третьего Рима,
Верую, пращур, в святые твои образа.*

Поистине, полнота жизни и совершенное воплощение её в Слове не оставляют места страху перед смертью, ибо нет смерти для светлой и незамутнённой души поэта-праведника... Он знал это, и стоическим спокойствием и мудростью пронизаны его строки, рождённые предощущением неизбежного.

*Ой ты, камень под горою!
Ты совсем не алатырь.
Только буйной головою
Кто здесь падал на пустырь?*

*И галопом скачет вихорь,
Закрывая белый свет...
Только холмик с облепихой,
Только пыльный горчицвет.*

*Или, может, под тобою —
Никого и ничего,
Только к вечному покою
Ждёшь прихода моего?..*

Зимой 1999 года мы проводили в последний путь одного из драгоценнейших русских поэтов второй половины XX столетия. Кончина его была окружена гробовым молчанием, большинство населения России так и не узнало, **кто** в те морозные дни завершил свой земной путь.

*Завещаю кус простого хлеба
И в ночи горящий Водолей.
Поклоняюсь вам, земля и небо,
За весенний клёкот лебедей.*

ЕВГЕНИЙ ГУСЛЯРОВ

НА УЛИЦЕ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА

...Лучше всего в Лотошино ехать автобусом. Вы будете смотреть в подвижное, как экран, окно, и в нём будет длиться бесконечный сериал подлинной, неподдельной и неразгаданной жизни. Потекут спокойные дорожные мысли. Чем дальше от центра Москвы, тем меньше станет рекламных щитов, и вы вдруг увидите небо, встающее солнце и облака. Мысли от этого станут значительнее и чище. Может быть, вспомнится детство, и вы вновь ощутите, как притягательно бесконечное пространство, в котором происходят таинственные события, течёт неведомая жизнь, полная не угаданного смысла. Вас потянет в эту жизнь, вы станете пристальнее вглядываться в лица попутчиков, пытаться угадать их судьбы и задумаетесь о своей. Городские деревья, на которых редко бывают цветы и плоды, сменяются вдруг лесом, и вы увидите, как стремительно и буйно тянется к ясному солнцу вольное дерево, обретая стройность и свободную мощь. Это подскажет вам житейскую метафору. Вы станете думать, что там, далеко от Москвы, живут, возможно, и иные люди, распрямлённые, крепкие духом, прочно стоящие на земле, потому что земля эта питает их живой водой, а не душит асфальтовым зноем. Скоро люди, едущие в автобусе, станут выходить, потому что стрелки с надписями на столбиках у обочины обозначат конец их сегодняшнего маршрута. Люди иногда выходят просто к лесной опушке, оттуда им надо ещё пройти по просёлку, чтобы оказаться дома. А стрелки на дорожных столбиках останутся здесь, как указатели чьей-то судьбы.

В окне замелькают перелески, рощи и деревеньки с тихими, неслыханно чудесными названиями, речные плёсы выглянут из дремотного леса. Начнётся вечная, непреходящая Россия. Сосед подскажет, что вот-вот появится Лотошино, и вам станет тревожно и любопытно. Вы никогда не знали ни мест этих, ни людей. И скоро ты всё это узнаешь, нечто новое войдёт и в твою судьбу, станет частью тебя самого.

...Наутро решил я пройти по улице Николая Тряпкина. Там он жил. Там сохранился дом, срубленный им самим. Удивительное дело. Я не могу вспомнить, чтобы был на Руси ещё один поэт, который бы так же свободно и легко владел заветным ремеслом плотника.

“Что написано пером, того не вырубишь топором”. Ясная зависимость подразумевается и тут меж двумя ремеслами. Главенствует тут, правда, перо.

Всё привычно на этой улице, кроме того, что ухарского размаха пряничные особнячки нездешних скоробогатеев наступают и тут на тёмные, будто из

литого серебра сосновые срубы и заплоты. Окнами в резных наличниках широко и равнодушно смотрят старые избы на весёлых нагловатых пришельцев. Что бы ни делалось, надо продолжать исполнять своё назначение: хранить уют, сберегать порядок и согревать теплом. С такими несуетными мыслями жить легко и умирать нетрудно.

Мне нужен номер восемьдесят третий. Вот он, тот старый дом, два дерева, завалинка, на которой можно сидеть и думать. И дышится, и думается тут непременно вольнее и шире, чем в стерильных стенах по-европейски оштукатуренного кабинета.

Об этом доме он сказал:

*Душа опять в наплыве детских дрём.
Кричит за лесом куличок-болотник...
Люблю тебя, мой старый сельский дом,
И всю траву у низкой подворотни.
Тебе хвалу воздать не лишний был бы труд
И справить юбилей от имени колхоза
За то, что тридцать лет стоишь бессменно тут
И выдержал со мной все горести и грозы.
Душа моя в наплыве тёплых дрём.
Горит сентябрь в нарядном перелеске.
Ура, мой друг. Ура, мой старый дом!
Ты, солнцу радуясь, откинул занавески.*

*Вон куры, как весной, купаются в пыли,
И только рожь покошена в просторах,
И там комбайны разбрелись, как журавли,
Вытягивая шеи транспортёров.*

*Ура, мой друг! Ура, мой старый дом!
Ты, солнцу радуясь, откинул занавески.
И я пою, в наплыве тёплых дрём,
О праздничном сентябрьском перелеске.*

Я, конечно, постучал в окно. Был день, рабочая пора, но в доме была приметна жизнь.

Вышел хмурый нынешний хозяин.

— Вот, — говорю, — хотел посмотреть, как жил поэт Николай Тряпкин...

— Не вы первый, — говорит хозяин угрюмо. — Надоело уже.

Всё-таки он разговорился потом. Сказал, что долго старается поудобнее приспособить дом под житьё, ладит пристройки, переделывает внутри, да всё на полпути останавливается, нет денег.

— Надо бы в администрации поговорить, — догадался он вдруг, что я могу передать этот разговор, — может, дали бы равноценную замену. А то спохватятся потом. Тут и так одни только стены остались...

Он делается дружелюбнее. Я захожу с ним в избу. Ничто, конечно, тут уже не скажет о бывшем хозяине. Несколько книг на полке, но и там Тряпкина нет. Унылые следы переделок, которым не предвидится конца, и от которых выветрился уже сам бывший тут когда-то жилой дух, помогавший петь "о праздничном сентябрьском перелеске".

...Ночью я перечитываю стихи Николая Тряпкина. Две его книжки я взял в музей, и мне их утром надо вернуть. Поселили меня в знаменитой здешней охотничьей гостинице, среди леса, рядом с прудом, в котором ходит большая рыба, отмечаясь медленными кругами на поверхности. Тишина тут такая, какой давно уже не слышал. Она как нельзя лучше подходит к негромкому слову Тряпкина. Тут я один, но, видно, тишина имеет такое же свойство, как тьма у костра — объединять души, и поэтому, кажется, прямо мне сказаны слова:

*Я не убрал весёлого оружия,
Что получил от плотника-отца,
Я знаю, что без песни "раз-два — дружно"
Ты посрамишь отцовское ружьё,*

*Не выстроишь ни хаты, ни дворца.
А я хочу, чтобы солнцем и весною
Играло в окнах каждое стекло
И чтобы песня, сложенная мною,
В ненастье опустилась над тобою,
Как избяное тёплое крыло...*

В эту ночь я ощутил счастье быть читателем. Радоваться недоступной тебе, не ошибающейся силе Божьего дара. Удивляться и обмирать душой на подступах к чужой поэтической удаче. Чувствовать, как давно знакомые слова, сложенные одно к одному сердечным тайным чутьём, изумляют новым небывалым смыслом:

*Сколько снегов промчалось!
Сколько дождей пролилось!
Сколько опять в коренья,
Сколько опять в зерно!
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось,
И на сыновьи плечи
Прямо упало оно...*

В ту ночь я думал о том, что особого рода произведением великой назидательной силы является и сама жизнь поэта Николая Тряпкина.

Он прожил жизнь без суеты, сэкономил душевную бодрость на поиски слова. А за ним далеко ходить не надо было. Конечно, всякий маломальский талант подспудно имеет обязательные виды на славу. Но слава – штука ба-лованная и капризная. На ласку её измором и настойчивостью не соблаз-нишь, не вынудишь. Но если уж она сама к тебе придёт туда, где ты, может, и не ждал её, то и будет верной. Слава у Николая Тряпкина именно такая. И как знак этого, улочка его имени будет стоять вечно.

А в администрацию я всё-таки обращаюсь. Ведь, в самом деле, прав су-мрачный и затурканный жизнью нынешний хозяин ценнейшего литературного достояния Лотошинского края и целой России. Дом этот обязательно надо со-хранить как явственный материальный знак, каким отмечена жизнь прекрас-ного русского поэта, и как произведение его плотницкого мастерства, кото-рым он так же дорожил, как своим поэтическим даром.

ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИЧЕНКО

АГРООЛИГАРХИ ВЗЯЛИ СТРАНУ ПОД КОНТРОЛЬ

С Василием Мельниченко, председателем Всероссийского общественно-го движения “Федеральный сельсовет”, я встретилась после Съезда представителей деревень, сёл и малых городов. В работе форума приняли участие 811 делегатов от 52 регионов, съезд заслушал 17 докладов и обсудил 27 предложений “с мест” — от выступавших из зала.

О чём шумели крестьяне и селяне? Народ надеется, что нацпроекту “Развитие сельских территорий” будет дан “зеленый свет” в правительстве. Чтобы укрепить страну, нужно создать 70 тысяч новых крестьянских хозяйств, 3 тысячи производственных кооперативов, построить 300 тысяч домов для новых сельских тружеников.

— Максим Орешкин, другие министры, рассказывают нам про рост ВВП в 1-2% в год, — размышляет Мельниченко. — С такими темпами пятой экономикой мира мы не можем стать даже к 2050 году. А вот если мы выполним поручения Президента по развитию сельских территорий, рост будет в 13% ежегодно.

— **Василий Александрович, крестьяне из нескольких областей накануне президентских выборов обратились с письмом к Путину. В нём сказано, что сельское хозяйство страны контролируют 22 семьи агроолигархов. Они забирают 92% всех субсидий, выделяемых государством. Это так?**

— Да. Раньше цифры не афишировались, но теперь, благодаря работе Счётной палаты, мы это знаем. На поддержку села выделяется более 200 млрд рублей в год, львиная доля этих средств — более 80% направляется агрохолдингам. Малые и средние сельхозпредприятия остаются без финансовой поддержки государства.

— **Что будет с нашей продовольственной безопасностью, если против агроолигархов введут санкции?**

— С продовольственной безопасностью, может, ничего и не произойдёт, но у нас при господстве агроолигархов никогда не будет безопасности продовольствия. Можно давать прирост производства мяса, добавляя антибиотики и анаболики в корма. Все показатели — вверх! Один животноводческий комплекс, который губернатор приводит в область, создавая 50 рабочих мест, губит тысячи рабочих мест в округе. Непоправимый ущерб крестьянству России! Агроолигархи никогда нам не дадут безопасного продовольствия!

— **Агроолигархи срослись с властью?**

— Они выросли из неё. Ни один олигарх не мог бы построить молочный комплекс, свиноферму за 9–12 млрд руб., если бы ему эти деньги не дала

федеральная власть. Всё, что получили “мошковичи, линники” и все остальные по списку, им дала власть.

В 2014 году агроолигархи подошли к банкротству и попросили Путина списать им долги. Было два пути. Просто списать или резко повысить цены на продовольствие. Во втором случае надо было придумать причину. И её нашли — импортозамещение. Выкачали из кармана потребителей, в том числе горожан, которые никакого отношения к селу не имеют, 1,5 триллиона рублей.

— **Понятно. А с чего вы взяли, что люди, построившие такую схему организации сельского хозяйства, вдруг начнут её менять?**

— А они не собираются ничего менять. Агрохолдинги создавались, чтобы отправлять продовольствие на экспорт и зарабатывать внутри страны. Огромные деньги! Одно дело, когда они распылены среди, допустим, 1 млн фермерских хозяйств, а другое, когда находятся в руках 22 семей. Развитие агрохолдингов — это создание механизма контроля за едой, в случае кризиса, можно кому-то дать много еды, а кому-то не дать совсем, вот вам и управление обществом.

— **Читатель, комментируя в интернете вашу статью о селе, пишет: “Давно работаю в сфере импорта сельхозпродукции. Наблюдаю совместную деятельность Алексея Гордеева, Штефана Дюрра, Дмитрия Медведева. Вижу, как происходит концентрация капитала, скупка земель в Воронежской области. Ими теперь владеет гражданин Германии Дюрр. А 10 мая сего года Алексей Гордеев становится куратором агропрома России. В сельское хозяйство много вкладывают, но очень хитро”.**

— Читатель прав. Беседуя с Алексеем Гордеевым, мы этот вопрос обсуждали. Я услышал от вице-премьера, что он хочет изменить ситуацию.

Не знаю, насколько это искренне — желание перемен, но всё подмечено точно: денежные средства на уровне регионов перетекают в карманы нескольких прикормленных хозяйств, а люди покидают сёла и деревни.

— **Вы встретились с Гордеевым в рамках обсуждения нацпроекта. А с Чубайсом почему не стали?**

— Сейчас-то с Чубайсом смысла нет встречаться. А вот когда Чубайс работал вице-премьером, я с ним встречался и доказывал, что сельское хозяйство никакая не “чёрная дыра”. Когда “пропали” 13 млрд бюджетных средств, я заявил, что, как настоящий русский мужик, застрелюсь, если Чубайс мне покажет, что они ушли на село. И я предложил, что если это не так, застрелиться, как настоящему русскому мужику, Чубайсу.

Но он не застрелился.

— **Может, он нерусский?**

— Возможно. Но ещё при Черномырдине было доказано: за пределы Садового кольца деньги не выходили. Растворились в фондах всевозможных.

— **13 млрд вообще мистическое число. Счётная палата в 2015 году не обнаружила в “Роснано” именно эту сумму.**

— Тут хоть каждый год стреляйся.

— **Да. Так вот, народ говорит, что ваши выступления по селу, надежды на Путина — отвлечение от пенсионной реформы. Вы — маскировочная сетка, прикрывающая неприглядное лицо власти.**

— Я все мнения и предложения уважаю, и они могут быть разные. Но я не вижу ни одной силы, которая по-настоящему была бы оппозиционна власти и имела результаты. Власть сегодня сильнее всех оппозиционеров — и кормленных, и не кормленных.

— **То есть вы себя считаете частью власти?**

— Нет. “Федеральный сельсовет” — народное движение. Мы выбрали тактику разработки предложений. Сформировать такой пакет мер и предложений, полезных для людей, от которых власть не сможет отказаться.

У нас до сих пор стагнация экономики и социальной жизни, поворотов в лучшую сторону нет, и предложений, как всё изменить, тоже. Мы это видим в “Федеральном сельсовете”, потому что каждый день к нам приходит 5-6 проектов спасения России. Предложения все дельные, хорошие, но это — не код развития страны.

— **На крестьянских форумах в интернете посчитали, что на поддержку агропрома у нас идёт 1,3% бюджета. А в Белоруссии — 30%. И даже на Украине, которую проклинает весь наш телевизор несколько лет, 7%. Поэтому крестьяне предлагают поставить всех в России в равные условия, лишить крупный агробизнес господдержки.**

— Правильно! Я всегда писал и говорил о том, что не нужны ни мне, ни моим друзьям-фермерам дотации и субсидии. Это очень субъективно: этому дам, тому не дам, что мы сегодня и видим. Не умеет наша власть работать справедливо с дотациями.

Доступ к финансам должен быть одинаковым. А не крепостное право на кредит, на энергетику, на нефть и газ, когда мы никакого отношения к богатствам страны не имеем.

Мы говорим: «Нет, ребята, дайте доступ к ресурсам. Нулевая ставка Центробанка, и до 5% максимальная ставка кредита. Если это берет крестьянин на свой бизнес-план, то ставка от 0 до 2%». Так делает Польша, другие страны, у которых и средний класс, и территории развиваются, и безопасное продовольствие — в том числе на экспорт.

Мы хотим быть конкурентоспособными в мире? Нет проблем! Давайте сделаем дизельное топливо по 12 руб. А почему нет, если его себестоимость 6 руб.? Давайте сделаем по всей территории России одинаковую цену на электроэнергию — 2 рубля. И не на один год, а на десятилетия. Потому что максимальная себестоимость квтч — 40 коп. Что, неужели, 1 руб. 60 коп. не хватит наценки?

Еды у нас хватает в России. Справедливости нету!

Ни одна страна, развивая свою территорию, не обошлась без специального государственного банка развития территорий. И люди в них с удовольствием несли деньги. Они видели, что на эти средства строится дорога, плотина, ферма, завод.

— **Создадут госбанк развития территорий, и ни один человек туда не понесёт деньги, потому что через год руководитель сбежит в Лондон, будет жить там припеваючи.**

— А кто внёс в Сбербанк 23 трлн рублей? Население. А кто заставлял людей нести деньги в МММ, в «Хопёр-инвест»? А в честный банк? Тем более несут.

Это всё наши, народные деньги. По Конституции у нас всё принадлежит народу.

Не верит народ в это, ничего не хочет делать? Ладно. Но давайте о детях подумаем. Или они тоже не нужны? Все, как олигархи, за границу уезжаем? Бросаем землю? Если бросаем, то народ должен громогласно заявить: всё, мы здесь жить не хотим и не будем.

— **Один у нас в стране настоящий патриот. Это Путин. Он никуда не уезжает, как избрался, так и работает.**

— А-а... А жена уехала, дети непонятно где живут.

— **Ну, он-то остался! Пора набираться у него патриотизма.**

— Я бы наших крестьян вернул к чтению поручений Президента, Путина Владимира Владимировича, от 6 мая 2014 года. Там всё прекрасно прописано, как должны развиваться сельские территории и малые города. Ничего больше не надо, только выполнить эти поручения. Задача — запустить эту матрицу.

Я не говорю, что Путин хороший. Я — о другом: Путин неплохо советует! Неплохо говорит и рассказывает, что надо делать. Вот придерживайтесь к нему: что плохого в этих поручениях по развитию села?! Он хочет, чтобы мы были богатыми, здоровыми, долго жили, рожали детей, чтобы наша экономика стала пятой в мире. Это что, плохо? Давайте так: всё, что он советует делать хорошо, делать, а всё, что он советует плохо — не будем делать.

Послушайте любого министра после объявленных поручений Путина по селу от 6 мая 2014 года. Все говорят: не, невыполнимо. Вопрос у меня к Путину только один: чего их не выгонишь?! Зависим от них? Что-то не так во дворце? Или что?

Когда к нему приходят эти губернаторы, Господи прости, они все такие солидные! Садятся за столик, который нам всё время показывают по телевизору, и начинают ему рассказывать!.. Врут так, что сивый мерин рядом с ними даже не стоял. Он же знает, что врут?

— **Может, и нет.**

— Знает! По идее, он должен снимать такого губернатора или министра сразу.

— **Так можно весь правящий класс извести.**

— Но тогда у него будет и рейтинг высокий и справедливый, и мы его сильно зауважаем. Ныне в России только так можно заставить их работать. Хотя я лично — за свободу предпринимательства, считаю, что если зажимать,

толку не будет никакого; я — за свободу слова, хочу, чтобы СМИ работали без прикрытия, а просто честно рассказывали факты. Я — за открытые границы, хочу, чтобы мы обменивались технологиями со всем миром.

Я абсолютно против войны. Любая война, даже маленькая, намного хуже, чем плохая дружба.

— **А нынешний строй как бы вы назвали?**

— Это не капитализм. Я видел, как живут люди в Канаде, Дании, Норвегии. Там почти уже коммунизм в моём понимании. Есть достаток и свобода, есть разумная аграрно-промышленная политика.

Я хочу, чтобы у всех россиян были красивые дома. А у наших детей пусть будут ещё лучше.

— **Пятиэтажные квартиры, как у Игоря Ивановича Сечина.**

— Нет, для меня это, наверное, было бы излишне. Но у моей семьи тоже есть два двухэтажных дома.

Не хочу, чтобы вокруг меня были бедные люди. Я могу сделать табуретку, сшить шубу, могу нарезать свинью и приготовить из мяса колбасы, я держу пасеку, у меня есть мёд. Могу работать и производить товар. Но если вокруг меня все будут бедные, куда я всё дену? Мне надо, чтобы у меня покупали товары, чтобы я тоже разбогател. Я, как видишь, корыстный мужик.

— **Не запускается у нас этот круговорот — товар-деньги-товар. Нет механизма справедливой оплаты. Нет и духовной радости, что твой труд нужен обществу, что тебя, как мастера, ценят. Наше госуправление — древнее, архаичное, отсталое. Надеяться на его перерождение — иллюзия.**

— Ещё лет десять назад вот что я заметил: выступая в Совете Федерации, в Госдуме, участвуя в круглых столах, совещаниях, я ни разу не столкнулся с ситуацией, когда бы я услышал запрос на перемены снизу, от людей.

Все вроде и хотели хорошей жизни, рассуждали на эти темы. А вот предложения были слабые, всё больше жаловались.

У людей — огромная проблема с самосознанием, с пониманием своего места в жизни. По этой причине у нас такие выборы и такие результаты. Люди не просчитывают последствий. У нас ни один глава администрации не знает, что он будет через полгода делать. Он просто устроился на работу — даже если его и выбрали. Нет стратегических планов развития.

В обществе есть запрос на справедливость, но желания работать для неё — нет. Если бы это было, мы бы жили совсем по-другому. Пришёл бы миллион мужиков на Красную площадь и всё бы решили! Но что решать, если они не знают: зачем куда-то идти?!

— **“Федеральному сельсовету” сколько лет?**

— Пятый год.

— **Чего вы добились?**

— В масштабах страны перемен пока нет, но будут.

— **Вы себя считаете политиком?**

— Нет. Я общественник. Меня, кстати, в 90-е годы всё устраивало. Все хозяйства вокруг валились, а наше хозяйство работало, мы старались добиваться хороших результатов.

Потом нас сожгли. Тогда мы организовали свою газету, стали заниматься правозащитной деятельностью. Так я пришёл к общественной работе. И постепенно появилась и воплотилась идея “Федерального сельсовета”.

Первоначально мы не ставили задачу — добиться чего-то. Нужна была переговорная площадка, чтобы что-то создать. Потому что с чем идти в Кремль? Что предложить?

Мои друзья, красные коммунисты, говорят: нужна деприватизация, а друзья, белые коммунисты, говорят: всё, что украли, назад нельзя возвращать. Да, конечно, имущество было передано несправедливо. Его украли у людей, что тут спорить. Но, допустим, мы сегодня объявим деприватизацию, вернём имущество. Кому? А кому мы вернули нефть, газ?

— **Чиновникам, “силовикам”, видимо.**

— А народ готов взять имущество? Поэтому “Федеральный сельсовет” предлагает проектное развитие. Это мировая практика, которую используют многие страны.

Нам нужна новая техника, технологии, мощное образование. А кто сейчас переучит 70 млн трудоспособного населения? Мне часто говорят, что я

русофоб — не верю в отечественные таланты. Но почему Сталин приглашал зарубежных инженеров, а мы — нет? Давайте позовём западных специалистов, пусть они научат нас новым технологиям. Нам нужно производить конкурентную продукцию в тех отраслях, где мы отстаём.

— **Кого вы можете назвать своими союзниками, партнёрами?**

— Наш сельсовет вышел из Московского экономического форума. Это экспертная площадка, организованная в 2013 году не властью, а представителями бизнеса, образования и науки. Но МЭФ ориентирован на промышленную политику, макроэкономику. А как территории развивать? Возникла идея создать площадку, которая объединит людей вокруг этой тематики.

Первый Съезд мы провели в Совхозе имени Ленина. В этой территории хорошо работает модель связи местного самоуправления и коммерческой структуры на благо людей.

Наши союзники по развитию сельских территорий — это и заводы сельхозтехники, такие, как Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, объединение Росспецмаш, и переработчики продукции, и руководители многих КФХ, и общественные организации. Это и Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, а почему нет?

— **Потому что Алексей Леонидович активно продвигал идею, несовместимую с развитием сельских территорий, а именно: создание агломераций, развитие супергородов.**

— Так не получились удобные для жизни агломерации, только “пчельники”, вроде Москвы. Демографический рост тут невозможен.

Все мы имеем право на разные мнения. Эффективные современные города нужны, 70% населения России в них живёт.

— **Герман Стерглигов категорически против городов. Он ваш союзник?**

— Нет, он на “Федеральный сельсовет” не ходит. У нас с ним разные взгляды на удобрения, на электричество. Да, предрекают, что 10% рынка сельхозпродукции будет занимать органическое производство. Но давайте развивать всю территорию, давайте дадим простор предпринимательской инициативе. У нас же вообще не обустроена страна! У нас даже теоретически не должно быть безработицы, а она у нас — огромная. Создана умышленно, чтобы люди разучились работать.

— **А кто её сделал?**

— Власть.

— **В чьём лице?**

— Президенты, мэры, пэры. Люди пришли к власти. Может быть, случайно, неожиданно. Никто из них не думал, что завладеет всем имуществом страны. Сегодня те, кто на самом верху, все находятся в таком возрасте, когда надо подумать, как бы попасть в рай. Всё равно мы все умрём, пусть никто не надеется вечно жить. Но сейчас им тревожно. У всех подросли дети. Им надо передать в наследство страну. Спокойную. То есть — бедную, голодную и больную. Нормальная политическая технология удержания власти. Так делали все тоталитарные государства.

Но мы же — демократическая страна по Конституции? Если мы захотим поменять — всё можно сделать, как мы хотим.

А выборы надо начинать с себя. Давайте выберем хотя бы сельсоветы для начала. Мы же у себя в селе из тысячи человек не можем выбрать десять депутатов приличных. Значит, мы незрелое общество?

— **Главная беда — денационализация народа?**

— Да. А потом, мы же в двухтысячных годах наелись — брюхо набили все. Попробуйте сегодня людям, которые знают времена, когда некоторые кушали комбикорм, сказать, что Путин — плохой.

Выйдите в любой московский двор — стоят мерседесы, лендроверы. Конечно, многие не понимают, откуда взялось благосостояние. В глубинке считают, что это заслуга Президента.

Нам Европа давала больше 100 долларов за баррель нефти, деньги выплеснулись в народ, потому что их просто не успевали воровать. И вот эти 30–40 долларов, которые шли сверх того, что мог поглотить наш госорган, дали нам всплеск развития: заводы по автомобильной сборке, стройки, ипотеку.

А потом покупатели опустили цены. И всё замерло.

— **Ваш прогноз на ближайшие годы. Что дальше будет?**

— Идёт подготовка переустройства вертикали власти. В ближайшее время Владимир Владимирович Путин станет руководителем Госсовета, а премьер-министром станет человек, который сможет решить вопрос с санкциями. Таких людей мало, их можно пересчитать по пальцам, кто рукопожатный на Западе и обладает достаточным опытом госуправления.

Потом объявят президентские выборы, это может быть 2019 или 2020 год. Президента, конечно, урежут в полномочиях, главные решения уйдут в Госсовет. Но это будет человек без криминала, без завышенных претензий, женатый.

Потом потихоньку начнут снимать санкции.

— **В обмен на что?**

— Люди, которые придут к власти, договорятся. В том числе и с Украиной. Просто придётся лет пять кого-то очень сильно подкармливать.

Начнёт развиваться экономика. Я думаю, что вернут часть полномочий местным властям, потому что без этого полный тупик. Вплоть до потери части территории России, если не будет развития.

Если сейчас запустить в работу планы, которые писались с участием “Федерального сельсовета”, то через пять лет Россия войдёт в пятерку лучших экономик мира. У нас будет высокий уровень жизни.

Мы ставим планку: сейчас минимальная зарплата должна быть 50 тыс. руб., и 20 тыс. руб. — самая маленькая пенсия. Ниже этого — все бедные, у нас их сегодня 50 млн человек, а не 20 млн, по госстатистике.

— **Вы — монархист?**

— Нет, колхозник-коллективист, а значит — демократ. Мне нравится, как устроено госуправление в Норвегии. Там хотя и монархия, но очень сильна власть коммуны. Сельсовета то есть.

— **Мне кажется, что власть до сих пор не понимает, что её спасение — в укреплении коренной России.**

— Кому повезло дорваться до власти и денег, тот уже остановиться не может. Когда человек сильно разбогател, он первым делом покупает яхту, которая ему совершенно не нужна. Потом оказывается, что супруга поплыла на яхте, вышла замуж за другого, а ты даже не можешь поехать и по физиономии надавать, потому что ты — под санкциями. Ну кому нужна такая скучная жизнь?!.. “Федеральный сельсовет” предлагает иную форму организации жизни в территориях, основанной на справедливости, которой все желают, но которой так никогда и не было.

По Конституции пока ещё вся власть принадлежит народу. Недра и земля принадлежат народу! Так чего ж мы отказываемся от них?!

Мы не чувствуем себя хозяевами страны, как это записано в Конституции. Но давайте хотя бы этот документ изучим и будем ему следовать. Сами.

Посмотрите: у нас было такое, чтобы люди, граждане, взяли на себя ответственность хотя бы за своё село, за свою улицу, за страну? Давайте с этого начнём. Чтобы мы вышли на улицу и в каждом селе или городе сказали: мы, народ, несём ответственность за свою семью, за дом, за дорогу. И за всю власть России. И не надо думать: “Ой, а мы ни при чём! Это они там, во власти, “козлы!”. Мы несём ответственность за этих “козлов”, и это наши “козлы”. Либо мы — народ, либо — нет, и тогда действительно — нам ничего не положено.

Мне кажется, что как одни люди имеют право сомневаться, так и другие имеют право верить, что всё можно поправить, изменить.

Всё у нас будет хорошо.

Беседовала Лидия Сычёва

ЕВГЕНИЙ ТКАЧЕНКО

О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Инновации, ускорение научно-технического прогресса, подъём созидательного сектора экономики — это то, без чего Россия сегодня не сможет выжить. После кризиса 2008 года понимать это стали многие, а после введения санкций Западом — практически все. В связи с этим о рецептах подъёма экономики в России говорят даже люди, от экономики далекие. “Правильные” речи и наставления руководителей страны на эту тему звучат почти каждый день. Проводятся конференции, выдвигаются многочисленные программы и предложения. А реальных сдвигов как не было, так и нет. Их и не может быть, поскольку говорение и делание — вещи разные. В речах прослеживаются попытки найти быстрое решение, принципиально не меняя ничего в схеме управления экономикой. А она сегодня — самая худая, которая к успеху привести никак не может. Причём ещё и сориентированная на западный опыт, который у нас никогда не приживётся. Время уходит, а понимание, что задачу надо решать, ориентируясь на опыт собственный, и то, что быстрого решения она не имеет, всё не приходит. Решить её, думаю, можно только одним способом — принципиально перестроить все взаимоотношения в созидательных секторах экономики. Необходимо заменить в каждом технически сложном секторе так называемых менеджеров-управленцев на профессионалов-специалистов. Понятно, что найти, подготовить таких специалистов и создать в каждом секторе экономики хотя бы подобие школ быстро не удастся. Но другого пути нет.

Для понимания, что главное, а что второстепенное, с чего необходимо начинать, рассмотрим, как развивалась экономика России в XX веке. Было два резких подъёма и два спада.

Так что же это за экономические катаклизмы и чем они были обусловлены?

1. Первый резкий экономический подъём в России наблюдался в 1909–1913 годах, кстати, назван он в специальной литературе “Экономическим

ТКАЧЕНКО Евгений Анатольевич родился в 1947 году в городе Кировске Ленинградской области. Окончил Ленинградский политехнический институт. Начал трудовую деятельность конструктором на заводе “Ленподъёмтрансмаш”. В 1976–1977 годах работал в Польше. Строил меткомбинат Хута Катовице. Автор 24 изобретений. Награждён нагрудным знаком “Изобретатель СССР”. Печатался в технических журналах “Промышленная техника и склады”, “Изобретатель и рационализатор”, “Промышленное машиностроение”. Печатался в литературных журналах. Автор книг “Давно опавшие листья”, “В будущее — с памятью о прошлом”, “Попутчики”, “Жизнь и о жизни”, “Записки поперечного человека”. Победитель всероссийского литературного конкурса “Герои великой победы”. Его работы отмечены дипломами восьми международных литературных конкурсов.

бумом". По темпам экономического роста страна в это время вышла на первое место в мире.

2. Второй экономический подъём пришёлся на сталинские времена — 1936–1953 годы.

3. Первый экономический спад мы можем видеть во времена Хрущёва — 1954–1964 годы.

4. Второй экономический спад резким не был, но был неуклонным и неотвратимым — 1977–1987 годы. Продолжался он десятилетие, как и первый спад.

Убеждён, что подъём или спад экономики, в первую очередь, связаны с тем, на какой круг действующих лиц делается ставка высшей властью страны. Если лица выбраны правильно, то будет подъём, а если — нет, то спад. Понятно, что факторов много, есть и не зависящие от власти. Предлагаю рассмотреть проблему подъёма и спада экономики только в ракурсе действующих лиц, на которых власть делает ставку.

1

Рассмотрим подъём экономики в России 1909–1913 годов. В нашей истории он тщательно замалчивается как коммунистами, так и либералами. Возможно, потому, что подрывает их идеологические построения. Вот те обстоятельства, которые стимулировали этот подъём и определяли его особенности:

а) Решающим фактором подъёма был экономический рост страны, успехи сельского хозяйства и промышленности;

б) Столыпинская аграрная реформа ускорила развитие капитализма в сельском хозяйстве, а это увеличило спрос на сельскохозяйственные машины, удобрения, кровельное железо и другие промышленные товары;

в) В стране возникло обилие капиталов. Массовые инвестиции происходили во время подъёма, а поскольку предыдущий подъём не состоялся, то целых десять лет капиталы в стране накапливались. В это время многие промышленные фирмы, основанные иностранцами, переходили в руки русских капиталистов, и доля иностранного капитала сократилась с 1/2 до 1/3 всех акционерных капиталов (здесь и далее я опираюсь на данные ряда экономистов, прежде всего, Сигизмунда Миронина и П. Грегори)*;

г) В России было достаточное количество качественных инженерно-технических работников (ИТР).

Эти главные обстоятельства и обусловили особенности подъёма. Необходимо отметить и то, что подъём экономики был естественным и логичным, подготовленным предыдущими разумными действиями власти.

Лидировала тяжёлая промышленность. Она увеличила производство за годы подъёма на 76%. По темпам роста промышленности Россия опережала другие страны, и не только в годы этого подъёма. За период с 1885 по 1913 год среднегодовые темпы роста промышленного производства в России составили 5,7%; в США — 5,2%; в Германии — 4,5%; в Англии — 2,1%. Занимая пятое место по объёму промышленного производства, Россия догоняла лидирующие страны. Россия шла впереди по концентрации производства. Она занимала одно из ведущих мест даже по техническому уровню промышленности.

В период между 1890 и 1913 годами русская промышленность учетверила свою производительность.

Этот технический уровень и прогресс обеспечивали русские ИТР, которых было в России не более 50000, около 10000 из них — инженеры. Заработная плата инженеров колебалась тогда от 2 до 8 тысяч рублей в год. Такая высокая зарплата была вполне оправдана, поскольку инженеры были настоящими, можно даже утверждать, что лучшими в мире. Инженер мог заработать и больше, если выигрывал конкурс. Все серьёзные инженерные работы в России тогда проводились на основании конкурсов.

Очевидно, что "экономический бум" в России проходил на фоне очень высокого социального статуса ИТР, значительно превышающего социальный статус чиновников.

* Миронин С. Экономика царской России. "Золотой Лев", № 105–108, 2012; Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.) М., РОССПЭН, 2003.

Рассмотрим второй экономический подъём, который пришёл на сталинские времена, — 1936–1953 годы. Уделим ему большее внимание, чем первому, поскольку он более актуален для нас. Страна в 30-х годах прошлого века находилась примерно в таком же состоянии, в каком находится сейчас. Производящий сектор экономики, как и тогда, был порушен, имелась острая нехватка инженеров. Чем же сталинский подъём был вызван, и каким образом власть его обеспечила?

Ускорению технического прогресса при Сталине способствовала система оплаты труда рабочих и инженерно-технического персонала. Она учитывала меру трудового вклада каждого и ценность этого трудового вклада для всего общества, при этом поощрялся сложный, высококвалифицированный труд. Это касалось не только учёных, инженеров, конструкторов новой техники. Рабочие, например, на своём предприятии могли получать по мере роста своей квалификации зарплату, в 4–5 раз превышающую средний уровень. Существовавшая тогда многоуровневая тарифная система позволяла сделать это.

В 1947 году зарплата профессора, доктора наук повышается с 1600 до 5000 рублей, доцента, кандидата наук — с 1200 до 3200 рублей. В научно-исследовательских институтах учёная степень кандидата наук стала добавлять к должностному окладу 1000 рублей, а доктора наук — 2500 рублей. В это же время зарплата союзного министра составляла 5000 рублей, а секретаря райкома партии — 1500 рублей.

Обратите внимание, что это делается сразу после войны, когда стране ой как тяжело. Это ж каким стратегическим мышлением надо было обладать, чтобы принять такое решение, и как же бездарна сегодня власть в России, когда целое десятилетие страна купалась в нефтяных деньгах, и палец о палец никто не ударил в плане экономической стратегии страны и экономической безопасности.

Учёные в СССР того времени имели и дополнительные доходы, иногда превышающие зарплату в несколько раз. Поэтому они являлись наиболее богатой и одновременно наиболее уважаемой частью советского общества.

В результате такой политики уже к середине 50-х годов в СССР было наибольшее количество учёных-специалистов в разных областях, а также научных школ, благодаря чему были сделаны выдающиеся открытия мирового значения. В стране, экономический потенциал которой составлял всего 30 процентов от уровня Соединённых Штатов, работала половина всех инженеров мира.

Проекты в технически важных направлениях выполнялись следующим образом. Для каждого проекта руководством организации назначался руководитель, как правило, **не занимавший административной должности**. Руководитель проекта набирал временный коллектив для выполнения проекта из сотрудников одного или нескольких подразделений организации с согласия руководителей этих подразделений. Иногда в состав этого коллектива могли включаться и сотрудники других организаций, участвующих в проекте. Одного из членов коллектива руководитель проекта назначал своим заместителем. В процессе работы над проектом руководитель мог исключить из коллектива любого члена. Каждый член коллектива независимо от занимаемой должности изначально получал 1 балл, характеризующий долю его участия в работе над проектом. Руководитель получал добавочно 5 баллов, а его заместитель — 3. В процессе работы руководитель мог добавить любому участнику проекта от одного до трёх баллов, в зависимости от вклада в проект. Это делалось открыто, с объяснением причин всему коллективу. Рационализаторские предложения, обеспечивающие сверхплановые показатели проекта, оценивались в 3 балла, а заявки на изобретения — в 5 баллов. Эти баллы авторы делили между собой по взаимному согласованию. К моменту завершения проекта каждый участник знал сумму причитающихся ему премиальных, зависящих от числа набранных баллов и общей суммы сверхплановой премии за проект в соответствии с известными всем премиальными шкалами. Сумма премии окончательно утверждалась на заседании государственной комиссии, осуществлявшей приёмку проекта, и буквально на следующий день все участники проекта получали причитающиеся им деньги.

В случае проектов с большим бюджетом, выполнявшихся в течение нескольких лет, стоимость одного балла могла составлять десятки тысяч рублей.

Поэтому все члены коллектива с большим уважением относились к людям, обеспечившим получение таких высоких премий, что создавало отличный моральный климат. Лица, набравшие большое число баллов в различных проектах, быстро продвигались по служебной лестнице, то есть МПЭ (метод повышения эффективности труда) являлся великолепным механизмом отбора кадров.

Гениальность разработчиков МПЭ заключалась в том, что они сумели регламентировать понятие сверхплановой работы для большинства видов коллективной деятельности и разработать лишённую субъективности систему материального и морального поощрения за эту работу. МПЭ позволял каждому работнику реализовать свой творческий потенциал (от каждого по способностям), получить соответствующее вознаграждение (каждому по труду) и вообще почувствовать себя личностью, уважаемым человеком. Пожалуй, главным результатом МПЭ следует считать превращение большого числа обычных людей в яркие творческие личности, способные принимать самостоятельные решения. Именно благодаря этим людям страна после отмены Хрущёвым этой системы продолжала ещё некоторое время развиваться.

Поразительны были успехи экономики, несмотря на полное отсутствие внешних кредитов и минимальные объёмы “нефтяных” денег (“газовых” денег тогда не было). Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США. Например, Япония достигла довоенного уровня лишь в 1955 году, хотя, если не считать ядерных бомбардировок, серьёзных разрушений там не было. Лимитированное распределение продуктов по карточкам было отменено в СССР в 1947 году, а в Англии, несмотря на помощь США, лишь в 1954 году.

О том, как относились советские учёные к экономике мировой и сталинской, вспоминает видный советский физик, академик В. В. Струминский: “Моему близкому другу, известному академику с мировым именем, предложили остаться во Франции, куда он поехал в конце 30-х годов в научную командировку. Сулили работу на крупной коммерческой фирме, большие деньги, разные материальные блага, “свободу”, “независимость” и так далее... Знаете, что он ответил своим вербовщикам? “Да я подохну от скуки на вашей фирме. Посвятить свою жизнь тому, чтобы её владелец купил себе ещё одну виллу... Мелко и противно. В Советском Союзе я работаю над проблемами, которые через два десятилетия будут определять судьбы всего мира. У вашего “свободного” государства, как я тут выяснил, нет денег, чтобы этим заниматься. Не хочу размениваться на эти мелочи, жизнь-то одна”.

Вот мнение крупного экономиста о советской экономической политике того времени — профессора Ханина, — тем более ценное, что лично он негативно относится к политической системе СССР, идее коммунизма вообще и личности Сталина, в частности, но как настоящий учёный, он весьма честно приводит данные и ведёт анализ:

“Произведённый анализ показывает, что источники крупнейших достижений экономики 1950-х годов состояли в следующем. Командная экономика в этот период показала свою жизнеспособность и макроэкономическую эффективность. Являясь, в сущности, крупнейшей в мире корпорацией, советская экономика умело использовала присущие любой крупной корпорации сильные стороны: возможность планировать и осуществлять долгосрочные планы, использовать колоссальные финансовые ресурсы для развития приоритетных направлений, осуществлять крупные капиталовложения в короткие сроки, тратить большие средства на научно-исследовательские работы и т. д. Достижения 1950-х опирались на созданный в 1930–1940-е годы мощный потенциал тяжёлой промышленности и транспорта... СССР умело использовал свои ограниченные ресурсы для развития отраслей, определяющих долгосрочный экономический прогресс: образования, в том числе высшего, здравоохранения, науки... Скорость и масштаб сдвигов в развитии этих отраслей были беспрецедентными и явились во второй половине XX века образцом для многих государств мира. Почти уникальной была высокая доля производственного накопления в валовом внутреннем продукте, которая позволила быстро наращивать объём производственных фондов на высоком для того времени

техническом уровне, широко пользуясь иностранным техническим опытом и оборудованием”.

Считается, что плановая и рыночная экономики несовместимы. Однако в сталинские времена они совмещались более чем успешно. Приведу лишь небольшой отрывок из интересного материала А. К. Трубицына “О сталинских предпринимателях”, который я нашёл в интернете. “И какое же наследство оставил стране товарищ Сталин в виде предпринимательского сектора экономики? Было 114000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений — от пищевого до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причём артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья. И артели производили не только простейшие, но так необходимые в быту вещи — в послевоенные годы в российской глубинке до 40% всех предметов, находящихся в доме (посуда, обувь, мебель и т. д.), было сделано артельщиками. Первые советские ламповые приёмники (1930), первые в СССР радиолы (1935), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939) выпускала ленинградская артель “Прогресс-Радио”. Ленинградская артель “Столяр-строитель”, начав в 1923 году с саней, колёс, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на “Радист” — у неё уже крупное производство мебели и радиооборудования. Якутская артель “Металлист”, созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Гатчинская артель “Юпитер”, с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы”.

Однако время это было исключительно жестоким и противоречивым. Эффективно у сталинской экономики существовала и другая сторона медали. В эти же годы репрессии коснулись научных кадров. Репрессиям подверглись инженеры, учёные, историки, биологи, изобретатели, физики, химики и многие другие. Было арестовано 99 членов АН СССР (РАН), в том числе 33 действительных члена и 5 почётных членов, 61 член-корреспондент Академии наук. Из 99 арестованных 44 погибли в результате репрессий — 23 расстреляно, 13 умерло в заключении (в тюрьмах и лагерях), 8 — в ссылке. Остальные 55 человек были освобождены и умерли на свободе, 1 выслан из страны (А. А. Кизеветтер); некоторые из них находились под арестом лишь несколько дней (В. И. Вернадский), другие провели в заключении и “шарашках” по 10 и более лет (Н. С. Кошляков), третьи находились под домашним арестом до конца своих дней (М. С. Грушевский).

Ниже представлена судьба представителей технических наук, которыми по праву гордится современная Россия.

1. Королёв Сергей Павлович (1906/07-1966) — специалист в области ракетной техники, основоположник практической космонавтики. Член-корреспондент АН СССР с 1953 года, академик — с 1958-го. Член-корреспондент Академии артиллерийских наук по её Ракетному отделению с 1947 года. К моменту ареста — старший инженер группы № 2 в НИИ № 3 Наркомата оборонной промышленности (Реактивный НИИ, Москва), где руководил работами по реактивным летательным аппаратам. Арестован по “делу РНИИ” через несколько дней после выхода из заключения. Постановление на арест вынесено Главным экономическим управлением НКВД СССР, санкция (арестовать как члена “троцкистской организации”) дана первым заместителем Главного прокурора СССР Г. К. Рагинским. Взят под стражу 27 июня 1938 года, содержался сначала в одиночной камере Бутырской тюрьмы. “Нашей стране ваша пиротехника и фейерверки не только не нужны, но даже и опасны, — говорил ему следователь. — Занимались бы делом и строили бы самолёты. Ракеты-то, наверное, для покушения на вождя?” Подвергался пыткам. Первый за протоколированный

допрос — 28 июня, второй — 4 августа (на нём в ответ на угрозу расправиться с женой и дочерью “признал свою вину”). На суде отказался от показаний, вырванных следствием под пытками. 27 сентября 1938 года он получил по приговору ВК ВС СССР 10 лет лишения свободы как “член антисоветской контрреволюционной организации”. Тут мне поневоле хочется задать вопрос: а что было бы, если бы Королёв умер в тюрьме? Смог бы СССР первым выйти в космос?

2. Глушко Валентин Петрович (20 августа (2 сентября) 1908 года, Одесса — 10 января 1989-го, Москва). Специалист в области создания ракетных двигателей. Член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук (теплотехника) с 23 октября 1953 года, академик по Отделению технических наук (энергетика) с 20 июня 1958-го. Арестован в ночь на 23 марта 1938 года при разгроме Реактивного НИИ (Москва), где занимался конструированием жидкостных реактивных двигателей (ЖРД). Сидел в Бутырке. Обвинительное заключение по его делу завизировано А. З. Кобуловым примерно год спустя после ареста. Приговорён 15 августа 1939 года к 8 годам заключения. Освобождён из заключения со снятием судимости указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1944 года (тем же указом, что и С. П. Королёв). Оставаясь засекреченным и не вполне свободным почти до самого конца жизни, с 1947 года руководил двигателестроительным ОКБ, с 1974-го — научно-производственным объединением “Энергия”. Стал Главным конструктором космических реактивных двигателей и ракетно-космических систем.

3. Туполев Андрей Николаевич (1888–1972) — авиаконструктор, основоположник металлического самолётостроения в СССР. Член-корреспондент АН СССР с 1933-го до 29 апреля 1938 года (исключён Общим собранием). Академик с октября 1953 года. В момент ареста — главный инженер Главного управления авиационной промышленности. Арестован 21 октября 1937 года в Москве. Сначала находился в лубянской одиночке, оттуда переведён в Бутырскую тюрьму, в камеру № 58. “Нет, меня не били, только подолгу держали на стойке, а ведь мне тяжело, я грузный. Стоишь, а следователь бубнит своё: “Пиши, б..дь, кому ты продал чертежи?! Сколько тебе заплатили? Пиши, не стесняйся, твои дружки Архангельский, Сухой, Петляков, Мясищев давно раскололись и продали тебя. Один ты упорствуешь, колись, самому легче будет”. Знаешь, такой тупой, ограниченный маньяк, долдонит своё, а я стою, ноги болят, глаза закрываются, спать хочется, стою и думаю: “Кажется, всю жизнь только и делал, что строил для них самолёты, нет, не для них, для своей страны”.

Конечно, были просчёты, не всё удавалось, но ведь не со зла, стоишь и думаешь: “Прости им, Бог, не ведают, что творят””. Если Туполев не признается, жену его обещали отправить в лагерь (она тоже сидела в Бутырской тюрьме), а сына и дочь — в детские дома. Туполев “признался”. Следствие по его делу было закончено в апреле 1938 года.

4. Стечкин Борис Сергеевич (1891–1969). Теплотехник, специалист по теории авиационных двигателей. Член-корреспондент АН СССР с 1946 года, академик с 1953-го. В заключении оказался в связи с “делом Промпартии” в 1930–1931-м годах, затем до 1933-го — в шараге ОКБ НКВД. Вновь арестован в декабре 1937-го, помещён в Бутырку. Затем — в ЦКБ-29 (туполевская шарага), занимался моторами, затем стал разрабатывать свой движитель. Приговор вынесен 31 мая 1940 года. Освобождён в марте 1943-го (?) Сталиным для работы у авиаконструктора А. А. Микулина по личной просьбе последнего.

5. Некрасов Александр Иванович (1883–1957). Специалист в области механики и гидродинамики. Член-корреспондент АН СССР с 1932 года, академик с 1946-го. С 1930-го — сотрудник ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института). В 1937-го — профессор МГУ. Арест Некрасова последовал за возвращением его из США, где он во время научной командировки попал в автомобильную катастрофу и стал инвалидом (участок памяти, связанный с теоретической механикой, у него сохранился). Среди обвинений: агент ФБР, продал часть Поволжья одному американскому миллиардеру. По приговору (1938?) имел 10 лет заключения. В туполевской шараге был начальником расчётной бригады. Выпущен до окончания срока, в 1941 году.

Неужели нужно было сажать сотни учёных в лагерь для того, чтобы заставить их потом работать в шарашках? Понятно, что труд в шарашках — малопродуктивен, поскольку несвободен.

Несмотря на это, гениальность системы МПЭ позволила сталинской экономике поставить мировые рекорды в темпах экономического развития.

После прочтения этого материала, думаю, понятно насколько бездарно ведётся экономическая политика в России сегодня. Ставка на менеджеров-номенклатурщиков так же убийственна для русской экономики, как и ставка на политработников-номенклатурщиков, по сути, на тех же менеджеров, но по-другому названных.

3

Теперь несколько слов о первом экономическом спаде, который начался при Хрущёве в 1954 году и продолжался ровно десять лет.

В середине 50-х годов МПЭ был тихо и незаметно отменён. Премии при завершении проектов сохранились и даже увеличились, но потеряли всякую стимулирующую роль. Теперь величина премии зависела от должностного оклада и от субъективного мнения руководства, а не от качества изделия и его экономических параметров. Из технического задания исчезли требования по себестоимости продукции и стоимости разработки. Объём премии был фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки. В результате стало выгодно не снижать, а, наоборот, повышать как стоимость разработки, так и себестоимость проектируемого изделия. На заводах из плановых заданий исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости продукции, что сразу привело к прекращению любых работ по совершенствованию технологических процессов. В это же время устанавливаются верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда, на размер вознаграждения за рационализаторские предложения и изобретения. Изменился и моральный климат в коллективах. Теперь зарплата однозначно определялась окладом и не зависела от качества работы как коллективной, так и индивидуальной. Возросла роль субъективных факторов при должностных повышениях, что приводило к зависти и склокам. Иными словами, человек человеку стал чужим, а иногда и врагом.

В 1959 году у крестьян отобрали скотину и огороды, у кооперативов — собственность, у директоров — самостоятельность. Резко уменьшилась (относительно предыдущих лет) зарплата и социальный статус учёных. Начался полный демонтаж сталинской корпорации и формирование “коммунистической” олигархии, которая стала практически неподсудной и неподследственной.

Повсеместно осуществлялась политика уравнивания зарплат квалифицированного и неквалифицированного рабочего. Труд инженера, невзирая на квалификацию и отдачу, неуклонно обесценивался и, в конце концов, стал оплачиваться ниже труда рабочего. Всё это творилось под аккомпанемент мантр о диктатуре пролетариата и его передовой роли в обществе. На самом деле, понятно, никакой реальной диктатуры пролетариата не было и в помине. Укреплялись позиции номенклатурщиков, жирного слоя хрущёвских чиновников, которые, в отличие от сталинских, не желали делиться властью с умными и умеющими. И это удалось.

4

Второй экономический спад — 1977–1987 — резким не был, но был неуклонным и неотвратимым. Продолжался он десятилетие, как и первый спад. Закончился, как мы все знаем, развалом Советского Союза. А начался тогда, когда Брежнев приказал производственникам отдать руль в вопросах экономики, техники и науки в руки партийных функционеров.

Имеется в виду начало резкого и неотвратимого спада, а вообще он имел место во всё время правления Брежнева, хоть основная масса нашего населения, жившего тогда, желает вернуться в то время и склонна считать, что оно было не только высшим уровнем развития советского государства, но и устроено было справедливее сегодняшней России.

Для стиля правления Брежнева был характерен консерватизм. Он не обладал ни политической волей, ни видением перспектив развития страны. Тогда в высшей власти страны был единственный человек — председатель правительства А. Н. Косыгин, — обладавший стратегическим мышлением. В 1965 году он попытался провести экономическую реформу, но она забуксовала и была сведена на нет из-за нежелания Брежнева параллельно проводить

политические преобразования и даже ставить под сомнение отработанный номенклатурой механизм партийного руководства экономикой страны.

А в экономике начали проявляться тенденции стагнации, которые в 1970-х годах компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической конъюнктурой. Львиную долю ресурсов поглощал военно-промышленный комплекс (ВПК) — область особой заботы Брежнева. При нём ВПК достиг своего апогея, что приносило ущерб развитию экономики в целом и усугубляло кризис. Темпы роста промышленности и сельского хозяйства резко снизились, научно-технический прогресс замедлился. Советский Союз отставал в своём развитии от ведущих мировых держав.

Пишу это с горечью. Инновации и технический прогресс — это то, чем я занимался всю свою активную жизнь вопреки политике власти. Техническому прогрессу страны посвятил жизнь и мой отец. Политика власти по отношению ко мне и отцу нарисована на наших спинах и задницах, поскольку за свою деятельность я, например, получал только “пинки и удары плетью”, а отец получил то же исключительно во времена хрущёвско-брежневские. Так власть относилась как раз к инженерам успешным, всегда видя в них своих потенциальных конкурентов, в какой-то степени опускающих их в глазах населения только своим существованием, профессионализмом, и при случае пинала и унижала. Их лозунг — “незаменимых нет” — как раз и был направлен против таких инженеров.

И я на своём опыте прочувствовал изменение отношения власти к инженерам, специалистам. До 1978 года в организациях главные инженеры, главные конструкторы, главные технологи могли быть беспартийными, главным был профессионализм. С 1978-го по 1981 год в СССР с подачи Брежнева проходила кампания по замене всех профессионалов, занимающих соответствующие должности, на чиновников с партбилетами в карманах.

После 1981 года из-за резкого падения профессионализма экономика была не в состоянии воспринимать инновации. Кого я только не вписывал в соавторы изобретений! Натурные действующие образцы демонстрировал на выставках... Экономика, несмотря на очевидные преимущества от внедрения изобретений, не принимала ничего. Результат известен — страна продержалась всего 10 лет.

Интересно, что анализ подъёмов экономики приводит к очевидному: у лиц, обеспечивавших подъём, была сильная мотивация. При спадах, наоборот, властью и законами полностью был исключён интерес работать на прогресс. И ещё очень важное обстоятельство, которое мы в России исторически никак корректно выполнить не можем. Это определение и всесторонняя поддержка тех лиц, которые обеспечивают экономический подъём. В период, когда упор делался на идеологию, и она была главной при решении экономических и технических проблем, всегда наблюдался спад. Период мощного подъёма за весь советский период был всего один — с 1936-го по 1953 годы. Ставка в эти годы делалась как раз на профессионалов, специалистов. Идеология в науке и технике временно отошла на второй план.

Хорошие специалисты как раз и обеспечивают качество и уровень экономики государства. Везде они дорого стоят. Подъёмы экономики в России были только тогда, когда специалист стоил значительно дороже чиновника. В 1976-1977 годах я работал в Польше. В гостинице в номере рядом с моим жил западный немец, тоже инженер, причём моего возраста. Я помню шок, который испытал, узнав, что ему платят в десять раз больше, чем мне. Думаю, понятно, почему такая пропасть в уровне экономики немецкой и российской.

При Брежневе десятилетие абсолютной власти партийных функционеров в науке и технике привело страну к экономической несостоятельности. К сожалению, сегодня ситуация в экономике в некоторой степени напоминает брежневский застой. В технически сложных отраслях у власти на всех уровнях мы можем наблюдать так называемых менеджеров, мало что понимающих в деле, которым они управляют. Ставка опять сделана на лиц ложных, которые никак не могут обеспечить инновационный и экономический подъём. Поэтому-то и разговоры власти на эту тему напоминают пустопорожний трép. Разве не так? Анатолий Сердюков, например, сейчас индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации “Ростех”, курирует развитие всей авиационной промышленности страны. После долгой карьеры в мебельном

бизнесе он вдруг сменил своего тестя Зубкова в кресле руководителя Налоговой инспекции Санкт-Петербурга. Потом вдруг возглавил оборонное ведомство страны. Теперь вдруг оказалось, что в самолётах он разбирается лучше, чем в продаже табуреток. Очевидно, что он непотопляем и занимает высокие должности, поскольку является представителем номенклатуры. Делается это куда циничнее и бесцеремоннее, чем было при Брежневe. Похоже, что элита в нашей стране живёт удержанием сложившегося положения вещей. Она прорвалась к власти, деньгам, ресурсам и не заинтересована в переменах. У нас низкая социальная мобильность, нет сменяемости власти, то есть отсутствуют какие-то стимулы, чтобы элите меняться. Какой же тут может быть прогресс, когда целых двадцать лет мы наблюдаем бесконечное “перетасовывание колоды” одних и тех же лиц, стоящих у власти. Многие из них, кстати, активно участвовали в развале созидательного сектора экономики страны и безжалостно выкидывали на помойку специалистов и даже целые технические школы. Загублены такие отрасли, как гражданское авиастроение, станкостроение, крайностроение.

Непонятно, зачем я корячусь и пишу это, понимая, что всё уйдёт, как в песок вода... Ведь уже в 1970-е годы Россия развернулась совсем не в ту сторону, и самыми богатыми и уважаемыми в ней стали не учёные и конструкторы, как было ранее, а работники торговли и номенклатура. Лидерство учёных и конструкторов обеспечивало экономический подъём государства и, в какой-то степени, нравственное здоровье населения. Лидерство номенклатуры и торговли работает на деградацию государства, что мы воочию и наблюдаем. Однако пишу, удержаться не могу: за державу обидно! А ещё поддерживает уверенность в том, что мысль материальна. Для того чтобы понять, куда придёт страна с такими управленцами и такой экономической политикой, достаточно вспомнить конец советского периода нашей истории и бандитские 1990-е годы.

В настоящее время власть в России представлена бюрократическим аппаратом, жёстко сращенным с олигархическими структурами. В этой связи наблюдается неуклонный рост численности чиновников, и, думаю, что принципиальная перестройка экономики маловероятна. Сегодня людей, что-то производящих, не более 15% от общей численности работающего населения, и их количество только уменьшается.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

член Совета Федерации

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ...

Полная фраза, вынесенная в название этой главы: “Что имеем, не храним, потерявши, плачем”, — взята мной из афоризмов “Плоды раздумий” Козьмы Пруткина. Вторая часть этого высказывания мной сознательно опущена, так как я не уверен, “плачем” ли мы по нашему утерянному достоянию, описанному в этой главе, или равнодушны, а может быть, и радуемся? Давайте сообща решим это.

Итак, говоря о сложном пути жизни нашего Отечества, следует дать оценку развития не только политической, экономической и социальной сфер, но и духовной составляющей. Не может жить страна и её народ лишь “хлебом единым”. Душа человека, духовность общества всегда были и будут основой народа. Отрыв материальной составляющей от духовной чреват тяжелейшими последствиями. Не случайно сейчас всё чаще звучит сравнение Запада с красивым яблоком с гнилой сердцевинкой. Результат известен — яблоко обречено.

Духовное здоровье народа во многом зависит от языка этого народа. Именно он, как барометр, показывает состояние жизни общества через общение людей, развитие литературы, через средства массовой информации и т. д. Состояние национального языка, его чистота определяют культурный и общий уровень духовной жизни.

Не стала исключением и Россия. Учёные выдвигают гипотезу, что наш язык возник три тысячи лет назад и имеет несколько этапов своего развития. Что же касается письменности, то её приобретение в IX веке, как известно, связано с именами Кирилла и Мефодия. Как сказал святой равноапостольный первоучитель и просветитель славян Кирилл, “...просвещение народа без письмен его языка подобно попыткам писать на воде”.

Русь XI века считалась одной из наиболее грамотных европейских держав, где открывались школы, сохранились библиотеки. Основными центрами литературного творчества и распространения книг становились монастыри. Их огромнейшая заслуга — и огромная благодарность потомков им за это — в том, что во время трёхсотлетнего периода татаро-монгольского нашествия и феодальной раздробленности России они взяли на себя эту важнейшую часть жизни и развития народа.

Русский язык, входивший в состав восточнославянских языков, выделился в XIV–XV веках из древнерусского языка. Термин “русский язык” употребляется в широком смысле. Он выполнял функции государственного языка в Киевской и Московской Руси, до образования русского (великорусского) национального языка. Так было до 1917 года. К русскому народу относились

и украинцы, и белорусы. Ещё в XIX веке ни у кого не вызвала сомнения принадлежность их к русской нации. Официальная статистика считала их русскими и подразделяла на великороссов, малороссов и белорусов. Некоторые языковые этнографические различия Украины и Белоруссии объясняются особенностями их исторического развития.

Русский язык не заимствован у кого-либо, не навязан кем-то, а создан самими русскими. В советское время русский язык был государственным языком при сохранении языков этнических групп и регионов. Подобное положение сохранилось и в современной Российской Федерации. На государственном языке говорят около 200 национальностей. Большинство из них считают русский язык своим вторым, если не первым языком.

Наша страна всегда была многонациональным государством и впитывала в себя другие народы. При этом не только не растворяя их в себе, а наоборот, развивая. В этом отношении многовековая политика бережного отношения к языкам различных народностей нашей страны себя оправдала. Имея русский язык в качестве государственного, объединяющего все народы и национальности страны, мы с гордостью можем сказать, что он является образцом, достойным уважения. Преследует ли такие же гуманные цели и испытывает ли уважение развернувшаяся во второй половине XX века глобализация по отношению к национальным культурам, образу духовной и материальной жизни народов?

Я далёк от этой наивной мысли. Мой жизненный опыт показывает, что мы “непозволительным” образом отличаемся от Запада. Мы плохи тем, что не входим в “золотой миллиард человечества”, на который работает всё население планеты, плохи тем, что противостоим — по крайней мере, пытаемся — чуждым для нашей жизни ценностям: однополым бракам, “массовой” культуре, которую Запад целеустремлённо пытается навязать нам, и т. д., и т. п.

Естественно, возникает вопрос: всегда ли и во всём ли мы защищали свои духовные ценности, наш язык и его вершинное проявление — нашу великую литературу? Давайте без прикрас посмотрим на эту проблему. Она заставляет задуматься о том, что происходило два века тому назад, и перекинуть мостик в нынешнее время.

И сегодня в основе наших размышлений об этом лежит тревога: занимает ли наша литература своё самостоятельное и достойное место в мире, или она является второстепенным придатком мировой, вернее, европейской и американской культуры?

К сожалению, у нас в России никогда не было единства мнений о месте русской литературы в мире. Позицию думающих людей можно условно разбить на две группы: те, кто считал нашу литературу не достигшей мирового уровня, и те, кто утверждал, что русская литература с её духовностью оказывает большое влияние на Запад.

Так, в своей статье о литературе В. Г. Белинский, наш “незыблемый” авторитет и литературный критик, во многом влиявший на развитие литературы в стране, писал в 1840 году: “Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может... И потому нам должно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою или английскою... Наша литература исполнена большого интереса, но только для нас, русских”. Он утверждал, что “Жорж Занд имеет большое значение и во всемирно-исторической литературе, не в одной французской, тогда как Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет решительно никакого значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, что, следовательно, имя Жорж Занда безусловно может входить в реестр имён европейских поэтов, тогда как помещение рядом имён Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл...”.

Там же он писал: “Вот где видно только начало русской литературы, но ещё не русская литература. Она только что начинается, но её ещё нет, и начинается она с Пушкина, а до него решительно не было русской литературы; вместо её была словесность — ряд отдельных, ничем не связанных между собою явлений, вышедших не из родной почвы русского духа, а из подражания чужим образцам...”.

Не случайно свою статью он заканчивает словами: “Прошедшее нашей литературы не блестяще, настоящее тускло; но за будущее нам несколько не

должно отчаиваться. У нас нет литературы в точном и определённом значении этого слова, но у нас есть уже начало литературы...”.

И это говорилось тогда, когда в нашей литературе уже блистали М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. С. Грибоедов! Как же перекликаются Белинский с Солженицыным, хотя их разделяет более ста лет! Один, правда, говорил о словесности, другой об образованности (“образованщине”), — но разве не совпадают они в своих убеждениях?

В этой связи я задаю себе вопрос. Почему в советское время В. Белинский был возведён в ранг непререкаемого прогрессивного критика XIX века? Что, наши учёные не знали его высказываний о национальной литературе, приведённых выше? Да разве только в этом его философское отношение к своей родине, её культуре, её истории? А разве не его слова были о том, что наш народ “без всяких раздумий” должен освободиться “от вековых пережитков”, чтобы “усвоить новейшие достижения европейской мысли”, и что, по его убеждению, “такое движение не может обойтись и без гильотины”? Полагаю, что “идеологам оценки” нашей отечественной истории нужен был именно такой авторитетный кумир-прозападник.

Другая часть российской интеллигенции считает, что развитие отечественной литературы происходило наиболее бурно в определённые исторические периоды жизни государства, начиная со “Слова о Законе и Благодати”, “Слова о погибели русской земли” и “Слова о полку Игореве”.

Говоря о диалектическом пути развития литературы России, нельзя не вспомнить знаменитый труд “Лицевой летописный свод Ивана Грозного”. Есть у него и неофициальное название — “Царь-книга”, по аналогии с Царь-пушкой и Царь-колоколом. Такое название вполне оправданно. Свод состоит из 10 томов, содержащих около 10 тысяч листов, украшенных примерно 16 тысячами миниатюр (изображения в лицах, отсюда — “лицевой”). Над созданием Свода на протяжении трёх десятилетий трудились десятки художников.

“Лицевой летописный свод” — это уникальная книга, исторический и художественный памятник мирового значения, увековечивший эпоху рукописной книги и открывший эпоху книгопечатания. Ничего подобного нет ни у одного другого народа мира. Как тут ещё раз не вспомнить Белинского, утверждавшего, что “прошедшее нашей литературы не блестяще”!

Человеком, который стоял у истоков создания этого уникального произведения, был митрополит Московский и всея Руси Макарий, бессменный учитель и воспитатель осиротевшего в раннем детстве Ивана IV, крупный церковный мыслитель и писатель.

“Лицевой летописный свод” был издан в 2008 году издательством “АКТЕОН” ограниченным тиражом. Проблема же долгое время состояла ещё и в том, что прочитать Свод могли лишь немногие. В этом отношении ситуация со Сводом повторяет ситуацию, сложившуюся с переводом и изданием множества других древних летописей на современном русском языке. Хотя этой проблеме двести лет, она далека от завершения. Многие из летописей так и не изданы, а значительная часть изданных не переведена на современный русский язык. Пример тому — этот “Лицевой свод”. Так, академической наукой, вместо завершения перевода данной книги в 2025 году, в план работ был включён перевод многотомной “Истории Европы”! Выходит, для нас эта тема более актуальна, чем уникальное произведение XVI века!

Приведённый мной выше пример показывает, что наша история имеет много летописных реликвий, и нам есть, чем гордиться, а самое главное — не дать возможности разным “специалистам”, как иностранным, так и доморощенным, предать забвению свою историю, чего очень хотят те, кому выгодно считать нашу страну, и особенно литературу, ущербной.

Несколько слов о более позднем периоде развития нашей литературы и, в первую очередь, о А. С. Пушкине.

Общероссийское и мировое значение Пушкина ярко выразил в своей речи Ф. М. Достоевский 8 июня 1880 года по случаю открытия памятника поэту. Все мысли и оценки этого гения чётко обозначены в этой речи. Учитывая, что оценка Достоевского чётко выражает основные особенности Пушкина, я приведу выдержки из его речи.

“Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей

глубине её, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось.

Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своём развитии, народность нашего будущего, тающегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк”.

Анализируя высказывание Ф. М. Достоевского и реально складывавшуюся ситуацию в литературе от средних веков Руси до пушкинского времени, можно сделать твёрдый вывод: Пушкин, являясь продолжателем литературы предшествующих веков, стал основоположником современного русского литературного языка, который и сейчас лежит в основе современной литературы.

Литература, и особенно поэзия, приобретала иную форму, близкую к народному творчеству. Церковно-славянский язык XVI века сменился в XVII веке русским литературным, но, я бы сказал, в “утяжелённой” форме: М. Ломоносов, Г. Державин, В. Жуковский, В. Тредиаковский. Они были предшественниками Пушкина, который заложил основу нашей литературы, и мы живём пушкинской строкой и сейчас, следуя этому более двухсот лет. Основные нормы русского языка, представленные в языке произведений Пушкина, остаются живыми, действующими и для нашего времени. Вот почему проходят десятилетия, века, а Пушкин и сегодня стоит во главе литературы нашей страны.

Есть такие понятия в истории нашей литературы, как Золотой и Серебряный век. Вокруг этих определений уже сто лет идут споры по поводу их временного фактора. Мнение, высказанное здесь по этому вопросу, является сугубо моим личным. Оно во многом не совпадает с официальной точкой зрения, которая так же не однозначна, а является взглядом дореволюционной, советской или современной России.

Совершенно по праву пушкинский век называют “Золотым”. Именно наш гениальный национальный поэт положил начало Золотому веку литературы.

Золотой век, которым называют русскую литературу XIX века, был особым временем творческой жизни России. Как известно, именно в этот период сформировались два основных общественных течения: славянофилы и либералы.

Основным принципом славянофильства был “Народу — мнение, царю — решение” (“Сила власти — царю, сила мнения — народу”). Они опровергали принципы западного парламентаризма, отдавая предпочтение принципам земских соборов, доносивших до монарха глас народа. Славянофильство стало важным, но далеко не единственным течением консервативной мысли. Интеллектуальными консерваторами были А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Ф. Тютчев. Кроме творческой части консерватизма, в нём существовало также направление, связанное с политической деятельностью всех последних российских императоров, яркими выразителями которого были такие крупные общественно-политические фигуры, как С. Уваров, М. Катков, К. Победоносцев.

В лагере западничества либеральных мыслителей было во множестве. Это течение возникло почти одновременно со славянофильством и поначалу заполонило всю либеральную политическую нишу. Западники не признавали самобытность и оригинальность русской культуры. К ним относились такие мыслители, как В. Боткин, И. Тургенев, Т. Грановский, А. Герцен, Н. Огарёв, В. Белинский и др.

Дуализм российской мысли чётко проявился в противостоянии двух российских гениев: Льва Толстого и Фёдора Достоевского. Конечно, можно назвать Толстого либералом-народником, а Достоевского — консерватором-почвенником. Но такие определения не точны, не являются полными, так как оба писателя жили и творили в России с её самобытным народом, в гуще её выдающихся блестящих умов.

Достоевский прошёл в своей жизни этапы увлечения романтизмом, утопическим социализмом, православием, славянофильством, борьбой с “вымирающей” Европой. В конце своей жизни он призывал к труду на родной ниве, что видно из его речи на открытии памятника Пушкину в 1880 году. Его подлинным

идеалом был русский народ во всём его историческом величии и трагизме протекающей борьбы.

Толстой тоже проделал долгий путь идейных исканий веры и неверия. Он весь был соткан из противоречий, одновременно и в жизни, и в писательстве, и в своей страстной религиозной и политической проповеди, граничившей с тотальным анархизмом.

На Толстого, которого называли патроном литературных течений от реализма до соцреализма, естественно, и в политическом плане навешивали много противоречивых ярлыков: и кающегося аристократа, и выразителя интересов патриархального русского крестьянства, и революционера, и христианского анархиста. Его религиозная философия неминуемо привела его к открытому непримиримому конфликту с самодержавием и Православной Церковью.

В 1901 году Святой синод сообщил об “отпадении” писателя от Церкви: 24 февраля в официальном органе Святейшего правительствующего синода — журнале “Церковные ведомости” — было опубликовано Определение с посланием Святейшего синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной Церкви, так как его (публично высказываемые) убеждения несовместимы с таким членством. Прошло более ста лет, а решение Церкви остаётся в силе, и скромная могила этого гения — не только России, но и всего мира, — в Ясной поляне так и стоит без традиционного для религии нашего народа креста.

Эти два гения — Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой — до сих пор будоражат умы людей во всём мире, и надо полагать, временных границ нет и никогда не будет.

Наш гений, А. С. Пушкин, стоял у истоков новой литературы ещё при своей жизни в XIX веке. Гений поэзии М. Ю. Лермонтов, наши классики Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров и многие литераторы проявились на пушкинской волне! Да и творчество Толстого и Достоевского без Пушкина вряд ли оставило бы такой огромный след в литературном наследии мира.

Наиболее острые споры развернулись, как уже было сказано, по поводу временных периодов Золотого и Серебряного века отечественной литературы. Практически все представители творческих сил страны единодушны во мнении, что Достоевский в своей знаменитой речи при открытии памятника Пушкину в Москве подвёл черту “Золотой” пушкинской эры — Золотого века русской литературы.

Период конца XIX — начала XX века нам известен как период расцвета творческих сил и талантов сильных представителей народной и национальной жизни: Максима Горького, Ивана Бунина, Александра Куприна, Сергея Есенина, Николая Клюева и др. Как назвать этот творческий период? Может быть, это и был Серебряный век, пришедший вслед за Золотым?

Однако “Серебряным веком” называли совсем другой отрезок времени, причём не самый лучший — одно лишь десятилетие: с 1905 по 1915 годы.

Вокруг Серебряного века с начала его существования и сейчас, столетие спустя, ведутся споры. Обсуждается вопрос, оставил ли этот творческий период существенный след в литературе последующих лет?

Можно привести множество высказываний известных писателей того времени об “истинном лице” Серебряного века. Великий старец Лев Толстой писал в своём дневнике:

“Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство или, напротив, движение вперед?.. Разумеется, упадок, и тем особенно печальный, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации”.

Или вот что говорил в своих воспоминаниях Иван Бунин:

“Силы (да и литературные способности) у “декадентов” времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у Кузмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным, как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова?.. совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор “Тихих мальчиков”, потом “Мелкого беса”, иначе

говоря, патологического Передонова, певец смерти и “отца” своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб, — “кирпич в сюжете”, по определению Розанова, буйный “мистический анархист” Чулков, иступлённый Воынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими чёрными глазами Минский...”.

Уже в наше время многие известные литераторы, творческие гиганты (Г. Свиридов) и другие пришли к новому прочтению и осмыслению поэзии Серебряного века, который до сих пор считается в истории отечественной культуры величайшим достижением, близким к вершинам Золотого пушкинского века. Однако более глубокий анализ специалистов наследия Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича, раннего Владимира Маяковского, Георгия Иванова, Фёдора Сологуба, Валерия Брюсова и других представителей русского декадентства показал, что именно в этот период в обществе воскресали такие явления, как растление, насилие и воинствующее антихристианство.

Это они в послереволюционном спаде после 1905–1907 годов жаждали новых всевозможных революций, в том числе политических, религиозных, сексуальных и т. д. К сожалению, зёрна, посеянные в Серебряном веке, давали всходы и в 20-е годы XX века, то есть в первые годы Советской власти. “Сбросим Пушкина с парохода современности!” — таков лозунг последователей Серебряного века. Да разве только Пушкина “сбрасывали” так называемые “творческие” личности? Нарком просвещения А. Луначарский в своих статьях писал: “Пушкин не покинул до конца аристократических позиций”, но совершал “осторожный и полный сомнений переход с барских позиций на буржуазные” и так далее.

Созданная в эти годы антинациональная идеология оправдывала разрушение великих памятников русской культуры и истории, объявляла русский характер консервативным, не способным к строительству нового общества. Вот что писала массовая пресса того времени:

“Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьёзов. Ещё в прошлом году в Киеве стоял (а может быть, скорее всего, и по сей день стоит) чугунный “святой” князь Владимир.

В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться восвояси “гражданин Минин и князь Пожарский” — представители боярско-торгового союза, заключённого 318 лет тому назад на предмет удушения крестьянской войны...”.

К счастью, в 1930-х годах обстоятельства в стране изменились, стали востребованы истинные писатели и мыслители. Они-то и подготовили почву для духовного подъёма народа, который особо проявился в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

Но наступили времена Н. Хрущёва, а затем и М. Горбачёва. Казалось, что идеи Серебряного века ушли в прошлое. Страна переживала великие потрясения: индустриализация 1930-х годов, Великая Отечественная война, восстановление разрушенной страны, “холодная” война и т. д. И, тем не менее, во времена Хрущёва произошла “оттепель”, а Горбачёвым с восторгом была провозглашена “гласность”...

Кстати, эти два понятия — “оттепель” и “гласность” — не были изобретены И. Эренбургом и М. Горбачёвым. Термин “оттепель” ввёл в обиход Ф. Тютчев, приветствуя нового царя Александра II, а писатель Н. Мельгунов, в это же время и по этому же поводу, ввёл слово “гласность”.

Так потом эти два слова и будут передаваться в наследство всем будущим русским перестройкам вместе с граблями, на которые всегда наступает Россия в периоды реформ.

Можно много говорить о плеяде поэтов, писателей и публицистов эпохи “оттепели”; впоследствии они в корне поменяли взгляды на свои прошлые сочинения. К примеру, Б. Окуджава. Это он писал про “комиссаров в пыльных шлемах” и ещё многое “просоветское”. Так же, как и “Всё, что создано нами прекрасного, создано с Лениным...”. Но вот в демократической газете “Литературные вести” он же пишет:

*Кухарку приставили как-то к рулю.
Она ухватила, паскуда.
И толпы забежали по кораблю,
Надеясь на скорое чудо.*

.....
*Кухарка схоронена возле Кремля,
В отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки спуют у руля,
И мы не случайно в ответе.*

Я не называю здесь “шестидесятников” поименно. Они известны. Но для суда потомков существует список имён сорока двух человек — подписантов письма Б. Ельцину “Убей гадину!” Больше половины из них уже покинули наш грешный мир и сейчас держат ответ перед Всевышним!

Хотелось бы остановиться ещё на одном вопросе, касающемся русского языка. Мы принимаем много решений — актуальных и не очень, быстро или медленно. Очень быстро, как известно, в течение недели был принят в двух основных чтениях проект закона о реформировании, а также уничтожении Российской академии наук (РАН), академий медицинской и сельскохозяйственной. А законодательства о русском языке практически так и нет. Правда, три года назад был принят Федеральный закон о запрещении нецензурной брани в произведениях литературы, искусства и народного творчества. Но этого, к сожалению, явно недостаточно.

Министерству образования и науки следовало бы, вместо наступления на науку и высшие учебные заведения, заняться этим вопросом. Уже много лет ведутся об этом разговоры, но *воз и ныне там*. Это даёт определённый козырь “ревнителям русского народа”. Русский язык — он или есть и будет в дальнейшем языком многонационального общения, или мы ждём того, что английский язык станет универсальным языком общения внутри России и с бывшими союзными республиками? И не надо в этом законе возвеличивать русский язык, он и так велик. Но принять меры по сохранности его уникальности, предохранить его от различных искажений, чётко определиться с изучением его в школах и иных учебных заведениях страны необходимо.

В этом отношении мы должны использовать опыт Франции, которая уже с конца XVII века стала защищать свой язык, а в середине XX века приняла закон “О чистоте французского языка”.

Я полагаю, что многие из нас уже не всегда понимают разговорную речь даже, например, на радио и телевидении. Это не наш родной, а какой-то “птичий” язык! Уголовный жаргон, смешанный с иностранными заимствованиями, сдобренный всякими сокращениями, породил чудовищный “новояз”, на котором, к великой скорби, разговаривает значительная часть жителей России. Вот беседуют мужики, а прислушаешься к их разговору — волосы встают дыбом.

- Бабло там нарубим? — спрашивал один.
- Фишка если ляжет, тогда и потянем, — ответил другой.
- Че грузил, что всё окей? — наседал первый.
- Капуста наша, а не зеленая, — объяснял товарищ.

Вот и пойми: русские перед тобой или инопланетяне. Слушая подобные разговоры, невольно думаешь: а не настанет ли у нас время, когда мы будем ходить со словарём?

Я позволю себе использовать зарисовки из жизни нашего известного писателя и сатирика, ныне покойного, М. Задорнова: “Она в любви ко мне не адекватна”. “Я взяла авоську, пошла на маркет”. “Я работаю пирожкомейкером”. В сочинениях молодые люди пишут: “Есенин был интерактивным поэтом”. “Чацкий, который сидел в ЧАТах”. “Пушкин с Гончаровой консолидировался по половым признакам”. “Новации Цветаевой и её дефолт”. “У Ломоносова была большая харизма”. “Онегин и Печорин поехали в деревню проводить кастинг среди сестёр Ростовых”. “Я горжусь Петром I за то, что боролся с фашизмом”. “Александр II разрешил всем заключённым провести эпиляцию”.

Недавно я видел книгу одного современного филолога, которая называется “Счастье как лингвокультурный концепт”. Цитирую фразу из этой брошюры: “Счастье — многомерное интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную общеаксиологическую оценку в форме удовлетворения...”. И так вся книжка! Или вот ещё. По телевидению выступал политолог. Его спросили: “Зарплаты врачам повысят?” Знаете, что он ответил? “Индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно-адекватных мажоритарных обструкций.

Поэтому, как вы понимаете, нельзя инсценировать амбивалентные новации корректирующего мониторинга". Та, что брала у него интервью, долго после этого ответа смотрела на него глазами лошади Мюнхгаузена, когда тот летел на ядре.

Особо следует отметить засоренность русского языка, к месту и не к месту, иностранными словами. Подобное было и в советское время, особенно в политической литературе. Так, В. И. Ленин в своей статье "Не пора ли объявить войну коверканью русского языка" писал: "Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно... Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?... Перенимать французско-нижегородское словоупотребление — значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, а, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык".

Вхождение же России в "рыночную" атмосферу открыло новые шлюзы для потока этих слов. Например, креативный, секвестр, брутальный, девелопер, модератор и т. д. Слово "омбудсмен" скоро будут применять в любом значении, например, "омбудсмен России" вместо "защитник Родины".

И таких шедевров можно приводить множество. Ещё один пример. Слово "бренд" проникает в сленг не только народа, но и большой политики. А что же оно обозначает? Слово "бренд" на английском языке означает бирку на шее быка в стаде! А слово "будировать"? В переводе с французского оно означает "сердиться". Вот и применяй у нас это слово!

Не менее важно также выработать меры по сохранению русского языка в бывших союзных республиках, где живут миллионы наших соотечественников: этнические русские, представители других национальностей, которые воспитывались на русском языке и считают его до сих пор своим родным, а также литераторы, научные работники и т. д. Примером такой заботы о своём языке могут быть, как уже говорилось, Франция или Испания. Там созданы авторитетные органы, которые занимаются своим языком во франко- и испаноговорящих странах. Они имеют большие полномочия и возможности материальных и моральных поощрений.

Мне скажут: денег нет, в стране и так много проблем. Действительно, денег никогда не хватало. Но есть же миллиарды рублей для никому не нужного "Сколково"? Есть же деньги на покупку олигархами вилл и дворцов за рубежом, сносшибательных яхт и самолётов, иностранных спортивных клубов?

Стоит вспомнить свою историю. В 1783 году Указом императрицы Екатерины II (Великой) была создана Академия для защиты и пропаганды российской словесности. 250 лет тому назад власти были обеспокоены русской словесностью, а мы в течение десятилетий не можем принять соответствующий закон!

Несколько лет назад Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём обращении подчеркнул: "Через русский язык передаётся наш культурный духовный код на интеллектуальном уровне... С разрушением художественной литературы из жизни уходят положительные герои, тот самый образ положительного героя, который сформирован христианскими истоками нашей национальной культуры. Вот почему так важно сегодня бороться за сохранение русского языка, ибо использование современных средств коммуникации очень сильно трансформирует язык".

В 2011 году президент страны объявил об учреждении нового праздника — Дня русского языка, и датой праздника объявлено 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Символично! Но время движется неумолимо, прошло уже семь лет, а изменений практически нет.

Положение, сложившееся с русским языком в настоящее время, не ново. Ещё начиная с 1917 года, русская нация была определена как великодержавная, угнетающая другие народы. Такой период длился довольно долго, а в конце 1920-х и начале 1930-х годов споры противников и защитников русской нации и, естественно, языка перешли даже в сферу политического преследования.

В 1931 году были вынесены приговоры по “делу” русских историков. Некоторые из них получили срок от трёх до десяти лет тюремного заключения, а ещё 15 известных историков — по пять лет ссылки.

Вплоть до середины 1930-х годов оставались под запретом такие слова и словосочетания, как “русская советская живопись”, “русская литература” и др. Слова “русский” избегали, заменили его на эпитеты “московский”, “наш”, “современный” и т. д. Причины проявления такой национальной “стыдливости” были порождены критиками всего русского, традиций русского народа, определявшими, что всё это имеет реакционно-националистическую сущность.

Такое положение сложилось во многом из-за того, что во главе исторической науки, её идеологии стоял небезызвестный историк М. Покровский. Его книга “Русская история в самом сжатом виде”, написанная в 1920 году, к 1933 году была выпущена десятками изданий. Выпускники школ первой половины 1930-х годов должны были изучать свою историю только по этому учебнику.

Этот историк оставил тяжелейший след в нашей истории, “школа Покровского” обслуживала интересы троцкистской бюрократии, пытавшейся обосновать своё стремление находиться у власти. В противовес курсу Сталина, направленному на реабилитацию русской истории и языка, идею этой “школы”, к сожалению, поддерживала значительная часть интеллигенции.

Ситуация начала меняться только в середине 1930-х годов, хотя после смерти Покровского в 1932 году университет получил его имя и носил до тех пор, пока не определилось более достойное — имя М. В. Ломоносова, присвоенное университету в мае 1940 года.

Особо хотелось бы остановиться на проблеме библиотек. Я не буду приводить “скорбный” список их наличия в стране. У меня, как и у многих граждан России, возникает тревога, что с возрастающим уровнем электронной информации посещение библиотек будет уменьшаться. Мы в своё время удивлялись и недоумевали, как можно “Войну и мир” читать в сжатом виде, буквально в нескольких страницах? К сожалению, это наша нынешняя реальность.

Библиотеки обязаны в корне изменить свою деятельность. Функции книгохранилища уже недостаточно. Рыночные отношения ударили, в первую очередь, по культурным центрам, клубам, домам детского творчества и т. д. Те детские центры, которые сохранились, в основном перешли на коммерческую основу, что не позволяет детям из семей с малым и средним достатком посещать различные кружки и спортивные секции.

Библиотеки просто обязаны взять некоторые утерянные функции на себя. Они должны стать платформой для восстановления детских кружков, местом, где детям и подросткам помогают в учёбе, подготовке докладов, рефератов и т. д., устраивают обсуждения книг и кинофильмов, организуют специальные встречи с писателями, ветеранами войны и труда, старшему же поколению они должны давать неформальные консультации по самым различным вопросам. Необходимо сделать библиотеки привлекательными, чтобы люди, особенно дети и молодёжь, стремились в этот очаг культуры.

Заканчивая рассуждения о русском языке, хочется ещё раз подчеркнуть, что ничего не изменилось в отношении нашего родного языка, и в этом наша самая большая ошибка. Социально-экономические модули меняются и будут меняться в зависимости от многих причин. Это естественно. Но потерять сегодня свой язык — это навсегда. В результате мы получим поколение потребителей, лишённых богатства своего родного языка. Они будут лишены возможности воспринимать наследие отечественной и мировой классической литературы. Они будут презирать своё прошлое и не будут связывать со своей Родиной своё будущее.

Мои грустные слова о родном русском языке вызваны ещё и тем, что, по мнению руководителей Минобрнауки России, за последние 20 лет количество говорящих в мире на русском языке снизилось на 120 млн человек. Сейчас это 260 млн, в том числе порядка 140 млн человек — на территории России.

Создавшееся положение с русским языком у нас в стране и в мире настоятельно диктует необходимость принятия срочных мер по его сохранению и развитию.

Люди, болеющие душой за сложившуюся ситуацию в этом вопросе, возлагают большие надежды на деятельность Совета при президенте Российской

Федерации по русскому языку, созданного Указом президента в 2014 году. Совет должен заниматься развитием и поддержкой русского языка как государственного языка Российской Федерации. Кроме решения внутренних проблем, в задачи Совета входит подготовка предложений президенту России по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка за рубежом, расширением его географии и сферы применения, поддержкой русскоязычных сообществ за рубежом.

Следует отметить, что в 2013 году был создан и Совет по русскому языку при правительстве страны под руководством вице-премьера Ольги Голодец. В 2016 году учреждено Общество русской словесности под руководством Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Будем надеяться, что эти авторитетные государственные и общественные структуры в ближайшее время решат многие проблемы нашего родного, могучего и великого русского языка.

И снова возвращаясь к вопросу “общечеловеческих ценностей”, хотел бы отметить следующее. Я не склонен призывать к культурному и языковому “железному занавесу”, мы должны впитывать в себя всё, что есть прекрасного в великих культурах мира, но ни в коем случае не в ущерб своему самобытному, отечественному.

В заключение хотелось бы довести до сведения читателей выводы наших учёных. Они считают, что лицо нации меняется при 20% “разбавлении” родного языка иноземными словами. Кстати, мы уже вплотную подошли к этой черте, и лингвисты уже давно бьют тревогу по этому поводу. Ведь ещё И. А. Бунин призывал: “Берегите чистоту языка как святыню!.. Русский язык так богат, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас”.

Так давайте же прислушаемся к этим мудрым словам!

Вот таковы некоторые мои мысли о нашем великом русском языке и не менее великой русской литературе. Нам нельзя их терять. Это духовно-нравственная основа России — и этим всё сказано.

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ

КАКОЙ СТРОЙ В КИТАЕ?

К 40-летию начала экономических реформ

Декабрь 1978 и перемены

Ровно 40 лет назад в декабре 1978 г. в ходе 3-го пленума ЦК КПК 11 со- зыва решили сместить усилия партии и государства с классовой борьбы на преобразование хозяйственной сферы, что сыграло главную роль в становле- ния нового Китая и связано с именем Дэн Сяопина.

За истекшее с тех пор время страна превратилась в “мастерскую мира”, производящую все более сложную и качественную продукцию. Кризисы ушли в прошлое, а ВВП рос быстрее, чем где-либо — как правило на 8–10% ежегод- но. Реальный производственный сектор Китая стал больше американского, а его экономика вторая в мире по номиналу и с 2014 г. первая по паритету по- купательной способности. Долг США Китаю превышает триллион долларов.

Страну избороздили ультрасовременные автобаны и высокоскоростные железные дороги, по которым поезда движутся на 100–200 км в час быстрее, чем их аналоги в России. Сверкающие небоскребы разрастающихся мегаполи- сов все выше поднимают голову. В сфере научных разработок в Китае занято свыше 5,5 млн человек. Особые усилия предпринимаются в области цифрови- зации и создания технологий искусственного интеллекта.

За 40 лет Китай вывел из бедности сотни миллионов человек и в ближайшие три года намерен полностью закрыть эту проблему, касающуюся пока ещё 3% его почти полуторамиллиардного населения. Средняя продолжительность жизни заметно возросла и превысила 76 лет, а в Пекине и Шанхае она и того больше. И хотя по душевому ВВП Китай все еще значительно отстает от развитых стран Европы и Америки, постоянное улучшение ситуации не вызывает сомнений.

Решаются и экологические проблемы. Во время прежних пребываний здесь мне доводилось видеть, как в Пекине и многих других городах люди хо- дили с защитными от грязного воздуха повязками на лице. Теперь их почти нет. С 1 января 2018 г. компании обложили солидными “экологическими на- логами” — будет ещё чище.

Эпоха Мао Цзэдуна не однозначна

Предшествующая тому эпоха Мао Цзэдуна не была однозначной. После прихода к власти в 1949 году и образования КНР Мао Цзэдун исходил из не- возможности “одним махом перескочить в социализм с развалин полуфео- дального и полуколониального общества”. Еще в 1940 г. в сочинении “О но- вой демократии” он ратовал за “объединение социализма и капитализма в едином историческом периоде”, который и имел место в Китае, начиная

с 1949 года. В условиях “новой демократии” предполагалось широкое и длительное использование рынка и капитализма.

Однако после смерти Сталина в марте 1953 г. у Мао появилось желание встать во главе международного коммунистического движения, и им был взят курс на ускоренные социалистические преобразования, означающие свертывание частной собственности. Они развернулись в годы первого пятилетнего плана (1953–1958).

Нельзя сказать, что при этом не было достигнуто каких-либо положительных результатов. Например, выпуск стали в стране с 1952 по 1957 год возрос с 1 млн тонн до 5,2 млн тонн, в то время как в соседней Индии он увеличился всего с 1,6 до 1,7 млн тонн. В период с 1954 по 1957 гг. экономический рост составлял в среднем 12% в год. Но этого показалось мало. И в 1958 г. стартовал так называемый “большой скачок”. Были заданы сверхвысокие темпы роста и взят курс на создание “народных коммун”. Скоропатительность привела к расстройству экономики. Дело усугубилось тем, что после разоблачения в 1956 г. Хрущевым “культа личности” отношения между нашими странами резко ухудшились, Москва прекратила экономическую помощь КНР и отозвала своих специалистов. Последовавшие стихийные бедствия еще больше усугубили ситуацию и привели к голоду, унесшему десятки миллионов человеческих жизней.

Недовольство вызвало обострение борьбы в высшем эшелоне КПК. Стремясь расправиться со своими политическими противниками, Мао в 1966 г. объявил “Великую пролетарскую культурную революцию”. В Китае наступил период, чем-то напоминавший 1937 г. в Советском Союзе.

Ренегаты или реформаторы?

Еще в разгар маоизма несколько представителей высшего эшелона лидеров КПК высказывались за необходимость “сохранения хвоста капитализма”. В 1957 году второй человек в государстве Лю Шаоци, например, говорил: “Что лучше: автомобиль или рикша? Несомненно автомобиль. Однако в Пекине имеется ещё много маленьких переулков, в которые не может проехать автомобиль, но может проехать рикша. Уровень развития нашей страны невысок, социалистическая экономика не всегда может удовлетворить требования масс, поэтому необходимо дополнить ее свободным рынком, частным хозяйством”.

В 1961 году, будучи тогда генеральным секретарем ЦК КПК, Дэн Сяопин, пытаясь внедрить материальную заинтересованность в деревне, где проживало и трудилось подавляющее большинство китайского населения, но не желая вступать в открытую полемику с председателем Мао Цзэдуном, изрек ставшие крылатыми слова: “Не важно, какого цвета кошка, белая или черная, лишь бы она хорошо ловила мышей. Не важно, социализм или капитализм, главное, чтобы производство развивалось, а люди жили хорошо”.

Позже, во времена “культурной революции”, оба “ренегата” сурово поплатились за эти и прочие “вольности”. Мао Цзэдун бросил клич: “Огонь по штабам!”. Лю Шаоци обвинили в “контрреволюционной деятельности”, исключили из партии и сместили со всех государственных постов. В печати говорилось, что он заслуживает смертного приговора. По подстрекательству жены Мао — Цзянь Цин — собственная дочь Лю Шаоци была вынуждена возглавить кампанию по низложению отца. Впоследствии Лю Шаоци бесследно исчез, а его жену буквально растерзали и выбросили из окна.

Во время проходивших по всей стране митингов раздавались призывы расправиться и с “автором буржуазной теории о белых и черных кошках”. А один из боевых девизов тех дней гласил: “Нужно покончить с Дэн Сяопином, с этой змеей, плюющей капиталистическим ядом”. Хунвейбины схватили его сына Дэн Пуфана, пытали, а затем скинули из окна третьего этажа, в результате чего он переломал позвоночник и стал инвалидом. Сам же Дэн Сяопин провел под арестом два года, а потом был отправлен на “перевоспитание физическим трудом” в глухомань, где слесарничал на тракторном заводе.

Характер и особенности реформ Дэн Сяопина

Дэн Сяопин вновь приходит к власти после смерти Мао Цзэдуна (9 сентября 1976) и разгрома “банды четырех”, куда входила и вдова вождя Цзянь Цин. Теперь он вводит в оборот формулу “социализм с китайской спецификой”,

предполагающую возможность использовать не только социалистические принципы, но также частную собственность и капиталистические элементы хозяйствования. В результате проводимых под его руководством реформ, намеченных указанным пленумом ЦК в декабре 1978 года, в стране развился весьма успешный и эффективный симбиоз различных экономических укладов при политическом руководстве КПК.

В Китае говорят: “Суждения выносятся лишь после того, как закрылась крышка гроба”. Дэн Сяопин умер в феврале 1997 г. в возрасте 92 лет. Через полгода на XV съезде КПК он был назван “Марксом современного Китая”. Характеристика, надо сказать, несколько завышенная, так как Дэн был лишь великим практиком, но не теоретиком.

В реформах Дэн Сяопина заметна их неторопливость. Он всегда следовал принципу: переходить реку, нащупывая камни. Методом выгодной Западу “шоковой терапии” (как это происходило у нас) была противопоставлена “китайская гомеопатия”. Он начинал не с ломки политической системы, как Горбачёв, а с повышения эффективности экономики. И знал, что для верного курса корабля нужны не только паруса частного предпринимательства, но и штурвал государственного регулирования. Плановое хозяйство не рушилось, а становилось более эффективным. Дэн понимал, что начинать надо не с города, а с села, чтобы как можно скорее накормить и одеть народ, потеснить бедность, минимизировать социальную цену реформ, дать миллионам людей на себе ощутить конкретную пользу от них. Осознавал, что не следует форсировать приватизацию госпредприятий, особенно естественных монополий, что нельзя допустить расхищения национального достояния, созданного коллективным трудом народа, а также природных богатств страны.

Если Ленин в России столкнулся с необходимостью перейти от продразверстки к продналогу, то перед Дэном встала другая задача – раскрепощение загнанного в “народные коммуны” крестьянства, составлявшего 80% населения страны. Какое-то время пресловутые коммуны продолжали формально существовать. Но вся земля была разделена между крестьянскими дворами, которые сдавали государству по фиксированному ценам определенное количество тех или иных продуктов. Что выращивать сверх того и как распорядиться полученной продукцией, становилось уже их делом. При этом в разных провинциях огромной страны применялись свои формы организации отношений между крестьянами и коммунами – главное, чтобы они были эффективными. В результате производство сельскохозяйственной продукции резко увеличилось, что позволило решить продовольственную проблему, накормить, одеть, обуть огромное население.

Затем решились “потрогать тигра за хвост” – взялись за реформу промышленности (1982–1990 гг.). Реформирование госсектора шло по принципу: “Держать крупное – отпускать мелкое”. Государственная собственность не раздавалась налево и направо, а реорганизовалась на здоровых началах. Закрывались или продавались лишь убыточные предприятия, а рост национального капитала происходил в основном за счет образования новых предприятий и учреждений. Банковская сфера оставалась в руках государства и служила инструментом, направляющим модернизацию и инновационное развитие.

Осторожно привлекались и инвестиции из-за рубежа: вначале зарубежных китайцев – хуацзю, затем Запада, с сохранением рычагов контроля за их использованием в руках КНР. Для этого вдоль морского побережья создавались специальные экономические зоны с льготным режимом для инвесторов. Иностранные предприятия создавали не только дополнительные рабочие места, но и повышали общий технологический уровень производства в стране. В целом же Китай проводил реформы, руководствуясь принципом “опоры на собственные силы”, избегая в своей макроэкономической политике диктата МВФ и Мирового банка и не возлагая все надежды на “невидимую руку” рынка.

Происходили и заметные идеологические сдвиги. Дэн говорил: “Бедность – не социализм. Мы бедны, поэтому социализма у нас нет. Экономическое развитие выше классовой борьбы”. При этом до конца жизни Дэн не допускал мысли о капиталистическом перерождении страны. Его главная идея – “социалистическая модернизация Китая”. Он верил, что только социализм может спасти Китай и сделать его великой державой. И когда судьба намеченных им преобразований ставилась под угрозу, он проявлял твердость и несгибаемую волю. Трагедия, разыгравшаяся на площади Тяньаньмэнь (июнь 1989), свидетельствует, что его уступки капитализму имели разумный предел.

И еще: Дэн Сяопин не стал чернить своего предшественника, а подчеркивал тот факт, что под его руководством Китай превратился из отсталой, полуфеодальной, полуколониальной страны в одну из ведущих мировых держав, хотя методы “культурной революции” признавал ошибочными: “Бремя ошибок Мао Цзэдуна меньше, чем его положительный вклад”. Дэн Сяопин пользовался таким авторитетом, что руководил китайской “перестройкой”, не занимая высших должностей, и всячески старался передать своим преемникам дух преданности коренным интересам своего народа.

Стал ли Китай капиталистическим?

В книге “Как Китай стал капиталистическим” нобелевской лауреат по экономике Рональд Коуз детально описывает произошедшие там рыночные преобразования и заявляет о перерождении социализма в капитализм. Так ли это? Подвергся ли в Поднебесной социализм ликвидации?

Американец об этом умалчивает, замечая, что в КНР сформировался “капитализм с китайской спецификой”. Под неё подпадает то, что более 80% финансового сектора, естественных монополий и предприятий, добывающих сырьё, находятся в руках государства под контролем КПК. Еще выше (почти 100%) участие государства в телекоммуникациях и СМИ. Не говорит нобелевский лауреат и о такой “специфике”, как сохранение в китайской экономике централизованного планирования (ныне идет 13-я пятилетка), хотя есть важнейший признак социализма. Сами китайцы иногда называют сложившуюся у них систему “двухколейной”, как комбинацию плана и рынка, социализма и капитализма. То, что все преобразования проходили под руководством КПК, говорит в пользу того, что это реализовывалось вполне сознательно и диктовалось нахождением оптимальной формы экономических отношений, обеспечивающих не только экономический рост, развитие производительных сил, но и решение социальных вопросов.

Суждения Коуза о перерождении китайского социализма в капитализм разделяют не только идеологи Запада, но и многие представители левых сил, правда, они, в отличие от американца, этот тренд критикуют. Факт благотворности сочетания социализма и капитализма ими игнорируется. Для них более важно соблюдение “чистоты” марксизма-ленинизма.

Опасный хвост

Весной этого года парламент Китая одобрил решение Компартии снять временные ограничения для правления главы государства, что дает право нынешнему председателю Си Цзиньпину оставаться у руля и после 2023 года. В связи с этим на Западе и в наших либеральных СМИ поднялась волна возмущения “ударом по демократии” и “возвратом к диктатуре и маоизму”. По правде говоря, и у меня возникли вопросы, ответы на которые были получены лишь во время пребывания в Китае, где осведомленные лица разъяснили суть происходящего.

Переход к рынку и широкое использование капитализма для строительства социализма привели не только к бурному росту и успехам в Поднебесной, но и вызвали ряд проблем. Хотя благосостояние китайского народа в целом многократно возросло, общество раскололось на богатых и бедных. Децильный коэффициент (соотношение между 10% наиболее состоятельных и низкооплачиваемых граждан) в 1988 году составлял 7, а теперь, по самым минимальным оценкам, превышает 23, что в разы больше, чем в благополучных странах Европы. Это порождает немалую напряженность и раздражение в обществе, отчасти сохранившем мнение, что “неравенство хуже бедности”.

Обосновавшиеся благодаря политике “открытости” в Китае транснациональные корпорации подстегивают потребительскую психологию, оказывая пагубное влияние на молодежь. Остроту обрела проблема коррупции, охватившая все уровни власти. Все это вступает в противоречие с официально исповедуемым в стране марксистским мировоззрением КПК. Если раньше представители китайских верхов высказывались за необходимость сохранения “хвоста капитализма”, то теперь они опасаются, как бы он не стал вилять собакой.

В то время когда десятки миллионов китайцев по-прежнему живут на 1-2 доллара в день, число миллиардеров стремительно увеличивается

и приближается ныне к 400. Это без учета чиновников-мздоимцев и казнокрадов, скрывающих свои накопления.

Да куань и враждебные силы

Всех их называют “да куань” — “большие деньги”. Многие из толстосумов не лезут в политику, оказывают поддержку власти.

К ним относится основатель известной интернет-торговой площадки “Алибаба” 54-летний Джек Ма с состоянием \$38,6 млрд. Лоялен руководству КПК и другой король интернет-коммерции, глава телекоммуникационной корпорации “Тенсент” 47-летний Ма Хуатэн (\$42,6 млрд). Ничем не запятнал себя и ныне богатейший из китайцев 60-летний Хуэй Ка Янь (\$45,3 млрд). Его “Чайна Эверград” успешно работает с недвижимостью, он занимает пост советника ряда правительственных комитетов и внес более миллиарда долларов на борьбу с нищетой.

Но среди “да куань” немало и враждебных политическому руководству сил. Угроза с их стороны стала особо ощутимой при Си Цзиньпине. В популярных блогах появились призывы свергнуть коммунистический режим. Несмотря на попытки Пекина установить жесткий контроль над интернетом, такого рода выпады повторяются. Прослеживается их связь с крупным капиталом.

Нередки оппозиционные настроения и в рядах малого и среднего бизнеса. Никогда не забуду перелет из Москвы в Пекин осенью 2015 года. Пассажиры крупнейшей частной авиакомпании Китая “Хэйнань эйрлайнс” чувствуют себя на вершине обслуживания. Квалифицированно и без усталости трудятся на борту стройные, строго одетые, очаровательные и в меру улыбочивые стюардессы. В соседнем кресле вальяжно расположился русскоговорящий китаец средних лет и делового вида. Принесли еду, завязался разговор. Хозяин небольшой турфирмы из Харбина регулярно возит своих земляков в Россию, знакомя их с достопримечательностями Петербурга и Москвы. Когда он поинтересовался целями моего визита и услышал, что они включают участие в нескольких научных конференциях по проблемам марксизма и социализма, организованных Пекинским университетом и Академией общественных наук, по его лицу пробежала тень.

Через некоторое время он неожиданно изрек:

— Знаете, если бы на меня с неба свалилось оружие, я бы расстрелял всех наших коммунистов. — При этом он жестом показал, как бы взял в руки автомат, нажал на курок и стал из стороны в сторону передвигать воображаемый ствол.

— Чтобы справиться с 88 миллионами партийцев, ушла бы уйма времени, — заметил я и уточнил: — За что вы их так ненавидите?

— Они сидят на нашей шее, собирая налоги и создавая видимость деятельности, — прозвучал ответ.

— Но при их власти жизнь в стране все лучше и лучше?

— Отчасти это имеет место, — вынужденно процедил он, после чего диалог прекратился.

Мухи и тигры

Нельзя сказать, что до этого борьба с агрессивно настроенными бизнесменами, мошенниками и коррупционерами не велась. В середине 1990-х в Китае появились последователи Сергея Мавроди и его МММ. Был создан инвестиционный фонд якобы с целью наладить в стране производство однодозовых шприцев. Вкладчиков заманивали высокими доходами, и деньги потекли рекой. Но китайские правоохранительные органы быстро раскусили аферу. Трое создателей фирмы были отданы под суд и публично расстреляны. К высшей мере наказания приговорены тысячи чиновников за крупные взятки, включая бывшего вице-мэра Пекина Лю Чжихуа.

Новый лидер Китая поднял антикоррупционную кампанию на самый высокий уровень. А начал он с того, что приказал своим родственникам прекратить коммерческую деятельность. Генеральным же девизом его борьбы стало — “бить не только мух, но и тигров”. Если раньше нахождение на вершине партийно-государственной иерархии или в перечне “Форбс” фактически гарантировало иммунитет от разбирательств, то теперь этого нет.

Шанхайский журналист Чжэнь Илю констатирует: “Раньше члены Политбюро из окружения прежнего генсека Цзян Цзэминя считались “неприкосновенными”. Отныне под суд пошли губернаторы провинций, министры, мэры городов — их связи и знакомства не имеют значения. Сперва объявляют о начале расследования, затем исключают из партии, снимают со всех постов и лишь после — арест и процесс. Новый лидер Китая сломал систему, продолжавшуюся десятки лет, — одним позволялось все, а другим ничего. Ведь коррупция в нашей стране — древняя традиция... Сегодня в Китае боится брать взятку каждый — и министр, и рядовой городской чиновник. Разумеется, коррупция в одночасье не исчезла, но в данный момент никто не чувствует себя в безопасности”.

Первым из “тигров” загремел миллиардер Цзэн Чэнцзе, осужденный за воровство \$460 млн полученных от 57 тыс. вкладчиков для финансирования дутых проектов его девелоперской компании. Его казнили в июле 2013 года. Тогда же смертный приговор по обвинению в получении многомиллионных взяток получил разжалованный министр путей сообщения Лю Чжицзюнь.

В начале 2015 года был расстрелян 48-летний миллиардер Лю Хань, бывший глава крупнейшей в мире компании по добыче железной руды “Ханьлунь групп”. В вину ему поставили создание организованной преступной группировки, рэкет, убийства, торговлю оружием и другие деяния. В 1990-е годы он начал с биржевой торговли сырьем и организовал “крепкий коллектив” из родных и друзей, после чего его конкуренты либо сходили с дистанции, либо становились жертвами нераскрытых убийств. В собственность “Ханьлунь групп” переходили новые шахты и рудники, корпорация превратилась в крупного игрока на рынке КНР, а затем и в мире. Разрастающаяся империя Лю Ханя скупала также активы в энергетике, строительстве, туристическом бизнесе. Китайские СМИ называли хозяина фирмы “гордостью нации”, он депутатствовал в совещательном органе провинции Сычуань, откуда был родом.

В ходе разбирательств обнаружилось, что “крестным отцом” Лю Ханя был член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан, курировавший правоохранительные органы страны, а ранее — с 1999 по 2002 годы — возглавлявший партийную организацию в Сычуани и Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию. Чжоу Юнкан был отстранен от должности, против него начато расследование. Весной 2014 года в печать просочилась информация, что его арестованное имущество составило \$14,5 млрд! СМИ раскрыли подробности личной жизни бывшего шефа силовиков, включавшие пиры в принаследжавших ему дворцах и гаремы любовниц.

Спустя год суд приговорил его к пожизненному заключению с лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества. Он был давним доверенным лицом и протее бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя. По некоторым сведениям, Чжоу Юнкан вместе со сторонниками пытался даже организовать военный переворот, чтобы не пропустить во власть нынешнюю команду.

В рамках дела Чжоу Юнкана был арестован заместитель министра госбезопасности Ма Цзянь. В ходе расследования выяснилось, что ведавший контрразведкой 59-летний чиновник имел в Пекине 6 вилл, на которых содержал своих пассий и внебрачных детей.

Власти не забывают и “мух”. “Мелкие чиновники вконец обнаглели, — возмущается врач городской больницы древнего города Сиань Юань Мэй. — Бывало, отдельные лица крали всю сумму, отпущенную казной на инспекционные поездки по провинции, а начальству отсылали фальшивый доклад... с отчетом-фотоколлажем. Теперь не рискуют — за подобное дают 20 лет тюрьмы”.

Всего за последние 5 лет в Китае так или иначе наказан миллион чиновников. Стиль борьбы с коррупцией несколько изменился. Как замечает профессор истории Шанхайского университета Лунь Юань: “Прежде главной мерой наказания считалась “вышка”. Теперь взяточникам дают от 10 до 20 лет тюрьмы за “хабар” (барыш) в размере 5000 юаней (около 50 тыс. рублей), но расстрелы прекратились. Упор делается на конфискацию личной собственности, имущества жен и любовниц. Отныне в частную жизнь чиновника лезут без стеснений: давай докажи свою честность — с каких доходов твоя подружка нежится на пляже в Таиланде? Газеты неустанно рассказывают, как плохо живется взяточникам за решеткой, а семьи коррупционеров переезжают из роскошных вилл в ободранные “двушки” на рабочей окраине”.

Серые носороги

Полтора года назад за рискованные сделки с иностранцами был задержан финансовый магнат У Сяохуэй, хозяин группы страховых компаний “Аньбан”, владеющей роскошным отелем “Уолдорф Астория” на Манхэттене и прочей элитной недвижимостью по всему миру. Ему не помогло, что он женат на внучке Дэн Сяопина. У Сяохай обсуждал с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, участие в многоэтажном проекте на Пятой авеню в Нью-Йорке, но сделка не состоялась, так как Китай ужесточил контроль за вывозом капитала. В прошлом году миллиардер также изъявил желание заплатить \$9 млрд за 14% акций “Роснефти”, но не успел закрыть сделку. Выяснилось, что У Сяохуэй — главный поставщик крайне рискованных спекулятивных продуктов. Были выявлены нарушения и в способах их продаж. В конце минувшего мая за мошенничество и растрату в размере около \$ 12 млрд (!) его приговорили к 18 годам заключения.

Неприятности ждут и владельца инвестиционной “Баоненг групп” Яо Чжэньхуа. Правоохранительные органы заинтересовались им после того, как его состояние за один 2016 год выросло в девять раз! Власти называют “Аньбан” и “Баоненг” “серыми носорогами”, угрожающими стабильности экономики и финансовой системе страны. Всего за годы правления Си Цзиньпина к ответственности привлечены уже около 200 “тигров” и “серых носорогов”.

Пороки госкапитализма

Под контролем государства прямо или косвенно находится свыше трети всей китайской экономики. Государственные банки дают кредиты на развитие бизнеса зачастую только тем компаниям, чьи руководители являются родственниками правительственных чиновников на местах. А для чужих, не состоящих в союзе власти и бизнеса, мало того, что никаких льгот, но ещё взбавок взятки и поборы. Как считает китайский аналитик Ванг Сяолу: “Когда государственная власть объединилась с капиталом, свободная конкуренция рыночной экономики начала заменяться монополией кланового капитализма, ведущего к несправедливому разделению доходов и собственности, снижению экономической эффективности и обострению социальных конфликтов”.

В итоге коррупция со стороны властей не только душит малый и средний бизнес, но и приводит к тому, что предприниматели, стремясь к максимальной прибыли, ведут себя недобросовестно. Вот как описывает такого рода настроения китайский писатель Мужун Сюэцунь: “Не существует четкой границы между законным и незаконным. Практически каждая фирма идет на обман при уплате налогов, и почти все хотя бы в чем-то нарушают законы... Возьмем к примеру, владельца небольшого магазинчика. В стремлении нагреть руки на его бизнесе, чуть ли не каждая государственная организация, будь то отдел торговли, налоговая инспекция, полицейское управление, пожарная инспекция или отдел здравоохранения, может пригрозить ему закрытием магазина. Если он рискнет не выполнить требования этих организаций, ему и его семье будет угрожать полное разорение. Вследствие вызванной таким положением незащищенности большинство граждан не предпринимает долговременных проектов, а сосредотачивается на бизнесе, приносящем быструю прибыль”.

Одним из следствий такой практики является снижение качества товаров, нередко вызывающее скандалы. Другим — обогащение нечистоплотных партийных функционеров, засевших в регулирующих органах. Понимая, что их положение весьма шатко, многие из них бегут за границу или отправляют туда свои семьи. По данным Китайской Академии общественных наук, за последние 20 лет из Китая сбежали за рубеж около 19 тысяч партийных функционеров, а также чиновников органов безопасности, юстиции. В общей сложности они вывезли из страны около 130 млрд долларов. За это же время за границей поселилось свыше полутора миллиона детей и жен китайских чиновников. Появился даже специальный термин — “голые чиновники” — те, чьи семьи и капиталы находятся за рубежом.

Небесная сеть и охота на лис

В рамках запущенной в 2014 году кампании “Небесная сеть” власти КНР уже вернули из-за рубежа 2,5 тысячи беглых коррупционеров, пытавшихся скрыться более чем в 90 странах мира. По видом туристов или по деловым

визам сотрудники китайских спецслужб отправляются за рубеж с целью обнаружить беглецов и депортировать их в Поднебесную. Данная деятельность получила даже официальное название “Охота на лис”. При этом в страну удалось возвратить и некоторые вывезенные ими капиталы — 8,6 млрд юаней (1,29 млрд долларов). 1293 человека приехали в Китай сами, оформив явку с повинной. 410 обвиняемых во взяточничестве были членами КПК, занимая различные посты в госаппарате. В результате заметно сократилось число чиновников, которые пытаются сбежать вместе с капиталом за рубеж: они понимают, что их найдут.

После публикации “панамских документов” выяснилось, что китайцы занимают первое место по количеству тех, кто открыл офшорные компании. В том числе в этом списке есть младший брат бывшего зампреда КНР Цзян Цинхуна, невестка члена политбюро Лю Юньшаня, зять вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли, внучка бывшего председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Цзя Цинлиня, а также дочь бывшего министра общественной безопасности КНР Цзя Чуньвана. Все перечисленные чиновники считаются сторонниками Цзян Цзэминя, а он сам, как пишут, держит деньги в Швейцарии.

По китайским законам, за нелегальный “доход” свыше 100 тыс. юаней (около 1 млн руб.) чиновнику светит минимум 10 лет заключения. Более того, ведущей к тюрьме взяткой здесь считаются подарки дороже 200 юаней. В 2016 г. в Китае четко определили размер взятки, за который полагается “вышка”: от 460 тыс. долл. У расстрелянных коррупционеров конфискуют все имущество, а семья получает счёт на 8 юаней — за 2 пули, с помощью которых приговор был приведен в исполнение.

Компартия ограничила тягу китайских чиновников к роскоши. Им запрещено устраивать роскошные обеды, в том числе в честь приема иностранцев. Для посещавших вроде меня Пекин ежегодно это не могло остаться незамеченным. Также запрещено возводить роскошные дачи, приобретать дорогие квартиры и даже строить новые здания обкомов и горкомов партии. О нарушениях любой гражданин может сообщить в Комитет партийного контроля. А дальше проверкой сигнала занимаются правоохранители.

Менял — из Храма

Союз партийных функционеров и государственных чиновников с бизнесом стал устанавливаться вскоре после начала экономических реформ. Но при Дэн Сяопине негласным правилом было то, что предприниматели не становились членами КПК и не претендовали на занятие властных и политических должностей. После его кончины в 1997 году ситуация постепенно менялась. В 2001 году тогдашний председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в свете выдвинутой им теории “трех представительств”, разрешил прием в партию “прогрессивных предпринимателей”. И миллионеры наряду с рабочими, крестьянством и интеллигенцией начали пополнять правящую партию. А членство в ней давало возможность занимать государственные посты. Затем представители делового мира стали претендовать на вхождение в состав ЦК КПК, а также высшие органы исполнительной и законодательной власти.

До Си Цзиньпина численность мультимиллионеров в КПК и парламенте неуклонно росла. В верхних эшелонах партийной власти, например, появились генеральный директор компании “Хайер” Чжан Чуйминь, президент Китайской нефтехимической корпорации “Синопек” Ли И, миллиардер Лян Вэнгэнь. К 2012 году в высшем законодательном органе Китая находились уже более 200 мультимиллионеров, включая 31 миллиардера (при общем числе депутатов в 3000). Однако с приходом нынешнего лидера КНР представительство “да куань” в ВСНП пошло на убыль. Так, в открывшейся в марте 2018 года сессии их участвовало на треть меньше, чем пять лет назад.

С приходом к верховной власти Си Цзиньпина прием в партию бизнесменов сразу же резко сократился и затруднился. Затем началась “Великая чистка” под лозунгом “борьбы с перерождением КПК”. Она, как отмечалось, добралась до самых высот — Политбюро ЦК КПК. Первым из его членов под жернова попал Бо Силай. Он возглавлял парторганизацию мегаполиса Чунцин с 30 миллионами жителей, а некогда был министром торговли КНР. Сначала его разжаловали, исключили из партии, судили, а в 2013 году вынесли приговор к пожизненному заключению. Вслед за ним та же участь постигла упомянутых выше Чжоу Юнкана

и Сюй Цайхоу. Четвертым оказался бывший глава Канцелярии КПК Лин Цзихуа, чьи неприятности начались с огласки того, что его сын разбился за рулем спортивного “феррари” ценой в полмиллиона долларов, тогда как месячный оклад отца составлял лишь \$1,5 тыс. СМИ не преминули сообщить и то, что в салоне искореженного авто находились еще две обнаженные красотики. Уже в ходе разбирательств и суда просочились мнения, что Лин Цзихуа пытался объединить всех названных высокопоставленных функционеров в Политбюро и готовил заговор против ныне действующей власти. В связи с этим в китайском политическом лексиконе даже появился термин “Новая банда четырех”.

Большинство китайского народа, включая представителей малого и среднего бизнеса, одобряет действия команды нынешнего главы государства по наведению порядка в стране. Поддержка решительных действий властей находит и в рядах крупного капитала. Но и сопротивление велико. Через эмигрировавших в изрядном количестве “да куань” ведется яростная атака на главного дирижера антикоррупционной кампании, заместителя председателя КНР Вань Цишана, возглавляющего грозную Центральную комиссию по проверке дисциплины. Причем нападки идут не только под флагом антикоммунизма — самого Вань Цишана и других участников правящей команды тчат обвинить в нарушениях законодательства и коррупционной деятельности.

Обстановка осложняется тем, что внутри правящей партийно-государственной бюрократии имеются противоборствующие группы: “шанхайцы”, во главе с теми, кто вознесся при Цзян Цзямине, “комсомольцы”, являющиеся выдвиженцами Ху Цзинтао, и так называемые “принцы” — дети, внуки и родственники руководителей КПК и КНР первого и второго поколений. К ним относится и нынешний лидер.

Членов Постоянного комитета Политбюро, составляющих ядро властвующей КПК, беспокоит стремление “да куань” расшатать внутривластную обстановку в стране и в будущем провести на высшую государственную должность свою креатуру. Они хорошо изучили причины краха социализма в СССР и пытаются не допустить подобного. Это и заставило их вынести решение, отменяющее ограничение занятия одним лицом властных полномочий двумя пятилетними сроками. Вероятнее всего, оно не было инициировано нынешним генсеком КПК и не означает желание Си воцариться на все времена. Но оно дает возможность нынешнему лидеру страны продлить пребывание на капитанском мостике до тех пор, пока не будет одержана победа интересов полтора-миллиардного народа над разложившимся чиновничеством и наиболее амбициозными фракциями “да куань”.

Бедность отступает, средний класс растет

По данным ООН, 2,2 миллиарда людей на Земле живут в условиях нищеты, а 12% человечества регулярно голодает. Из всех стран мира успешнее всего с проблемой нищеты справляется Китай. В 1978 г. в соответствии с европейскими критериями за чертой бедности там находилось больше половины жителей страны — около 700 млн человек, в 2005 году это число упало до 207 млн человек, а в настоящее время сократилось до 50 млн. Ежегодно на борьбу с бедностью выделяется от \$7 до \$10 млрд, и каждый год из-за черты бедности выводится более 10 миллионов жителей страны. Государство увеличивает и объемы инвестиций в сферы социального страхования и здравоохранения. Правда, значительная часть населения, особенно сельского, еще не охвачена пенсионной системой, и молодым приходится помогать старикам. Но в городе ею пользуется свыше 250 млн человек, системой страхования по безработице — свыше 140 млн человек (при увольнении с работы можно до двух лет получать деньги — небольшие, но жить на них можно). В деревнях также имеются те или иные “социальные обеспечения”: бедным семьям выплачивают из местных бюджетов. В ближайшее время число обладателей карточек социального обеспечения должно достичь 800 млн человек. В итоге бедность непрестанно отступает.

По мнению большинства китайских специалистов, к категории среднего класса следует относить примерно 20–25% всего населения, т. е. 270–335 млн человек — тех, чей годовой доход составляет от 12 до 100 тыс. долл. Между тем еще в 2004 году к среднему классу принадлежало лишь 12% населения страны. А с начала 2000-х годов доля среднего класса в КНР выросла более чем вдвое. В состав среднего класса Китая входят чиновники,

владельцы малого и среднего бизнеса, высококвалифицированные специалисты — инженеры и программисты.

Одновременно сокращается разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями. Причем доходы на селе растут заметно быстрее, чем в городах. Несмотря на это, деревенские жители Китая продолжают переселяться в города. По многим оценкам, к 2020 году уровень урбанизации превысит 60%. Фактором роста среднего класса служит рост числа образованных людей. Многие западные и китайские эксперты прогнозируют, что через 20–30 лет доля среднего класса в Китае достигнет 60%, а его численность — 800–900 млн человек. По абсолютному показателю средний класс Китая и сегодня стоит на первом месте в мире.

Интегральная модель

В связи с 200-летием со дня рождения Маркса во многих странах мира проходили юбилейные конгрессы и конференции. На трех из них в Пекине, Москве и Афинах, где довелось участвовать, затрагивался вопрос о строе в Китае. На заключительном пленарном заседании московского международного форума “Маркс-XXI” (май 2018) главный его организатор профессор А. В. Бузгалин высказал сомнение в адрес устоявшегося определения — “социализм с китайской спецификой”. Он заметил, что правомерно говорить о специфических сортах яблок, но к ним не следует относить принципиально иной продукт — картофель.

И в самом деле, если под китайской спецификой понимается широкое пространство в стране частной собственности и капиталистических укладов, то само наименование существующего там строя “социалистическим”, мягко говоря, является натяжкой. Либо надо поменять представление о социализме и заявить об этом во всеуслышание, либо внести коррективы в формационную концепцию Маркса. Но поскольку ни то, ни другое не делается, то пропадает ясность и возникает немало вопросов.

40-летняя практика экономических реформ в Китае наводит на мысль о необходимости коррекции формационной теории Маркса. Вслед за капитализмом в современном мире утверждается не социализм, сохраняющий свои позиции ныне лишь в Северной Корее и на Кубе (и то уже отчасти), а новое интегральное общество, впитывающее в себя достоинства социализма и капитализма.

“Чистый” социализм показал и продолжает показывать свою неустойчивость и проблематичность, ибо плановая система, доведенная до своего логического конца, приводит к отставанию от капитализма. Требуется сочетание общественной и частной собственности, плана и рынка, что предполагает наличие двух систем, причем пропорции между двумя регуляторами могут и должны меняться во времени, но ни один из них не должен целиком вытеснять другой. Об этом говорилось на Пекинском форуме, посвященном Марксу (май 2018), в докладе “Логика выбора экономического строя” профессора Юй Хунцзюня — одного из его организаторов.

Новое интегральное общество является реальностью не только в Китае, но и во Вьетнаме, ряде других стран, к примеру, скандинавских. Умелая комбинация социалистических и капиталистических начал приводит к решению четырех наиболее важных задач развития общества: высоким темпам экономического роста, социальной справедливости, развитию личности, или человеческого потенциала, повышению духовной свободы граждан. Однако это общество не лишено острых противоречий и недостатков, о которых частично было сказано выше.

Тезис о “вечности” или “естественности” капитализма, столь же далек от действительности, сколь мнение об “искусственности” или “рукотворности” социализма. Обладая рядом неоспоримых преимуществ, обе системы вполне “объективны” и имеют место в истории не случайно. Однако обе они в изоляции друг от друга внутренне противоречивы, неустойчивы и требуют взаимодействия и поддержки, что на практике и произошло в Китае.

Этот вывод особо важен для нашей страны, оказавшейся в системе координат бюрократическо-олигархического капитализма. Именно интегральная модель должна служить ориентиром для коренной смены парадигмы общественного развития и оптимальной экономической политики. Такая коррекция формационной теории важна для построения верной экономической стратегии и выработки новой идеологии российского государства. Движение в этом направлении может обеспечить введение прогрессивного налога и, главное, — планового хозяйства. В экономике должны работать два регулятора, и требуется к тому же находить оптимальное соотношение между ними.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ОГНЕДЫШАЩАЯ ЗОЛА ЭПОХИ

Тридцать лет тому назад — в конце восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого столетия — российская интеллигенция попросту сходила с ума, когда разговор заходил о Солженицыне. Все зачитывались “Архипелагом”, прозой и публицистикой, все жаждали его возвращения в Россию с надеждой, что “пророк перестройки” укажет пути возрождения Отечества... И не надо думать, что такого рода надеждами жили лишь наши враги — “западники”, “штатники”, “шестидесятники”... Нет, этим поветрием дышали и самые что ни на есть заслуженные патриоты. Я помню, как в конце 1989 года, когда я только-только обжился в кабинете главного редактора журнала “Наш современник”, мой ближайший друг Вадим Кожинов организовал встречу с Игорем Шафаревичем в квартире последнего, где знаменитый в патриотических кругах академик и автор “Русофобии” (с лёгкой руки Шафаревича это слово вошло в наш обиход и с успехом работает в мировоззренческой борьбе по сегодняшний день) дал согласие войти в редколлегию “Нашего современника” при условии, что журнал будет щедро публиковать произведения Солженицына... Более того, Вадим Валерианович Кожинов настаивал на том, чтобы “Наш современник” перехватил инициативу у “Нового мира” (где работал журналист Вадим Борисов, которому Солженицын дал право раздавать всё написанное им по разным журналам и газетам) и начал в каждом номере 1990 года публиковать всё, что вышло и выходит из-под пера великого человека и мыслителя. Только такая политика, по мнению Кожинова и Шафаревича, могла спасти “НС”. Да разве только они были ослеплены лучами его мировой славы! В декабре 1988 года в Москве, в клубе фабрики имени Баумана, прошёл вечер, посвящённый 70-летию Солженицына, на котором мои друзья, постоянные авторы журнала и члены редакционной коллегии, произносили целые речи в честь Солженицына, и эти речи, по их настойчивому желанию, были опубликованы в январском номере журнала за 1990 год... Вот короткие отрывки из этих юбилейных речей.

Владимир Солоухин: “Александру Исаевичу исполняется 70 лет. Он встречает своё 70-летие в изгнании. Пытались затоптать Александра Исаевича. Но недаром же будто в какой-то западной энциклопедии там, в Англии издающейся, написано на букву “Б” — “Брежнев — мелкий политический деятель в эпоху Солженицына” <...> Лет пять назад я видел Солженицына, пробрался к нему в Вермонт. Он хочет вернуться на родную землю. Но он хочет возвратиться с подобающим ему достоинством”.

Страна двигалась к своей гибели, а “пророк” думал лишь о “возвращении... с достоинством”.

Игорь Шафаревич: “Вопрос о возвращении Солженицына в нашу современную литературу — это вопрос не о соблюдении правовых норм нашего

государства — эту-то задачу можно было решить на ком-нибудь помельче. Это один из факторов нашего народного выживания”.

Владимир Крупин: “В Солженицыне мы видим истинно русское понимание креста, которое несёт писатель в сегодняшнее особенное время. Это, конечно, страдание, и я вспоминаю, как Достоевский говорил совершенно искренне Победоносцеву: “Голубчик, какой Вы хороший человек, но всё же как жаль, что Вы не посидели на каторге! Вы бы ещё лучше, так сказать, стали, то есть Вы бы обмякли через эти страдания!” Страдания, которые перенёс Александр Исаевич, возвышают его над всеми нами. Жаль, что он не с нами, но будем надеяться, что мы ещё будем лицезреть его воочию”.

Леонид Бородин: “И ещё о наших лагерях. Это были не бериевские лагеря. Это были наши с вами лагеря. Наше молчание санкционировало их существование. И там, в этих лагерях, мы считали Солженицына нашим представителем на воле. Часто он и был таковым. И от своего имени, и от имени тех, кого здесь нет, я желаю ему здравствовать и возвратиться”.

Валентин Распутин: “Возвращение Солженицына, вернее, пока книг Солженицына подобно чуду. А. И. Солженицын прошёл свой крестный путь сполна. Давно один человек не брал на себя столь огромного и тяжкого труда. И не вынести бы ему взятого, будь он хоть семи пядей во лбу, надорваться бы ему и за половинной ношей, если бы не осознал он себя как избранника российского неба и российской земли и не поступал как избранник”.

Да о чём речь, если даже Михаил Шолохов с восторгом принял первые публикации солженицынской прозы — “Матрёнин двор” и “Один день Ивана Денисовича”!

Поставленный в такие эмоциональные обстоятельства со стороны ближайших друзей-писателей, я не мог не считаться с ними, делающими журнал вместе со мной, и написал Солженицыну письмо в Вермонт с предложением о сотрудничестве.

С этого письма и началась наша переписка с ним, многое мне прояснившая и в его гражданской позиции, и в его человеческом поведении, прояснившая настолько, что каждое его очередное письмо ко мне всё полнее убеждало меня в том, что мои друзья безмерно преувеличивают его “достоинства” и в упор не видят, насколько наш “пророк” мелочен, самолюбив и тщеславен.

Ещё не до конца понимая всё это, я, тем не менее, сознательно предложил Солженицыну опубликовать в журнале всего лишь одну из частей “Красного колеса”, повествующую о жизни Ленина в Цюрихе, где он встречался с международным еврейским финансовым авантюристом Парвусом, которого Владимир Ильич умело использовал в деле подготовки русской революции. Эта глава, как я её понимал, свидетельствовала о Ленине как о гениальном игроке на шахматной доске мировой истории и талантливом организаторе, о котором впоследствии Борис Пастернак напишет в поэме “Высокая болезнь”: “Он управлял теченьем мыслей // И только потому — страной”, а Сергей Есенин в поэме “Анна Снегина” на вопрос своих деревенских земляков “Скажи, // Кто такое Ленин?” — ответит им: “Он — вы!” А Николай Клюев провозгласит: “Есть в Ленине керженский дух, // Игуменский окрик в декретах, // Как будто истоки разрух // Он ищет в “Поморских ответах”. О Маяковском, посвятившем Ленину одну из самых знаменитых своих поэм, и говорить нечего. Во всяком случае, моё первое письмо, посланное Солженицыну осенью 1989 года, было написано в духе перестроечного времени.

“Уважаемый Александр Исаевич!

Сердечное спасибо Вам за то, что Вы дали право “Нашему современнику” на публикацию “Октябрь шестнадцатого”. Начнём печатать роман, редактируя его речами В. Распутина, В. Солоухина, И. Шафаревича, Л. Бородина, которые были произнесены ими год тому назад, когда в одном из московских клубов мы чествовали Ваше семидесятилетие. Кроме того, рад передать Вам только что вышедший сентябрьский номер “Нашего современника” с “Поминальным словом о Твардовском” и со статьёй “Жить не по лжи”, переданными нам для публикации В. Борисовым.

“Октябрь шестнадцатого” мы рассчитываем публиковать в течение первого полугодия, начиная с январского номера 1990 года.

В этом же номере “Наш современник” напечатает повесть “Третья правда” хорошо известного Вам Леонида Бородина...

В 12-м номере за 1989 год “Нашего современника” будет напечатана статья критика В. Бондаренко о Вашей прозе.

И, однако, не всё так просто и легко делается. Загвоздка уже не в цензуре или партийном диктате, а порой в нас самих. Нередко на встречах с читателями нам задают вопросы искренние русские люди, ещё не до конца освободившиеся от марксистско-сусловского наркоза: “А почему это наш любимый журнал, “патриотический и бескомпромиссный”, подлаживается к моде и печатает Солженицына, который говорил то-то и то-то о “советской власти”, “о коммунизме”, и далее идёт весь набор штампов, вбитых в их головы в семидесятые годы...”

Ну, тогда я начинаю ликбез: напоминаю читателям об “Одном дне Ивана Денисовича”, о “Матрёнинном дворе”, о том, что Солженицын не раз высоко отзывался, живя уже в Америке, о нашей “деревенской прозе” — а ведь деревенская проза — это Белов, Распутин, Астафьев, Солоухин — главные авторы журнала, которые, в свою очередь, здесь, в России, всячески старались сказать правду о Солженицыне. Говоришь всё это людям — и видишь: действует, но медленно, осторожность остаётся. И тогда я, чтобы человек, окончательно сбитый с толку в эпоху гласности, понял А. И. Солженицына, начинаю пересказывать ему Ваши пророческие статьи о “плюралистах”, “образованщине”, размышления о России из Ваших речей и интервью 70–80-х годов. И тут-то у людей буквально на глазах отверзаются глаза и уши, и они просто начинают стнать: “Ну, как же так, почему мы этого не знаем, это же нужно срочно опубликовать!...” Недавно я проделал такой опыт с бывшим фронтовиком, Героем Советского Союза, который пришёл в редакцию, чтобы от себя и от имени своих товарищей объявить, что они не будут подписываться на свой любимый журнал “Наш современник” потому, что он “следует моде” и печатает “антисоветчика Солженицына”. Однако, когда я этому честному человеку пересказал статью “Наши плюралисты” со всеми её пророчествами, касающимися смутного времени перестройки и того, как “разгромят Россию”, — он просто схватился за голову: как жаль, что мы всего этого не знаем! Надо объяснить людям Солженицына! И ушёл буквально потрясённый, как Савл, переродившийся в Павла...

Так что, уважаемый Александр Исаевич, если бы Вы разрешили опубликовать нам кое-что из Вашей публицистики: “Образованщину”, “Гарвардскую речь”, “Плюралистов”, полемику с Сахаровым, интервью с Сапием, — словом, что захотите, помня о таких вот Героях Советского Союза, несчастных и честных людях. Это было бы необычайно своевременно и необходимо. Я бы осуществил такую публикацию в ближайших номерах журнала параллельно с публикацией “Октября”.

Поддержите молодого редактора и всех нас. Я всегда знал цену пропаганде, обрушившейся на Вас в 70-е годы. Ни единым устным или письменным словом не присоединился к ней. Это было невозможно, прежде всего, потому, что сразу же после “Одного дня” Вы стали дорогим мне писателем. Помнится, что в середине 60-х годов я, молодой тогда ещё поэт, послал Вам в Рязань с благодарностью за “Матрёнин двор” книжечку своих стихотворений. Конечно, Вы об этом не помните — не до того Вам было, — но мне было радостно думать: “Получит Александр Исаевич книжечку, и легче ему станет от того, что молодёжь понимает его”. А сейчас сам уже дед, да и жизнь почти прошла. Надо напоследок хоть что-то ещё сделать, только поэтому не отказался от должности главного редактора журнала. Пишу в “ЖЗЛ” книгу о Есенине, мечтаю в следующем году приехать в Америку, порыться в Национальной библиотеке Конгресса, где немало хранится материалов о жизни Есенина в Европе и Америке. Но добиться от нашего бюрократического Союза писателей такой командировки непросто — я же не Вознесенский и не Евтушенко... Однако, если такое удастся, можно ли будет навестить Вас?

Хочу помянуть редколлегию журнала, оставить в ней В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, ещё двух-трёх человек и ввести дополнительно И. Шафаревича, В. Кожина, Ю. Кузнецова, Г. Свиридова... А если бы — простите мне, Александр Исаевич, поэтическую вольность — и Вы дали согласие стать членом редколлегии “Нашего современника”?

Впрочем, я размышлял, но, видимо, потому, что начинаю относиться к журналу, как к своему родному дитяти.

Всего Вам доброго. Дай Вам Бог здоровья ради исполнения предначертанного.

Станислав Куняев”.

Вскоре из Вермонта мне пришёл ответ.

“8.10.89

Кавендиш, Вермонт

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Это очень верно, как вы пишете, что известный тип читателей Вашего журнала должен воспринимать Солженицына как “антисоветчика” и даже, вот, угрожает отказаться от подписки. Именно этот тип и подпирает собой тот казённый грубый уклон, который был всё время свойственен Вашему журналу, ответно был нестерпим и мне, врезался чересполосицей казённых штампов сквозь большинство статей журнала. (Если к этому добавить и часто невысокий уровень тех статей и почти всегда невыносимое словообилие их, то картина будет мало привлекательна.) Но Игорь Ростиславич заверил меня, что, начиная с Вашего редакторства, это всё изменится — и только поэтому я согласился отдать Вам “Октябрь Шестнадцатого”. Очень жаль, если обещанное не произойдёт.

Моё условие, разумеется: никаких пропусков и выемок из “Октября”, только полностью книга от первой до последней строчки (оглавление — не нужно), никакого “сокращённого журнального варианта”. Также не печатайте к “Октябрю” никаких предисловий и объяснений, кроме краткого фактического предварения о структуре “Красного колеса”, которое Вы получите от Вадима Михайловича, и от него же — уже сокращённую публикаторскую справку к “Октябрю” (из т. 14, стр. 589), которую Вы вольны (и даже нужно) ещё как угодно сократить. Обращаю Ваше внимание, что в № 9, который Вы мне прислали, П. Г. Паламарчук безосновательно превзошёл задачу простой справки (превзошёл и объём моей публикуемой вещи), дав эмоциональный комментарий и забегающий далеко вперёд отрывок.

Если вы намерены печатать выступления на вечере 11.12.88 — то, пожалуйста, совершенно отдельно от “Октября”, не связывая с ним.

Столько лет будучи отторгнут от соотечественного читателя, я настаиваю на праве предстать перед ним именно своими произведениями, без предваряющих, хотя бы доброжелательных истолкований.

Что касается “Наших плюралистов” и др. — то свою публицистику я вообще не буду печатать прежде главной части всей моей прозы, а это достаточно долго. И менее всего я хотел бы привлекать читателей через публицистику. Ничего больше предложить Вам не могу.

В редакции я вообще не входил никогда ни в какие и не намерен.

Всего доброго, успеха Вам в перестройке журнала.

А. Солженицын”.

Прочитав это письмо, я начал понимать, что из всех смертных грехов Александр Исаевич впадает в самый губительный для творческого человека высокомерный грех гордыни, что ему нужны не друзья и единомышленники, а слуги, которым он всегда будет диктовать свою волю. А кроме этого, до меня дошло, что он хладнокровно расчётливый человек, понимающий, что его публицистика, будучи опубликована в России, может повредить ему при возвращении на Родину...

Но чего я тогда, к сожалению, не понял, так это того, почему он так настаивал на публикации в России в первую очередь своей прозы. Сейчас я уверен, что он уже в 90-м году решил бросить перчатку Михаилу Шолохову и доказать всему читающему миру, что “Тихий Дон” — это в некоторой степени плагиат, что и было сделано при издании книги И. Н. Медведевой-Томашевской “Стремя Тихого Дона”, и что историю революции и гражданской войны надо изучать не по “Тихому Дону”, а по его “Красному колесу”.

В дальнейшем наши отношения начали портиться из-за того, что Солженицын решил, будто “Наш современник” печатает главы “Красного колеса” слишком маленькими порциями.

“10.03.90

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Получил Вашу телеграмму. (Я сообщил ему, что журнал с первой частью “Красного колеса” вышел).

Опоздано многое в нашей стране — на десятилетия.

Опоздала и моя публицистика. Появись она сейчас в любом журнале — ничему б она не помогла. Я хорошо обдумал, прежде чем решил: уж теперь она никак не должна обгонять мою прозу.

Удовлетворитесь печатанием “Октября Шестнадцатого” и, пожалуйста, не предлагайте мне других проектов.

Напоминаю Вам, что я просил присылать мне простой бандеролью по почте каждый один экземпляр журнала с “Октябрём”. До сих пор не получил №1. (А ещё один экземпляр, пожалуйста, передавайте В. М. Борисову).

Всего доброго.

А. Солженицын”.

За этим письмом вскоре последовало ещё одно с высокомерными упрёками:

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

Вы переслали мне сейчас без всякого сопроводительного письма гранки Вашего № 4.

Из них я вижу, что Вы свели отрывок из “Октября” до уродливо-малой пародии (1/30 часть всего объёма книги). При таком отрывчатом чтении читатель теряет всякое ощущение книги. Надо ли это так понять, что Вы хотели растянуть “Октябрь” ещё и на 1991 год? Я не даю на это согласия. На чём кончите в декабре 1990, на том и кончим. Журнальное печатание “Октября” ещё и в 1991 году для меня не имеет никакого смысла.

Ещё моё исходное условие было: всем журналам, печатающим меня, высылать самим на Вермонт 1 экз. простой авиабандеролью. Ваш журнал этого не делает. У В. М. Борисова хватает другой нагрузки, чтоб ещё собирать и посылать мне все журналы.

Телеграмма была — о встрече, но я, чтобы не разрушить свою работу, уже много лет ни с кем не встречаюсь.

Всего доброго.

А. Солженицын”.

Получив это письмо, помнится, что я вздохнул с облегчением: слава Богу, что упорствующий в гордыне автор не даёт согласия печатать бесконечный “Октябрь” в 1991 году. А что касается “телеграммы о встрече”, то речь шла о том, что делегация советских писателей, в составе Л. Бородина, Ст. Куняева, Э. Сафонова, В. Лихоносова, О. Михайлова, П. Горелова, на месяц приехавшая в мае 1991-го в США, готова встретиться с Исаичем. Но раз он “много лет ни с кем не встречается”, то и ладно. Как говорится, баба с возу — кобыле легче. По крайней мере, я думал так, а другие — Виктор Лихоносов, Олег Михайлов — огорчились. Но ненадолго...

“30. 9. 90

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Почта ходит порой так плохо, я на Вашу телеграмму от 19 сент. ответил через В. М. Борисова. Однако пишу прямо, хотя это письмо может прийти к Вам нескоро.

Я удовлетворён Вашим заявлением, что Вы поместитесь с “Октябрём Шестнадцатого” в 1990 году, хотя Вы создали для этого уже очень трудные условия: то печатали его ничтожными порциями, а теперь придётся форсированно. Но на 1991 — решительно не переносим его.

Из того, что я вообще собираюсь печатать в 1991 году, предложить мне Вашему журналу, к сожалению, нечего: тома “Марта” уже разобраны, а что буду печатать меньшее по объёму — то всё в “Новом Мире”, больше нигде. Да, собственно, почти всё моё уже и распечатано, иногда пиратски некрасиво, но не подавать же на них в суд! Недостойно поступают.

Передайте привет Эрнсту Ивановичу Сафонову, я надеюсь, он получил мой ответ.

Всего доброго.

P. S.

Ваш журнал имеет обычай в начале года отмечать “премиями” авторов, печатавшихся в минувшем году. Пожалуйста, не применяйте этого к “Октябрю”, это только часть “Колеса”, не оконченного.

А. Солженицын”.

На этом наша переписка и закончилась бы, но чёрт меня дёрнул написать в конце 1993 года вермонтскому олимпийцу ещё одно письмо, которое, в сущности, послужило поводом к разрыву наших странных отношений. Мне и сейчас неловко публиковать это письмо, но я помню, что в то время, когда я его писал, я был в полном отчаянье:

Уважаемый Александр Исаевич!

“Наш современник” — сейчас самый популярный литературный журнал России. В подписной кампании 1993 года мы вышли на первое место, обогнав когда-то преуспевавших гигантов отечественной журналистики “Новый мир”, “Знамя”, “Юность”. Может быть, сие произошло потому, что “Нашему современнику” удалось, в отличие от конкурентов, удержать в числе своих авторов лучших писателей и публицистов России: Валентина Распутина, Игоря Шафаревича, Василия Белова, Леонида Бородина, Владимира Солоухина, Вадима Кожинова, Виктора Астафьева, Владимира Максимова, Льва Гумилёва, Бориса Можаева, Олега Васильевича Волкова.

Все наши литературные конкуренты сделали ставку в последние два-три года на литературу 3-й эмиграции или на авторов, живущих в России, но мыслящих и пишущих в том же русле, что и Войнович, Горенштейн, Синявский. Этим я в сущности объясняю катастрофическое падение читательского интереса к ним и наоборот — устойчивую читательскую любовь к нам.

И, однако, Александр Исаевич, наш самый популярный и самый значительный журнал сегодня находится тоже на краю пропасти, но по другой причине. Наших подписных денег из-за беспредельной инфляции хватает лишь на 3–4 номера из 12, остальные приходится издавать в долг. Издания типа “Знамя” и “Октябрь” серьёзно помогает фонд Сороса — а нам никто. У нас к концу года накопилось более 30 миллионов рублей долга (это 25–30 тысяч долларов).

Если мы в ближайшие месяцы не выплатим этот долг издательству и типографии, то журнал будет объявлен банкротом и закрыт. И тогда Распутину, Белову, Шафаревичу, Владимиру Осипову, Бородину негде станет печататься. Закрытие журнала для русской культуры — это катастрофа, равносильная закрытию Большого театра или Третьяковской галереи.

Вы всегда помогали инакомыслящим и гонимым. Теперь коренная русская литература и её главный журнал оказались в положении инакомыслящих. И это не случайно. Многих из людей, известных Вам, история так же передвигает в стан инакомыслящих, что произошло, к примеру, со Ст. Говорухиным, ответ которого на кровавые события октября посылаю Вам.

Уважаемый Александр Исаевич! Можно ли надеяться на помощь Солженицынского фонда или на Вашу личную поддержку? Помогите погасить русской литературе хотя бы часть долга перед диким рынком, уничтожающим её.

С надеждой и уважением,
Ст. Куняев”.

Я послал Солженицыну журнал со статьёй Говорухина “Великая криминальная революция” с надеждой, что он поймёт меня, но получил в ответ вполне заслуженный и холодный отказ:

“23.11.93

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Получил Ваше письмо от 17.10.93.

Что добросовестные писатели в условиях сегодняшнего разгона пошлой наживы потеряли возможность публиковаться (как и вообще катастрофически падает русская культура), я знаю со всею горечью. Надеюсь, после моего возврата в Россию нашему Русскому Общественному Фонду удастся иным из них помочь в этом — не обязательно в журнальной форме.

Но в окружении жестоких страданий покинутых стариков (и особенно — бывших эзков), разрушения всех элементов детского воспитания, школьного образования, разорённых и протекающих православных храмов нам не под силу поддерживать ещё и периодические издания с каким бы то ни было партийным направлением. (Мы и собственные — разумеется, полностью убыточные — серии ИНРИ и мемуарную ВМБ продолжаем при большом напряжении сил и средств).

Прискорбно, что русские патриотические круги вместо праведного отстаивания народных интересов прислонились за поддержкой к лицемерным коммунистам, объявившим себя “народолюбцами” после 70-летнего одурманивания и уничтожения этого самого народа. Так, в частности, и Василию Ивановичу Белову (его открытое письмо ко мне, 90.9.93) никак бы не уместно величать брежневскую фальшивку “конституцией”. Праведный дух устывает и побеждает только в полной чистоте. (Я, разумеется, не в личной претензии к В. И., и передайте ему от меня привет.)

Всего доброго.

А. Солженицын”.

А открытое письмо Василия Белова Солженицыну, напечатанное в “Советской России” 30.9.1993 года, было куда более суровым, нежели мои письма. Василий Белов разглядел Солженицына гораздо подробнее, нежели я:

“Здравствуйте, Александр Исаевич!

Решение обратиться к вам с открытым письмом вызвано весьма разнообразными обстоятельствами. Назову два, может быть, самых главных: боязнь выглядеть фамильярным и очень сильное желание узнать, действительно ли вы одобрили антиконституционный указ Ельцина? Зная лживость нашего телевидения, я не поверил этому сообщению. Они показали ваш тюремный портрет и теперь ежедневно твердят, что Солженицын чуть ли не горой стоит за “всемирно избранного”.

Всё пущено в ход. И ваша эковская телогрейка, и роскошный фрак Расстриповича. Президент слушал около ленинских мощей прокофьевскую кантату. Вряд ли он что услышал и понял, в его и без того убогом лексиконе слово “русский” вообще отсутствует. Но понял ли, что происходит в Москве, ваш сын? Видел ли он, как на другом конце Арбата мелькают другие дирижерские палочки? Вчера на подходе к дому нашего младенческого парламента дюжий омоновец на моих глазах ударил пожилую женщину. Целые стаи омоновцев бросились на москвичей, спасая яковлевскую демократию. Я не сторонник ни президентских, ни парламентских способов правления, эта тема требует отдельного разговора, но там, на подходах к зданию Верховного Совета, в любую минуту может полыхнуть кровавая драма.

Москва сейчас — самая горячая точка! А средства массовой информации, в том числе и хваленые, западные, показывают одного Шеварднадзе. И дуют в одну и ту же дуду: долой Российский парламент...

Вчера “Новости” показали вас выступающим в Вандее. Что ж, может быть, вы и правы в том, что не торопитесь в Москву. Торопиться и впрямь не стоит, говорю это без малейшего ехидства. Костоломы ельцинского ОМОНа намного опытнее тех, которые, отправляя вас во Франкфурт, под руки вели вас “по трапу на борт”. Цензура, одобренная безденежьем, издателей, ещё более удушлива. Нынче яковлевская пропаганда стала изворотливее и хитрее. Писатель Черниченко, к примеру, вкупе с о. Глебом требует от начальства активнее применять физическую силу. На мой взгляд, надо заново создавать независимую русскую прессу за рубежом. Здесь, хотя от марксизма-ленинизма остались одни головешки, свобода (то есть бумага и микрофоны) существует в основном для порнографии и рок-шаманства. Все остальное либо вообще в загоне, либо на самом последнем месте. Россия постепенно привыкает к латинскому шрифту. Почти все журналистские авторучки и телекамеры — в руках внуков-правнуков Троцких и Свердловых. Ничего, по сути, не изменилось.

Кстати, почему вы прекратили публикации документов по новой русской истории? Это были очень нужные публикации.

Но я уже злоупотребляю вопросами. Да и времени разбираться во всём этом нет; на Краснопресненской набережной днём и ночью горят костры.

Надеюсь на ваш публичный ответ. В. БЕЛОВ. Из Москвы, 28 сентября 1993 года.

P. S. Главный редактор “Комсомольской правды” отказал мне в публикации. Он предложил дожидаться вначале вашего ответа и напечатать письмо вместе с вашим ответом. Странно. Откуда ему известно, что вы ответите? Тем временем вокруг депутатского дома появились проволочные заграждения...”

Письмо В. Белова не оставляло камня на камне от капризных писем “вермонтского пророка”. И конечно, слова Солженицына о “праведном духе” и его “полной чистоте” на фоне беловского письма выглядят лицемерно и фальшиво.

Следующее драматическое появление имени Солженицына в “Нашем современнике” случилось в 1998 году, когда страна отмечала его восьмидесятилетие. За истекшие с 1993 года пятилетие многое в его облике — и в творчестве, и в судьбе — прояснилось. Многие страницы “Архипелага” были внимательно прочитаны честными историками и справедливо объявлены конъюнктурными и даже лживыми. Многие его утверждения о “десятиках миллионов” жертв сталинских репрессий были признаны придуманными автором, опиравшимся не на документы, а на слухи и разговоры. Выплыли наружу и факты сотрудничества автора с администрациями лагерей, в которых он коротал свои сроки. Прояснились некрасивые обстоятельства его ареста в конце войны... Да и его романы и повести, на которые он, сгораемый ревностью к Шолохову, так надеялся, не получили должного признания. Ни “Ракетный корпус”, ни “В круге первом”, ни “Случай на станции Кречетовка”, ни “Красное колесо” не стали хрестоматийными... Более того. Многие русские мыслители русской эмиграции — Владимир Нилов, Василий Криворотов, Владимир Максимов, — хотя и с большим опозданием, но трезво осмыслили роль Солженицына в разрушении Советского Союза и написали об этом бесстрашно и честно. И “Нашему современнику” тоже пришлось пересмотреть свою оценку и жизни, и творчества того, кого, словно “мессию”, встречали на вокзалах, на всех станциях от Владивостока до Москвы толпы обезумевшего от отчаяния народа.

Вот тогда-то в 11-м и 12-м номерах “Нашего современника” за 1998 год, сдвоенных из-за недостатка средств, мы опубликовали статью Владимира Нилова “Образованец обустривает Россию”. Вот каким было предисловие к этой публикации:

“Лев Александрович Волин — блестящий врач, спасший жизнь сотням людей, наш давний друг, с которым мы и спорим, и полемизируем, и боремся за общее Русское дело.

Лев Волин с 1949 года живёт на Западе. Как и Григорий Климов, в своё время он перешёл в Западную зону Германии. Советский суд вынес ему свой приговор, который был гораздо серьёзнее и страшнее, нежели приговор, вынесенный Солженицыну, так что с этой точки зрения Волин имеет полное моральное право писать об авторе “Архипелага ГУЛаг” всё, что он пожелает написать. Он мог бы продаться разведкам и “Свободам”, мог бы безбедно жить, проклиная Россию. Но этого не случилось. Именно в Америке Волин ощутил себя русским патриотом. Он стал публицистом Владимиром Ниловым, которого знает весь патриотический мир России. Его блестящие аналитические, исторические, публицистические работы печатают в “Завтра”, в “Исторической газете”, в “Молодой гвардии”, в “Москве”, в “Нашем современнике”. Владимир Нилов — золотое перо русской публицистики”.

А далее шёл текст этого антисолженицынского манифеста, как будто написанного в наше время:

Образованец обустривает Россию

(к выходу книги А. Солженицына “Россия в обвале”)

Солженицын — профессиональный, заклятый и яростный антикоммунист. Он пронёс свой антикоммунизм безослабно через всю свою жизнь. Его антикоммунизм — бескомпромиссен, он не знает никаких ограничений — вплоть до гибели России. То жуткое настоящее, в котором ныне обретается Россия, — колониальный статус с фактической потерей независимости, разваленная армия, голодающее население, погибающая промышленность с многомиллионной безработицей, гибель науки, демографическая катастрофа, когда за семь “демократических” лет погибло 8 млн человек, — не вызвало у него и тысячной доли тех эмоций, которые вызывают у него и поныне советский строй, которого больше нет. И это при ясном понимании, что ельцинский режим состоит

“из временщиков криминальной власти” и что страна живёт в “той смрадной неразберихе, в какую они увязили жизнь России”. Солженицын знает, чья власть в России, цитируя Березовского, который “прямым текстом” заявил: “У нас власть капитала”. Семибанкирщина “контролирует высшую власть над Россией... почти 50 процентов экономики России — уже в их руках, а будет и больше. По самым новейшим данным, 15 крупнейших компаний и банков контролирует 70 процентов экономики страны... и теперь бесплодно было бы взывать к их... совести”. Здесь Солженицын проявил качество, которое подметил в нём хорошо знавший его В. Максимов: “...наш ниспосланный нам свыше мессия умеет не только говорить к месту и времени, но также своевременно и уместно помалкивать” (“История одной капитуляции”). Вот почему Солженицын не упомянул, что у пятерых из семибанкирщины неблагополучно с пятым пунктом”.

Этот “космический эгоцентрист” (В. Максимов) до сих пор настаивает, что мысли, высказанные им четверть века тому назад об отсечении Кавказа и Средней Азии от СССР, до сих пор верны. В “Раскаянии и самоограничении” он призывал дать “всем окраинным и заокраинным народам подлинную волю самим решать свою судьбу”. Но народы не хотели развала СССР и огромным большинством проголосовали в марте 1991 года на всесоюзном референдуме за сохранение целостности страны. Распад страны был навязан сверху против воли народов Союза, к чему, кстати, приложил свою руку Солженицын. Но этого мало. “Контурсы СССР — для нашей страны невозвратимы, и всякие побуждения к тому надо покинуть... а в нас самих этот лозунг только подавляет собственное национальное сознание... Россия в нынешних границах самодостаточна...”.

Из этих мыслей Солженицына следует, что он поставил крест и осудил русскую историю, и против возрождения страны в границах 1945 года. Он пересматривает итоги войны, лишая Россию плодов Победы, а говоря о “заокраинных народах”, он явно имеет в виду государства Восточной Европы, вошедшие в сферу влияния России. Невозможно себе представить, чтобы англичанин, француз или немец обратился к своему правительству с советом отпустить “на волю”, англичанин — Шотландию и Уэльс, француз — Эльзас и Лотарингию, населённую немцами, Нормандию, где живут потомки скандинавов, Бретань с кельтами, на юго-востоке — басков (гасконцев), а немцы добровольно согласились бы отдать захваченные у славян земли между Эльбой и Одером. Такого “интеллектуала” среди европейцев как трудно вообразить, так и не трудно представить, что последовало бы за таким обращением: его <бы> высмеяли, посадили бы в сумасшедший дом или предали суду военного трибунала. Не требуется быть политологом, чтобы сообразить, что отказ от исторических владений Российской империи незамедлительно ухудшит геополитическую ситуацию нашей страны. Самое поверхностное знакомство с историей убеждает, что малые государства из-за своей слабости не обладают суверенитетом, ибо суверенитет в последней инстанции означает мощь и волю постоять за свою независимость.

Малые государства своим бессилием обречены быть клиентами и марионетками больших государств. История, как и природа, не терпит пустоты: вакуум, образованный уходом России, не даст “окраинным и заокраинным народам подлинную волю решать свою судьбу”, ибо место России будет немедленно занято США, чья враждебность России признаётся самим Солженицыным. Он напоминает, что “Антанта уже бесстыдно делила её [Россию] в гражданскую войну”, что “Киссинджер и Бжезинский уже не раз высказывались с полной откровенностью (“лишняя” страна на карте мира). Правительство США десятилетиями ждало поражения и развала Советского Союза — это естественно. Но в нашей стране мало кому известен закон PL 8690 от 1959 года, который требовал от президента расчленения нашей страны”.

Это верно: в нашей стране этот закон мало кому известен, но Солженицыну, который прожил в Штатах 20 лет, он был известен более чем хорошо. Но за все 20 лет своего пребывания в США Солженицын словом не обмолвился об этой акции конгресса, он не выразил протеста и возмущения против этого бандитского закона, приговорившего нашу страну к смерти. По сути, он выразил согласие с ним, когда на пресс-конференции в Вашингтоне в 1975 году сам призвал Штаты: “Вмешивайтесь, прошу вас, вмешивайтесь в дела России”. Не потому ли он молчал 20 лет? А ныне надел маску патриота, чтобы

легче было водить народ за нос. Это заявление — власовщина чистойшей воды... Если бы Солженицын в 1941–1942 году попал в плен, то он, вне всякого сомнения, присоединился бы к Власову. Не потому ли другие, “нормальные” ээки в концлагере, называли его “фашистом”, как он сам об этом пишет. Там же он составил себе мнение о национальном вопросе в Советском Союзе от самостийников и сепаратистов.

Развал страны, предложенный Солженицыным как одна из мер по оздоровлению России, на деле оборачивается услугой Западу в его вечном стремлении стереть нашу страну с карты мира.

Сталин и народ под его руководством сокрушили авторов и исполнителей плана “Барбаросса”, а Ельцин и его шайка сами добровольно проводят этот план в жизнь. Только ныне, в правление “демократического” Ельцина, народ полностью уяснил себе, кто убийцы, и только человек без чести, ума и совести мог написать такое, это всё равно, что плюнуть народу в лицо.

“Неужели при всём его почти космическом эгоцентризме он, наконец, по-настоящему не увидит, не почувствует пронзающей сердце боли своей раздавленной, униженной, разрушенной до основания страны? Неужели опять, во имя неких более возвышенных соображений, “отпустит себе все долги”, промолчит, не назовёт вслух главный источник всех наших сегодняшних зол и бед? Неужели удовлетворяется жалкой ролью частного конфидента при пьяном самодуре, сознательно и беспощадно изничтожающем нашу общую родину — Россию? Неужели не выкрикнет в лицо своему кремлёвскому собеседнику и окружающей его алчной банде, да так, чтобы услышал весь мир, то, о чём ещё не смеет или не имеет возможности прокричать сам вконец измороженный ими народ? Не верю. Не хочу верить!” (В. Максимов “История одной капитуляции”).

Прошло четыре года с того времени, когда были написаны эти строки, но Солженицын не выкрикнул в лицо пьяному самодуру, что он и его камарилья из себя представляют и что думают о них люди, он не призвал народ вышвырнуть алчную банду из Кремля и посадить её на скамью подсудимых, он не призвал Русь к топору. У Солженицына нет никаких “высших соображений”, если не считать его фанатического антикоммунизма, в котором нет и грана заботы о России и народе. Он готов пожертвовать родиной, лишь бы не вернулась ненавистная ему советская власть. Антикоммунизм такого рода ставит его в один ряд с Бандерой, Власовым, Шкуро и Красновым, это антикоммунизм на службе врагов России, а его инвективы против ельцинского режима не более, чем маска на предательстве. “Антикоммунизм” сделал его интеллектуально бесчестным...

Нилов одним из первых патриотов разглядел сущность “предательского бесчестия”, которым был до зубов вооружён Солженицын. И это лишь одна из многих страниц его статьи 1998 года.

Но, как оказалось, “солженицынская прививка” к 1998 году не была изжита в организме “Нашего современника”. Сразу же после выхода журнала со статьёй Владимира Нилова, вспоминая которого Василий Белов в те дни убеждал нас, что “надо срочно перепечатать двухтомник Нилова в России”, ко мне в кабинет пришли трое членов редколлегии — Валентин Распутин, Игорь Шафаревич и Владимир Бондаренко с ультиматумом: напечатать их коллективное письмо. Они были возмущены тем, что “Наш современник” опубликовал статью Нилова. Но я уже знал, что Кожин отказался подписать это письмо, и не чувствовал себя в одиночестве, как это было в 1991 году.

— Я опубликую ваше письмо! — сказал я своим друзьям, — но одновременно попрошу читателей откликнуться — кто из нас прав.

Текст письма, подписанного моей любимой троичей, был опубликован в апрельском номере журнала за 1999 год:

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

В последнем номере “Нашего современника” за минувший год была напечатана статья В. Нилова, посвящённая А. И. Солженицыну, под названием “Образованец обустройства России”.

Нет нужды останавливаться на том, что творчество Солженицына и сама его личность вызывают к нему по разным причинам сложное отношение — от

полного неприятия до полного согласия и восторга. Каждый из нас волен высказать своё отношение к творчеству Солженицына и его личности, когда и где угодно. Но в жизни любого человека наступают такие дни, называемые юбилеями, когда ему приличествует посылать или поздравления, или с достоинством промолчать, если добрых слов для него не находится. Статья публициста В. Нилова была написана и прислана не к юбилею и вполне могла быть опубликована на страницах журнала в любое время с правом на дискуссию. Почему журнал, объединяющий все патриотические силы России, по праву считающийся знаменем всей русской национальной культуры, от Бондарева до Солженицына, журнал, ещё не так давно публиковавший роман самого писателя с его же доброго согласия, именно в юбилейные дни предпочёл опубликовать лишь негативную статью В. Нилова, не найдя места для противоположного мнения? Выражает ли этим материалом журнал "Наш современник" мнение всех своих авторов и читателей? Мы считаем, что даже такой принципиальный орган левой патриотической оппозиции, как газета "Советская Россия", поступил более объективно, опубликовав и две положительные заметки, и полемическую, но явно доброжелательную по отношению к юбиляру беседу с В. Кожинным, и жёсткий, достаточно суровый разбор М. Лобанова. Это более соответствует истинному отношению к Солженицыну разных слоёв патриотической части нашего общества.

А. И. Солженицын не нуждается в снисхождении. 80 лет назад, в декабре 1918 года, в России родился крупный талант, имя которого знает весь мир. Редакция журнала "Наш современник" может не признавать Солженицына как художника и мыслителя (хотя печатали — значит, признавали), но отзываться на его юбилей лишь ругательной статьёй, мы считаем, не следовало, прежде всего, по этическим мотивам. И это, прежде всего, решение не эмигрантского патриотического публициста В. Нилова, имеющего полное право на своё мнение, а журнала "Наш современник", так своеобразноотреагировавшего на юбилей своего же автора, крупного русского писателя.

Мы с этой публикацией журнала в юбилейные дни писателя решительно не согласны. Надеемся, что наше мнение дойдёт и до читателей журнала.

Члены редколлегии:

Владимир Бондаренко, Валентин Распутин, Игорь Шафаревич

Редакция предлагает читателям высказать своё мнение по поводу публикации Вл. Нилова (№ 11–12 за 1998 год) и данного письма трёх членов нашей редколлегии."

В ответ трём знаменитым писателям стали приходиться читательские письма. Вот несколько отрывков из них:

"Три весьма уважаемых члена редколлегии полагают, что А. И. Солженицын — крупный русский писатель. Вопреки мнению ряда профессионалов, я — русский человек, воспитанный на произведениях отечественной и иностранной классики, — отнёс бы этого писателя к временщикам. Все пропели дифирамбы этому "живому классическому", а "Наш современник" не соблазнился. Но этого недостаточно, если вспомнить, что идёт планомерное разрушение "малым народом" (Игорь Ростиславович!) России, а "живой классик" в толстых журналах умиляется весьма посредственным русскоязычным стихотворцам и писателям и особенно тому, что они в "этой стране" не забывают о своей национальной теме. Александр Исаевич ничего зря не делает: юдофильство пригодится...

Так кто он, Александр Исаевич? Как писатель — скучен и тенденциозен безмерно. Может быть, исследователь новейшей истории? Но исследователь должен быть беспристрастен. Правда, А. Дюма и наш Ю. Семёнов исторические сведения излагали почти в том же ключе, как и Александр Исаевич, но это было захватывающе интересно. А полусторические описания Солженицына едва ли кто способен дочитать до конца. Публицист он тоже не ахти какой. Уж очень осторожен и тривиален даже в самых смелых своих высказываниях. Так кто же он? На мой взгляд, общечеловек горбачёвского типа, обладавший определённым талантом литератора, растративший его в антисоветской злобе.

К диссиденту же А. И. Солженицыну я лично был бы совершенно равнодушен, если бы он однажды в угоду русофобам активно не поддержал клевету на М. Шолохова. Русскому человеку, да ещё и литератору, совсем не нужны компьютерные данные, чтобы безошибочно распознать манеру письма, пафос, юмор этого великого писателя. Злобная клевета на русского гения и талант — “две вещи несовместные”.

А. А. Сидоров,
член-корреспондент РАН”.

* * *

“В. БОНДАРЕНКО, В. РАСПУТИНУ, И. ШАФАРЕВИЧУ

Ну, и Бог с Вами, не соглашайтесь!

А я вот вполне соглашаюсь и с автором статьи “Образованец обустроивает Россию” В. Ниловым, и “с этой публикацией журнала” даже в декабрьском номере — в канун юбилея А. Солженицына. Все, кто оплёвывает советскую власть, мне противны. А уж такие фарисеи, как Солженицын, совсем не по нутру. А вас, други мои, считаю слишком мягкотелыми и не советую вносить разногласия в редколлегию.

П. Васильева”.

* * *

“Хочу высказать своё мнение по поводу публикации (в № 11–12 “НС” за 1998 г.) В. Нилова “Образованец обустроивает Россию”. Что я думаю о Солженицыне? Он был тогда диссидентом, а это течение внедрялось и управлялось в СССР мировым сионизмом. Сионисты осадили “эту страну” и длительно проводили раскачку устоев по всем направлениям, и диссиденты занимали видное место в этой работе.

И. Иванов”.

* * *

“Полностью согласен со статьёй В. Нилова в отношении А. И. Солженицына “Образованец обустроивает Россию” и с тем, что Вы её опубликовали в № 11–12 за 1998 г. “Нашего современника”. Статья нужная и своевременная. В. Нилов абсолютно верно оценил Солженицына как врага нашей Родины и прислужника Запада, а антикоммунизм у него — просто прикрытие.

Меня удивляет письмо трёх весьма уважаемых членов редколлегии, писателей и публицистов В. Бондаренко, В. Распутина и И. Шафаревича с предложением опубликовать о Солженицыне не только разгромную статью Нилова, абсолютно правильную, с моей точки зрения, но и юбилейно-похвальную к 80-летию Солженицына под тем предлогом, что раньше в журнале публиковались некоторые его писания и напечатаны поздравления к его юбилею в “Советской России”. Что когда-то в “Нашем современном” были напечатаны некоторые сочинения Солженицына, то это большого упрека не заслуживает. Тогда его враждебность стране не проявилась достаточно определённо, и наша Родина ещё не была разрушена. Сейчас же облик этого прислужника Запада очевиден всем, кто болеет за нашу Родину, которая находится в тяжелейшем положении, вина за это лежит и на Солженицыне, боровшемся с ней практически с 1944 г. Публикация же в патристическом издании поздравления врагу — это удар по всем патриотам и заморочка сознания читателей. По поводу беспринципного поздравления Солженицыну в “Советской России” я написал в редакцию возмущённое письмо. Но редакция газеты отчасти реабилитировала себя публикацией в номере от 24.12.98 г. беседы М. Лобанова с В. Кожемяко под заголовком “Светоносец или лжепророк”, в которой даны допозитительные штрихи к портрету Солженицына.

Удивительную слепоту проявляют к нему три автора письма, и весьма верно его оценивают так называемые простые люди. В. Нилов приводит

в предпоследнем абзаце своей статьи сценку о том, как пожилая, плохо одетая женщина дала словами лёгкую взбучку некоему профессору Юдину за восхваление Солженицына: "...он же наш! Он продан Западу!"

Уважаемый Станислав Юрьевич, ни в коем случае не публикуйте хвалебных од этому "мессии", призванному участвовать в уничтожении русского народа и России.

Бобров А. В. "

* * *

С некоторым удивлением прочитал в четвёртом номере журнала "Наш современник" за нынешний год "Письмо в редакцию", подписанное глубоко уважаемыми мною деятелями русской литературы и культуры Владимиром Бондаренко, Валентином Распутиным и Игорем Шафаревицем. В письме высказывается нарекание на то, что редакция журнала "Наш современник" отозвалась на 80-летний юбилей А. И. Солженицына ругательной, по мнению авторов письма, статьёй В. Нилова "Образованец обустроивает Россию" (№ 11–12 за 1998 год).

Во-первых, статья В. Нилова ничуть не показалась мне ругательной, хотя и не везде выдержана в корректном тоне. А потом, почему это журнал должен публиковать о том или ином деятеле в его так называемые юбилейные дни непременно "уравновешивающие" материалы, как того требуют авторы письма, но нет ли здесь определённого лукавства? Ведь одно дело — непосредственное обращение к юбиляру — тут действительно приходится выбирать между поздравлением или умолчанием.

Когда же речь идёт о творчестве писателя, о его гражданской позиции как о части общего литературного дела, то "юбилейными нормами" (они зачастую выливаются в сплошное славословие) можно, пожалуй, и пренебречь, что и сделала редакция "Нашего современника" по отношению к А. И. Солженицыну.

Короче говоря, не сумели меня убедить В. Бондаренко, В. Распутин и И. Шафаревиц в "ошибочности" публикации статьи В. Нилова на страницах "Нашего современника".

Николай Кузин,
Екатеринбург".

* * *

"Уважаемый Станислав Юрьевич, друзья!

Считаю своим долгом откликнуться на ваше предложение и высказать своё мнение по поводу статьи В. Нилова "Образованец обустроивает Россию" и письма В. Бондаренко, В. Распутина и И. Шафаревица.

Вот передо мной статья Вл. Нилова и письмо, подписанное нашими выдающимися, без капли иронии, гражданами и русскими патриотами. Да простят меня В. Бондаренко, В. Распутин и И. Шафаревиц, несмотря на всё моё почтение и преклонение перед ними, в данном случае, по отношению к Солженицыну я целиком и полностью на стороне Вл. Нилова и редакции "НС".

Я отдаю себе отчёт в том, что и В. Нилов, и редакция "НС", и я, присоединившийся к ним, можем ошибаться в оценке "крупного таланта, имя которого знает весь мир", но также есть ощущение, что авторы письма исходят не из объективных, а из личных, извечно русских мотивов жалости, сострадания, "снисхождения", может быть, под впечатлением каких-то личных связей с Солженицыным и тайного желания перетянуть его в стан русских патриотов.

Не знаю, как В. Нилов и редакция "НС", я лично ничем господину Солженицыну не обязан, никаких чувств, кроме ненависти, я к нему не испытываю и считаю, что он не только "не нуждается в снисхождении", он вообще не заслуживает никакого снисхождения.

И вот почему. Все мы, русские люди, так или иначе, несём каждый свою долю ответственности за то, что произошло у нас и с нами в СССР—России. Всё дело в степени этой вины. Я полагаю, вина Солженицына огромна, она

такая большая, что её ему не искупить ничем, и чем дальше мы вместе с Россией погружаемся в бездну, тем меньше у него шансов искупить свою вину.

Авторы письма упрекают редакцию в неэтичности публикации В. Нилова во время юбилея Солженицына. Не знаю, как у кого, но у меня никакая логика и эстетика не лезет на ум, когда почти физически ощущаешь “масштабы трагедии, гибели самого непокорного народа в мире” (А. Даллес): кровь и слёзы миллионов беженцев, искалеченных и погибших в кровавых конфликтах, миллионы детей-беспризорников, брошенных стариков и инвалидов, разгромленное народное хозяйство, расцвет преступности, наркомании, пьянство, растлевающее влияние, разгром армии и флота и т. д., и т. п. И вот когда обо всём этом думаешь, то трудно найти, при всем желании, добрые чувства к тем, кто стоял у истоков прокатившегося по всей Руси погрома. Вообще, честно говоря, юбилей и почести “новоявленному мессии” уместнее всего справлять где-нибудь на Западе, например, в США. Ведь он столько сделал для американских национальных интересов, как мало кто! Его фигура достойна занять своё место рядом с Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе, Ельциным, Сахаровым, тем более, что именем последнего названа, за заслуги перед американцами, улица, если не ошибаюсь, в Вашингтоне, а разве Солженицын “хуже”?

В заключение хочу пожелать всему коллективу любимого “Нашего современника” здоровья, стойкости и мужества в борьбе с врагами Отечества!

Анисимов Сергей Иванович, г. Норильск”.

Я перечитываю эти письма и просто поражаюсь тому, что “простые советские люди” знали и понимали двадцать с лишним лет тому назад, что такой Солженицын, точнее и глубже, нежели “инженеры человеческих душ”.

* * *

“Дорогая редакция!

Творчество Солженицына и его личность особенно вызывают у меня полное неприятие.

Он — враг моей Родины (а стало быть, и мой), он употребил все свои силы, весь свой холодный, расчётливый фанатизм на её уничтожение, а потому он мой личный враг, на самом сокровенном уровне моей души, такой же враг, как какой-нибудь Гайдар, Чубайс, Ростропович и иже с ними. И я ненавижу его, впрочем, как и он меня, совка, и всё, что мне было дорого и свято. Я никогда прежде (до той катастрофы) не предполагала, как много значат для меня слова “Родина, Отчизна”, насколько это глубоко личное, интимное переживание. Я вместе со всеми в бесконечных “кухонных” дискуссиях могла ругать власти, номенклатуру (в том числе и партийную), но чего я совершенно не выносила — это противопоставления: “вот у нас” — с брезгливой гримасой и “а вот у них” — с подобострастным придыханием.

Я всегда считала, что мне очень повезло в жизни, что я родилась в СССР, в Москве (которую сейчас у меня отобрали оккупанты, превратив мою гордую столицу в торгово-развлекательно-криминальный центр, куда приезжает “оттягиваться” шушера со всего мира).

И в моих убеждениях меня совершенно не поколебали все потоки грязи, которые демократы (Солженицын в том числе) вылили на нашу историю в приступе “гласности”. А потом я поняла, что многое было просто откровенной клеветой и неправдой. У меня хватает ума понимать, что тяжёлые, трагические, кровавые страницы неизбежны в истории каждого великого народа, без них не обходится становление ни одной великой державы.

Выражает ли этим материалом журнал “НС” мнение своих читателей? Моё и моей семьи — это ещё трое взрослых людей, и моей близкой подруги, которой передаю после чтения журнал, с семьёй, а это ещё 5 человек, где трое детей — одна школьница — и два брата-студента — выражает безоговорочно.

“Крупный талант, имя которого знает весь мир” — а вот это уже слегка нечестный, спекулятивный приём, который не к лицу таким уважаемым авторам. “Весь мир” — это небольшая, политизированная часть западной интеллигенции, которая знает о Солженицыне только то, что он — враг СССР, диссидент,

высланный из страны, и только в таком качестве он ей интересен. И обласкан Западом.

Уж этот пресловутый “весь мир”, последний аргумент несостоятельного спорщика, он своих-то классиков не знает, не то что наших современных писателей! Уж Бондаренко ли этого не знать?

А ведь были люди, которые 10 лет тому назад понимали, что происходит. Вспомните “Слово к народу”. А этот “пророк” ошибся в оценке Ельцина, как самый рядовой обыватель. Мыслитель, который на пороге третьего тысячелетия зовёт Россию к земствам...

Упаси нас, Боже, от таких пророков и мыслителей, которые весь мир, всю историю воспринимают только как фон, как декорации к своему личному жизнеустройству.

И ещё. Я испытываю почти физическую боль, когда пытаются хоть каким-то бочком прислонить Солженицына к Л. Толстому. Сподобились, Лев Николаевич!

Это такое же кощунство, как поминать другого нобелевского лауреата, Бродского, в любой связи с Пушкиным!

Ну, последнее понятно: это делают наши откровенные враги — ... (не решаюсь написать слово, за которое можно схлопотать срок), а в первом-то случае — свои же! Какое-то тотальное помрачение мозгов на исходе XX века! Для меня Солженицын находится к Толстому в таком же отношении, как Н. Михалков к обожаемому им монархам, роль которых он мечтает сыграть уже в жизни. Поневоле напрашивается аналогия — император Александр III лишь погрозил пальцем террористу, готовившемуся швырнуть в него бомбу, и велел отпустить его. Н. Михалков бьёт ногой в лицо парня, уже повязанного, за то, что тот швырнул в него тухлое яйцо. Вот вся и разница, вернее — пропасть в масштабах личностей. Замечено не мною, что человечество стремительно деградирует, так что, может быть, и Михалков станет президентом, и Солженицына объявят пророком и мыслителем.

Теперь по поводу “этических мотивов”. О какой этике может идти речь в разгар гражданской войны? Ведь холодная гражданская война не просто идёт, она бушует, и чем дальше, тем непримиримее, и мы стоим по разные стороны баррикады.

Какой этикой руководствовался Солженицын, когда так настойчиво, самозабвенно рушил мою Родину, СССР? Ради чего? Я, глупая, так и не поняла. Я никого не уполномочивала бороться за мои права и свободы.

Я считаю, что мы жили не просто свободно, а даже как-то безалаберно, если, конечно, не считать целью и смыслом жизни поездки за рубеж. Но я никогда не болела этой убогой болезнью. Может быть, потому, что много ездила по Союзу (в командировки и так), подолгу жила в Ленинграде и Красноярске, в Воронеже, Киеве, Ижевске, в Ташкенте и Фергане (а это и Самарканд, и Бухара), отдыхала в Прибалтике, в Крыму и на Кавказе, частенько бывала в Тбилиси и Ереване, кстати, всегда удивлялась их материальному благополучию. Какого рожна им ещё было надо? Я думаю, что все наши окраины сейчас имеют по заслугам, за неблагодарность. Да и мы все — за то же.

Неужели “великому мыслителю” не приходило в голову, что нынешнее состояние России — это единственная альтернатива тому порядку вещей, который он так иступлённо разрушал? И когда он одобрял чёрный октябрь <19>93-го, неужели не подозревал, что ожидает мир через каких-то 5 лет? Если нет, то пусть скажет своим адептам, чтобы они перестали называть его пророком и мыслителем.

Но я думаю, что эта его сегодняшняя поза — опять же хорошо обдуманый, рассчитанный ход, так же, как и отказ от ельцинского ордена.

Теперь последнее. Хочу немного оправдаться. Почему я беру на себя смелость так судить, имею ли я право? Два слова о себе.

По образованию я “технар”. После окончания МВТУ им. Баумана всю жизнь проработала в авиации (а диплом делала у С. П. Королёва, в Подлипках), от молодого специалиста до ведущего конструктора. На моих глазах, начиная с 1986-го года, разваливали и разрушали нашу авиацию (чего стоит один замолкнувший г. Жуковский, если кто знает, что это такое!), делали это “сверху”, профессионально, со знанием дела и человеческой психологии. Сколько тяжёлых переживаний, а впереди ещё страшнее! Хотя я и не пророк...

Журнал “НС” выписываю с 1973 года и по сей день, с небольшим перерывом 3–4 года, на который как раз пришлась смена главных редакторов. И вообще, в старое доброе советское время я много читала. “Иностранную литературу” выписывала с 1960 года и бросила его читать в 90-м году, тогда же бросила читать “Новый мир”, который выписывала с середины 70-х. Я уж не говорю про всякие там “Юности”, “Знамя”, “Роман-газету” и т. д. Журналы любила читать с конца, там, где мелким шрифтом обычно печаталась критика и публицистика. Тут я хочу воспользоваться случаем и ещё раз вспомнить “с благодарной нежностью” своих школьных учителей литературы, которые открыли мне прекрасный мир русской литературы, — великолепных словесников Зинаиду Ивановну и Алексея Павловича Романовских. К сожалению, в наших школах перевелись такие учителя. Алексей Павлович умер давно, а Зинаида Ивановна жива, ей за 80, болеет, конечно, но голова ясная, светлая, по-прежнему много работает, пишет, она — автор учебников, учебных пособий для учителей младших классов, живёт одна в своей прекрасной квартире в высотке у Красных ворот. Как одну из дорогих реликвий хранит ордер на эту квартиру, выданный семье двух московских учителей и подписанный И. Сталиным.

Так вот, если писать не для таких читателей, то для кого же?

Ведь ни одна творческая профессия не имеет никакого смысла без своего читателя, зрителя, слушателя. Так что наберитесь терпения и послушайте нас, убогих.

“Кончаю. Страшно перечесть...”

Софья Абгаровна Авакян
г. Москва”.

Таких читателей, как советская Софья Абгаровна, новая нынешняя Россия, несмотря на все усилия Владимира Владимировича, уже родить не может.

Несколько десятков писем такого рода пришли тогда в 1999 году в редакцию. Перечитываешь их сегодня, и эти пожелтевшие страницы журнала до сих пор жгут тебе пальцы, как будто они написаны только вчера. Читатели журнала не согласились со своими любимыми авторами, с русскими патриотами, со знаменитым прозаиком Валентином Распутиным, с академиком Игорем Шафаревичем, выступления которых в те годы в Новосибирске, в Красноярске, в Иркутске, я уж не говорю о Москве, вызывали у аудитории бурю аплодисментов. Я тому не раз был свидетель...

А Владимир Бондаренко? Его публицистика и его оценки литературной жизни были в те годы нарастают... И вдруг наши читатели отвергли мнение своих кумиров! Было о чём задуматься всей знаменитой троице. Сама жизнь поправляла их.

Все эти письма мы показали В. Нилову, который подвёл итог этой драматической и неожиданной по результатам дискуссии.

“ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ”

“В “Письме в редакцию” В. Бондаренко, В. Распутина и И. Шафаревича по поводу моей статьи речь идёт о “крупном таланте, имя которого знает весь мир”, т. е. надо полагать, Солженицыне-писателе. Но статья, названная авторами письма “отрицательной” и “ругательной”, была о Солженицыне-политике.

Солженицын и другие снискали себе славу — и состояние — своим бешеным антикоммунизмом, антикоммунизмом вплоть до гибели России. Солженицын довёл свой антикоммунизм до логического конца: Великая Отечественная война для него никогда не была ни Великой, ни Отечественной, но “борьбой двух хищников”. Из такого понимания войны Солженицыным естественно сделать вывод о безразличии для него победы немцев над Россией — хуже бы не было. Так можно дойти и до хвалы Гитлеру и конгрессменам за закон 86–90, требовавший расчленения России! Кстати, в своём бездонном до комичности самомнении Солженицын выступает критиком не только Советского Союза, но и Российской империи: “Пётр был сторонник империи, а я нет”. В общем, Я и Пётр, Я прав, а Пётр нет. В 1974 году Солженицын написал “Письмо вождям Советского Союза”, в котором он предлагал сделать мирным путём то, что не удалось Гитлеру военным — развалить СССР! Или в “Круге

первом” его “любимый герой” дипломат Володин, как пишет М. Лобанов, “мечется по центру Москвы, по Арбату, чтобы забежать в телефонную будку и позвонить оттуда в американское посольство, передать, что в Нью-Йорке советскими агентами готовится похищение секрета атомной бомбы. И какое авторское сопереживание, как бы предатель не попал в лапы КГБ! Ведь ему (Солженицыну) ненавистна сама мысль, что его страна <будет> иметь атомную бомбу”. Или, стоя в церкви, как пишет сам Солженицын, он просил: “Господи, просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно рушится. Дай мне средство для этого”. Учитель математики Солженицын в своём злобном антикоммунизме дошёл до геркулесовых столпов нелепости: высчитал, что в мирное время от террора погибло 60 млн человек, а в войну — ещё 44 миллиона. Вадим Кожин высмеял эту статистику, по которой у России не осталось мужчин, и войну у немцев, таким образом, выиграли женщины, старики и дети.

Как вообще мысль взять Солженицына под своё крыло могла возникнуть у членов редколлегии патриотического журнала перед лицом неоспоримых фактов, свидетельствующих, что их кумир растлевал национальное сознание народа, идеологически готовя страну к предательству России Горбачёвым, Яковлевым, Ельциным? Понимают ли авторы, что прославлением Солженицына они продлевают жизнь издыхающего режима российского квислинга? Доходит ли до них мысль, что они как адвокаты Солженицына дискредитируют самих себя?

Вл. Ниров”.

А вот как подытожил Пётр Палиевский в своей статье о творчестве Шолохова эти страсти по Александру Исаевичу:

“Беда в том, что Солженицын так же понимает красных, как, скажем, Николай Островский — белых. А Шолохов одинаково понимает и красных, и белых, и ещё выше — идущую через них историческую дорогу народа. Пушкин, наш главный ум, хорошо понимал и Екатерину, и Пугачёва. Единственно, кого он не понимал, это перевёртыша Швабрина, который сначала жаловался Петруше Гринёву, что с его приездом встретил, наконец, “человеческое лицо”, то есть окружающих своих за людей не считал, а когда пришёл час, внезапно изменил собственное лицо и, как сообщает Пушкин, стоял за спиной новой власти, “обстриженный в кружок и в казацком кафтане, нащёптывая ей, кого казнить, кого миловать”.

Ну, разве не узнаются в этом облике Швабрина герои-перевёртыши нового времени? Например, Ефтушенко, сначала прославлявший Сталина, потом проклявший его, потом прославлявший Ленина и столь же страстно и искренне от него отрёкшийся? Разве не узнаётся в Швабрине талантливый художник, сначала нарисовавший глубокий и сложный портрет Ленина, а потом расчеловечивший его в громадной китч-картине “Торжество демократии”? Разве не узнаётся Швабрин в лице знаменитого поэта, исполнявшего свои стихи под аккомпанемент гитары, сначала прославлявшего Ленина в цикле стихотворений, а потом отрёкшегося и от Ленина, и от “комиссаров в пыльных шлемах” и подписавшего позорное письмо “42-х”, благословившее расстрел полутора тысяч русских патриотов в октябре 1993 года?

Михаил Лобанов в одном из номеров “Русского журнала” за 2007 года писал:

“Знаковый эпизод из романа “В круге первом” повествует о русском человеке Спиридоне, который вещает собеседнику: “Если бы мне, Глебу, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на нём бомба атомная. Хочешь, тебя тут, как собаку, похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами отца Усатого и всё заведение их с корнем... Я бы сказал, — вывернул голову к самолёту: — А ну! Кидай! Рушь!” И веришь, что вдохновитель этих слов и в самом деле мог бы шарахнуть атомную бомбу, снести всю Москву с её многомиллионным населением, “все заведения” государства, лишь бы уничтожить Сталина!”

Призывая “жить не по лжи”, Солженицын в то же время вещал в своём трёхтомнике “публицистики”:

“Мы теряли 30–40 миллионов на “Архипелаге ГУЛаг”; “Было 60 миллионов погибших — это только внутренние потери”. Происхождение этих “миллионов” он объяснял тем фактом, что “Архипелаг ГУЛаг” — это не историческое, не научное произведение, а опыт художественного исследования”. “Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, — а у меня их — два! Три! И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить ещё сто девяносто восемь фактов, мы художественным прыжком делаем образом, рассказом, иногда пословицей”.

Вот с каким самоуверенным бесстыдством он объяснял свой “художественный метод”, свою лживую арифметику славистам Цюрихского университета. А в беседе с издателем журнала “Шпигель” в 1987 году разоткровенничался окончательно: **“Я ещё не понимал в войну, что нашими победами мы, в общем, роем себе же могилу. Что мы укрепляем сталинскую тиранию ещё на тридцать лет”.**

И это он говорил народу, потерявшему в войне более 20-ти миллионов своих сыновей и дочерей на захваченных гитлеровцами землях!

Читаешь эти откровения и понимаешь негодование Владимира Бушина, который поставил эпиграфом к своей книге “Неизвестный Солженицын” девиз нобелевского лауреата: **“Отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым...”** Поистине, гений “первого плевка” прав: отмываться от этого вырвавшегося из его нутра признания невозможно.

Прошли, отшумели юбилеи Солженицына (80, 85, 90 лет), во время которых телевидение показало несколько сериалов о жизни юбиляра. В консерватории и в зале Чайковского прошли концерты, ему посвященные, его славили Эдвард Радзинский и Григорий Явлинский, и такие враги России, как Альфред Кох, живущий ныне за бугром, и Борис Немцов. Чем же сегодня чувствует “пророка” Россия, некогда сходявшая с ума от восторга, что он возвращается на родину?

Конечно, возрождение холодной войны заставило апологетов Солженицына забыть его слова о том, что **“Америка давно проявила себя, как самая великодушная и щедрая страна в мире”** (“Русская мысль” 17.7.1975), щедро размещающая ракеты по периметру Прибалтики, Польши, Украины, Румынии... Не дай Бог кому-то во время столетнего юбилея Александра Исаевича вспомнить его слова, которые он бросил в лицо своим соотечественникам, когда у них ещё не было атомной бомбы: **“Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросит вам атомную бомбу на голову!”** (т. 3. стр. 52). Нет, сегодня его юбилей облагоустроен мирными инициативами: “Архипелаг ГУЛаг” внедрён в школьную программу с изъятиями неуместной лжи; улица Большая Коммунистическая по распоряжению Медведева демонстративно переименована в улицу имени Солженицына; в Ростове-на-Дону, где Солженицын прожил семнадцать лет, его именем назван проспект. Но этого мало. Там же поставлен памятник “пророку”, что побудило сотни ростовчан подписать письмо властям города о недопустимости памятника в городе Шолохова, который с презрением отзывался о попытках Солженицына оправдать власовцев и бандеровцев, что делают, продолжая дело Солженицына, нынешние украинские самостийники... Перед белгородским университетом сооружена аллея нобелевских лауреатов с бюстами Бунина, Шолохова и Солженицына. Однако студенты требуют добавить в эту компанию Пастернака и Бродского... Лиха беда начало. Но тогда и про бюст Светланы Алексиевич нельзя забывать. Всё-таки мы с Белоруссией живём в одном союзном государстве... Но драматичнее всего положение с монументами во Владивостоке, откуда начался в 1994 году путь нобелевца в Москву... В порту, куда прибыл Александр Исаевич, в 2015 году был водружён памятник ему, но некто Максим Шинкаренко на следующий день повесил на грудь монумента табличку с надписью “Иуда”... Конечно, начался скандал, который тлеет до сих пор. А Зураб Церетели, у которого в запасе давно был изваян Александр Исаевич, поверил слухам, что его кумир родился в Кисловодске, и подарил городу своё нетленное изваяние, вокруг чего и в Кисловодске вспыхнул скандал. Словом, везде, где в том или ином виде материализуется облик гения первого плевка, везде начинаются раздоры и свары. А газета “Литературная Россия” № 31 за 2018 год устами некоего якобы тайного помощника Суслова по фамилии “Байгушев” обнародовала версию о том, что **“Солженицын в войну не просто служил в батальоне**

артразведки, а выполнял определённые задания “красной паутины”. А “красная паутина” в ту пору была самой серьёзной из всех существующих у нас разведок”. По утверждению Байгушева, один из идеологов этой организации, Илья Эренбург, в разговорах с ним “не раз намекал на то, что “красная паутина” помогла вытащить Солженицына из лагеря и перевести в “шарашку”, где были совсем другие условия”.

Все эти сенсации изложены в беседе Байгушева с главным редактором “Литературной России”, неким В. Огрызко. Так что впереди нас несомненно ждут новые неведомые доселе открытия из жизни Солженицына, который из заурядного лагерного сексота на наших глазах превращается в крупнейшего деятеля таинственной спецслужбы, перед которой кажутся ничтожными и КГБ, и ЦРУ, и Моссад, и прочие зловещие аббревиатуры. Впрочем, центральный банк России к столетию “пророка” выпустил в свет серебряную монету с его профилем, к сожалению, всего лишь двухрублёвую, а надо бы стоимостью в 30 сребренников.

Чем похож Солженицын на всех остальных “детей Арбата” — известных “шестидесятников”, “детей XX съезда КПСС”, детей “Оттепели”, — так это способностью на ходу, в зависимости от обстоятельств менять свои убеждения, как перчатки. Возможно, что лагерная жизнь обучила его лицедейству и предательству. Как и Евтушенко, клявшийся при жизни Сталина в любви к нему, к революции и коммунизму и ошельмовавший вождя после его смерти, так и Солженицын сначала изваял роман “Люби революцию”, а в конце войны написал в письмах, проверяемых цензурой, такие суждения о своём Верховном главнокомандующем, после которых был арестован и предан суду по законам военного времени. А впоследствии сочинил эпопею “Красное колесо” — о преступлениях любимой им революции. Тюремно-лагерная жизнь научила его фантастическому лицедейству, по законам которого он прожил всю свою долгую жизнь.

Он умел угодить всем политическим, всем идеологическим силам своей эпохи. Чтобы привлечь к себе русских патриотов, он написал книгу “Двести лет вместе” — о сомнительной и зловещей роли еврейства в истории ГУЛАга. Чтобы привлечь на свою сторону “пятую колонну” и еврейских интеллектуалов, он разрушал советскую систему, державшую в железном кулаке право человека на перемену гражданства, на выезд евреев из страны, в западный мир или в землю обетованную. Чтобы привлечь к себе православный люд, он выходил к нему с образами Ивана Денисовича и Матрёны. Чтобы завоевать симпатии американских неоконгов, он устами своих литературных героев призывал Америку обрушиться на Советский Союз всю её атомную мощь. Он имел в своём арсенале множество лицедейских масок, легко меняющих его личину, и был неуязвим в этом изощрённом и бессовестном актёрстве. “Нам, как аппендицит, поудалили стыд”, — писал Андрей Вознесенский о подобного рода “шестидесятниках”.

Если кто-то упрекал Солженицына в том, что он разрушает СССР, находясь плечом к плечу с Аллой Гербер и Натаном Эйдельманом, он с негодованием мог заявить, что Марк Дейч клеймит его в “Московском комсомольце” как антисемита за то, что он обнародовал имена палачей-руководителей Беломорско-Балтийского ГУЛАга: Ягоды, Бермана, Френкеля, Фирина, Когана и Жука.

Во всех физических спортивных единоборствах досолженицынской эпохи — в боксе, вольной и классической борьбе, самбо — всегда были правила, осуждающие запрещённые удары в уязвимые и болезненные части тела: в паховую область, в промежность, в половые органы, в почки, в глаза... Даже в наших уличных драках были запреты — “лежачего не бить”, дерёмся “до первой крови”... И лишь в недавнее время стали необыкновенно популярны “бои без правил”, позволяющие бить ногами в лицо, избивать до полусмерти оглушённого и лежачего противника, наносить ему удары головой, коленями, локтями и т. д. Зрелище отвратительное, но гонорары за такого рода бои — баснословны. Вот и Солженицын ввёл в практику идеологических схваток беззаконие “боёв без правил”, более того, он выходил на поединки, держа в уме одну заповедь: “Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым”. Об этом приёме Солженицына драматург Виктор Розов сказал, как отрезал: “Когда прочитал “Как нам обустроить Россию”, я ахнул... Он “первым” призвал разрушить великую единую и неделимую Россию” (“Завтра” № 21 1994).

Восьмого августа 2002 года я получил письмо от человека, с которым давно мечтал познакомиться.

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

Окольными путями мне переслали Ваш двухтомник “Поэзия. Судьба. Россия” с неожиданной для меня адресовкой:

“На добрую память Анатолию Тихоновичу Штырову с благодарностью за службу России и за сына, главную книгу моей жизни. Ст. Куняев 2.08.2011 г.”

Весьма тронут. Внимательнейше прочитав Вашу книгу, я понял удивительное совпадение системы взглядов на современную (не недавнего прошлого) жизнь и кишащих в ней “двуногих интеллектуалов” от искусства и пера. Вы поймёте, кого и что я имею ввиду. Но пишу не по этому поводу. Ваш подарок я обязан “отдарить”. А посему посылаю Вам одну из своих книг “Солёные ветры”. Она издана в Молдове и вряд ли попадалась Вам на глаза. Просил бы иметь в виду следующее: я никогда не обучался во всяких литинститутах, никогда не стремился попасть в “большую литературу”, писал “для себя”; стихи, конечно, неровные и тяжёлые по стилю языка. Но ведь такова была и есть профессия и служба подводника.

Многое Вам не понравится, знаю. Скажу только откровенно: книга хорошо воспринята среди военных моряков, рыбаков, геологов Дальнего Востока, а в столицах — технической (не гуманитарной!) интеллигенцией.

Любопытная деталь: есть Главный штаб ВМФ, а в нём — фундаментальная библиотека. Так вот, библиотекари со смехом информировали: офицеры, кто помоложе, ходят по коридорам и скандируют о продажных генералах (и адмиралах). Смешно? Скорее грустно.

Но от самооценок воздерживаюсь. С искренними к Вам добрыми пожеланиями,

А. Штыров. 28.07.02 P.S. Извините за почерк: испорчен от писанины”.

Открыв присланную мне книгу, я сразу же был увлечён искренностью и честностью первых прочитанных мною слов и понял, что именно такой русский человек сможет правильно понять и оценить и творчество, и общественную деятельность Солженицына.

“Сейчас, на склоне жизни, могу с чистой совестью сказать: я был слабым человеком, но судьба толкала меня на самое трудное, и я был вынужден преодолевать это трудное. Но могу заявить, что для своего Отечества сделал всё, что мог. Притом — бескорыстно. А если кто считает, что он мог бы больше, так пусть сделает это...”

Редкое по искренности и чувству собственного достоинства признание принадлежит человеку, вышедшему из самых что ни на есть низов **советского простонародья**, но одарённому столь разнообразными талантами, столь сильной волей и такими нравственными основами, что, читая его книги, невольно приходишь к выводу: если Россия сможет в настоящем и будущем воспроизводить людей такой породы, то она не пропадёт никогда.

Родился Анатолий Штыров 6 марта 1929 года в г. Петровске Саратовской области. Жестокая нищета, безотцовщина, естественно, наложили отпечаток на все его ранние мироощущения. Сочинять стихи начал с четвёртого класса.

В 1944 году, в соответствии с указом Сталина подбирать беспризорников, попал в Военно-морское подготовительное училище (г. Горький). В процессе учёбы изучил французский язык.

С 1947–1951 годы — Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В процессе учёбы изучил английский язык.

С 1951 года — Камчатка, служба на подводных лодках, на которых проплавал 18 лет, из них 8 лет — командиром.

Совершил большое число походов на разведку и боевую службу в годы “холодной войны” и жестокого противостояния двух систем, когда неоднократно приходилось действовать в экстремальных условиях, выходя из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

С 1968 года — офицер морской разведки, а с 1970 года — один из руководителей разведки Тихоокеанского флота СССР.

С 1978 года – офицер по планированию боевых операций ВМФ в системе оперативно-стратегических штабов.

В феврале 1983 года А. Т. Штырову присвоено воинское звание контр-адмирал. Награждён тремя орденами и многими медалями.

В общей сложности прослужил в ВМФ 44 года, из них на Дальнем Востоке – 41 год (Камчатка, Совгавань, Приморье).

Имел прозвища: от подводников – “Неулыба”; от разведчиков – “Штирлиц”; от командования – “Последний из могикиан”.

В 1992 году по инициативе ветеранских кругов как бывший противник в “холодной войне” был приглашён в Китайскую Республику Тайвань, где был награждён знаком “Почётный подводник ВМС Тайваня”.

На протяжении почти 40 лет сочинял стихи (для себя), о чём сослуживцы не имели понятия. Множество стихов из-за неустроенности жизни потеряно.

Автор книг стихов “Моряна”, “Девятый вал”, “Солёные ветры”, в прозе – “Приказано соблюдать радиомолчание”, “Морские бывальщины”, изданных небольшими тиражами в конце девяностых и начале двухтысячных годов.

С 2002 года и до 2014 (когда он умер) этот легендарный человек был автором и желанным гостем нашего журнала.

У Анатолия Тихоновича Штырова, как у подводных лодок, которыми он командовал, было как бы две жизни. Одна – внешняя, на поверхности. С уставами военно-морской службы, с постоянным ощущением присяги, долга и командирской ответственности, с окружением вышколенной, блестящей команды морских офицеров и матросов, с блеском шевронов, наград и званий, с парадной формой, с великими обворожительными традициями русского флота. И другая жизнь, как у подводной лодки, стоящей на боевом дежурстве в глубинах Мирового океана, с почти никому не известным местонахождением, с тайными заданиями, которые надо выполнить в окружении враждебных кораблей. Это была другая половина его судьбы – литературная, поэтическая, скрытая от глаз высшего начальства, от публики и, к сожалению, не известная в литературной среде.

Читаешь стихи этого необыкновенно одарённого человека, самородка, подобного молодому Александру Твардовскому или Павлу Васильеву, и понимаешь: до чего же талантлив русский человек, стихи которого перебираешь, как необработанные драгоценные камни, которые вроде бы заключены в наплывы известняка, в пустую породу, но нет-нет, да и вспыхнут, и высветят глубины народного сознания, и выразят поэтическим словом глубочайшие человеческие чувства. Тем более, что они родились из сплава таланта с русским характером, сплава с присадкой офицерской чести, совести, бескорыстия и ненависти ко всякому ренегатству, ко всякой бюрократической мертвечине.

Обслуживающий персонал демократии, её апологеты и лакеи – евтушенки, улички, пивоваровы, познеры, млечины, сванидзе и прочие – много лет подряд по всем программам, отданным в их распоряжение нынешней российской властью, долбят, как попугаи, что советские люди – это “совки”, “винтики”, “тупые исполнители”, лишённые своего лица, своего мировоззрения, своей индивидуальности.

Да одно явление Анатолия Штырова камня на камне не оставляет от лжи этих болтунов и борзописцев.

Разрушение великой страны и небывалого в истории советского многонационального общества стало личной трагедией Анатолия Штырова.

*Тем и жили. Строили не сказку,
А простой хороший тёплый дом.
Отмечали Первомай и Пасху,
По земле ходили не в опаску,
Детям отдавали свет и ласку
И кормились праведным трудом.*

Так писал в стихотворении “Светлое Христово Воскресенье” бывший безпризорник, спасённый заботами новой власти, ставший при ней адмиралом, талантливым поэтом и даже своеобразным историком и идеологом советского строя.

*Как-то обходились без богатства;
Так уж вышло — не было его.
Было человеческое братство
С гордостью за честное гражданство —
Родины великое пространство
Было, и не стало ничего.*

Култ долга перед Родиной, суровый, но благородный аскетизм военно-морской службы на подводных лодках, гордость за великую державу — вот главные личные темы поэзии Анатолия Штырова, который в 60–80-х годах был одним из самоотверженных солдат великой “холодной войны”, которую вёл Советский Союз, обороняющийся от хищного колониального Западного Мира.

Анатолий Тихонович Штыров был не только поэтом, но замечательным глубоким историком — цельным и страстным патриотом своей Родины. И всех, кто ренегатствовал и разрушал Советский Союз, считал своими не только мировоззренческими, идейными, но почти личными врагами. Об одном из них — Александре Солженицыне — он высказался не только со всей армейской прямоотой, но и с безупречной аргументацией, достойной объективного и профессионального историка. Его аргументы настолько значительны и серьёзны, что их необходимо пустить в научный оборот, поскольку фигура Солженицына до сих пор вызывает споры и его имя в истории окончательно не устоялось, если вспомнить недавние книги о Солженицыне Сараскиной и Бушина или то, как критик Бондаренко переплюнул ярую демократку Сараскину и объявил его “пророком” и “планетарным писателем”.

...В 1952 году жена флотского лейтенанта Штырова, окончив институт и став геологом, получила предписание немедленно ехать на работу в небезызвестную систему “Дальстрой”, в Магадан. Оттуда её направили на отделённый участок, находившийся возле якутского посёлка Хандыга. Там, в Хандыге, и родился их первенец.

Пришедший из похода в свою Камчатскую бухту лейтенант, узнав о случившемся, отпросился у начальства и бросился к жене с сыном. Все две тысячи километров он, пересаживаясь с одной попутки на другую, добирался до посёлка Хандыга холодным летом 1953 года, когда все дороги и тропы, ведущие на Запад, были оккупированы уголовниками, только что освободившимися по Большой Ворошиловской амнистии... За эти две тысячи километров лейтенант выслушал от попутчиков и встречных множество страшных рассказов о том, сколько тут, на “планете Колыма”, зарыто людей. В ответ на его вопросы они говорили ему приблизительно так же, как шофёр полуторки-самосвала Семён:

“Поговаривают, мильёнов десять... Кто, конечно, ведёт счёт. А мы простые, где нам... Но вот эта дорога... На костях, это точно. Я свидетель...”

Своё путешествие в глубь материка флотский лейтенант Штыров описал такими словами:

*Прошёл я по многим дорогам
Двадцатого хмурого века.
Я видел и зверя, и “бога”
И видел следы Человека.*

*Я видел Колымскую трассу
Не так, как кумир хриповатый, —
В упор. И без всякой прикрасы.
А врать мне, увы, поздновато.*

*Встречал и забуду едва ли
Конвои по мрачным дорогам,
Что жизнью своей оживляли
Край, проклятый людом и Богом.*

*И каторгу видел воочью,
Лишь понял всё это позднее.
Без звона кандалного, впрочем,
Там чуточку было страшнее.*

*Я видывал в дебрях восточных
Следы от костров людоедов.
Меня-то не съели уж точно,
Как мог я об этом поведать?*

*Я видел зарезанных эзков
Спокойно и тихо, без “шмона”.
У этих у “сверхчеловеков”
Такие уж были законы.*

В этих стихах Анатолий Штыров, называя Высоцкого “хриповатым кумиром”, иронизирует над его попытками изобразить уголовников людьми своеобразной чести, что часто встречалось в песенных текстах Высоцкого, который был соавтором книги “Чёрная свеча” — о жизни и нравах уголовного мира. Книга эта, написанная иркутским журналистом Леонидом Мончинским в соавторстве с Высоцким, должна была, по их общему замыслу, стать сценарием для голливудского фильма, в котором главную роль должен был играть Владимир Высоцкий. Чего не случилось из-за его неожиданной смерти.

Но если следовать правде жизни, то надо признать, что ни сам Высоцкий, ни Вадим Туманов, в артелях которого часто выступал поэт, не знали или не хотели видеть уголовный мир во всём его бесчеловечии, которое видели Штыров, Шаламов, Юрий Домбровский. Вот почему Анатолий Штыров так саркастически отозвался — “кумир хриповатый” — о Высоцком, который романтизировал уголовную жизнь, не видя в ней ни жестокости, ни зверства, которых насмотрелся флотский командир во время своего путешествия по Стране Колыме.

Счёт дальстроевским костям вёл Солженицын, выставивший этот счёт сталинской эпохе в “Архипелаге”, о чём Анатолий Штыров в главе “Страна Колыма” повествовал так:

“Много позже... адмирал в отставке вновь и вновь перечитывал солженицынского “Архипа”, шаламовские “Колымские рассказы” и вспоминал откровения шофёра Семёна; он понял, что привирали все трое — всяк по-своему.

Так, шофёр Сёма всерьёз уверял попутчика, что там, в подземелье, кайлал золотую руду вместе с Константином Рокоссовским и в знак достоверности предлагал проверить: у Рокоссовского родимое пятно под левой лопаткой. Как будто лейтенант мог это проверить...

Привирал потому, что всё расползлось во времени: этот Семён кайлал “жилку” в конце войны, после 1943–1944 годов, а Рокоссовский уже в 1942 году сражался под Сталинградом.

Но эта семёновская вина была малюсенькой: уж очень ему хотелось побыть в одной шахте со знаменитым человеком. Так сказать, стать причастным к бытию славы.

Но гораздо более врал Александр Солженицын (этот “апостол правды”); врал потому, что вся его статистика исторически-лагерного повествования в “Архипелаге ГУЛаг” крутилась вокруг расстрельной паукообразной “пятдесят восьмой” статьи (КР, КРД, КРТД, ЧСИР и проч.); получалось, что огромные потоки осуждённых и невозвращенцев шли по этой статье, в его повествовании — это десятки миллионов судеб.

А из документальной статистики НКВД известно, что по уголовным статьям (воры, грабители, насильники, растратчики, несуну и летуны) шло свыше 85% осуждённых. И если это так, а это так, то общий многомиллионный поток заключённых разбухал до такой степени, что становился в численном выражении чуть ли не больше всего населения страны.

Между тем, есть добросовестные, но неслышимые исследователи истории колымского края, которые на основании изучения документальных архивов НКВД и других первоисточников свидетельствуют о совершенно иных цифрах.

Как известно, поглощавший рабочую силу эзков “Дальстрой” функционировал с 1939-го по 1953 год. За неимением других средств сообщения, подачу рабсилы в виде эзков в порт Нагаево (через порты Ванино и Находка) обеспечивали единственный оборудованный транспорт “Джурма” (а в последующем и “Колыма”), способные принять в трюмы до 2 тысяч заключённых. Сезон навигации в Охотском море — июнь–ноябрь, то есть 6 месяцев в году;

челночный рейс туда и обратно — не менее 15 суток, следовательно, транспорты могли сделать не более **12 рейсов** за навигацию”.

На самолётах зэков, естественно, в Магадан не доставляли. И поезда на Колыму не ходили. Проведя тщательные подсчёты количества перевезённых за 14 лет существования Дальстроевского ГУЛага пассажиров (а ведь кроме “спецконтингента”, на Колыму направлялись геологи, строители, пограничники, охранники, лётчики, врачи, учителя и другие “вольняшки” — всего около 120-ти тысяч), Штыров пришёл к неопровержимому выводу, что за период с 1939-го по 1953 год на двух транспортах в “столицу колымского края” могло быть перевезено всего лишь около 600 тысяч заключённых, но отнюдь не 10 миллионов, о чём твердил в “Архипелаге” Солженицын. Что же касается утверждения последнего о том, что большую часть магаданских ссыльных составляли “политические”, то Анатолий Штыров комментировал эту ложь следующим образом:

“Из статистики, кроме того, известно, что до 1940 года из доставленных на Колыму заключённых составляли: “политические” — до 5%, “бытовики” — до 50%, уголовники — до 45%. В период 1944–1952 годов статистика изменилась: “политические” (болтуны и агитаторы) — до 1%, “бытовики” (растратчики, несунуны, спекулянты, аферисты и пр.) — до 25%, ошмётки войны (бандеровцы, власовцы, “зелёные братья”, пособники оккупантов и буржуазно-кулацкий элемент из западных регионов) — до 30%, уголовники (бандиты, воров, насильники и прочая публика) — до 40%.

А если подытожить, то “совесть эпохи” Александр Исаевич соврал ни много ни мало, а в 15 раз (как и при описаниях ужаса раскулачивания в 1929–1931 годах — тоже в 15 раз). А отговорка есть: “... мне не достало документов, и я по свидетельствам жертв/очевидцев...”

Несмотря на это, при возведении в 1996 году, аккуратно перед президентскими выборами, гигантского памятника жертвам ГУЛага в Магадане было заявлено, что “вот на этом самом месте был концлагерь, в котором погибли не менее 700 тысяч заключённых”, а всего по Колыме опять-таки 10 миллионов. Гигантский памятник ставил известный Эрнст Неизвестный, а при сём присутствовал и витийствовал “гуру сибирской демократии” Виктор Астафьев.

Конечно, неискушённым слушателям вряд ли было известно, что в те поры всё население Хабаровского края (а Колымский край входил туда) составляло менее миллиона, а всё население Дальнего Востока — около трёх миллионов человек, которое тоже надо было кормить. Таково коварство солженицынской статистики, претендующей на историческую правду.”

Кроме сухой статистики, Штыров счёл нужным написать об авторе “Архипелага” следующие строки:

“Александр Исаевич утаил, что в 1945 году на Лубянке он был, без особого с его стороны упорства, завербован в “сексоты” и получил агентурную кличку “Ветров”, и этот листочек был аккуратными гпэпушниками подшит в его тюремное дело.

Впрочем, во втором, доработанном издании “Архипа” (по-видимому, под подозрительными уколами сохранившихся свидетелей-солагерников) Александр Исаевич подправился и включил в своё жизнеповествование полупризнание, что да, он был принудительно, под недвусмысленной угрозой “вышак” завербован, подписал листок и был окрещён кличкой “Ветров”, но — никогда! слышите, никогда! — не работал на лагерных “кумов”, прикинувшись малопамятным, идиотом-придурком. Между тем, есть “документик” — личный донос стукача Ветрова в 1952 году “куму” в Карлаге о готовящемся там восстании. По этому доносу в Карлаг прибыл летучий отряд “краснопогонников”, который без всякого предупреждения открыл огонь по толпе зэков во время их построения перед разводкой на работы, где было убито свыше 200 заключённых. А “товарищ Ветров”... за сутки до того исчез и... появился в Костромском лагере сажающего режима.

Видимо, Александр Исаевич не знал, что о его расстрельном доносе сохранены документы и хранятся они в укромном месте, либо в каждом лагере были свои “сексоты” с тайной кличкой “Ветров”. В последнее, однако, верится плохо, ибо секретно-оперативный учёт в ведомстве “товарища Берии” всегда был на высоте, а любезный автор был завербован не в какой-нибудь захудалой “шарашке”, а в самом центре, на Лубянке, следовательно, был “централизованный”, спущенный сверху “сексот”. А к таким прислушивались особо...”

Вот короткое историческое исследование, написанное с кожиновской до-тошностью. Вот таким встаёт из размышлений контр-адмирала образ “пророка”, “совести России”, “планетарного писателя”.

А о ельцинской России легендарный моряк пророчествовал гораздо честнее, нежели Солженицын:

*Погрызла ты в духовной мгле,
От неустройцы угрюмая,
И на останкинской игле
Сидишь, о будущем не думая.
Грядёт вселенский передел,
Там впереди разборки грозные.
Я новых гуннов не хотел...
А ты? Проснёшься ли? Не поздно ли...*

Закончить свои размышления об Анатолии Тихоновиче Штырове я хочу его словами из предисловия к книге “Морские бывальщины”:

“Всё пережитое, увиденное и услышанное автор стремился доподлинно изложить как голос стремительно уходящего прошлого. Да, в те времена существовала неустроенность быта и службы, отравляли жизнь подлецы и карьеристы, ловкачи и демагоги. Но как много было истинно святого, честного, добропорядочного! А главное — были и жили люди, в своей массе добросовестные и честные. Они, как могли, несли службу, исполняли свой патриотический долг перед часто не очень-то внимательной к ним Родиной...”

Вот это и есть суть подлинного русского народного патриотизма. От Солженицына Россия таких сыновних слов не дождалась...

РУДОЛЬФ ПАНФЁРОВ

ТОРЖЕСТВО ЛЖЕПРОРОКА

К юбилею А. И. Солженицына

Много обиженных у всякой власти, у советской их было не меньше, чем у любой другой. В основу её лозунгов и целей легли слова человеколюбивого христианского обличия: свобода, равенство, братство. Но внешние и внутренние помехи породили сокрушительное зло — несправедливость, а сохранение себя — опекание воли и действий, даже патронаж помыслов человека-винтика. И потом этот сильнодействующий яд запрета, который там, где нужны проявления разумного риска, инициативы и вообще раскрепощения. А раз это было, то можно было и воспользоваться этим. Гнётся, да не ломается эластичная структура; жёсткая, рано или поздно, рушится.

Этими губительными свойствами хорошо задуманного устройства, но плохой власти воспользовались лжепророки, которые столкнули травоядное общество в стадо вечно алчущих хищников. Зачем они это сделали?

Для удовольствия разрушения. Они трудные дети XX века.

БРОСИВШИЙ КАМЕНЬ

После признания соискателя нобелевским лауреатом по литературе определяется так называемая формула присуждения. Например, М. Шолохову премия присуждена “за художественную силу и полноту, с которой он в своём эпическом произведении о Доне отобразил историческую фазу в жизни русского народа”. Эта самая формула присуждения в отношении творчества А. Солженицына звучит несколько по-иному: “За нравственную силу, с которой он продолжил традиции, присущие русской литературе”.

Что такое “нравственная сила”, какое её место в современном миропорядке? Попытаемся разобраться в нравственном напоре, который явил Солженицын.

Особняком в нравственных его достижениях стоит активно поддержанная им беспрецедентная кампания шельмования Шолохова. Объявилась некая дама Томашевская, которая издала книгу “Стремля “Тихого Дона”, в которой с непонятной ненавистью пыталась доказать, что автор знаменитого романа совсем другой человек. Аргумент тот самый, печально знаменитый: *этого не может быть, потому что не может быть никогда*. Оно понятно, околелитературная особа решила воспользоваться злободневностью, а вернее — той злобой, которая процветала в один из периодов холодной войны по дискредитации всего русского.

Но зачем же Солженицыну-то ввязываться в это безнадёжное дело, освещать его многозначительным предисловием?

Ему было хорошо известно, что 26 апреля 1975 года в Кванс-колледже в Нью-Йорке на конференции Американской ассоциации преподавателей славянских языков и литературы состоялась основательная дискуссия на тему: “Кто автор “Тихого Дона””? В дискуссии участвовали около 60 преподавателей русского языка и литературы в американских колледжах, а также несколько профессоров – специалистов в вопросах текстологии и стиля художественных произведений.

Выступает профессор Герман Ермолаев из Принстонского университета и заявляет о бесспорном авторстве Шолохова. Делает это не голословно, а приведя убедительные доказательства, используя изощрённый анализ характерных эпитетов и метафор, других художественных особенностей и приёмов автора. Ведь у каждого писателя есть свой собственный почерк – не только внешний, но и внутренний. Ермолаев привёл языковые ляпсусы и ошибки Шолохова, которые были в первых изданиях “Тихого Дона” (потом их устранили по указанию редакторов). Вот эти ошибки и ляпсусы, характерно повторяющиеся, были свойственны Шолохову, у которого не было достаточного образования, но был талант, искра Божия.

Точно так же и профессор Стюарт из Пенсильванского университета на основе своей методики исследования текста пришёл к аналогичному выводу. В качестве оппонента выступал профессор русской литературы Колумбийского университета Роберт Магвайр, но он лишь присоединился к мнению своих коллег: “Тихий Дон” написал не Крюков с помощью Солженицына и Томашевской, а сам Шолохов.

Откуда пошёл импульс злостной клеветы ещё при жизни автора, который относился к ней даже с интересом: всё же любопытно, до чего договорятся искусники?

В 1969 году в США среди кандидатов на докторскую степень в области русской литературы ходило заманчивое предложение. За стипендию в пять тысяч долларов надо было доказать, что Шолохов – не автор великого романа. Так сказать, требовалось громоподобное разоблачение ещё одного коммунистического мифа.

Кто-то из ловкачей (раз надо – сделаем) накатал диссертацию-фальшивку под псевдонимом анонимного “советского литературоведа Д”. Диссертацию из-за курьёзности её происхождения и боязни разоблачения держали всё же втайне. Но нашлись доброхоты. Материал перелопатила та самая Томашевская, а для пущей важности расписаться под этим дали Солженицыну. Он тут же состряпал многозначительное предисловие и дополнение, покрыв ложь авторитетом нобелевского лауреата. Вот такую явил миру “нравственную силу”. Очевидно, надеялся, что клевета как-нибудь прилепится к Шолохову. Не прилепилась. Осталась несмываемая ложь на пророке без чести.

В это же время Солженицын готовился принять из рук президента США Форда лавровый венок почётного гражданина. Однако акция провалилась. Форд не только отказал в почётном гражданстве, но даже не захотел принять столь одиозного диссидента из Советского Союза.

В чём природа клеветы? Злонамеренную выдумку поддержали академик Лихачёв, писатель Искандер. НТВ и курковский телеканал в С.-Петербурге организовали серийное судилище Шолохова. Нападки объясняются ненавистью к нему за его смелость, независимость от властей. Он поддержал Ахматову и Платонову в их трудные дни. Кампания клеветы позорно провалилась.

Между тем события вокруг Шолохова и его романа продолжались. Группа скандинавских учёных-славистов берётся поверить гармонию алгеброй, то есть современными методами лингвистики, применив компьютеры. И вот бездушные машины ответили, что автор “Тихого Дона” не кто иной как Шолохов. А компьютеры врать не могут: они не обладают нравственной волей, зато их анализ безошибочен.

Почему то и дело реанимировалась грязная кампания? Дело в том, что в 1958 году поднялась дикая свистопляска вокруг пастернаковского “Доктора Живаго”. Как известно, Шолохов неодобрительно отнёсся к использованию литературного произведения в политических целях Запада. Вся эта возня с автором знаменитого романа свидетельствует о недалёкости её организаторов. Шолохов – великий писатель, но ближе к семидесяти годам впал в “щукарство”, особенно выступая на партсъездах. В этом, пожалуй, весь грех Шолохова. Писателю не следует заигрывать с властью. Её надо ставить на место.

Позднее Солженицын написал статью “Жить не по лжи”. И призывал каяться в своих грехах. В своём участии в постыдной кампании он покался весьма своеобразно.

В 1998 году накануне своего восьмидесятилетия Солженицын побывал в Калуге, и ему, конечно же, задали вопрос: зачем он так поступил? Ответ последовал с обезоруживающей наивностью младенца: Томашевская попросила, и я не мог отказать ей в предисловии.

* * *

В “Красном колесе” завязал Солженицын три “узла”, проложил путь к четвёртому, но об одном памятном так и не сказал ничего. Кто развязал кровавую бойню, учинил Великую чистку? Кто были в подавляющем своём большинстве романтические “комиссары в пыльных шлемах”? Он предпочитает всеобъемлющую безликую формулу: “Красный террор”. Из каких палестин нагрязнула орда в кожанках и кепках, соединившись с пятой колонной внутри России? Об этом пророчески умалчивается в “Архипелаге ГУЛаг”. Кто же руководил истреблением тех “60 миллионов”, о которых пишет в своём глобальном статистически-компилятивном исследовании Солженицын? Начальники ГУЛага Яков и Матвей Берманы. Начальники лагерей и поселений на территории Карелии — Коган, Северного края — Финкельштейн, Свердловской области — Погребинский, Соловецкого лагеря — Глеб Бокий и Серпуховский, Верхнеуральского политизолятора особого назначения — Мезнер. А начальники НКВД на местах: Московской области — Реденс, Ленинградской области — Заковский, Западной области — Блат, Оренбургской области — Райский, Свердловской области — Шкляр, Средней Азии — Круковский, Дальневосточного края — Дерибас, Сибири — Гоголь и Троцкий. Так русскому ли народу свойственен “архипелаг ГУЛаг”?

В действии старый принцип — творить зло и обвинять в этом зле тех, против кого оно было направлено. Империя зла, о которой так часто говорил президент Рейган, была создана политкомиссарами и начальниками “архипелага”, о чём исследователь и словом не обмолвился.

Солженицын утверждает, что он религиозный человек. В “Круге первом”, говоря о судьбе Сталина, которая могла бы сложиться по-иному, если бы... он вдруг выворачивает: “Но Бог его обманул...” Экий прокол допустил осторожный и осмотрительный зэк. Это же целая философия непонятного для нас свойства. Бог — пахан, Бог — сосед по нарам, сокамерник, картёжный шулер. Да разве верующий человек способен вообразить такое?!

* * *

“Нравственная сила” особо проявилась в его литературно-политической деятельности. Феноменальное многословие и жажда борьбы так и сквозят в его мемуарах “Бодался телёнок с дубом”. Вкрадчиво и подробно вспоминает Солженицын редакционные перипетии подготовки и напечатания “Одного дня Ивана Денисовича”. Приводятся нюансы, которых сам он не мог знать. Значит, пытался, протоколировал рассказанное другими, чем и побивал оппонентов.

Солженицын вёл подробные стенограммы обсуждений, заседаний. Это десятки страниц, исписанных убористым почерком. Протоколировал для истории, метил для потомков: “Запись велась в ходе заседания А. С.”. Одно из них, посвящённое разбору его жалоб (22.IX.67), длилось с 13 до 18 часов с минутами. И всё это время он вёл протокол на глазах изумлённых коллег.

Именно тогда Корнейчук сказал: “Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни”. По-восточному осмотрительный Яшин изрёк: “Автор не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью”. Солженицын парировал: “Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закалили меня в сталинских лагерях”.

Он вёл переписку с КГБ, ЦК КПСС, Союзом писателей, издателями, заграницией. Всё надо было упомянуть, разверстать по полочкам, а в случае необходимости — оперативно предьявить. И тогда открывалась бездна потаённой жизни. Солженицын — гениальный “пост скриптум” советской эпохи.

В подробнейших воспоминаниях о своей великой борьбе о многом упомянул Александр Исаевич. Но вот один фактик почему-то забыл. Первая жена его — Н. Решетовская, — однако, рассказала, как в их маленькой квартирке в Рязани пребывал целую неделю А. Твардовский. По какой причине гостевал-прохлаждался занятой человек, главный редактор популярнейшего оппозиционного журнала “Новый мир”?

Оказывается, в отведённой ему комнатухе он доводил до ума рукопись “Одного дня...”, которая тогда называлась “Человек Щ-854”. После интенсивной работы Твардовский явил автору мастерски отредактированную рукопись с новым названием. Самолюбие Солженицына сильно пострадало: и называется рукопись по-другому, и строй её сильно изменился. Сюжет выпрямился, исчезла рыхлость, утяжеляющие подробности. Заиграла, зазвучала повесть.

Попробовал было возразить уязвлённый автор, да смекнул, что Твардовский на соавторство не претендует, а текст приобрёл только достоинства, чего ж отказываться от такого добра? Крепко отредактированная Твардовским повесть стала вскоре знаменитой.

Когда страсти улеглись и отстоялись, Солженицына выдвинули на Ленинскую премию. Но вскоре он стал “подарком” Западу от наших идеологических бракоделов. Солженицына умело “раскручивала” западная контрпропаганда. Стала крепнуть доморощенная диссидентура — внутренние враги коммунистической идеологии. Появилась самиздатовская литература, которая обслуживала групповые интересы, далёкие от нужд большинства людей. Новых мыслей не было, зато обид и амбиций — в избытке. Узкий слой заявил о себе с небывалым политическим апломбом.

Разрушительной катастрофой аукнулось вскоре казарменное запрещение всего, что касалось критики существующих порядков. Диссидентство — с одной стороны, и комчанство — с другой. Этого было достаточно, чтобы процесс, дестабилизирующий общество, пошёл.

Происхождение диссидентства — новая страница, а точнее, рычаг опрокидывания действительного инакомыслия. Для нашей исторической традиции свойственно нечто другое: свободолюбие и свободомыслие, открыто заявленные Радищевым, Державиным, Пушкиным, Чаадаевым, Некрасовым, Добролюбовым, Белинским, Толстым... Разве повернётся язык назвать их диссидентами?

Не впадая в пространные рассуждения, рискну определить наше диссидентство как несогласие троцкистов со всё большей русификацией космополитического марксизма, которое стало явно обозначаться после окончания Второй мировой войны. Не зря же известные антикоммунисты (Максимов, Зиновьев) с большим запозданием сокрушённо признали, что метили в коммунизм, а попали в Россию. Совсем не случайно на смену известной доктрины о перманентной мировой революции пришла и стала реализовываться идея мирового правительства.

Большой знаток русофобии академик Игорь Шафаревич в своё время заявил в интервью корреспонденту журнала “Российская Федерация сегодня” буквально следующее: “Полтора-два года назад Маркс и Энгельс увидели бродивший по Европе призрак коммунизма. Так вот, сегодня видится призрак мирового правительства. Есть люди, которые уверяют, что оно уже существует, но конспиративно”.

Недавно мы стали свидетелями действий мирового правительства при “миротворческом” вторжении НАТО в Югославию на виду всего мира, как бы в назидание сомневающимся.

О мировом правительстве (сверхправительстве) говорится ещё в протоколах известных мудрецов, в основу которых легли учения древних пророков, дополненные так называемыми планами долговременных действий в конце прошлого века: “Надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьёмся покорности и власти. Мы создадим усиленную централизацию управления, чтобы все общественные силы забрать в руки. Наше царство ознаменуется таким величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных. На место современных правителей мы поставим страшилище, которое будет называться Сверхправительственной Администрацией, руки его будут протянуты во все стороны при такой колоссальной организации, что она

не может не покорить все народы. Мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему сверхправительству”.

После развала Союза конспирацию упразднили, маски сбросили. Мировое правительство в лице великолепной “семёрки”, валютных фондов и банков действует легально по отработанным “свычаям и обычаям” ростовщиков и менял. Свои технологии они обкатывают ныне на всём постсоветском пространстве.

В ноябре 1969 года на собрании рязанских писателей Солженицыну были сказаны определяющие слова: “Иногда надо поставить судьбу Родины выше своей собственной судьбы”. С пророком никогда такого не случалось.

Ахад Хам (Ашер Гинцберг) — возможный составитель тех самых протоколов — в статье “Моисей” так определяет сущность пророка: “В уме и сердце он сосредоточивает весь свой идеал, который представляется ему целью его жизни, им заранее намечается. Он имеет абсолютное убеждение, что всё должно быть так, как он это понимает и хочет: это убеждение даёт ему вполне достаточное основание требовать, чтобы всё действительно так и было. Он не принимает в соображение никаких доводов, никаких компромиссов. Пророк хочет увидеть осуществление своей мечты, какие бы последствия ни произошли от этого”.

* * *

В конце августа 1968 году произошла первая встреча Солженицына и академика Сахарова. Это было тотчас после мирного вхождения в Чехословакию объединённых войск Варшавского Договора. Наблюдая за академиком, Солженицын замечает: “Ему было больно наносить ущерб своей стране! Я этого не оценил тогда”... Вернее было бы сказать “не понял”, “не принимал”. Мстительное чувство, по его собственному признанию, всегда брало верх. Он называл это “пружиной лагерного прошлого”.

Загадок в его судьбе много. Вот одна из них. С молодости Александр Исаевич отличался целеустремлённостью. Учась на физико-математическом факультете Ростовского-на-Дону университета, определил своё истинное призвание — решил стать писателем. Но до этого пытался сдать экзамены в Московскую театральную студию.

В октябре 1941 года Солженицына призывают в армию. До февраля 1943 года (какая роскошь!) учился в артиллерийском училище и после его окончания в чине лейтенанта был отправлен на фронт. Отнюдь не на передовую. В отдалении от фронта (резервная артиллерия) ухитряется заниматься литературной работой. На фронте его неоднократно посещает жена.

В феврале 1945 года капитана Солженицына, дважды награждённого, неожиданно арестовывают и из Восточной Пруссии под конвоем доставляют на Лубянку. Приговор — восемь лет лагерей.

Репрессия, наговор недоброжелателей, клевета или жестокая ошибка? Оказывается, Солженицын в течение года вёл полемическую переписку с неким Виткевичем, в которой они бранили Сталина, осуждали государственный строй, построенный не по заветам Ленина. Удивительно, откуда такой наив у осторожного и осмотрительного человека, который всё планирует наперёд? Ему хорошо было известно, что военно-полевая почта сплошь подцензурна. Из писем вымарывалась даже обычная солдатская грусть по родному дому, семье, детишкам. А тут многосерийная политическая дискуссия о международном Коминтерне, проблемах истинного ленинизма. Ещё в полевой сумке артиллерийского командира обнаружили некую “Резолюцию № 1” — всё по тем же вопросам. Разве это был не спланированный вызов судьбе? Может быть, таким же был “дальнобойный” математический расчёт: сохраниться на исходе войны в сталинской шарашке, а заодно занять неординарную биографию? Или необычная глупость? Третьего, как говорится, не дано.

И действительно, попал Солженицын в ту самую шарашку под Москвой. По сути — в привилегированную тюремную бригаду учёных. Заполняя анкету для мандатной комиссии, которая производила сортировку, кого на нары, а кого в научный коллектив с улучшенным пайком, с ограниченной, но свободой передвижений, новоиспечённый зэк написал в графе “специальность” — физик. А они-то как раз и были нужны, как и хорошие математики. И всё же

не сгодился, не того уровня оказалась квалификация. Отчислили за профнепригодность и отправили в Экибастуз, где он стал “Щ-282”.

Через много лет, уже в демократической России, Солженицын побывал в Марфине, в бывшей шарашке, встретился с учёными. Первый вопрос, который ему задали: “В чём состоит российская национальная идея?” И он ответил: “В спасении народа”. Даже во времена ГУЛАгов, войны такая проблема не возникала. Народ имел силы и возможности “спасаться” самостоятельно.

От кого же надо спасать народ? От лжепророков или бандократии?

Сейчас Россия не может сосредоточиться. Обещания процветания — всего лишь обещания. Окончательный распад может осуществиться по регионам, которые самостоятельно попали в долговую кабалу. И которых будут банкротить по простым правилам менеджмента.

“Помогите нам прожить несколько лишних лет! Зачем мы ещё живы?” — эти вопли услышал Солженицын в обустроенной по-новому России. И пророк утешил: спасайтесь кто как может!

* * *

Я не собираюсь разоблачать Солженицына, удивляться его стоической самоуверенности, страсти к учительству или его паническим бесстрашием. Время уже расставляет всё по своим местам.

Как гром среди ясного неба, обрушилась на тогда ещё советских читателей в конце сентября 1990 года брошюра под названием “Как нам обустроить Россию?” Заметьте, не СССР, а Россию. Этот манифест громадным тиражом распространили самые популярные центральные газеты, вовсе не российские, а общесоюзные.

В этой брошюре идеи великодержавного национализма и шовинизма, государственного эгоизма воплощены в концепции отказничества, а по сути — предательства. Да и о самой России говорится с цинизмом и двусмысленностью “долговременных планов”.

Вот они, эти провокационные “посильные соображения”: “А что же именно есть Россия? И где видят границы России сами русские? Нет у нас сил на окраины. Нет у нас сил на империю — и не надо, и свались она с наших плеч! Ещё больше распрямимся от давящего груза “среднеазиатского подбрюшья!” И уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России. Надо перестать попугайски повторять: “Мы гордимся, что мы русские”.

Думаю, лучшего подарка и не ждали в мировом правительстве. Надо ли ещё цитировать?

Весьма уныло слушали депутаты Госдумы говорящего дробной скороговоркой обустройщика России. Его наивным архаичным схемам былой земщины, так и не устоявшейся, внимали с той долей терпения, которая всего лишь обозначает парламентскую вежливость.

Так как же всё-таки Россия “распрямилась”? Прошло всего восемь лет, и вот, пожалуйста, новая брошюра “Россия в обвале”. Обустройство состоялось, как и намечалось по плану, высокими темпами. Теперь Солженицын не впадает в грех посильного рассужденчества, лупит прямой наводкой: “Ясно же видно, что Западу нужна Россия технологически отсталая. Мы рабски подчиняемся программе Международного валютного фонда. Намерения цивилизованного Запада относительно нас всё менее скрываются, а неистовыми политическими врагами России, как Киссинджер или Бжезинский, уже не раз высказывались с полной откровенностью (“лишняя страна” на карте мира). Через десяток лет мы спустимся на уровень африканских стран”. Как говорится, и на том спасибо. От посильного велеречия с сакраментальным: “А что же именно есть Россия?” до “Быть ли нам русскими?” дистанция оказалась короче прицельного выстрела. Да ещё и пнул пророк выпестованную в демократии теперь уже седьмую часть земли: “Это новая Россия” и помогла свершиться тому историческому переходу в мировом сознании, когда военное вмешательство держав в дела далёкой страны стало называться не “агрессией”, а “миротворческими усилиями”. Об антирусской сущности правительства США всегда и во всём мире было известно давно.

В 1959 году американский конгресс принял закон о так называемых порабощённых нациях (PL 86-90). Этот закон определяет порабощителем не мировой коммунизм, а Россию и русских. Закон направляет американский авианосец, говоря образно, к берегам “лишней страны”. И по сей день США отмечают “неделю наций, порабощённых русскими”.

В пору ярого своего диссидентства Солженицын на всю катушку использовал финансируемую ЦРУ радиостанцию “Свобода”. На этой радиоволне он представлял истинным патриотом России, народным заступником. Пришло время, когда проделанная работа подвела Россию к гибельной черте, обвалу. И Солженицын обличает “Свободу” именно за разрушение России. Пророк дивится, что антикоммунизм и русофобия сомкнулись. Поругание Родины – стержневая ипостась пророческого изъяна. С годами этот характер явил доверчивость к “правде” из-за бугра и хитроумную лояльность к новому хозяину, и показное неприятие высшей награды за особые заслуги.

В каких только лабиринтах не блуждал пророк, имитируя поиски истины. За это США обустроивала его семейство в штате Вермонт, где многодетный папаша растил своих еврейских сыновей. 27 марта 1974 года вторая жена Солженицына перед отъездом за границу вслед за высланным мужем передала в самиздат своё обращение к соотечественникам, в котором пообещала вернуться и детей своих вырастить русскими.

Первое сбылось. После августовской революции 91-го Солженицын сам разработал библейский сюжет триумфального возвращения. Вот едет он на ослике по городам и весям и дарует припавшим к его одеждам правду. Но сам-то её только увидел: жестокую, подлую, алчную тиранию капитала. И услышал, например, такое: “Новая Россия не поставила себя как родину”. Хотел явиться пророком, собрать посеянное, а встречали, как Хлестакова. Пришли с жалобами, просьбами вразумить правителей.

Поселившись в выстроенном для него коттедже, пророк пытался устыдить, вразумить власть имущих. С ним поступили, как в настоящем свободном обществе: отлучили от телеэкрана, освободили от миссии заступника.

В эпоху великой смуты Солженицын, Сахаров, Боннэр взывали к мировой общечеловечности, просили для себя защиты. Никто из них не вспомнил о защите нации от геноцида.

В ветхозаветной книге пророка Иеремии есть слова, определяющие особенное свойство, присущее некоторым избранным: “Они умны на зло, но добра делать не умеют”.

Советским людям адресовал Солженицын своё обращение в феврале 1974 года и назвал он его, как и надлежит пророку: “Жить не по лжи!” Теперь советский народ упразднили, и слова вернулись к тому, кто их сказал: “Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков – только бы не расстроить своего утлого существования. Теперь-то знаем мы, что гнусность методов расположится в гнусности результатов”.

Юрий Бондарев, отвечая хулителям всего русского, заметил: “Тихий Дон” Шолохова можно положить в день Страшного суда перед Богом в оправдание словесности XX века. И кажется мне, что пора бы на колени и покаяться с жаркими, горькими слезами, моля о прощении страшной вины своей, день и ночь помня о сатанинском разрушении России и измене”.

г. Калуга, 2000 год

ИННА РОСТОВЦЕВА

ТРИ ФРАГМЕНТА

Вопреки бытующему мнению, девяностые годы прошлого века, для меня точно, не были глухонемыми. Я слышала поэтов, говорила с ними, беседовала с мастерами слова о поэзии и поэтах.

Отколовшиеся от больших замыслов, которые мы так и не успеваем исполнить, отдельные фрагменты, будь то эссе, заметки, записанные в разные годы и собранные в новой последовательности, возможно, в какой-то мере представят читателю и мой личный выбор критика, и мой личный взгляд сквозь время.

Хотелось бы надеяться...

ПОЭТ И ЭХО (ИМЯ ПУШКИНА)

1

В конце XX века имя Пушкина не кажется ни лёгким, ни весёлым, как казалось в начале его Блоку. Трагичным. “Дух века вот куда зашёл!” Это связано и с общим впечатлением от века, распахнувшего перед нами столько страшных страниц истории России, открывшего столько глухих “подвалов памяти”, восстановившего столько славных имён, жестоко побитых камнями своих же современников, несправедливо оклеветанных и забытых, и с ощущением частного человека, глядящего в зеркало этого века, к которому примешивается, конечно же, и опыт собственной жизни и жизни близких друзей...

Не случайно Пушкин всё более воспринимается как поэт Судьбы. “Судьба. Шаг Судьбы” (М. Цветаева). Как совладать человеку и поэту с Шагом Судьбы? Пушкин не только искал, но и первым нашёл ответы на этот вопрос, которые внимательно считывал с “лёгкого” пушкинского листа век XX... Я не говорю здесь о Есенине, Гумилёве, Цветаевой, Ахматовой — мы знаем сегодня, когда, зачем и почему они обращались в своей жизни и творчестве к Пушкину. Возьмём менее известные примеры. Сергей Клычков, например, из поэтов есенинского круга, приготовившийся в страшные 30-е годы “принять и снести // и глупый смех, и злую травлю, и гибели лихую весть”, сделал это, опираясь на пушкинскую традицию. На пушкинские образы — вихря, метели, бесов, олицетворявшие силу слепой судьбы. Но человек противопоставит Судьбе, и “Заклятие смерти” (так называется последний цикл стихов Клычкова) происходит у поэта в соответствии с пушкинским канонам, где начертаны важнейшие понятия — самостоянье человека, свобода и творчество — “вот ворота надежды, что открыты любому из нас. Именно в творчестве человек освобождается, рвёт цепи причинно-следственных связей и поднимается над той плоскостью жизни, где безраздельно царит судьба” (Андрей Убогий).

Или трагически покончивший с собой в 1972 году воронежский поэт Алексей Прасолов, сказавший в письме к автору этих строк от 28 апреля 1965 года о своём главном внутреннем событии: “По-новому входит в душу Пушкин... Как мало людей, душ, кто способен вливать его в себя. Больше — цитируют, изучают, ищут что-то “учёное”, оскверняют его сущее...” Три года спустя в стихотворении “Пушкин” (1968) Прасолов скажет и о тех своих последних уроках, какие он брал у нашего великого поэта, чей голос был услышан им так сокровенно, так мудро и так точно:

*— Что значит — время?
Что — пространство?
Для вдохновенья и труда
Явись однажды и останься
Самим собою навсегда.
А мир за это,
Други, други,*

*Дарит восторг и боль обид...
Мне море тёплое шумит,
Но сквозь михайловские вьюги...*

2

... Известны слова Достоевского: “Только великая душа способна на великое пророчество”. О Пушкине чаще всего говорят, как о великом пророке. Но забывают о другом: чтобы иметь возможность сделать те пророчества, какие сделал Пушкин, надо было обладать великой душой. Ударение в высказывании Достоевского падает на первое слово. Понимаем ли мы это в полную меру?

По-новому входят в душу те стихи Пушкина, где он заступает за величие других, пытаясь восстановить чувство исторической и человеческой справедливости. Это — “Герой” (о Наполеоне), “Родословная моего героя” (отрывок из сатирической поэмы), “Художнику” (о скульпторе Борисе Ивановиче Орловском), и в особенности — “Полководец”, где Пушкин заступился за память и честь своего современника, видного главнокомандующего русскими войсками в начале Отечественной войны 1812 года М. Б. Барклая де Толли. Это заступничество вызвало даже недовольство родственника М. И. Кутузова — Л. И. Голенищева-Кутузова, обвинившего поэта в том, что тот позволил себе “совершенно неприличный вымысел”. Пушкин ответил в “Современнике” простым “Объяснением”, которое сегодня знают только пушкинисты; нам же остался глубочайший пример исторической справедливости (“зачинатель Барклай”, “совершитель Кутузов”), психологического проникновения во внутренний мир портретируемого героя (навечно портретом английского художника Доу): “В молчанье шёл один ты с мыслию великой...”, и целого народа, русского народа, оставившего странную загадку, разгадываемую нами и по сей день, — неприятия чужого и чёрствой неблагодарности за добро: “И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, // Своими криками преследуя тебя, // Народ, таинственно спасаемый тобою, // Ругался над твоей священной сединою”.

Заканчивая стихотворение и поднимаясь до высот глубокого философского обобщения “о роде людском”, Пушкин, однако, не в силах сдержать чувств негодования и боли:

*О, люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и в умиление!*

Кто из нас, находясь уже в другом, но ещё более “слепом и буйном” веке, не повторял про себя — по разным поводам, личным или общественным, — этих горьких и прозорливых пушкинских строк! И в этом тоже проявляется

благородство и величие пушкинской души, в сто раз большее, нежели если бы поэт написал это не о другом, а о себе, — единственном и любимом, и требовал внимания и справедливой оценки только в отношении себя самого, хотя имел на это полное право.

Нельзя отрицать, что стихотворение “Полководец” и другие стихи навеяны горьким размышлением и о своей собственной судьбе; в них отразилась горечь от непонимания современниками того, что поэт создавал в последние годы своей жизни... Но какую достойную форму нашёл Пушкин для выражения своих обид, недоумений и разочарований!... Как высоко он ставил “самостоянье” человека — его личное достоинство! Когда человек не уступает современникам и истории в том, что считает главным для себя, — “тайной свободе”. Когда он именно благодаря ей, тайной свободе, может искать в творчестве своим выходом из сложившихся трагически личных и общественных обстоятельств, из настигающего “стука колёс” — Смерти (“Послушайте: я слышу стук колёс!” — “Пир во время чумы”) — на путях “смирения, терпения, любви”, призывая “милость к падшим” — отверженным, “униженным и оскорблённым”...

...Николай Бахтин, брат широко известного и почитаемого у нас философа Михаила Бахтина, размышляя в эмиграции в 20-е годы о путях развития русской поэзии, высказал предположение, что в XX веке поэзия пошла совсем не по тому руслу, изменив своему главному, пушкинскому, направлению. *Poetas vates* уступил место *poetas faber*, то есть поэт-пророк принёс свой священный дар в жертву поэту-мастеру, “тёмному и страшному ремеслу”, как характеризует его наш современник (С. Кекова).

Кто знает, не есть ли в этом предположении горькая истина!

Важнее другое: именно создание великой души — человеческой и художественной — оказалось для XX и начала XXI века задачей повышенной и в чём-то неразрешимой сложности.

3

В детстве и юности воздействие Пушкина не ощущалось — ты растворялся в его поэзии, столь оно было бессознательно: и “день чудесный”, и осень, “очей очарованье”, и “облаков летучая гряда”, и “широкошумные дубровы”, и “звезда вечерняя, печальная звезда”.

Присутствие Пушкина было как бы задано и дано тебе заранее, кем — Богом? Россией? — трудно сказать.

Надо было пройти “путём зерна” — путём жизни, её ошибок, страданий, горестей и мук, её надежд и разочарований, надо было обрести свою судьбу, чтобы почувствовать Пушкина как личность, как глубоко человеческую индивидуальность, а не “железную маску классика”, по словам одного современного критика.

Впрочем, если быть ещё точнее, — чем меньше остаётся жизни, тем ближе и сокровеннее подходишь к тайне Пушкина, которая — при первом же приближении — тут же вырастает, теряясь в бесконечности...

4

Если произойдёт окончательная “трансформация русской литературы”, о которой пишет в одноименной статье (“Рубежи”, 8-9, 1997) Александр Кустарёв (удивительно точно уловлены тенденции, которые, по-видимому, будут определять культурную ситуацию в нашей стране, как то: засилье клишированного интеллигентского фольклора в литературной и артистической продукции, не говоря уже о СМИ; “нарциссическое паразитирование на фольклоре”, преобладание не произведений, а имён; когда литературный текст оказывается не более чем личным перформансом, когда мы слышим голос возникающей культур-буржуазии), то можно предположить, что она затронет и такую абсолютную ценность русской литературы, как Пушкин. Он будет всё более выступать не как источник божественного вдохновения, не как великий русский национальный поэт, но всего лишь как Пушкин в роли Пушкина. Такая тенденция существует уже сегодня как так называемый “Ларисы Ильиничны Пушкин”. (Это связано с возрастанием исполнительства в литературе и количества исполнителей в роли автора). “Такое впечатление, — пишет Александр

Кустарёв, — что выделилась целая сфера литературы, где создание имиджа “творца” — главная и единственная задача”. Как вариант такого исполнительства в литературе им отмечается составление текстов, в которых главное — это намёки на другие тексты. Этот вид исполнительства фактически поощряем литературоведением, занятым в основном восторженным поиском таких намёков. В особенности у Пушкина, добавили бы мы.

Сфера поисков “намёков” далеко не безобидна: мало того, что она придаёт чисто функциональной деятельности такого литературоведа видимость “вдохновенности” и значительности, — она может заслонить собой “источник”. А что если таким “источником” окажется сам Пушкин?

Страшно об этом даже подумать. Впрочем, такие глубокие прочтения Пушкина, как статья Андрея Убогого “Между любовью и смертью” (“Наш современник”, № 8, 1997), внушают надежду, что это всё же не случится...

5

...Достоевский считал Пушкина “великим и непонятым ещё предвозвестителем”. Непредсказуемость поэта в судьбах будущей русской литературы и в творчестве отдельных писателей, самых странных и фантастических, по-прежнему остаётся высока. Ведь вошли же в его “композицию тайны” и такие, явно ориентированные на пушкинскую традицию авторы, как Твардовский, и такие экспериментаторы, как обэриуты: достаточно перечислить стихотворение Пушкина “Наездники” и “Элегию” Александра Введенского, чтобы понять, откуда у последнего “певец” и “всадник бедный” (“На смерть, на смерть держи равнение, // певец и всадник бедный...”), или пушкинские “Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы” и — “Меркнут знаки Зодиака” Николая Заболоцкого...

А сколько мыслей Пушкина, в особенности касаемых русской ментальности и русской национальной идеи, остались непрочитанными, не понятыми нашим веком, переходящим уже будущему! Скажем, таких: “Россия слишком мало известна русским” или: “Твёрдое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещёнными народами Европы” или: “Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою...”, “история её требует другой мысли, другой формулы”...

Так что пушкинский “опыт, сын ошибок трудных, // И гений, парадоксов друг”, ещё долго будут отзываться в русской культуре странным, чудным, непредсказуемым Эхом...

СТРАШНЫЕ РУССКИЕ СНЫ (Клюев и Есенин)

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

С. Есенин

...Но душа, как сон...

Н. Клюев

Есть неразгаданная уникальность жанра... Она важна не только для изучения творчества поэта, но и для постижения того “тёмного корня” бытия, из которого произрастают “люди и положения”, а мир открывается художнику, по словам Германа Гессе, как тайна и рана.

В XIX веке были сны героев. На смену им пришли сны автора, но есть ещё одна разновидность снов, открытая Хорхе Луисом Борхесом в XX веке: “Сон — это жанр, страшный сон — тема”.

Как рождаются страшные сны?

“Понемногу уходит из жизни и памяти всё. Да и сама жизнь человеческая, должно, стала короче, и только длиннее осенняя ночь! В осеннюю долгую ночь кружатся теперь воспоминания, как листья с плакучей берёзы... Стоит она нищенкой под окном и отряхает слезу за слезой на дорогу, сметает ветер листья к забору, и дождь прибывает к земле!”

Когда Сергей Клычков в 1927 году публиковал эти строки в романе “Князь мира” (в первой публикации — “Тёмный корень”), его современник Николай Клюев был ещё жив. Но, словно предчувствуя, что жизнь его будет короче и страшнее, чем длинная осенняя ночь, он рассказывал сны, как воспоминания о будущем, близким людям — вытегорскому другу, музейному работнику Николаю Ильичу Архипову и московской знакомой, “духовной сестре” Надежде Фёдоровне Христофоровой-Садовой...

Можно ли записать сны, не утратив их блистательной реальности, если даже образ сна в памяти есть его жалкое подобие? Пример с записью клюевских снов показывает, где проходит граница опыта — обретений и утрат. Когда сны писались сразу же и под диктовку самого поэта, как это имело место с Архиповым в 20-е годы, мы слышим подлинный голос Клюева, и подлинность их не вызывает сомнений. В другом случае, как это было с Христофоровой-Садовой, слышавшей сны в начале 30-х годов, но “передавшей” их по памяти в году 1967-м, нам приходится довольствоваться снами, прошедшими обработку. Сну, фрагментарному и единовременному, придана повествовательная форма, сохранены сюжеты, но бесследно утрачена неповторимая художественность. В соответствии с этим существенным различием составитель А. И. Михайлов разделил публикуемый сны на две части (“Новый журнал”, Л., № 4, 1991).

Сны Клюева из части первой — это немаловажно при объяснении природы жанра, — прежде всего, художественные произведения, возможно, наиболее архаичный из способов художественного выражения.

Это сны Поэта. Их отличительная черта — лирика, причём не только в интонации, в зачинах, в кольцевом обрамлении, характерном для стихотворений в прозе (“В солнце стоял я, как пчела в меду, потонул в лучистом злате... Очнулся я улыбкой блаженным, как пчела в меду, сердце топилося”), но и в отношении автора, в оценке сна, выражающейся нередко в заглавиях: “Сон аспидный”, “Сон блаженный”, “Львиный сон” или в концовках: “Проснулся обрадованный”, “К чему бы это?”, “Троицким тонким хладом веяло над землёй... Пролил я слёзы...”

В сердце сна запрятан образ: живое дерево, мёртвая голова, пресветлое солнце, лебяжье крыло, пучина кромешная. И — как в сказке — его нужно человеку разгадать, пройти через строй испытаний и условий: “Вдруг вижу я, идёт мне навстречу...”

Это русские сны. Одна из устойчивых жанровых примет сказки — выбор пути — присутствует и здесь, в клюевских снах, но он соотносён вплотную с реалиями действительности, с литературной жизнью 20–30-х годов, с мучительными поисками своего направления, которые со всей остротой встали в ту пору перед новокрестьянскими поэтами:

“И знаем мы, что если пойдём все по одному пути или порознь — по двум, — то худо нам будет... Сговорились и пошли напрямки... Темно кругом стало и ветрено... Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них не вода, а кровь человеческая бьёт...” (“Два пути”). Или: *“...привиделся мне сон. Будто я где-то в чужом месте, и нету мне пути обратно...”* — и там же, через несколько строк: *“Мне же один путь — вдоль рядов, по бурой грязи, в песьем воздухе”* (“Мёртвая голова”).

Достаточно вспомнить высказывания С. Есенина, А. Ганина, стихи самого Клюева или “обречённого Леся” С. Клыčkова, хотя бы такие его строки, как *“И страшусь я, и жду сам развязки... И беглец я, и скорый гонец! Так у самой затейливой сказки нехороший бывает конец”*, чтобы понять, сколь трагично переживали новокрестьянские поэты своё бездорожье. И больше — начавшееся планомерное перекрытие кислорода деревне — крестьянам и их певцам, — проводимое в жизнь официальной политикой тоталитарно-окрепшего советского государства.

Сны Клюева — страшные сны. Эффект ужаса вещей символики тем более впечатляющ и зловещ, что произрастает из самой что ни на есть реальной и легко узнаваемой обыденности 20–30-х годов, хорошо знакомой нам по прозе Платонова и Булгакова, Замятина и Леонова, где “серая под ногами земля с жилками, как стиральное мыло”, где “по ту сторону и по другую лавчонки просекой вытянулись, и торгуют в этих ларьках люди с собачьими глазами” — кто одеждой подержанной, кто — человечиной... Эпоха готовилась

к страшному торгу... Встречаются в снах и герои на роль исполнителей — “как бы военный, в синих брюках с красным кантиком, и пиджак на нём с нашивными офицерскими карманами, как теперь носят”; “ищейка подворотная, в платьишке длинном, и в руке бумага”; сторож тюремный, звякающий ключами, “солдатишко-язва, этапная пустолайка” и т. д.

Фантастическое, невероятное — в ситуации сна, которая, однако, не отлетает далеко от реальности. Интересно, что спасение во сне же приходит к герою-рассказчику (рассказ ведётся от первого лица), подвергающемуся разным способам умерщвления — через казнь или от “птичиц тёмных, огромных, как кедры дремучие”, или от удушения ниткой, “которую пряден прядут”, или с ударом колокола, когда печать исчезнет, или с осознанием, что он перескочил в иное время — страну обетованную, неприкосновенную землю. Но есть сны, где спасение не приходит ниоткуда, и на читателя веет жуткой безысходностью случившегося. Непоправимой бедой. Так, как это и было в жизни...

Сны Клюева — сны пророческие. Это, как говорится, сон в руку. Ибо в нём точно предугадана трагическая судьба близких современников поэта. И прежде всего — самого дорогого из них, Сергея Есенина.

Есенин появляется в трёх снах. Сны эти — зеркальное отражение образа поэта в лирике Клюева, запечатлевшей всю драматическую сложность их взаимоотношений.

Первый сон относится к 1922 году, когда Есенин был ещё жив. Он увиден стоящим перед зеркалом — трактирным трюмо — и наряжающимся то в “пиджак с круглыми полами, то с фалдами, то синий с лоском. Нафиксатурен он бобриком, воротничок до ушей, наперёд с отгибом, шея жёлтая, цыплячья, а в кадке голос скачет, бранится на меня, что я одёжи не одобряю”. Сон воспроизводит, по-видимому, не однажды виденную сцену из столичного быта Есенина, который так ранил Клюева, ибо казался ему отступничеством от их общих идеалов: “Говорю Есенину; “Одень ты, Серёжа, поддёвочку да рубаху с серебряным стёгом, в которые ты в Питере сокручен был, когда ты из рязанских краёв “Радуницу” свою вынес!..” И оделся будто Есенин, как я велел. И как только оделся, — расцвёл весь, стал юным и златокудрым”.

В цикле стихов “Поэту Сергею Есенину” (1916–1917) Клюев запечатлел портрет юного Есенина — “отрока вербного”, которого “даль повыслала”:

*В твоих глазах дымок от хат,
Глубинный сон речного ила,
Рязанский маковый закат —
Твои певучие чернила.*

Клюев не скрывает гордости и веры в высокое назначение Есенина-поэта: “Изба — писательница слов — // тебя взрастила не напрасно: // для русский сёл и городов // ты станешь радуницей красной”.

Не случайно во сне “Два пути” одна аллея, направо, носит имя Клюева, налево — Сергея Есенина. Не случайно поэты идут вместе: “И только б странствовать вдвоём // от Соловков и до Калуги”, — писал Клюев в послании “Поэту Есенину”. Есенин же, со своей стороны, поставил многозначительный эпиграф из Лермонтова: “Я верю, под одной звездой // с тобой мы были рождены”, — к стихотворению “Николаю Клюеву”.

Сон Клюева доносит до нас ту тревогу за будущий путь Есенина, которая владела им ещё в конце 1910-х годов:

*Ты отдалился от меня
За ковыли, глухие лужи...
Не для тебя, мой василёк,
Смола терцин, устава клещи...
Бумажный ад. Поглотит вас
С чернильным чёрным сатаною...*

А позже путь Есенина, погрязшего в омуте столичной жизни, видится ему обесцветившимся, лишённым яркой краски, неказистым: “...серая под

ногами земля, с жилками, как стиральное мыло". Это образ не той земли, о которой в стихотворении "Изба — святилище земли" сказано с тютчевской силой прозрения:

*Земля, как старица-рыбак,
Сплетаёт облачные сети,
Чтоб овить загробный мрак
Глухонемых тысячелетий.*

Выход из сна к реальности ещё безмятежный: "Стали мы с Есениным смеяться... В смехе я и проснулся". Но трагизм реальности после 1922 года продолжал нарастать, и сны Клюева, как бы опережая события, забегают вперёд. "Страшно рот открыть, про этот сон рассказывать... Будто Новый год на земле, только звёзды и новый ветер в полях. А я за порогом земным на том свете, посреди мёрзлой, замогильной глади". Страшная картина, достойная пера Гоголя, является герою сна "Пучина крошечная": "Слышу вой человеческий пополам с волчьим степным воем. Бежит оленьим бегом нагой человек, на меня поворот держит. Цепью булатной, неразмыкаемой человек этот насквозь прошит, концы взад, наотмашь, а за один из концов лютый и всезlobный бес, как за вожжу, держится, правит человеком, куда хочет... А бес гон торопит. И помчался оленьим бегом человек Есенин. Погонялка у беса — змей-чавкун, шьёт тело быстрее иглы швальной. На ходу, в утёке безвозвратном два имени городских выкликнул Есенин: Белёв, Бежецк".

Сны Клюева довели эту логику жизни до абсурда, быть может, только Кафка видел подобные сны наяву.

"Наклоняюсь, ощупываю и с ужасом узнаю человеческие головы, рассеянные по необозримому ледяному пространству... Куда бы я ни поворачивался, желая бежать из этого ада, — всюду была одна картина сплошного нечеловеческого страдания — все головы были в одном положении, как кочны. Я всё ещё старался бежать и внезапно наткнулся на какой-то знакомый взгляд, такой же непередаваемо ужасный... И я узнал... Я узнал одного из моих собратьев-поэтов, погибшего от собственной руки, по своей упавшей до бездны воле... Он тоже узнал меня, умоляюще кричал о помощи — но я сам изнемог в этом мертвяще-ледяном вихре..."

Так, не названным по имени, появляется Есенин в последнем, 1931–1932 годов сне Клюева. Клюев считает, как считали многие тогда, что Есенин погиб "от собственной руки". Хотя "портрет" поэта, им воссозданный, — "с непередаваемо страдальческими глазами, открытым ртом, с перекошенными смертельной судорогой губами и всем лицом", и в особенности волосами, стоящими "дыбом вокруг головы, твёрдо замерзшие, и казалось, что это вокруг огромные терновые венцы", — свидетельствует более в пользу версии о насильственной, мученической смерти, о распятии...

"И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... Но в мире новом друг друга они не узнали". Эти лермонтовские строки здесь опровергнуты: друзья-поэты, так любившие друг друга при жизни, узнали себя и в дантовском аду. То, что Клюев, будучи живым и на свободе, поместил себя в тот же "мертвяще-ледяной вихрь", в котором уже "крутился" Есенин, говорит о силе его пророческого дара.

Ведь до собственной его насильственной смерти оставалось — если счёт вести от первого сна, помеченного 1922 годом, — 15 лет, а от последнего (начало 30-х годов) — всего лишь пять-шесть (Клюев был арестован в феврале 1934 года, расстрелян в 1937-м).

*И теперь, когда головы наши
Подарила судьба палачу,
Перед страшной кровавою чашей
Я сладкую теплою свечу.*

Откуда такая сила провидения в поэзии Клюева? Откуда такое ясновидение — в снах: "Я со стоном проснулся, потрясённый, и почувствовал приближающееся мученичество"?

Не будем тревожить экстрасенсов и Фрейда, теорию бессознательного и оккультизма, мистические учения Запада и Востока. Ведь мы говорим о снах

как жанре мировой литературы. И тут уместно вспомнить старого Шекспира: *“Мы созданы из вещества того же, что наши сны”*. Или Андрея Платонова, придумавшего как раз для такого случая странную формулу: *“вещество существования”* человека...

Эстетика снов Клюева сложна, но это — *“цветущая сложность”* (К. Леонтьев), где Православие, *“радости учитель”* (так называется первый сон, в котором поэту было видение Серафима-брата — христианского подвижника Серафима Саровского), встречается с пышной ветвью западноевропейской культуры (в мечтах о том блаженном времени, когда картина Боттичелли будет в Олонецкой губернии), христианская символика и библейские образы.

Это проза поэта, впитавшая в себя и пророческую медь державного слога *“моего прадеда”* протопопа Аввакума (*“Оглянулся я на себя — а уж я не мирской... И возгласили мне невидимые лики исполатное “Царь Славы” трикраты”*), и волшебный динамизм пушкинского сна Татьяны (*“Стал подниматься я с крыльца, огни показались мёртвые, как в городских квартирах, и топ, вереск, цап, гуз и прыск человеческий оглушили меня. Вижу, горница на конское побежище велика и вся плясней дыбится, ходуном ходит от чёртовой пляски...”*, традицию гоголевского *“Вия”* и *“Страшной мести”*. Не случайно и сам Николай Васильевич собственной персоной появляется *“в чёрном весь”* в сне с характерным названием *“Пучина кромешная”*, говоря герою символические слова: *“Писать больше не о чем...”*

...Сны Клюева не кончаются со смертью героя (*“И умер я”*) — сон продолжается. Происходит освобождение от плоти, и душа как бы играет, обретая лёгкость и зоркость: вдруг стало видно во все концы света...

ОБЪЁМ ЗЕРНА

(Из бесед с Леонидом Леоновым о поэзии и поэтах)

Стендаль как-то заметил: воспоминания — это фреска с отдельными кусками. Беседы, разговоры с писателем — это тоже своего рода фрагменты, *“куски”*, которые входят в целое фрески, строят образ.

Но сам Леонов-человек, как мне не раз приходилось убеждаться во время наших разговоров и бесед с ним, приходящихся на последнее десятилетие его жизни (1984–1994), не стремился к тому, чтобы строить миф о себе. *“Миф о себе — что лепка из воды”*, — мог бы сказать он словами современного поэта.

Когда я однажды спросила у писателя, как можно было бы написать его биографию, то он ответил на мой вопрос вопросом: *“А как можно написать биографию Достоевского?”* (Достоевский, как известно, — любимый писатель Леонова.) И стал размышлять вслух: Мёртвый Дом, Аполлинария Суслова, встреча и разрыв с Тургеневым, нищета Раскольникова...

...Он сослался на одну из своих статей, где у него была мысль, высказанная им в третьем лице: так как самые яркие места романа были созданы писателем, то можно было бы написать биографию автора через его героев. Это значит, если последовать совету художника, — через биографию Митьки Векшина, Скутаревского, Вихрова, Евгении Ивановны, Дымкова и т. д.

Леонов скупно говорил о себе (*“Я работал, работал, работал”*), гораздо охотнее и откровеннее — об эпохе, в которой жили герои его книг, — а писатель начинал в литературе в те нелёгкие времена РАППа, когда его, как и многих других замечательных советских писателей, вульгаризаторская критика зачислила в *“попутчики”*. В его воспоминаниях оживали исторические лица — Сталин (*“У Сталина видели весь подчёркнутый красным карандашом текст “Вора”*), Фадеев (*“Фадеева я знал. Это серьёзная драма... Он очень верил в Сталина, хотя после смерти оставил письмо... Однажды его привезли лечить от запоя (цирроз печени), он позвал меня и сказал: “Их всё брали, а я всё подписывал...” Он назвал цифру, от которой я ужаснулся*), Горький...

В связи с последним он рассказал следующий эпизод. Однажды в Сорренто, будучи в гостях у Алексея Максимовича, Леонов увидел огромный аквариум, в котором жили всевозможные обитатели моря... Вдруг учёный впрыснул осьминогу какую-то жидкость, и тот стал краснеть. Внимание писателя привлекла какая-то шелестящая трава — когда рыбки соприкасались с нею, они испуганно отскакивали: трава шелестела. Это оказалась каракатица — с неё

содрали кожу, и остались одни нервные волокна — они жили... “Это мне напоминает картины некоторых современных художников”, — заключил свой рассказ Леонид Максимович.

Меня, да только ли меня, всегда поражало в наших беседах необычная образность мышления писателя, склонность к символу, притче и обобщениям. И это далеко не случайно. Исследователи леоновского творчества, Александр Лысов, в частности, отмечают, что именно поэтичными, по слову В. Брюсова, “загадочными сказками” (“Бурьга”, “Бубновый валет”, “Уход Хама”, “Деревянная королева” и др.) вошёл Леонов в литературу 20-х годов, сразу же определившись как художник, который умно и точно пользуется вверенной нам по наследству, по праву памяти высокой культурой мифа, Библии, народно-книжных форм житийности, сказа, апокрифов. Писатель никогда не отказывается от них, до конца своих дней строя своё “мироздание по Дымкову” (“Пирамида”), в строгом убеждении, что искусству, если оно хочет опережать время, “необходимо преувеличение”, ибо “воображение — это талант”.

Некоторые вещи, признавался он, начинались у него с эмоции, с мелодии, с “музыкального ключа”: “Эмоция — первый слепок идеи. Эмоция в жизни не чистая, бытовая, а в творчестве она математичнее, строже... Разум открывает только то, что душа знает...”

Действительно, природа леоновского романного мышления глубоко поэтична (“это то же превращение образа в притчу”), а не суха, рассудочна и логична, как это порой представляется. Поэтому в одну из наших встреч с писателем я решила задать ему специальные вопросы, что значили поэзия и поэты в его жизни.

Приведу фрагмент из этого разговора, который мне удалось записать, хотя обычно Леонид Максимович запрещал это делать.

— Писали Вы стихи?

— Да, писал. Но я сжёг рукопись своих стихов*.

— И не жалеете?

— Нет. В стихах мне было тесно. Стихи и труднее писать, и легче. В стихах всегда есть “перила” — ритм, размеры, рифмы. В пьесе — несколько актов. В прозе же свободы сколько угодно, любые направления. В искусстве можно как угодно, чтобы только было хорошо.

— “Этот листок, что иссох и свалился, // золотом вечным горит в песнопенье” (Фет). Что такое “вечное золото” искусства?

— “Вечное золото” есть... Живёт. Дукат золотой не изменишь. Помните, в “Памятнике” Горация...

— Каких поэтов Вы знали? С кем встречались?

— Блока не знал. С Есениным встречался, бывал у него. Это трагическая судьба, я ощущал себя перед ним; лучшее у него — предсмертные стихи.

Александру Лысову, автору уникального материала “Леонид Леонов о Сергее Есенине (из бесед с писателем)” в журнале “Литературная учёба” (1995) — удалось записать продолжение этой неоднократно повторяемой, мне тоже, писателем мысли.

— Он (Есенин. — И. Р.) жил в XX веке, когда изменились многие представления. В “Воре” у меня сказано: “Река не может противиться ни одному из своих отражений”. Есенин не вмещался в крайности берегов, да и где они были, берега, при тогдашнем половодье? Он спешил быть всем и не мог избежать ни водоворотов, ни искажений пейзажа в водах, застигнутых российской непогодой”.

* Это не совсем так. Какая-то часть стихов сохранилась. Публикация Т. Вахитовой в “Новом журнале” (№ 1, 1999) даёт представление о ранних стихах Л. Леопова. В статье приводится интервью писателя от 1933 года, где он признаётся: “Стихи мне очень помогли — они научили чутко прислушиваться к слову при построении фразы”. Вот примеры из ранней прозы Леопова 20-х годов, подтверждающие, что “словесная походка” (Есенин) вырабатывалась в ней не без помощи законов поэтического языка — ритм, образ, метафора: “Не слышно ни для кого зацветает клюква на голом лице болот” (“Гибель Егорушки”); “Гудит пчела и садится в чашу, и дальше уносит крыльев своих низкий звук” (“Уход Хама”); “Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубь ночи” (“Деревянная королева”). Впрочем, фактор времени здесь тоже сыграл не последнюю роль. По точному замечанию В. Набокова, “время есть жидкая среда, в которой произрастает культура метафор”.

Представляет интерес дальнейший комментарий этого места Лысовым: “Загадкой до сих пор остаётся, почему Леонов, замысливший произведение из жизни “циркачей и воров”, так настоятельно искал встречи с Есениным. У писателя были официальные каналы для близкого ознакомления с “трущобами Москвы”. Но именно Есенина он выбирает в качестве Вергилия для хождения по ярусам горьковского дна, в революционном изводе. Именно автора “Москвы кабацкой” и именно среди бывших и “отверженных”...

Не для одного Леонова есенинская судьба была испытующей в адрес революционной нови, звучала предельно натянутой национальной струной в грозном аккорде тех лет: как мир обезличенных “кожаных курток” отнесётся к праву личности на песенную неповторимость?

Гибель Есенина была слишком явным знаком времени, отменяющим все вопросы об отношении железной действительности к самобытному национальному достоянию. Что оставалось писателю? Образ Есенина прочно сочетается у него не только с безмятежной “страной березового ситца”, но и с символом “России, которую мы потеряли”...

Роман “Вор” был не понят. А ведь, по существу, это повествование “об утраченной русской душе” было ёмкой персонификацией того же, о чем предупреждал сам С. Есенин в своей “Песне о хлебе”. Коль скоро и хлеб жизни, и поэзия нации извлекаются из народных недр ценой жестокого насилия, то стоит ли новому строю, орудующему то серпом, то молотом в национальной душе, удивляться тому, что

*...свистит по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
От того, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.*

Маяковского не люблю. Однажды я должен был ехать в Мамонтовку. Шофёр говорит: “Вы — литератор? Вот вёз я Маяковского, а с ним дама всё время говорила: “Володя, деньги, деньги...” Взалкал славы и получил славу... А ведь был талантлив. Есть у него хорошие строчки: “...А не буду понят — что ж. // По родной стране пройду стороной, // как проходит косой дождь”...

— Вы знали Максимилиана Волошина?

— Гостил у Волошина в Коктебеле в 1926 году. Стихи о России у него — лучшее. Первая жена Волошина Маргарита Сабашникова написала мой портрет.

Заболоцкого не знал. “Меркнут знаки Зодиака” — лучшее у него стихотворение. Вот так и надо было писать. Но главное в литературе — мышление, а не описание. При его громадном таланте, обидно, что-то помешало ему стать поэтом первого ранга, хотя “Некрасивая девочка” — очень хорошее стихотворение...”

О поэме “Первоначальное накопление” другого своего современника, поэта и переводчика Владимира Державина (1908–1975), напечатанной спустя полвека в “Дне поэзии” (1983) его главным редактором Юрием Кузнецовым, заметил лаконично и загадочно:

— Слишком плотная образность.

Поэтом первого ранга для Леонова неизменно оставался Пушкин. Но похоже, его “весёлое имя”, как сказал Блок, не было для писателя столь лёгким и ясным, ибо возникало в наших разговорах всегда вместе с темой титанического труда, мастерства, усилий, необходимых настоящему художнику:

— Лёгкое перо у Пушкина? Рукописи Пушкина говорят о том, что его лёгкость обманчива — она достигается огромным трудом. Мучительны поиски нужного слова. Зачёркнуто, переписано...

Не скажу точно, в связи с чем, — мысль Леонова всегда прихотлива, непредсказуема, движется ассоциативными кругами, — зашёл разговор о пушкинском “Пророке”.

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.*

По мнению Мастера, “труп” — слово не литературное, “Живой труп” — у Толстого — это непонятно, неудачно. У Пушкина же гениально найденное слово “влачился” подготавливает “Как труп в пустыне я лежал...”. “Холодок бежит по коже от этого “трупа”, — роняет писатель. — Точно так же, как словосочетание “духовной жаждою”. Автор “Пророка” мог бы написать “полдненьной жаждою” или какой-нибудь другой, но насколько же сильнее слово “духовный” — применительно к Пророку. “Это должно сотни раз обкатываться в душе, чтобы получился голыш”, — замечает Леонов.

В другой раз, тоже в связи с Пушкиным, но размышляя уже о работе художника-романиста, он скажет об этом другими, более возвышенными, поэтичными словами: “Алмаз не шлифуют в виде шара”, нужно различать “границы на цвета нюансировки, “расчёт граней и, наконец, сюжет, который есть двигательная сила: не будет двигательной силы — ничего не будет. Достоевский был мастером детектива. Он читал французов, Эжена Сю...”

У Леонова — множество тонких и точных суждений о ремесле, о писательском труде (они рассыпаны и в его произведениях, и в его публицистических статьях), причём талант и труд, в его понимании, оба — равноправные и необходимые слагаемые художественного мастерства. Но одно дело про это читать, а другое — увидеть воочию, как Мастер шлифует грани слова, доводя его до нужного блеска и всё же оставаясь недовольным собой. Ведь, по его твёрдому убеждению, “труды художника оплачиваются несчастными озарениями, возникающими, как звезда, которая сразу объединяет в целое разбросанный, не осмысленный ещё хаос произведения”.

Когда я попыталась тут же уточнить, какие “звёзды” или “озарения” более всего дороги автору в собственных произведениях, то писатель медленно продиктовал мне следующую фразу, предварительно отделив её — на моих глазах — до запятой: “В “Русском лесу” — точнейшая констатация смерти теневого героя романа, Полиного дружка Родиона: муравей пробегающий, раскрытый, почти живой, глядящий в небо глаз убитого солдата”.

Прочитан ли так, с художественной точки зрения, а не по “теме” (в защиту русского леса) этот известнейший роман; осмыслен ли — во всей совокупности авторских редакций — “Вор”? Это произведение западногерманский писатель Вальтер Йенс, по его словам, “прочёл уже в нацистские годы” и заметил, что это — “один из лучших романов XX века” (Литературная газета. 1990. 4 апреля).

Мне было интересно, как вообще относится Леонид Максимович к перечитыванию читателем произведения. Он ответил:

— Если люди читают вторично, то это возвышение произведения, а не унижение.

Эмоция сильнее, объёмнее, примешивается читательское Эхо.

— А можно ли его уловить?

— Конечно.

Примечательно, что пушкинские строки из “Бориса Годунова”: “Когда-нибудь монах трудолюбивый найдёт мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду — и, пыль веков от хартий отряхнув, правдивые сказанья перепишет...” — мне довелось услышать от Леонова в пору его окончательной, завершающей работы над последним своим детищем. Писатель тревожился, как примут, прочтут и главное — поймут его “Пирамиду” — философский роман-завещание будущему: “Это должен быть очень талантливый человек, который почтительно и терпеливо засядет за роман. Легче будет, когда я жив, труднее после смерти”.

Итак, преломляя свои личные думы через магический кристалл традиций Пушкина и Горация (в моём присутствии он несколько раз цитировал

по-латыни чеканные строки из “Памятника” Горация), Леонов размышлял о бессмертии подлинных произведений искусства, которые являются вечным торжеством человеческого духа:

“Притчи, сказки, мифы, легенды, — уточнял в таком случае писатель, — они пишутся на меди, которую не сжигает ни едкое время, ни едкий дождь, ни могучий Аквилон”.

Библейское, вещее, воистину Валтасарово слово, могущее связать человека с формулой культуры...

Не к этому ли — связать человека с формулой культуры — стремился Леонов, взыскательный мастер слова, всю свою сознательную жизнь, и не об этом ли, близком ему художественном методе, он сам сказал столь поэтично в повести “Evgenia Ivanovna” — одном из самых сокровенных своих произведений: “...дело художника уложить событие в объём зерна, чтобы, брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнее, пленившее его однажды чудо”.

1991–2001

.....

*Редакция с радостью и почтением поздравляет
замечательного русского критика, автора и друга нашего журнала
Инну Ивановну РОСТОВЦЕВУ с юбилеем*

ГЕННАДИЙ ПРАВОТОРОВ

ИСТОКИ

ОБ ИСКУССТВЕ

Рублёв, Дионисий, Даниил Чёрный... лики икон, фресок... Волнующее искусство... в сопровождении хора, торжестве музыки — до слёз!

Да, я религиозен. Я верю в силу, гипноз, чародейство искусства. Оно окрыляет, очищает, укрепляет. Оно стимулирует жизнь, углубляет, расширяет, удлиняет её. Оно перерождает человека! Если он, шедший другими стезями, отчуждённый от искусства, вдруг наткнувшись, проник в его суть, то становится качественно другим человеком до неузнаваемости и даже для самого себя.

В сущности, искусство оплодотворило религию как таковую. Без искусства религия мрачна, готовит человека не к жизни, а к смерти, полна таинственных, тёмных, страшных, враждебных человеку сил, настраивает его на пассив, бездеятельность, раболепие. Искусство же поднимает, окрыляет, пробуждает способность человеческих свойств видеть и чувствовать природный мир шире, ярче; гармоничным, красивым.

Человек не может жить без красоты, а следовательно, без искусства. Самые отсталые племена, не имея многого, что имеет современный человек, живут вместе с красотой и не отделяют её от себя. Живут синкретично. Они голы, но имеют на себе декор; они дики, но поют и танцуют, сопровождая всё это игрой на примитивных инструментах и, в конечном счёте, Он и Она ищут друг друга в красоте — красоте форм, линий, движений, поступков... Ничего другого не имеют кроме трёх ипостасей: жизнь, пища, декор... Стремление к декору, красоте и породило народное творчество, искусство, которое вылилось в произведения высочайшего проявления духа и гения человека, поражающих воображение... как говорится — божественных! При всём богатстве словарного запаса человечества за века и века так и не нашли ни слов, ни мер, ни причин в описании, рождении и определении способности человеческого духа в создании волнующих произведений! И я верю духу искусства, этому божеству, этой религии!

1986 г.

ПОХВАЛА РИСУНКУ

Ничто не может сравниться с юношеским восторгом перед красотой, перед искусством. Помню, как я смотрел на выставленные рисунки академистов и “репинцев” в стенах нашего художественного училища. Я смотрел, как на чудо, с чувством, которое испытываешь в жизни единицы раз. Мне казалось, что эти рисунки дышат, что они сделаны, выполнены нечеловеческой рукой! Штрихи, их раскладка по форме, разной силы, тональности заворачивали меня, ловили в свои сети... и я перед ними был отрешённым от реального мира.

Я смотрел и смотрел... Изображено было несколько обнажённых фигур, мужских и женских, и я увлечённо рассматривал их уже не цельно, конкретно с их пропорциями, выраженными движениями, а само исполнение, моделировки форм, мастерство техники, систему расположения штриха. Их завораживающая красота и сила, через которые вдруг на чистом, плоском листе бумаги, в сущности, как и у тебя... и такое чудо! Изображение полно плоти, формы, материи, гармонии! Художник пишет, лепит, гравировывает, чеканит, рубит, режет... Что бы ни делал художник, какому бы виду искусства ни принадлежал, он обязательно рисует. Без рисунка художника быть не может. Скульптор может не писать, гравёр не обязан лепить или живописать. Но каждый из них, будь ты даже только дизайнер, прикладник, — обязан уметь рисовать, именно уметь. Прежде чем приступить к портрету, композиционному решению батальной, исторической картины и обычного бытового жанра или пейзажа, художник в рисунке выражает, воплощает в набросках, эскизах свою идею, а она требует свободного владения этим, казалось бы, простейшим средством. Рисунок наряду со всеми другими видами искусств и сам является полноценным видом изобразительного искусства. Поэтому художник и проходит, изучает эту серьёзную школу. Это особая культура, через которую художник детально познаёт мир и в нём — человека как главнейшую меру окружающего мира.

Львиная доля всех занятий в учебном заведении — это познание человека, его пропорций, объёма, динамики. Всех студентов учат одному, но как по-разному усваивают они эти задачи и как по-разному они отображают одни и те же постановки. А уж в свободном творчестве, будучи зрелыми художниками, каждый из них имеет уже свой особый почерк и узнаётся по многим индивидуальным признакам. У Александра Иванова рисунок неторопливый, рассудительный, обстоятельный; у Карла Брюллова в рисунках точность, эмоциональность, артистичность; совершенство, отточенность, идеальность линий, аристократизм у Фёдора Толстого; экспрессивность, искрометность и энергичность у Ильи Репина; нервность, хаотичность, трепетность у Михаила Врубеля; лёгкость, виртуозность, песенность линий у Филиппа Малявина.

Можно и далее характеризовать почерк, «философию» рисунка, как и иных, всему миру известных гигантов искусства. А такие фигуры, как Леонардо, Микеланджело, Рафаэль... они будто бы нарочно нам явлены небесами для вечного ориентира в совершенстве искусства и понятия роли и назначения художника. Они — гении общечеловеческой культуры! И как так случилось, что самые известные всему миру гении вдруг рождены в одной стране и в одно время! И все трое тесно пересеклись в своём творчестве. Вот парадокс! А фигуры Дюрера, Гольбейна, Клуэ, Энгра! К счастью, след их творчества, их произведений доступен всем нам. Они проводники, путеводители в трудном, но прекрасном мире искусства. А рисунок нужен не только художникам. Он нужен инженеру, конструктору, учёному, педагогу. Это удивительный язык общения. Ему переводов не нужно. Сколько раз нам приходилось пользоваться им в путешествиях за границей, общаясь с незнакомыми людьми. Да и как оценить дошедшую до нас информация о нашей общечеловеческой цивилизации через наскальные изображения и многие другие памятники культуры?! С детства до старости язык рисунка сопровождает нас. Умеющий рисовать всегда найдёт себе место в обществе. И сколько людей уже в пожилом возрасте приходят к этому волшебному средству и посвящают свою жизнь этой новой страсти. Не реализованной по многим причинам ранее. Пишут, лепят, вырезают, однако основой всему этому является рисунок... такой скромный и простой вид художественной деятельности, без которого не обходится ни один великий художник! Владеющий рисунком ярче, образнее видит мир, у него богаче воображение! И тому пример в блистательных, молниеподобных рисунках А. Пушкина, поэта и художника М. Лермонтова, М. Волошина, Ф. Шаляпина, и имён других множество. Кто-то из великих сказал: «Кто владеет рисунком, тот беседует с Богом».

ИКОНА

Я перед иконой. Смотрю на неё — этот символ духовности и нравственности, благая весть нам, человекам... с гордыней и надменностью... сильным и слабым, нищим духом, забитым и убогим... Имеющий очи да увидит, имеющий способность принять, услышать — да услышит.

Взгляни в себя, воззри в душу свою и увидишь целый мир... Что тебе откроется — тому ты и пахарь, и сеятель, и жнец. Твоё поле может быть в запустении, может быть и богато, но есть нивы ещё плодороднее и обширнее, и причина тому — неустанный труд... уход и очищение злаков от плевел.

Исходящая сила иконы через образы говорит нам: никогда не поздно устроить свой внутренний мир, никогда не поздно очистить душу от пороков, никогда не поздно устремить себя на добрые дела... Это является сутью, её благой вестью.

Добродетельность — венец человеческого существования, дарующая радость и самому, и другим. Но путь этот много тернистее, нежели сама ясная мысль. Много препон и соблазнов стоят на пути, и со слабой душой недалеко уйдёт человек по этой нравственной стезе. Тут торной дороги нет. Живая, чувственная душа открыта всему, как благодатная почва, а принять нужно только доброе семя, требующее тепла, заботы и многих усилий... а сорняки сами способны запустить свои жёсткие и сильные корни.

И необходима большая нравственная воля и сила отринуть их и выдрать вместе с корнями. И икона несёт в себе эту благую силу.

Высшая степень человеческого духа — это способность к творчеству, художеству, способность своими нравственными силами породить благую мысль и суметь вселить её в сердца людей через слово, через писанный лик, через звуки и обратить их взоры на добро и красоту.

Но редкостная сила духа способна и отверзать, и пробуждать, и очищать заскорузлые сердца. И примером тому — многие именные и безыменные служители добра и красоты, а в живописании церковных храмов и икон — Андрей Рублёв, Дионисий, Даниил Чёрный, Симон Ушаков и др., которые и не считали себя художниками в известном смысле, но служителями Всевышнего, наделившего их для этого особым даром.

Икона не может быть плоха. Она может быть лучше исполнена или хуже, и это зависит, как считали сами художники, от соответствия нравственной силы совершить этот священный акт, для чего они предварительно готовили себя к этому действу... к сотворчеству с самим Богом, постом и многими молитвами настраивались они на путь, озарённый заданной мыслью, и, очистившись от скверны и скарёдности, с верой устремлялись не к творению, а к исполнению обета, выверяя себя, свою веру и совесть по результатам действия обрисованного ими образа на совесть молящихся и поверивших в чудодейственность изображённых ликов.

До чего ж может быть велик в деяниях человек! Аура духовной и нравственной силы некоторых способна достучаться через века до наших чёрствых сердец и сегодня... и вызвать слёзы... слёзы вины и восторга перед Правдой, Добром и Красотой!

Душа наша жаждет очищения и ждёт его, как свежего воздуха. Всё мертво в бездуховности. Горит икона огнём цвета, огнём Правды, огнём Благой Вести, огнём Мудрости... Горит, мается душа наша, не находя соответствия принятой идеи и нашего запутанного пути... Всё мертво не дошедшее, не дотянувшееся до нашего сердца... но душа болит, значит, она приняла, значит, нравственная божественная сила художника проникла в наше сердце... значит, есть Истина... значит, требуется совершенствование...

Икона держит нас в пристойности. Она смиряет нас... до встречи с ней живущими другими мерами и принципами, она облагораживает... наполняет устойчивыми морально-нравственными силами... Я не смею богохульствовать перед ней. Не могу гордиться своими трудами — этому препятствуют нравственные критерии, заложенные в ней; не могу гневаться на всех, выделяя себя, — она не позволяет мне этот кощунственный шаг... Она заставляет заглянуть в глубь души, вызывая в судьи мою же совесть, и её благая сила ставит меня в ряд равных и наделяет способностью к очищению, самосовершенствованию.

Люди творили чудеса, и народная память сохранила сведения о них в устной речи и письменности, но чудеса художников-иконописцев мы можем увидеть, прочувствовать и по сей день!

Высок, светел человек в добродетели! Его дух способен проникнуть в Космос и воздействовать на нас веками! Талант от Бога безмерен! Способности человека в слове, музыке, голосе, живописи — беспредельны! Сила в уме, но прежде всего — в духовности... И силу таланта, Божьего дара — ни понять, ни сформулировать, ни осознать!

Слёзы, только слёзы восторга, печали, радости являются мерой моих чувств и понятий! Только сладостная щемящая боль сердца является мерой этой нечеловеческой силы, посланной нам из Вечности.

Больно сердцу!.. Тяжело душе и радостно... Невозможно жить только этим, невозможно жить и без этого...

Без этого — тем паче...

1989 г.

ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛИ

Мир породил многих великих людей. Ими уже наполнена так называемая ноосфера, по Вернадскому. Уже навсегда в ней расселились и оказывают воздействие своим интеллектом на все поколения в прошлом, настоящем и будущем Гомер, Фидий, Аристотель, Сократ, Вергилий, Данте, Шекспир, Ломоносов, Пушкин, Толстой... Их ряд долог и будет продолжаться. Они рождались в разных точках планеты, в разное время и в разных странах.

Но удивительно, какое совпадение: трое величайших художников, которых знает весь мир от ребенка до старца, — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль Санти — жили и творили не только в одной стране, но и в одно время! Их судьбы тесно переплелись, и они не всегда учтиво относились друг к другу. Особенно это заметно выразилось в отношениях Микеланджело и Леонардо. Рафаэль был как бы баловнем судьбы, жил почти беззаботно с большим доверием к его таланту и признанием его физической красоты. Ему поручались выгодные и ответственные заказы и объекты, и сам Папа назначил его главным куратором строительства собора Святого Петра в Риме. Хотя есть предположения, что Рафаэль был почти безграмотным. А вот Леонардо был универсалом. Помимо его таланта художника, он был прекрасным инженером, архитектором, анатомом, музыкантом и всеми признанным эстетом и философом. Знатнейшие фамилии считали за большую честь пообщаться с ним. Он и внешне был соответственен тому высшему свету, и по воспитанности, и по одеждам, и манерам. Недаром Рафаэль изобразил его в "Афинской школе" в виде Сократа. А Микеланджело был совсем иной и по натуре, и по образу жизни, и, можно сказать, фактуре. Хотя был и выходцем из древней знатной семьи, но обедневшей. Жил он, как великий трудяга, всецело отдаваясь искусству. Сам отбирал мрамор в каменоломнях, сам придумывал механизмы и способы его доставки, вплоть до выкладывания дорог и создания специальных плотов и барж.

До седьмого пота рубил камень и, можно сказать, его наспех сделанные мастерские служили ему и главным жилищем. Жил он так всю свою долгую жизнь, забыв про уют и собственную судьбу. Его любовь предназначалась одной даме — Музе искусства. Правда, у него были тесные отношения и с земной дамой — это Виттория Колонна, поэтесса, с которой он переписывался, встречался, посвящал ей стихи, и она была способна философствовать с великим художником. Микеланджело был не только великим ваятелем и живописцем, но инженером, архитектором, анатомом. Есть легенда, упомянутая и Пушкиным, будто для анатомических познаний он совершил преступление, убив натурщика. Но это легенда. А то, что он тайно вскрывал для этого трупы, — весьма достоверно. А уж о его титаническом труде по росписи собора Св. Петра в Риме, его архитектурном завершении барабана и купола сохранилось множество историй, документов и воспоминаний очевидцев. Якобы чтоб не терять времени и сил, он даже не стал слезать с лесов, а спал там же на досках. Как сам художник вспоминал, его одежда и обувь приросли к коже, за это время он сгорбился, походка его изменилась, и голова его привыкла к задранному вверх положению. Сложные у него были отношения не только с коллегами-художниками, но и с самим Папой. Но это не только выражалось в "безобидных" его действиях, когда он, видя с лесов Папу, пришедшего на просмотр хода его работ, не только не слезал с лесов для отчёта, а начинал сверху ронять доски, и Папа уходил от греха подальше. Серьёзное негодование Папы на него было во время боевых действий папских войск против восставших республиканцев, а Микеланджело был на их стороне. И его инженерные укрепления, точная наводка орудий нанесли войскам значительный урон, за что ваятель-инженер был приговорён к смерти. Великий и востребованный художник вынужден был долгое время скрываться во встроенной стене-нише,

куда тайком ему приносили пищу верные друзья. Но потом для продолжения работ в Риме он был прощён Папой и вытребован к себе. Папа Павел II назначил Микеланджело живописцем, скульптором и архитектором Ватикана.

Ещё при жизни Микеланджело признавали выдающимся поэтом. Сколько ж в его поэзии знания жизни! В ней и диалог с небом, диалог с обществом, диалог с близкими и диалог с самим собой. В его поэзии и восторг перед жизнью, и печаль этой жизни, восторг перед миром искусства и его печали, разочарования. Прожил Мастер долгую жизнь и до конца был в активной творческой деятельности и ревностным в своём труде. Начав юношей, создав шедевры в 23–25 лет, он без урона шёл своим тяжким путём художника, философа, каменотёса. Его ранним шедеврам не только удивлялись, но и не верили в возможность такого дара начинающего ваятеля. И он даже был вынужден выбить ночью своё имя на нагрудной ленте скорбящей Марии на скульптуре “Пьета”.

У него, этого несомненного гения, нужно учиться всему, а меры его недосыгаемы. Ему, как никому другому, полностью соответствует понятие “Титан”.

Учусь вдохновенной пластике —

у Микеланджело,

Учусь совершенству рисунка —

у Микеланджело,

Учусь изложению мыслей —

у Микеланджело.

Эта славная троица сияет вершинами своего творчества и озаряет мысли и души ищущим и страждущим на путях искусства.

Великая слава нашим вечным учителям!

СВЕТСКАЯ СВЯТОСТЬ

Моя идея была, с самых юных лет, наживать для того, чтоб нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь.

Павел Михайлович ТРЕТЬЯКОВ
(1832–1898)

Среди славных имён России имя П. М. Третьякова — имя особое. Все знают его заслугу перед Отечеством, народом, искусством — его собрание произведений живописи, скульптуры, графики, но мало кто знает о нём самом, о его жизни. Личность он незаурядная! Но чтоб прийти к такому выводу, нужно, необходимо пристальное к нему внимание. А он и при жизни был тих, скромен, сдержан в словах, а тем более в эмоциях. И всегда уходил на второй-третий план в прилюдных акциях. Он достоин внимания и почитания не только как уникальный коллекционер, создатель галереи национального искусства, известной теперь каждому из нас и всему миру, но и как высоко нравственная личность. Это высочайший пример честности и чести для всякого порядочного человека. Познакомившись с его биографией, я был долго под огромным впечатлением и обаянием его — живого, доступного и недостижимого по отзывчивости, по сердечной теплоте, исходившей от него. Ни одна судьба ни одного из героев меня так не поражала своими достоинствами.

Выходец из купеческой семьи, казалось бы, человек, преследующий и решающий задачи, далёкие от искусства, имеющий цель больших финансовых оборотов, развития мануфактур, выгоды, а то и наживы, вдруг большую часть своего интереса, движения души посвятил собранию вечного и прекрасного, содействию и развитию своей родной национальной изобразительной культуры. А ведь он и как промышленник достоин благодарной памяти рабочих предприятий и в целом общества! И на том поприще он совершил подвиг. У его рабочих был 8-часовой рабочий день, рабочие имели добротные жилища, он построил им больницы, школы, клубы. Они занимались даже театральными постановками. Построил специальную школу для глухонемых, вносил пожертвования в художественные заведения, был членом попечительских советов, которые прилежно посещал и которым прилежно содействовал.

Все, кто его знал, тем более близко соприкасался в делах, признавали его авторитет, которым он никогда не бравировал. Его художественному вкусу

и оценке произведений доверяли художники, всегда ревниво относящиеся к мнению людей не своего круга занятий. Павел Михайлович был принят в действительные члены Академии художеств — весть, которую он принял со смущением и благодарностью. Он же был удостоен и высокого звания Почётного гражданина Москвы. Всеми силами и возможностями он избегал всяких торжеств, всякой пышности празднования его юбилея и прочих дат, связанных с его жизнедеятельностью. К себе он был очень требователен, а сам в жизни непритязателен: ни к пище — самые простые блюда, не употреблял алкогольных напитков; ни к одежде — он так и не изменял крепким традициям сословного платья купечества — кафтану.

Зато к религиозным обрядам, порядочности жизни, нравственности относился самым прилежным образом, был неуклонно исполнителен, внимателен и к каждому из членов семьи, работникам дома, служителям его производств.

Великим потрясением для него была смерть малолетнего сына Вани, его надежды, наследника, его радости. И эта радость разом загасла, погрузила его во тьму печали, глухоту раздумий... Это сказалось на его здоровье, на ощущении цветности жизни, но как истинный христианин он не позволял себе полностью впасть в печаль и отчаяние и, сколько хватало сил, продолжал и производственную деятельность, и собирательскую. Однако здоровье его пошатнулось, и он в 1892 году передаёт полное своё собрание и галерею в дар городу Москве, оставаясь её попечителем, продолжая пополнять её новыми произведениями.

Галерея была оборудована по последнему слову техники на то время. Для этого он ездил в Европу за опытом по сохранению произведений, знакомился с температурным режимом и другими специфическими тонкостями галерейного строительства.

Доступ в галерею был бесплатен для всех сословий, и часто Павел Михайлович сам сопровождал посетителей и комментировал содержание и эстетические достоинства картин.

На 66-м году перестало биться сердце этого тихого, скромного, великого человека, великого труженика и подвижника. Подвиг его тих и велик. Ни от кого и никогда он не ждал благодарности. Он просто творил добро. Его совесть, нравственность, можно сказать, идеальны! И если это применимо к светскому человеку, то можно сказать: “Он свят!” Святы дела многих духовных подвижников, и мы помним их, чтим их, но П. М. Третьяков оставил ещё и материальный след, действующий на нас благотворно и поныне. По его заказу художники создали галерею портретов наших славных соотечественников, и мы зрим их. А с какой неохотой он сам согласился позировать И. Крамскому и, после долгих уговоров, Илье Репину. И мы знаем его чистый, благородный лик, у которого душа была истинная христианка. Сколько художников он поддержал, вызволил из бедноты, поспособствовал развитию их таланта!

Хорош памятник ему у галереи работы А. Кибальникова, но он достоин памяти в наших сердцах!

ХУДОЖНИК

Куда ни кинь взор — везде следы деятельности художника. Это и одежда, и причёски, и жилище, и посуда, предметы быта, транспорт... словом, всё и на суше, и в воде, и в воздухе. Всё это — труды художника-дизайнера, визажиста, декоратора и в жизни, и театре, кино, книгах... А вот фигура истинного художника в конкретном, историческом его понимании — как живописца, скульптора, графика — почти вытеснена парикмахерами, модельерами, а ещё более — шоуменами от искусства. Всё стало с ног на голову! Если художник, обладающий, как говорилось раньше, божественным даром, напишет реалистический портрет со сходством, передаст глубину психики, с какими-то атрибутами жизнедеятельности, его тут же обзовут и натуралистом, и подражателем природы, и рутинёром-консерватором, и подражателем-копиистом, и кем угодно, но не творчески одарённым художником; слепцом, не замечающим перемен в сегодняшнем искусстве. Понятие “реализм” раздражает нынешних “искусствоведов-апостолов”, формирующих новые эстетические категории и даже самую личность художника. Символы, знаки, условности, теории подсознательного, индивидуализация, инновации, инсталляции — вот основы новой идеологии свободного творчества, интуитивного самовыражения.

Вот это самовыражение и приводит к самовыврождению. И получается парадокс: чтоб поступить в художественное заведение — надо уметь рисовать, писать, лепить. А окончив это заведение, выйдя на путь свободного творчества, выпустившись, “обязан” забыть освоенные знания и заняться “самовыражением” не на пути, заданном и проторённым великими предшественниками мировой культуры, а изощряться в псевдокультуре, соревнуясь с шарлатанами, превращая высокую духовную культуру в шоу и трюкачество. И чем бездарнее человек, тем он активнее изощряется, пуская пыль в глаза, глумясь над доверчивостью публики, нагло и бесстыдно пропагандируя свой бездарный цинизм перед достойными профессионалами. Вот, мол, мои фокусы “кушает” публика, галереи и музеи для нас открыты, наши теоретики обосновывают нашу новую передовую авангардную культуру — и мы востребованы. Мы на виду, хоть нас не понимают, но вынуждены принять, вынуждены дорости до этого понятия. А вы, стойкие мудрецы, продолжатели лучших традиций, потерпите и даже понуждайтесь в земных благах. Людям, массам трюки, фокусы нравятся, а мы уж постараемся им наше “искусство” преподнести как подлинное и истинное с глубинным смыслом. А умными и передовыми всем быть хочется. Вот и преуспеваем. А ссылок на мудрую символику — предостаточно! Это иероглифические изображения, древнее религиозное искусство, да и сам Эзопов язык в литературе. И многие другие условные знаки, окружающие нас в жизни, подкрепляют наши теории и эстетические позиции. И только возрази им, только выступи, как на тебя же и укажут пальцем, как на отсталого и жалкого подражателя. То ты — так, человек из нейтральной массы, а в этом случае ты — под прицелом, и дороги в галереи, выставочные залы, музеи тебе закрыты. Ты — изгой. Индустрия шоу-искусства тебя раздавит.

Вот и шагает по миру “голый король”, вот и вынуждены признать, что он в изящной, тонкой материи одежде. А “голос мальчика” не слышен в шуме оваций и рукоплесканий. Клань сколочена, круговая порука, а там уже близки и рычаги политики.

Всё это сказывается на учащейся молодёжи. Она уже уверенно знает, что добротное классическое образование не нужно. А учиться по-настоящему трудно. Не случайно в императорской Академии художеств учились от возраста мальчика до бороды. Наука изобразительного искусства — тонкая материя: истинный художник совершенствуется всю жизнь. В мире же шарлатанства процветают изворотливые люди. Ценз уровня для поступления в вуз пал, и разного рода конъюнктурные факторы позволяют поступать в учебные заведения бездарностям, но, выходя за ворота учебного заведения, они попадают в обойму правящих и... процветают. Утратить навыки, с трудом освоенную планку высокого искусства — легко и быстро, в одно-два поколения, а вот возродить — пути неисповедимы.

Наступает момент, когда просто некому будет учить. Правда, свято место пусто не бывает, и “учителей” — сколько хочешь и с перебором, но они, сами не получившие достойного образования, как говорят, и под расстрелом уже не смогут создать портрет или тематическую картину. И Запад — тому пример. Там выродилась картина, там царствует концепция. А это уже не изобразительное искусство, а псевдофилософия. Тут уж шарлатанству — широкое поле! И псевдоискусствоведы стараются угодить заказчикам. Про творчество истинного художника надо писать, проникаясь его духом, внедряясь в суть произведения, характерные индивидуальные его особенности, а то и глубоко знать сюжет, историческую ситуацию того времени и многое другое; забыв себя, помочь зрителю полнее понять произведение и самого автора. А тут, при беспредметном самовыражении одного, он также беспредметно выражает себя, поёт свою песню. Как удобно наполнить пустопорожней словесной шелухой пустопорожнюю форму. А было-то как?!

Красота, искусство — это потребность человека. Сыт человек, и ему уже хочется петь, плясать, украсить себя. Есть ощущение сверхсил, олицетворённых в образах, и тут уже требуются особые способности человека-художника. Устройство жилища, храма, дворца, изваяния, картины, выделить этими средствами вождя, жреца, императора... Художники были востребованы всегда. И примеры тому, удивляющие нас и сегодня, — произведения Древнего мира, античной эпохи, Возрождения, классицизма. Фотография не в силах заменить труд художника, заменить произведение психологическое, а тематическую картину — тем более! И жизнь уже доказала это. Но художником

быть трудно, а сфера его жизнедеятельности весьма привлекательна со стороны, и рвутся туда многие, абсолютно не соответствующие ни по способностям, ни по призванию. Вот и смешали, и сместили они все меры эстетических категорий. Каким бы мы знали античный мир без всем известных скульптур, монументов? Чем бы было наполнено понятие Ренессанс без фресок и скульптур великого Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти? А перед ними — Джотто, Боттичелли, Донателло, Вероккио? А Никола Пуссен, а Гольбейн, Дюрер? А Брюллов, А. Иванов, Тропинин? Их приглашали императоры, владельческие князья... Папа Римский не отпускал их от себя, ценя их таланты, доверяя им всецело и строительство храмов, их роспись... Художники занимались и укреплением городов, инженерией, вооружением... Нередко они выполняли дипломатические поручения. Имя флорентийского властителя Медичи, Лоренцо Великолепного, навсегда слилось, вписано в историю наравне с великими художниками, которым он способствовал с обоюдной пользой. И в России были те же взаимоотношения царствующего двора с художниками. Вспомним хотя бы творческий союз Николая I и гениального художника-медаляера Петра Толстого, вице-президента Академии художеств, по изготовлению серии медалей, посвящённых Отечественной войне 1812 года, по отношению к творчеству К. Брюллова.

А как заботился Пётр Великий о развитии собственной школы отечественных художников? И приглашал иностранцев, и посылал туда учиться своих. Была создана своя, родная Академия художеств, которая воспитала целую плеяду прекрасных художников. Их произведения в Русском музее, Третьяковской галерее, в залах Академии духовно питали и питают общество. Но в последние годы дан резкий крен в сторону формализма и шарлатанства. Поделки оскорбляют достоинство этих музеев, оскверняют, засоряют наши души. В “Новой Третьяковке” — вообще разгул вседозволенности и цинизма. Идейный штат или штаб этих музеев всеми силами стремится доказать, что они “понимают” это “искусство” и сумеют донести до публики его “ценность”. И доносят. Результаты налицо. Публика отвернулась от этого псевдоискусства, которое скомпрометировало высокое имя художника, и пал его авторитет. А выскочки от “шоу-искусства”, конечно, мелькают по экранам и обложкам, ещё более удаляя современного художника от общества. Царствует сегодня эстрада, экранные кумиры, крепкие парни и под стать им длинноногие красавицы.

Но, слава Богу, в России ещё не извелись художники, хоть почву под их ногами разрушают всеми силами. И на это выделяют народные средства миллионами в валюте! Потребность в красоте не угасает, и если люди не находят удовлетворения в навязываемых им “шедеврах” профессионального искусства, они “идут в народ” и приобретают картины у самодеятельных художников. Всё это хорошо. Но плохо, если великое русское искусство в целом падёт до уровня самодеятельности. Это будет невосполнимый урон и урон авторитета России в целом мире. Истинная Красота не зависит от оценки, от художественной политики. Она есть или её нет. Она доступна всем, если не извращена. Другое дело — степень восприятия. И на этом умело играют и немало преуспели корыстные дельцы, превратившие искусство в индустрию наживы и политики. Раньше искусство помогало развитию государства и управлению им, а теперь — разрушению держав и управлению всей планетой. Народ инертен, покорен. Трудно художнику, но он должен быть стойким. На то он и художник.

О РУССКОСТИ

Можно ли называться русским, если не знаешь, а следовательно, не любишь народных песен, сказок; если не знаешь хоть сколько-то историю предков из глубины веков, если не знаешь героев, духовных подвижников... литературу, музыку... Если сразу при звуках и ритмах от “Майкла”, от “Мадонны” и других подобных имён “из-за бугра” ты начинаешь конвульсивно дёргаться и входить в восторг телячьей радости... если знаешь, кто из них, когда и с кем... какие детали туалета они носят, а из языка Пушкина и Толстого используется сотая часть, да и то со “связочками” из подворотного... Это ли русскость?!

Россия... Русь Святая... Как волнуется сердце уже при произношении этих слов, а главное, при охвате смысла этих слов! Сразу представляешь историческую поступь великого народа, его сложного, трудного, но светлого

пути. Конечно, на этом пути были не только радость, но и великие печали.

Как понимать русскость, что такое русский человек? И почему этот вопрос вновь стал злободневным? Славянофилы и западники — давнишнее разделение одного этноса, одной нации и даже национальности. Русский мужик с поля, поэт Клюев, Есенин, Василий Белов и... русский Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин, Шаляпин... По мне равно русскими людьми являются и Аксаков, и Белинский, художники Иванов и Кустодиев. Русскость не во внешних проявлениях и внутренней традиционно народной замкнутости, а в натуре, способной сопереживать всё вместе с нацией, не отстраняясь от неё. Иначе можно дойти до крайностей, и тогда И. Тургенев, и А. Иванов, и Н. Гоголь, прожившие за границей многие годы, — не русские...

Не говоря уж о вечно упоминаемом в таких случаях Петре Великом! Да не будь Петра — не было б и Пушкина, и Лермонтова, Суворова и Кутузова, Ломоносова и всего того, чем мы гордимся и поныне. Наука, техника, культура, армия, офицерство, флот... Территория страны, наконец! А целый город Санкт-Петербург с его академиями, кунсткамерами, мостами, усадьбами?!

Ф. М. Достоевский, в русскости которого мало кто сомневается, говорил: "...русский получил уже способность становиться более русским лишь тогда, когда он наиболее европеец". И тому пример он сам, и Тютчев, Чайковский, Третьяков, Станиславский, Булгаков... Нерусские люди — это те, кто проживает на территории Матушки-России инертно, бездумно, которых предостаточно в наших городах и весях. Он и землю не знает, он и церковь забыл, и забыл все связи со своими предками. Мало того, он бывает даже враждебен к ним. И хоть он и Иван или Иван Иванович, но слаб его стержень и ненадёжен он как опора; неустойчив он к соблазнам и пристрастиям.

Только не теряющий кровную и духовную связь со своим народом и своей культурой, да ещё ориентирующийся в общемировой, может быть достойным представителем нации и способствовать её процветанию.

Человек, равнодушный ко всему национальному, хоть и преуспевающий, — нерусский человек! И пренебрегающий мировой культурой — тоже малостоящий русский человек!

Сколько наших вынужденных эмигрантов, живя на чужбине, благодаря широкому кругозору, оставались истинно русскими людьми, сохраняя в быту лучшие традиции и высоко представляя там русского человека. Соприкосновение культур способствует взаимообогащению. Русская культура, имея богатую основу, во многом зиждется на культуре эллинской, античного Рима, религиозных устоях, заимствованных у других народов... И это не во вред нам.

1989 г.

СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ

КНИГА О РУССКОЙ КЛАССИКЕ

П. В. Палиевский. “Развитие русской литературы XIX — начала XX века. Панорама”. СПб, “Росток”, 2016.

Неспешный обстоятельный разговор о русской классике сейчас не в моде. Впрочем, моды сменяют друг друга, не оглядываясь на прошедшее и не загадывая о будущем. Нынешняя весьма распространённая и захватывающая всё более широкое поле фрагментарность, осколочность восприятия литературы (и не только её) — следствие общей серьёзной повреждённости психики и сознания. Должно, видимо, пройти некоторое время (впрочем, про некоторым признакам, мы уже находимся в начале этого пути), чтобы взгляд на классическое литературное произведение обрёл тот объём и глубину понимания, что некогда было свойственно советскому читателю относительно спокойного периода нашей истории — 60-х—начала 80-х годов прошлого века. Именно тогда в печати, нечасто, но периодически, появлялся со своими яркими, доказательными и (самое главное) не “академическими” работами Пётр Палиевский.

Перед нами его новая книга “Развитие русской литературы XIX — начала XX века. Панорама”, вышедшая в издательстве “Росток”. Это, по существу и по собственному признанию автора, попытка нарисовать картину развития русской литературы. То есть дать представление о её высоте и её пути.

“Классика не является для нас материалом, из которого мы черпаем какое-то будущее, какие-то новые концепции, мысли и движемся вперёд; скорее, мы для неё являемся в некотором роде материалом, из которого она призвана творить нечто очень серьёзное, достойное этого будущего. Во всяком случае, наша классика, та классика, русская, которую мы здесь, в этой стране наследуем”, — отчеканил Палиевский на знаменитой дискуссии “Классика и мы”. С этого он начал и свою новую книгу: “Читатель настоящей книги должен быть готов к тому, что предмет её не представляет собой просто материал для исследования, изучения или нового понимания. Он сам давно глубоко и перспективно нас исследует и понимает; возможно или даже наверное, глубже, чем мы его”. И в соответствии с поставленной сверхзадачей автор не пишет “портреты” Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова и Горького, но определяет “место ведущих писателей” — так и называется основной раздел книги.

Поскольку “ни один из них не уместается в принятые хронологические рамки, знакомые идеологии или наиболее авторитетную на данный момент научную терминологию”, то “его приходится рассматривать с какой-то иной, более объёмной точки зрения”. И эта “объёмная точка зрения” неизбежно включает в себя вопрос, которым задавался Палиевский много лет назад в статье “К понятию гения”: можно ли найти в художнике новую и просветляющую правду?

“Благодаря правильно увиденной задаче он (классик. — **С. К.**) борется за человека, а не против него, и поэтому говорит: так что же нам всем, в конце концов, делать: иначе — где общая правда, в чём она?”

Это уже — из “Выводов”, завершающих книгу.

Так в чём же эта основополагающая художественная правда?

“...Под реализмом русские писатели понимали и понимают воссоздание действительности во всей её полноте, — в отличие, например, от желаемого, воображаемого или должного, которые также входят в понятие действительности, но лишь как её субъективная сторона. Художественная правда такого рода составила главный предмет исканий русской литературы классического периода на всех этапах её развития и, как мы надеемся, до сих пор содействует развитию мирового искусства. Сказать об этом необходимо, так как на Западе с начала XX века, особенно в Америке, привыкли называть реализмом то, что у нас традиционно именуется натурализмом”.

Здесь неизбежно возникает навязшее в зубах, влачающееся в головы, целенаправленно формирующееся представление о “национализме” целого ряда русских критиков и литературоведов, в котором одно из центральных мест занимает Пётр Палиевский (см. В. и Т. Соловей “Несостоявшаяся революция”. М., 2009; А. Разувалова “Писатели-“деревенщики”. Литература и консервативная идеология 1970-х годов”. М., 2015; “История русской литературной критики”. М., 2011). Проще всего было бы ответить на это так: странный “националист”, чьему перу принадлежат, пожалуй, лучшие в нашем Отечестве работы, посвящённые творчеству Уильяма Фолкнера: “Фолкнер — безоговорочно-национальный, даже местнический художник (стал писателем — **С. К.**) скорее общечеловеческим, медленно и тяжело доказывающим разобщённому миру свой с ним родство и важность человеческих основ”, — Грэма Грина, Маргарет Митчелл... Но это всё, как говорится, на поверхности. Суть — глубже. И её со всем очевидным спокойствием сформулировал сам Пётр Васильевич:

“Нам говорят иногда, что это русская особенность — привязанность к жизни в искусстве. Но, кажется, это слишком большой подарок, чтобы можно было его принять. Нам в России, как было и в Советском Союзе, вообще трудно выделять в искусстве русское и не русское, западное и восточное. Скорее, мы делим его на подлинное и мнимое...”

Вот уж, подлинно, речь “националиста”...

С той же определённой и обстоятельностью выделяются в главах о русских классиках основополагающие черты каждого из них, но не в статике, а в движении, в указании пути, сверхзадачи...

И эту сверхзадачу Палиевский разгадывал и определял на протяжении многих десятилетий, чувствуя на себе пристальный взгляд классика, с которым он вёл на глазах у читателя свой диалог. И каждая формула здесь апробирована многолетними раздумьями. Собственно, и не формула это. Скорее, промежуточное размышление, оставляющее читателю-собеседнику поле для собственного постижения великого Слова.

“Пушкин, разумеется, не философ... Задача Пушкина была иной: самому стать мыслью и смыслом, средоточием и предметом духовных исканий, предложить реальный идеал, что само по себе как понятие было несовместимо. Зато оно было необходимо для ищущего своей основы народного самосознания. И Пушкин стал такой основой, обобщив историю”.

“Следы катастрофы, которую пережил Гоголь, даже определённо от неё отпугивают. И только когда мысль возвращается к общей дороге, временами начинает возникать, несколько неожиданно, — так как не было, кажется, в литературе более одинокого человека, — фигура Гоголя... Выясняется, хотя и не сразу, деталями, что первым положил все силы на общее дело Гоголь, строил эту задачу с места, поставил её перед русской литературой и пожертвовал всем, что имел, включая искусство, ради её решения... Мы всё чаще замечаем, что он является среди других классиков “строителем нашим”, о чём он сам столь убедительно говорил”.

“Толстой... обозначил своим явлением пробуждение священной идеалом земли. В ответ на критику и поношения ожесточённых он поднял изнутри действительности всё то, что могло пойти навстречу свету, сделался органом выражения этих сил. Скрытые ценности человеческой души, личной нравственности, семейного быта, народного характера стали выбиваться в нём наружу

в почти что бесконтрольных подробностях. Извержение это откладывалось в формы, неизвестные литературе, и принималось, прежде всего, как пришедшая из глубины действительности новая правда”.

“Достоевский... исходит из того, насколько его собеседник был прав, причём не какой-нибудь плоской правдой, а новой и важной для Достоевского самого, и оттуда старается двинуться дальше вместе, сообщая, предостерегая от нелепостей. К этому движению приглашаются все, независимо от уровня, разработанности языка или степени заблуждения. Наверное, это один из самых демократичных в мировой литературе способов общения... Для Достоевского любая мысль или идея — лишь средство постижения громадного целого, “нравственного закона”, смысла истории. Идеи — пути к этому целому, они новые обстоятельства жизни, среда обитания”.

“В нём (Чехове. — С. К.) литературе возвращается её первозданная устойчивость, централизующая сила; восстанавливается и развивается суверенный для литературы способ мысли, жизненный образ; укрепляется объективность; вступает в свои неотменимые права контроль жизни... над мечтаниями, отрицаниями, фантазиями, порывами и проектами, как бы прекрасны они ни были... Чехов впервые после Пушкина на массовом общенародном уровне невидимо соединил высокий идеал с пониманием, потребностями, вкусами и всеми слабостями рядового человека”.

“Особенность Горького как фигуры переломной, точнее, переламывающей целую художественную эпоху, сказалась в том, что он испытал на себе все три возможности перехода времён. Именно: обновление новыми задачами классического искусства; выведение нового независимого факта в художественный образ; собирание быстротекущих фактов, ещё не просветлённых в образе, вокруг какой-либо выдвинутой обстоятельствами общественной идеи, чего как человеку сильных увлечений ему не всегда удавалось избежать... У Горького внутри его художественного мира факт вышел в равноправие, отвоёвал себе позицию, где он мог отстаивать своё, а писатель — своё. Они явно заспорили, и спор этот, часто ожесточённый, образовал совсем новую манеру”.

В этих положениях — и начало разговора о великих писателях, ждущее продолжения в читательском восприятии, и некая его середина — самая суть, удерживающая беседу в гармоническом равновесии, и заключение, от которого берётся новое начало. Ибо — путь. Путь по классическому слову в поисках определения великой и просветляющей правды, обнаружения смысла общего дела, на которое потрудились великие. Теперь, под их приглядом, предстоит потрудиться и нам.

Вадим Кожин в своё время, оценивая книгу Палиевского “Пути реализма”, определил его как критика по преимуществу, учитывая и работы, имевшие прямое, казалось бы, отношение к литературоведению. И в рассматриваемой книге Палиевский следует собственно классической критической традиции. В главе, посвящённой Льву Толстому, он пишет о “Хаджи Мурате”, что он “...принадлежит к тем книгам, которые надо бы рецензировать, а не писать о них литературоведческие работы. То есть к ним нужно относиться так, как если бы они только вышли”, поскольку “каждая встреча с ними читателя есть несравненно более сильное вторжение в центральные вопросы жизни, чем — увы — иной раз бывает у догоняющих друг друга современников”. Эти слова (как и весь анализ “Хаджи Мурата”) без изменений вошли в главу из работы критика “Художественное произведение”, опубликованную ещё в 1965 году. По сути, автор вполне безболезненно использует свои старые работы в новой книге — и он один из немногих деятелей своего поколения на ниве литературы, кто, поистине, имел и имеет на это право. Стесняться и скрывать нечего. Более того, сегодня многое прочитается и прозвучит по-новому. В частности, цитированные здесь слова о Пушкине принадлежат давней, но не устаревшей работе “Пушкин и выбор русской литературой новой мировой дороги” (1969). Как и доклад “Пушкин в движении европейского сознания” (2002), данный в приложении к книге наравне с письмом Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову, басней И. Хемницера “Метафизик”, статьёй Н. В. Гоголя “В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность”.

Упомянули Вадима Кожина... С ним Палиевский продолжил в книге, видимо, давний спор, начавшийся после кожиновской статьи “О принципах построения истории литературы”. Указав, что традиционная “сетка” стадий

и типов русского историко-литературного процесса (“классицизм (Ломоносов) — просветительство (Новиков) — сентиментализм (Карамзин) — романтизм (Жуковский) — критический реализм (зрелый Пушкин и далее, вплоть до Чехова) — “трещит по швам”, Кожин охарактеризовал течение русской литературы XVIII — начала XIX века как “русский ренессанс”, ибо, по его мнению, “русская литература от Ломоносова до Пушкина... стремилась к многогранному творчеству, к синтетичности и, если угодно, к ренессансной полноте”, поскольку в этот период “осваивала многообразнейший двух-трёхвековой опыт новой литературы Запада, а не бежала с ней вперегонки, создавая беспочвенные классицизм, просветительство, сентиментализм, романтизм, сменявшие друг друга с калейдоскопической быстротой”... В более поздней статье “Типология и своеобразие” он отчеканил со всей решительностью: “В XVI–XVII веках русская литература не решила и не могла решить задачи Ренессанса. Она решает их в конце XVII — первой трети XIX века. Необходимо твёрдо установить это, а затем уже заняться исследованием глубокого национального своеобразия, воплотившегося в художественном решении великих задач эпохи Возрождения в России”. Палиевский резко возражает Кожину, указывая, что подобный взгляд “существо дела... скорее затемняет: заслоняет знакомым термином и уводит понимание далеко назад”. Впрочем, он сразу же переходит к “национальному своеобразию”: “...русская классическая литература, возникшая через несколько веков после Возрождения, сама представляет собой отдельный этап в развитии мировой культуры. Этот этап ставит перед человечеством новые задачи, наверное, не менее серьёзные, чем Возрождение, и, возможно, более масштабные. По многим принципиальным вопросам они решаются иначе, чем в Возрождении, даже противоположно Возрождению, хотя в главном направлении человеческой истории с ним совпадают”.

Это спор не только о терминах. Но мне представляется, что Кожин и Палиевский не столько противоречат, сколько дополняют здесь друг друга. Тем более, что в этот спор много лет назад вмешался Юрий Селезнёв в книге “Глазами народа”, где, определив ренессансный гуманизм как определённый тип сознания — гуманистичного, антропоцентричного и буржуазного, — провёл чёткое разделение: “природу европейского Ренессанса определяет гуманистическое сознание, природу русского Возрождения, начавшегося в XIX веке, определяет народность”. По сути, близкий вывод делает и Палиевский. Русская классика, по его заключению, “измеряет личность масштабом целого, общечеловеческой правдой, и выдвигает необходимость разработать новый тип человека, отвечающего этой правде. Её усилия сосредоточены на том, чтобы найти для личности иную основу, преодолеть зашедший в исторический тупик индивидуализм”.

К книге приложен разноцветный чертёж (схема) движения русской литературы XIX—начала XX века, где, как говорит Палиевский в беседе с Виктором Гуминским (эта беседа также есть в приложении к книге), “писатели распределяются по цвету в соотношении “четырёх стихий”: между небом, огнём, землёй и водой”. На схеме выведены в виде отдельных секторов “национальные ценности”, “мировой уровень”, “художественные ценности мирового значения”, “вечные ценности”... В ряду “вечных” — “Цыганы”, “Борис Годунов”, “Полтава”, лермонтовские стихотворения, “Мёртвые души”, “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Преступление и наказание”, “Идиот”, “Бесы”, “Братья Карамазовы”, “Степь”, “Вишнёвый сад”. Это ориентир для любого заинтересованного читателя, в первую очередь, школьника и студента.

Завершить это краткое и, может быть, схематичное представление новой книги Петра Палиевского я сочту нужным словами Николая Васильевича Гоголя из приложенной к книге статьи “В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность”, тем более, что Пётр Васильевич в главе, посвящённой Гоголю, особо отметил: “Наконец, чем дальше идёт время, тем выше вырастает перед нами фигура Гоголя — литературного критика... Его суждения о литературе, при всей злободневности, были рассчитаны на решение исторических задач: его дальновидность стала подтверждаться по мере развёртывания сил русской литературы, вплоть до современности...”

Итак, Гоголь:

“...Сам необыкновенный наш язык есть ещё тайна. В нём все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твёрдых до самых нежных и мягких;

он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, черпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, осязаемой непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка, и возвратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным”.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

“ПАНТОКРАТОР СОЛНЕЧНЫХ ПЫЛИНОК”

Вышедший недавно в молодогвардейской серии “Жизнь замечательных людей” весьма увесистый 900-страничный том, представляющий собой биографию В. И. Ленина, написан известным современным писателем, историком и культурологом Львом Александровичем Данилкиным. Книга представляет собой, безусловно, во многом новое прочтение жизни и деятельности одного из крупнейших исторических деятелей первой четверти XX века. Автору удалось сказать своё и очень интересное, хотя, скорее всего, и небесспорное слово о Ленине по сравнению с тем, что писалось на эту тему раньше. Следует учесть, что Ленин был не только одним из великих деятелей на политическом поприще, равного которому, пожалуй, не так легко отыскать, но и человеком не вполне обыкновенным.

Представляется совершенно не случайным и вполне естественным, что автору за эту биографию была присуждена премия “Большая книга” — это в самом деле явление, большое событие в современной литературе, едва ли кто-то с этим будет спорить.

Книга имеет подзаголовок “Пантократор солнечных пылинок”, что представляет собой несколько перефразированную и переименованную цитату из известной работы В. И. Ленина “Философские тетради”: “О душе пифагорейцы думали, <что> душа есть солнечные пылинки”^{*}.

Давая характеристику физического облика Ленина, Л. Данилкин замечает в связи с этим, что А. В. Луначарский находил “сократовский лоб” Ленина “восхитительным”, что внешность Ленина с самых ранних лет до конца жизни была необыкновенной: “...в контуре колоссального лба нельзя было не заметить какое-то физическое излучение света от его поверхности”.

Л. Данилкину удалось воссоздать совершенно своеобразный, оригинальный образ Ленина, который даже не то, чтобы в корне отличается от традиционного, хрестоматийного, ведь автор при этом не отказывается от многого общепринятого, не пересматривает и тем более не дискредитирует его, что, как известно, давно практикуется разными авторами в разных книгах и работах, а даёт именно свою интерпретацию “самого человеческого человека”, расцветивает его такими красками, поворачивает такими гранями, что, казалось бы, даже самые известные факты биографии Ленина, черты его личности, его общественного и бытового поведения предстают под пером Данилкина в совершенно порой неожиданном свете, но всё это не перестаёт быть

^{*} Ленин В. И. Полн. собр. соч. в 55 томах. Т. 29. С. 324.

убедительным, невзирая на известный и вполне естественный субъективизм, а напротив, способно гипнотизировать читателя.

В этом, пожалуй, как нам кажется, и состоит основное “зерно” и “изюминка” этой книги. При этом необходимо отметить, что многочисленные культурно-исторические реминисценции и аллюзии, насквозь пронизывающие от начала до конца огромную книгу, разного рода исторические факты, в том числе и сведения о “городах и весях”, связанных с Лениным, — всё это, несомненно, требует от читателя известной подготовки, поэтому мы убеждены, что необразованному или же малообразованному человеку читать такую книгу не имеет равным счётом никакого смысла. Книга написана пером талантливого, эрудированного литератора, знающего до тонкостей предмет, и, главное, она свидетельствует о безусловной литературной одарённости автора, который даже какие-то очень сухие и скучноватые материи, наподобие анализа различных ленинских работ, таких как “Развитие капитализма в России”, “Империализм как высшая стадия капитализма”, “Материализм и эмпириокритицизм”, “Философские тетради”, может преподнести в высшей степени оригинально и даже, не побоимся сказать, занимательно. В связи с этими работами Ленина отметим, что Л. Данилкин показывает очень убедительно и даже с блеском, что, если “Материализм и эмпириокритицизм” — довольно всё-таки слабое и уязвимое со многих сторон сочинение, то “Философские тетради” — в высшей степени серьёзный труд, составивший целую эпоху в развитии философской мысли. С этим нельзя не согласиться.

Ленину, отмечает автор, безусловно “повезло” с биографами, изучавшими его родословную, а также исследователями его публицистических и философских трудов. И хотя в определённый известный период нашей истории интерес к Ленину заметно угас и к нему чаще всего стали относиться, как к негодяю, преступнику и политическому авантюристу, сделавшему своей родине непоправимое зло, однако при этом умевшему исключительно тонко и остро улавливать конъюнктуру того или иного момента, разбираться в политической ситуации и умевшего воспользоваться ею, то теперь интерес к этой фигуре явно возрождается, и свидетельства этому — книги, биографии Ленина, написанные в последнее время блестящими знатоками его жизни и деятельности, такими проницательными критиками “в гегелевско-марксовом смысле”, как Картер Элвуд, Роберт Сервис, Томаш Краус, Владлен Логинов.

Из книг последнего времени нельзя не назвать также и биохронику известного журналиста-правдиста и издателя Игоря Пестуна под заглавием “Ветер Октября” (2017), в которой представлен, пусть и очень традиционно и нормативно, и без особых новаций, весь жизненный путь Ленина в строго хронологической последовательности, на основании тщательно выверенных источников, прежде всего, сочинений Ленина, его переписки и мемуаров о нём. И самое, пожалуй, в этом издании, характерное и бросающееся в глаза — это обилие иллюстративных материалов, в частности, живописных изображений Ленина и его эпохи, многие из которых только что были извлечены из различных отечественных и зарубежных музеев и архивохранилищ и публикуются впервые. Такая “подарочная” книга — тоже несомненное и крупное событие в современной, как было принято говорить в советское время, “лениниане”.

И к этому перечню вполне естественно добавляется и имя автора рассматриваемой нами книги. Пожалуй, не было бы ошибкой или преувеличением поставить её в этом перечне на первое место. Невзирая на некоторые, что называется, “заносы”, которые, конечно же, присутствуют в книге Л. Данилкина, автору удалось создать полноценный и убедительный образ Ленина — человека и политика — в соответствии с современным уровнем понимания многих политических и культурно-исторических коллизий эпохи, в которую жил и действовал Ленин.

Но главный вопрос, проходящий насквозь через всю книгу, это вопрос о том, кто же был на самом деле Ленин? Не только и не столько тот, которого мы, современники советской эпохи, знаем по бесчисленным портретам, скульптурным изображениям и т. д., его атрибутике, а каким же он был на самом деле, в реальной жизни? “Он был именно Ленин”, — отвечает на этот вопрос автор, и этим всё сказано. И если уничтожить все его памятники, статуи и прочие изображения, если даже запретить упоминать его имя, он всё равно будет существовать в нашем сознании, настолько прочно он вошёл в нашу жизнь, и выбросить его из истории совершенно невозможно, как бы многие

этого ни хотели и сколько бы некоторые ни изощрялись по этому поводу в красноречии, а лучше сказать, в пустопорожном красноречии.

Исследуя жизнь и личность Ленина, формирование её в детские годы, истоки характера, воспитания в благонаправленной интеллигентной провинциальной семье, Данилкин пишет о совершенно необычайной, бывшей через край энергии Володи Ульянова — ребёнка, затем подростка-гимназиста, — энергии, которая порой не находила себе позитивного выхода. Эти же качества характера, показывает автор, сохранились во многом и у взрослого Ленина. В связи с этим Данилкин приводит известный по мемуарным источникам случай о безудержном “озорстве” Ленина с детьми его родных и знакомых. Автор очень последовательно, хотя, быть может, и не во всём справедливо и объективно, а также, если угодно, в несколько развязном и даже шутовском тоне выстраивает свою концепцию характера и образа Ленина-человека, его отношений с окружающими, а также его деятельности политика и публициста. Со многими пассажами можно и не согласиться, и некоторые моменты позволяют говорить о том, что автор иногда впадает в сильные преувеличения и субъективизм и превращает биографию Ленина в некую клоунату. Но в то же время невозможно отрицать того, что и это всё написано интересно, оригинально и найдёт благодарных и заинтересованных читателей, однако, разумеется, не из ортодоксальной среды.

Следует отметить также, что работа Данилкина имеет очень своеобразную композицию — автор в изобилии приводит самые разнообразные факты и сведения, превосходно владея и управляя этим более чем обширным материалом, и всякий раз, подобно опытному пловцу, выныривает из этого глубочайшего моря, сохраняет во всём свою позицию и предельно целеустремлённо выстраивает свою концепцию жизнеописания Ленина.

В этом, с нашей точки зрения, заключается наиболее характерная особенность построения этой книги.

И наиболее ценным представляется то, что автор не акцентирует внимания, как это часто бывает принято в наше время, на каких-то сенсационных и не вполне достоверных фактах биографии Ленина, в частности, обстоятельств последних дней его жизни и смерти, будто бы той очень неблагоприятной роли, которую во всём этом сыграл И. В. Сталин. В самом деле, едва ли кто-то мог “подтолкнуть” тяжело больного, даже отчасти утратившего нормальный человеческий облик Ленина, каким он был с “переменным успехом” кратковременных улучшений в 1923—начале 1924 года, к смерти, которая и так была неизбежна после трёх перенесённых Лениным инсультов. Можно было бы привести и другие подобные примеры. Скажем, был ли в самом деле ребёнок у Ленина и Крупской, умерший в младенчестве в Шушенском? Автор в таких случаях в значительной мере остаётся на высоте положения, сохраняя полную объективность и приверженность документально подтверждённым фактам и свидетельствам, хотя, повторяем, его манера подачи материала очень своеобразна, но она, несмотря ни на что, также направлена на поиск и утверждение истины, а не просто представляет собой словесную “эквилибристику”, материалом для которой в данном случае служит биография одного из самых известных в мировой истории людей, которому удалось совершить переворот, ознаменовавший новую историческую эпоху, — всё это подготавливалось порой в невыносимо трудных и опасных условиях жизни профессионального революционера, где бы он ни находился — в Мюнхене ли, в Лондоне, Женеве, Финляндии, на Капри, в Париже, в Польше или Швейцарии.

Когда мы возвращаемся к последнему периоду жизни Ленина, возникает вопрос, каковы были обстоятельства и история написания последних статей Ленина: “Письмо к съезду”, “Как нам реорганизовать Рабкрин”, “Лучше меньше, да лучше”, “Об автономизации”? Автор приходит к выводу, что большинство этих работ не могли быть написаны Лениным по причине его крайне болезненного состояния даже “под диктовку”, а скорее всего, автором их была не кто иная, как Н. К. Крупская, в то время “скучная, вечно больная, безобразно одетая, вздорная, одуревшая от бездетности старуха, потолок которой — педагогическая деятельность” (с. 887), но тем не менее, по мнению Данилкина, со своим всегда узнаваемым стилем. А её известные, можно сказать, классические мемуары о Ленине, которые часто считаются невыразительными, ортодоксальными и “беззубыми”, убого написанными, Данилкин называет “фееричными”, так как в них запечатлены такие детали облика

и жизни Ленина, какие не мог бы привести никто другой, — различные забавные и трагические эпизоды эмигрантской жизни, или же как, например, они оба (Ленин и Крупская. — **А. Р.**) “фыркали, стараясь не смотреть друг на друга, когда слушали ахиною крестьянина про то, что Ленин завалил Кремль швейными машинками” (с. 885) и т. д. И такого рода наблюдения и выводы автора, пожалуй, не вызывают возражений.

Ведя речь о публицистике Ленина, связанной с литературной тематикой, Данилкин полагает, что, например, в знаменитой и даже навязшей в зубах статье “Партийная организация и партийная литература” Ленин выказывал своё полное непонимание эстетических законов художественного творчества и требовал от литературы быть всего лишь служанкой, “колёсиком и винтиком партийного общепролетарского дела”, рассуждая об этом лишь с точки зрения того или иного момента политической борьбы. В этом смысле, по мнению Л. Данилкина, Ленин был человеком ограниченным и малообразованным, знал литературу преимущественно в пределах гимназического курса, в целом мало интересовался ею, плохо в этом разбирался, да и времени на это у него не было. Тем не менее, известно, что Ленин всё же кое-что читал и знал из современной ему литературы, не считая произведений близкого ему Горького. Читал, например, пьесу Л. Андреева “К звёздам” и упомянул её в одной из своих статей (образ астронома Поллака, мечтающего полететь к звёздам). Есть также свидетельства и о том, что Ленину понравился роман Ф. Сологуба “Мелкий бес”, по всей видимости, своим очень нелিপцприятным изображением провинциальных нравов и в особенности — доморощенной провинциальной гимназической педагогики, ставшей известной под названием “передонощины” по фамилии главного героя, учителя Передонова.

Известно также, что в послеоктябрьские годы Ленин одобрительно отзывался о контрреволюционной книге Аркадия Аверченко “Дюжина ножей в спину революции”, в которой карикатурным образом был изображён и он сам, а также высказывался в 1922 году о необходимости переиздания в Советской России книги В. В. Шульгина “Дни”.

В разделе о знаменитом ленинском цикле статей о Л. Н. Толстом (1908—1910) Л. Данилкин высказывает мнение, что об этих статьях невозможно судить с точки зрения литературы и филологии, — это просто был бы в определённом смысле нонсенс. Смысл заметок Ленина о “великом писателе земли русской” был также во многом продиктован требованиями политического момента, был обусловлен не разрешением спора о том, гений Толстой или нет, а тем, чтобы “увязать” тексты Толстого с событиями недавней истории”. (с. 431 — революции 1905—1907 годов. — **Прим. авт.**), когда на сцену выступил неожиданно оказавшийся сильным и перспективным персонаж — революционное крестьянство, ставшее союзником “наделённого марксовской лицензией могильщика капитализма” (там же) пролетариата, который, кстати сказать, Толстой знал довольно приблизительно. И отсюда выводы: “Мы ценим графскую критику русской жизни. Мы отвергаем его идиотские методы борьбы со всем этим злом — вегетарианство и прочий селф-хелп* (с. 431).

Но у Маркса нигде ничего об этом не было написано, а у Толстого Ленин это обнаружил и актуализировал таким образом: в России возможна “превентивная” революция, способная уберечь общество от капитализма.

И если в советское время ни одна литературоведческая работа о Толстом никоим образом не могла обойтись без цитирования или хотя бы обязательного упоминания этих статей Ленина, то теперь автор новой, современной биографии Ленина смотрит на это сквозь призму уже далёких и утративших какую бы то ни было актуальность исторических событий и политических коллизий эпохи, иронизирует по поводу них, но не отказывает при этом статьям Ленина в своего рода известном “остроумии”.

Очень живо и колоритно в книге Л. Данилкина обрисованы и многочисленные соратники Ленина — Н. Валентинов (Вольский), один из первых биографов Ленина и автор интересных мемуаров о нём, Г. В. Плеханов, В. А. Богданов, Г. Аксельрод, Ю. Мартов, А. В. Луначарский, отчасти М. Горький и многие другие. Автор стремится в данном случае утвердить мысль о том, что все они не только составляли “фон” Ленина, но и сами по себе были вполне самостоятельными деятелями — без них, скорее всего, было бы и вовсе невозможно

* Самоусовершенствование (англ.).

появление фигуры Ленина, особенно в таком грандиозном историческом масштабе. Но мы не уверены в том, что здесь автор абсолютно прав.

Завершая наш очерк, следует ещё раз подчеркнуть, что Л. Данилкин написал исключительно полезную и интересную книгу, хотя и не во всём, конечно, бесспорную, и сделал немало интереснейших открытий. Биография Ленина представлена в ней почти исчерпывающим образом, автором было использовано колоссальное количество материалов, и мы можем только восхищаться его невероятной работоспособностью, а также, как уже было сказано, несомненным писательским даром, умом, остроумием, огромной эрудицией и, повторяем, исчерпывающим изучением и знанием предмета.

Но вместе с тем мы полагаем, что автор не всегда чётко обозначает и формулирует, что же всё-таки было позитивным и что — негативным в деятельности Ленина? Вполне ли верна его теория “гегемонии рабочего класса”? И правомерно ли, допустим, его прямо-таки возмутительное отношение к интеллигенции и духовенству, к “боженьке”, по его излюбленному выражению?

Автор почти не даёт ответа на эти отнюдь не риторические вопросы. А ведь это как нельзя более существенно.

Но относительно того, что Ленин обладал исключительным, обострённым чувством истории, абсолютно верно угадывал те или иные исторические моменты, прежде всего, введение нэпа в измученной войнами и революциями, погибающей от голода и всякого рода неразрешимых противоречий стране (известно, что после введения нэпа, были случаи самоубийств в среде правых революционеров и партийцев, которым казался недопустимым этот поворот назад...) Обо всём этом автор написал, пожалуй, удачно, интересно, со свойственной ему энергией и неотразимой убедительностью.

Позиция Льва Данилкина очень своеобразна — она в корне отличается и от позиции коммунистов, и от взглядов патриотов. В то же время она лишена какой-либо агрессии и представляет собой, пожалуй, интеллигентский либерализм в чистом виде, причём, мы бы сказали, достаточно учёного толка. Это видно даже на поверхностный взгляд.

Ленин под пером Данилкина оказывается не только ортодоксальным революционером, большевиком и убеждённым коммунистом, но, в первую очередь, путешественником, спортсменом, заядлым шахматистом и, кроме того, человеком очень неординарного поведения в обычной жизни, склонным к разного рода озорным проделкам и т. п. Однако за таким, можно сказать, могущим эпатировать определённую часть читателей подходом стоит очень серьёзный, интересный и добросовестный исследователь, изучивший и проработавший огромное количество материалов и источников и поэтому оказавшийся способным написать, быть может, и не вполне исчерпывающую, но весьма интересную биографию Ленина, какой до сих пор, пожалуй, не существовало в природе вообще.

Хотя, повторяем, его позиция, подход к материалу и, главное, интерпретация личности Ленина и всевозможных коллизий его биографии очень небесспорна. Но, скорее всего, именно этим, прежде всего, книга Л. Данилкина особенно любопытна, в этом её зерно, и она может привлечь внимание самой разнообразной читательской аудитории.

АЛЕКСАНДР ТРАПЕЗНИКОВ

МОЙ БРАТ-ПИСАТЕЛЬ — НЕСПОКОЙНАЯ ДУША

Нельзя назвать сладкой жизнь моего брата-писателя Михаила Фёдорова, адвоката с беспокойной душой. Побросало его по жизни изрядно. Как говорил незабвенный Фёдор Сухов из “Белого солнца пустыни”: “от Амура до Туркестана” (в реальном и в метафизическом смысле). С постовыми милиционерами разгонял уличных хулиганов, следователем сажал воришек и насильников, милицейским начальником очищал это ведомство от проходимцев, юристом в тепличном комбинате воевал за работяг, теперь адвокатом заботится об обиженных и обманутых, униженных и оскорблённых. Словом, все теневые стороны жизни коснулись его сердца, ума, зрения, души и творческого пера. Порывисто ворвался он в современную литературу, громко заявив о себе своим первым романом “Ментовка”, вышедшим в издательстве “Вече” в 1995 году.

Читаем в этой книге: “Ментовка — это открытая и наглая проституция, поножовщина, убийства, никем и ничем не обузданный разгул страстей и преступности...”. Герой романа Афанасий Комлев проходит все круги милицейской жизни, начиная свой путь с заместителя начальника медицинского вытрезвителя, потом — заместитель командира роты милиции, дознаватель, следователь, инспектор-кадровик областного управления и метит в начальники отдела... И на пути этого, казалось бы, чуждого всей этой системе недавнего комсомольского работника один за другим проходят держиморды — милиционеры, отпетые бандиты, всюду мечутся втянутые в круговорот разборок простые люди. Вот с каким срезом жизни вошёл в писательскую жизнь автор из Воронежа. В этой же книге есть ещё повесть “Призраки Борской пустыни”, написанная по мотивам убийства трёх монахов на Пасху в Оптиной пустыни. Там сам автор оказался на третий день после трагедии и находилась вместе с братией до поры, пока поймали человекоубийцу, а потом пытался помочь обителю изменить решение суда, отправившего душегуба на принудительное лечение в психушку. Он не верил и сейчас не верит, что тот был не в своём уме! Тут же повесть “Канальские острова” — о запутавшемся в “юбках” юном чекисте. Все эти работы по-хорошему кинематографичны, готовые сценарии, нашёлся бы только режиссёр! И тогда, может быть, мы бы сейчас отмечали юбилейную дату не писателя, а сценариста фильмов, не окажись наш кинематограф в агонии начале 90-х, когда Фёдоров оканчивал сценарный факультет ВГИКа.

А получилось так, что его вынесло в писательский мир. Но когда? В сорок жизненных лет, когда другие уже становились маститыми прозаиками, поэтами, а он, как Гавриил Троепольский, давший ему путёвку в жизнь своим

советом: “Пиши, у тебя глаз есть”, — заявил о себе в далеко не молодом возрасте. И также войдя в литературу, как и его учитель, через Москву. Все работы Михаила Фёдорова бьют по нервам. Вот оказался проходимцем прокурор, и он пишет “Пузыри на воде” — об этом законнике, который ещё в молодости убил в себе Божью искру и полностью скурвился. Ужаснулся от милицейской банды — и появился “Рыканский поворот”. Разглядел “долларовые души” банкиров — и появилась “Зелёная пурга”. По совету писателя Юрия Гончарова окунулся в писательский мир, и мы читаем “Громкие” дела писателей”, где сброшены завесы с тайн творцов пера. В основном, воронежских.

А потом его захлестнули судьбы наших старших соплеменников. Он нашёл бывшего лейтенанта советской армии, который прошёл Карабах, Приднестровье и уехал воевать в Крайину. Мы узнаём, что совершили недруги с этой сербской провинцией... Появился роман “Пусти ме да гинем”... Художница Наталья Лейба, полурусская, полуабхазка, вернулась из Черноземья в Гудауту, а тут ударила абхазско-грузинская война, и эта медсестра, ростом невеличка, спасает жизнь абхазам... Как про такую не писать!.. И мой брат-писатель написал “Сестра милосердия из Гудауты”. Вот чем живёт этот беспокойный человек, для которого чужая боль становится личной, и пишет... Для него писательство — самолечение. Заболевая чем-то, что просится на кончик пера, он выплёскивает на страницы ставшую далеко не личной боль...

Видимо, от переполнения этим в последние годы его качнуло от “врачевания” к спасению: когда он спасается сам и протягивает руку другим, окунаясь в мир Троепольского, которого знал лично, потому и создал роман “Человек Чернозёма”. Прочувствовав мощь этого человека, сам сделался сильней, получил силы, знания и умения, обрёл новые просторы жизни... Он пишет про Александра Сухарева — это живая легенда; он боролся всюду за нас, человек: и когда под пулями тянул провода связистом на фронте в Великую Отечественную, и когда в начале 90-х спасал Советский Союз Генеральным прокурором СССР, оказываясь в пекле в Степанакерте, отстаивая солдатешек, которые пытались навести порядок в Тбилиси, вытаскивая своих прокуроров из забурлившей Прибалтики... Фёдорову этот человек бесценен — и он пишет о нём... Пишет о глашатае Егоре Исаеве. Егор Александрович его одарил днями многочасовых общений! Знакомится с кинорежиссёром Василием Паниным, снявшим для нас “Певучую Россию”. А как точно сказано, ведь сердце у нас певучее. И пишет ему сценарий об Иване Крамском... Появляется книга о священнике протоиерее-художнике Стефане Домусчи, который не только бескорыстно служит Борисоглебскому краю с амвона церкви, где совершает требы более 50 лет, но и воспевает в своих картинах... А его знакомство с замечательным композитором Евгением Догой — оно не для него, а для людей: мы читаем диалоги с маэстро. Или разговор-повествование со знаменитым знатоком животного мира Николаем Николаевичем Дроздовым...

Точно сказал о Фёдорове писатель Альберт Лиханов, подписав ему книгу “Детский фонд. 30 лет добра и милосердия”: “Миша, ты молодец, и ты создал свою систему исторической памяти. 02.06.18 г.”. Мне тоже по душе, что его носит со своими героями по всей бывшей Державе под названием СССР, от Камчатки до Себежа, от Мурманска до Нурека, от Гагры и Очамчиры до Ахалцихе и Манглисси. Видимо, эту ненасытность пути ребёнком впитал он с молоком матери, когда его отца (как и моего, кстати, тоже, и тоже юриста), прошедшего Отечественную войну от Финской до Японской, перевортели из одного гарнизона в другой. Он сам всегда в творческом поиске, в горении мысли, в пламени чувств, в непрерывном движении.

.....

*Редакция поздравляет нашего друга и автора
Михаила Фёдорова с 65-летием!*

В КОНЦЕ НОМЕРА

В редакцию поступило несколько поздравлений Станиславу Юрьевичу Куняеву с 86-летием. Публикуем некоторые из них:

“Глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Примите поздравления с Вашим Днём рождения!

От всей души желаю Вам здоровья, творческой энергии, мира и благополучия!

С уважением

Советник Президента Российской Федерации В. Толстой”

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

Примите мои искренние поздравления с Днём рождения. В России и за её пределами Вас знают как авторитетного общественного деятеля. Ваша ответственность, принципиальность и целеустремлённость всецело служат стране и её гражданам. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех Ваших планов.

Губернатор Калужской области Артамонов”

“Уважаемый Станислав Юрьевич, искренне рад поздравить Вас с Днём рождения!

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отечественной культуры, формирование вкуса российских читателей, поддержку молодых одарённых писателей.

Благодаря Вам журнал стал трибуной для приверженцев идей государственности и патриотизма, для поиска путей возрождения русской цивилизации.

От всей души желаю успехов, здоровья и благополучия!

Губернатор Белгородской области Е. Савченко”

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

От всей души поздравляю Вас с Днём рождения!

Своим каждодневным трудом Вы вкладываете душу и творчество в развитие российской и мировой литературы, становление духовности и нравственности всех наших современников.

От всей души желаю Вам сибирского здоровья, благополучия, жизненной энергии и бесконечного источника творчества!

Пусть счастье, радость и любовь всегда царят в Вашем доме!

С уважением Генеральный директор ЗАО “Стройсервис”

Д. Н. Николаев (Кемерово)”

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2018 ГОД

ПРОЗА

- АЛЕЙЧЕНКО Юлия. **Глаза зимнего бога.** Рассказы (№ 7)
- АНТИПИН Андрей. **Шёл я лесом-камышом.** Рассказ (№ 8)
- АРЕФЬЕВ Вадим. **На Троицу у Патриарха.** Из дневников писателя (№ 1)
- БАЛКОВ Ким. **Фельдшер и пастух.** Рассказ (№ 9)
- БЕЖИН Леонид. **Последний день султана Омара.** Рассказ (№ 12)
- БЕЛОУСЕНКО Алёна. **Динозавры.** Рассказ (№ 8)
- БЕРЕЖНОЙ Сергей. **Кофе по-сирийски.** Рассказ (№ 7)
- БУТЕНКО Владимир. **Священник и палач.** Повесть (№ 9)
- ВАСИЛЬЕВ Антон. **Андрей Петрович.** Рассказ (№ 4)
- ГРИБАНОВА Татьяна. **Забытая зима.** Рассказы (№ 3)
- ДОРОВСКИХ Сергей. **Время весны.** Главы из романа (№ 9)
- ЕВСЮКОВ Александр. **Караим.** Рассказ (№ 8)
- ЕРМАКОВ Дмитрий. **На берегу Леты.** Рассказ (№ 1)
- ЗАБЕЛЛО Василий. **Родные берега.** Рассказы (№ 9)
- ИВАСЬКОВА Ирина. **Звезда Сирень.** Рассказ (№ 8)
- ИГНАТЬЕВ Олег. **Удар скорпиона.** Роман (№ 2)
- КАЗМИН Владимир. **Негр из АТО.** Рассказ (№ 4)
- КАЛЕДИНА Татьяна. **Kids' Hatred.** Рассказы (№ 3)
- КАРПОВ Владимир. **Так мне легче.** Рассказ (№ 12)
- КОЖУХОВ Игорь. **Родная душа.** Рассказы (№ 4)
- КОКУХИН Николай. **Часовой мастер.** Пасхальный рассказ (№ 4)
- КУЛИЖНИКОВ Михаил. **Отольются кошке мышкины слёзки.** Рассказ (№ 7)
- ЛЕСЦОВА Наталья. **Имба-читальня.** Повесть (№ 11)
- ЛИХАНОВ Альберт. **Мамочкин сынок.** Повесть из романа "Русские мальчики" (№ 2)
- ЛИХАНОВ Дмитрий. **Bianca.** Роман (№ 12)
- ЛУНИН Юрий. **Новая жизнь.** Рассказы (№ 8)
- ЛУТЮК Николай. **Глоток воды.** Рассказ-быль (№ 7)
- МИХАЙЛОВА Ирина. **Я слышу!** Рассказ (№ 8)
- МИХЕЕНКОВ Сергей. **Железная воля.** Повесть (№ 5)
- ПЕЙГИН Борис. **Доктор Канин.** Рассказ (№ 8)
- ПОЛЯКОВ Эдуард. **Желанная.** Рассказ (№ 4)
- ПОПОВ Александр. **Поселение.** Роман (№ 10-11)
- ПРОХАНОВ Александр. **Гость.** Роман (№ 1); **Певец боевых колесниц.** Роман (№ 6)
- РОЩИНА Екатерина. **Синдром бабочки.** Рассказы (№ 3)
- РЯБОВ Олег. **Не зови прошлое.** Рассказы (№ 7)
- САЛАМАХА Владимир. **Если упадёт один...** Повесть (№ 7)
- СЕНЧИН Роман. **Ёлка.** Рассказ (№ 7)
- СИТНИКОВ Владимир. **Мика Длиннорукий.** Рассказы (№ 5)
- СМИРНЫХ Анатолий. **Если завтра война...** Рассказ (№ 6)
- СЯОЛАНЬ Тэн. **Девушка, танцующая под звёздным небом.** Рассказ (№ 8)
- ТАРКОВСКИЙ Михаил. **Не в своей шкуре.** Повесть (№ 6)
- ТИМОФЕЕВ Андрей. **В тёплых лучах.** Рассказ (№ 8)
- ТРАПЕЗНИКОВ Александр. **Хомо рус.** Повесть (№ 3)
- ТРАХИМЁНОК Сергей. **Суета сует.** Рассказ (№ 7)
- ТУЛУШЕВА Елена. **Домой.** Рассказы (№ 8)
- УБОГИЙ Андрей. **Словарь исчезнувших вещей** (№ 6)
- УБОГИЙ Юрий. **Время вокзала.** Дневник писателя (№ 9)
- УРУСОВ Владимир. **Железные солдаты.** Повесть (№ 5)
- ЦУКАНОВ Александр. **Старатель.** Рассказ (№ 11)
- ЧИН-ШУ-ЛАН Максим. **Утро приходит вовремя.** Рассказ (№ 12)
- ЩЕПОТКИН Вячеслав. **Возьмите ребёнка на руки.** Рассказ (№ 7); **Слуга закона Вдовин.** Повесть (№ 10)
- ЩЕРБАКОВ Александр. **О чём звенел рукомойник.** Рассказы (№ 9)
- ЩУКИН Михаил. **Молился каторжный за беглых.** Главы из романа (№ 4)
- ЮШИН Евгений. **Негасимое.** Рассказ (№ 4)
- ЮЭХУЭЙ Фу. **Зоопарк.** Рассказ (№ 8)

ПОЭЗИЯ

АБАШИДЗЕ Ираклий. **Разговор с тенью Мао Цзэдуна** (предисловие Ст. КУНЯЕВА) (№ 5)
 АВРУТИН Анатолий. **Простор увидится сквозной** (№ 7)
 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван. **Рубцы от улыбок и драк** (№ 10)
 АМУСИН Александр. **Пригожей осени портрет** (№ 12)
 АНДРЕЕВ Владимир. **Тех лет затаённое пламя** (№ 9)
 БАЛАЧАН Владимир. **В светлой горенке русских сказаний...** (№ 4)
 БАШКИРОВА Татьяна. **Веет теплом от земли** (№ 12)
 БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ Игорь. **Горизонт без конца и без края...** (№ 7)
 БУРМИСТРОВ Борис. **Просияют святые** (№ 4); **Я вижу, как бредёт народ** (№ 12)
 ВАСИЛЬЕВ Ярослав. **В судьбу вмерзают навсегда** (№ 3)
 ВЕЛИКЖАНИН Павел. **Молодые поэты** (№ 8)
 ВЕРБА Юлия. **“Не пишите о войне то-ропливо...”** (№ 12)
 ВЕРСТАКОВ Виктор. **Век другой и другая война** (№ 5)
 ВОЛКОВА Марина. **Я верю в то, что жизнь – вернее смерти** (№ 8)
 ВЭЙНА Дай. **Снег выпал** (№ 8)
 ГОЛУБЕВ Валентин. **Мать-природа, за нас порадей...** (№ 11)
 ДУДАРЕВ Валерий. **Глубокий снег – предвестник дум глубоких** (№ 1)
 ЕГОРОВА Наталья. **В бесконечных проулках весенних** (№ 3); **Колодец небесного свода** (№ 11)
 ЕРШОВ Максим. **А всё-таки Россия...** (№ 8)
 ЗНОБИЩЕВА Мария. **Мальчики** (№ 8)
 ИВАНОВА Елена. **Соколиная охота** (№ 3)
 ИЛЬГОВА Дарья. **Сменив решётки города на степи...** (№ 8)
 КАЗАНЦЕВ Василий. **Счастья зов** (№ 5)
 КАЛЮЖНЫЙ Григорий. **Русская верста** (№ 6)
 КАН Диана. **Текут века, а мне и горя мало** (№ 3); **Млечный мост** (№ 9)
 КАРПУНИН Геннадий. **По размытой временем Руси...** (№ 4)
 КАУРОВ Ярослав. **Эта слезинка родом из детства...** (№ 3)
 КЛЮЧНИКОВ Юрий. **Огненные крылья** (№ 1)
 КОВДА Вадим. **И только на душе – спокойно и тепло...** (№ 7)
 КОВРИЖНЫХ Виктор. **Всё перестроили в русском краю...** (№ 10)

КОЖЕВНИКОВА Наталья. **Когда-нибудь мы вспомним друг о друге...** (№ 9)
 КОЗЛОВ Кирилл. **Замело планету до предела...** (№ 8)
 КОНОВСКОЙ Николай. **Холод животворящий** (№ 1)
 КОРНЕЕВ Вадим. **Лада хочется душе** (№ 9)
 КОРОТАЕВ Александр. **Запах дыма и жилья** (№ 9)
 КРАСНИКОВ Геннадий. **Россия соло-виная** (№ 4)
 КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО Тамара. **И снегу нет конца и края...** (№ 3)
 КРИКЛИВЕЦ Елена. **Купола колоколен** (№ 7)
 ЛАСУРИА Мушни. **“Друг без друга нас просто нет...”** (№ 1); **Русские писатели. Со вступлением Ст. Куняева** (№ 12)
 ЛЕОНТЬЕВА Светлана. **Ветренный сад** (№ 12)
 ЛОГВИНОВ Андрей. **Нигде не научат любви** (№ 4)
 ЛОГИНОВ Александр. **Родниковая Россия** (№ 11)
 МАРТЫНОВА Елизавета. **Мы правы тем, что рождены на свет...** (№ 9)
 МАРТЫНЧИК Анна. **Поверить и полюбить** (№ 7)
 МЕТЕЛЬКОВ Антон. **Куда бегут ромашки?** (№ 8)
 МЕТЛИЦКИЙ Никола. **Чтоб очищенные светлое настало...** (№ 7)
 МИЗГУЛИН Дмитрий. **Нечаянная милость** (№ 9)
 МОЛЧАНОВ Владимир. **Давайте будем честными...** (№ 7)
 МОРОЗОВ Геннадий. **На кромке жизненного круга** (№ 6)
 ОЛЕЙНИКОВА Татьяна. **Моя потаённая жизнь** (№ 7)
 ПАВЛОВ Юрий. **Времён минувших призрачная связь** (№ 6)
 ПАСТУХОВ Виктор. **Голгофа** (№ 4)
 ПЕРЕВЕРЗИН Иван. **Душа от радости заплачет...** (№ 7)
 ПЕРОВА Марина. **Ослепительно синяя высь** (№ 8)
 ПЕТРОВ Виктор. **Ночные разговоры** (№ 6)
 ПОЗДНЯКОВ Михась. **Моё богатство – шум берёз** (№ 7)
 ПОШЕХОНОВ Александр. **Луч мимо-лётный** (№ 6)
Поэтическая мозаика (№ 3; 5; 8; 11)
 ПШЕНИЧНАЯ Вита. **Горит свеча, звучит Сорокоуст...** (№ 7)
 РАЧКОВ Николай. **Читая Гомера** (№ 2)
 РЕВЯКИНА Анна. **Я лягу здесь – стихами и костями...** (№ 4); **Шахтёрская дочь.** (№ 8)

РУДЕНКО Александр. **Пристань** (№ 7)
 СЕИДАМЕТОВА Карина. **Всё-то ты
 приемлешь, русский чело-
 век!..** (№ 8)
 СЕМИЧЕВ Евгений. **В России все по-
 эты – странники** (№ 10)
 СИРОТИН Борис. **Я к Господу всхо-
 жу** (№ 2)
 СТЕПАНОВ Евгений. **Я дома** (№ 9)
 СТЕПАНОВ Михаил. **Вот мой мир без
 границ и без дна...** (№ 11)
 СЮИЕ Линь. **Суэцкий канал** (№ 8)
 СЮЛИ Ян. **Белая соль** (№ 8)
 ФУНА Линь. **Начало осени** (№ 8)
 ХАТЮШИН Валерий. **Единый, веч-
 ный, неразрывный путь** (№ 11)
 ХОМЯКОВ Владимир. **Повсюду цар-
 ствовало слово** (№ 9)
 ЦЗЭДУН Мао. **Улыбка и песня на
 смелых устах (с предисловием
 Ю. КЛЮЧНИКОВА)** (№ 5)
 ЧЕРКЕСОВ Валерий. **Опять рас-
 свет** (№ 7)
 ШАМСУТДИНОВА Марина. **Россия –
 скит** (№ 10)
 ШАЦКОВ Андрей. **И вечной бывает
 разлука...** (№ 2)
 ЩИПАХИНА Людмила. **Идёт всемир-
 ная игра...** (№ 12)
 ЯКОВЛЕВ Андрей. **Мы не будем ни-
 как называться** (№ 12)

ПАМЯТЬ

АНАШКИН Эдуард. **Народный писа-
 тель России** (№ 11); **Сын рассвет-
 ного неба** (№ 3)
 АРТЮХОВ Евгений. **“Человек, при-
 бавляющий света...”** (№ 4)
 ГУСЕВ Геннадий. **“Друзья мои, това-
 рищи поэты...”** (№ 10)
 ГУСЛЯРОВ Евгений. **На улице Нико-
 лая Тряпкина** (№ 12)
 КАЗИНЦЕВ Александр. **“Молодой
 и непослушный...”** (№ 2)
 КАЛЮЖНЫЙ Григорий. **Крестный
 путь поэта** (№ 3)
 КОНОВСКОЙ Николай. **“И столько жиз-
 ни меж землёй и небом!”** (№ 4)
 КУНЯЕВ Сергей. **“Мой неизбывный
 вертоград...”** (№ 12)
 КУНЯЕВ Станислав. **“Дневник третье-
 го тысячелетия”** (№ 1)
 ПЛОТНИКОВ Владимир. **Последняя
 сага профессора Малиновско-
 го** (№ 2)
 ПРОНСКИЙ Владимир. **Гармонист
 всея Руси** (№ 3)
 СКИФ Владимир. **Леонид Боро-
 дин** (№ 11)
 СУХОВ Фёдор. **Плач моей бабушки
 Анисьи Максимовны** (№ 3)

ТАРАСОВ Андрей. **Поэт шёл за хле-
 бом** (№ 1)
 ХАЙРЮЗОВ Валерий. **Мы же рус-
 ские!** (№ 2); **Уроки Распутина** (№ 3)
 ЧИВИЛИХИНА Елена. **Открытие Вален-
 тина Распутина** (№ 3)

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСЕЙЧИК Яков. **Комплекс Боле-
 слава** (№ 1); **Кто подкармливал
 тигра со свастикой** (№ 9)
 АРЕФЬЕВ Вадим. **Под парусами
 “Крузенштерна”** (№ 11)
 БЕСЕДИН Платон. **Русский Акрополь:
 центральный холм Севастопо-
 ля** (№ 8)
 БОЛОХОВ Владимир. **Футбольная
 элегия** (№ 6)
 БОНДАРЕНКО Владимир. **Народный
 кандидат** (№ 2)
 БУЗМАКОВ Сергей. **Записки учителя
 истории** (№ 1)
 ВДОВИН Александр. **Борьба в ста-
 линском окружении за подступы
 к власти в 1945–1953 годах** (№ 9)
 ГАНИЧЕВ Валерий. **Самоотверже-
 ние** (№ 4)
 ДЕЛЯГИН Михаил. **Особенности со-
 временного общества** (№ 2);
**2024: Новые цели – глобальная
 перспектива** (№ 5); **Интеллекту-
 альные элиты как фактор си-
 лы** (№ 10)
 ДМИТРИЕВ Сергей. **Русский Рим: Зи-
 наида Волконская и Николай Го-
 голь** (№ 4)
 ЗАРУБИН Михаил. **Беседы с Борисом
 Орловым** (№ 1)
 КАРА-МУРЗА Сергей. **Русские: два
 народа** (№ 1); **Образ народного
 хозяйства** (№ 5)
 КАРПОВ Владимир. **Колонна 23,
 или Прочерк в истории** (№ 5)
 КИРВЕЛЬ Чеслав, БУСЬКО Инна. **Кон-
 цепт глобального мира: столкно-
 вение с реальностью** (№ 11)
 КЛЮЧНИКОВ Борис. **Кто они – враж-
 дебные элиты?** (№ 3)
 КРАСНОВ Пётр. **Русские в импе-
 рии** (№ 2)
 КРУПИН Владимир. **Войти в бессмер-
 тие** (№ 8)
Кто для вас Александр Казинцев?
 (№ 10)
 КУРБАТОВ Валентин. **Было утро** (№ 4)
 ЛАРИНА Елена, ОВЧИНСКИЙ Владимир.
Криптовалюта: свет и тени (№ 8);
**Искусственный интеллект: техно-
 логия тройного назначения** (№ 11)
 ЛИХАНОВ Альберт. **Свой среди сво-
 их** (№ 10)

МЕЛЬНИЧЕНКО Василий. **Агроолигархи взяли страну под контроль** (№ 12)
 МИРОНОВА Татьяна. **Слово целительное и губительное** (№ 1); **Богатство по-русски** (№ 6)
 НИКАНДРОВ Николай. **Найти и вернуть** (№ 5)
 НИКИТИН Николай. **О “русском вопросе”** (№ 9)
 ОВЧИНСКИЙ Владимир, ЛАРИНА Елена. **Криптовалюта: свет и тени** (№ 8); **Искусственный интеллект: технология тройного назначения** (№ 11)
 ОСЫКОВ Александр, ОСЫКОВ Борис. **Портреты земляков** (№ 7)
 ПЕТРОВ Николай. **Зачем России Большой Ближний Восток?** (№ 8)
 ПЛИСКО Николай. **Случай лётчика Леваневского** (№ 2-3)
 ПОЛОЗКОВ Иван. **Простить нельзя!** (№ 10)
 ПОПОВ Владимир. **“...И вся ещё не прожитая жизнь”**. Главы из книги (№ 5)
 ПРИЛЕПИН Захар. **Высоцкий как наш современник** (№ 3)
 РУДАЛЁВ Андрей. **Миражи катехизиса перестройки** (№ 6)
 РЫЖКОВ Николай. **Новая индустриализация России** (№ 7); **Ожидание перемен** (№ 8); **О роли государства в экономике** (№ 10); **Что имеем, не храним...** (№ 12)
 САВЧЕНКО Марина. **Литературная прогулка по Хабаровску** (№ 12)
 СЕВАСТЬЯНОВ Александр. **Подводя итоги-2017** (№ 2); **“Русь Ордынская”** (№ 8)
 СЕНЧА Виктор. **Последний подвиг Багратиона** (№ 9)
 СМОЛКО Александр. **“Учиться, учиться и ещё раз учиться...”** (№ 4); **Чему учит история?** (№ 11)
 СОШЕНКО Андрей. **“Русский вопрос” Игоря Кулебякина** (№ 6)
 СТЕПАНОВ Евгений. **Социализм. Капитализм. Сравнительный анализ** (№ 2)
 СЫЧЁВА Лидия. **Новую знать пока не видеть** (№ 3)
 ТАРАСОВ Борис. **“Передовые люди” о прошлом, настоящем и будущем** (№ 4-5)
 ТАРКОВСКИЙ Михаил. **Бодайбинская резиденция** (№ 9)
 ТИУ Чжэн. **Писатели любят друг друга** (№ 5)
 ТКАЧЕНКО Евгений. **О созидательной экономике** (№ 12)
 ТРОИЦКИЙ Всеволод. **Отечественное образование — задача национального спасения** (№ 6)

ТУЛУШЕВА Елена. **Почём дети?** (№ 3)
 ФИЛИППОВ Дмитрий. **Перед блокадой** (№ 8)
 ХАЙРЮЗОВ Валерий. **Чанчур** (№ 9)
 ЦАГОЛОВ Георгий. **Человек тысячелетия** (№ 6); **“Железная пята” против кремлёвского Нострадамуса** (№ 10); **Какой строй в Китае?** (№ 12)
 ЧАРОТА Иван. **Идея единства славян в первой половине XVIII века** (№ 4)
 ЧВАНОВ Михаил. **Лестница в небо** (№ 5); **Кто ты, Иван Аксаков?** (№ 10)
 ШИШКИН Евгений. **Русские головы** (№ 11)
 ШТЫРОВ Вячеслав. **Арктика. Величие проекта** (№ 4)
 ШУМЕЙКО Игорь. **Советские “орлы” над “китайским Сталинградом”** (№ 5)
 ЩЕРБАКОВ Александр. **Отдайте руль “кухарке”** (№ 4)
 ЯНИН Игорь. **Речная цивилизация** (№ 2)

КРИТИКА

АГАЛЬЦОВ Сергей. **Заметки читателя стихов** (№ 6)
 АНДРЕЕВ Анатолий. **Превратности демократии, или “Страшная тайна”, раскрытая Николаем Чергинцом** (№ 7)
 БАЛАКШИН Роберт. **Знамя народа** (№ 5)
 БАРАКОВ Виктор. **“Жить без любви — невозможно, невысказано...”** (№ 8)
 БАШИЛОВ Алексей. **Звезда полей** (№ 1)
 БОБРОВ Александр. **Слабакам — не по плечу!** (№ 2)
 БОНДАРЕНКО Владимир. **Певец Поморья** (№ 1)
 БОЧЕНКОВ Виктор. **Русский Гомер** (№ 11)
 БУЗНИ Евгений. **Надлом сознания** (№ 7)
 ВЕСЕЛОВА Нина. **Избранная** (№ 4)
 ВОДОЛАГИН Александр. **Русский бунт и христианская совесть** (№ 6); **Путник, в лазурь уходящий** (№ 10)
 ВУЛЬФОВ Алексей. **В восторгах умиления** (№ 5)
 ГАДОМСКАЯ Татьяна. **Границы и грани “Хуннских повестей” Николая Лугинова** (№ 9)
 ДОВЫДЕНКО Лидия. **Метафизика Александра Проханова** (№ 2)
 ДОРОГАНЬ Олег. **На сибирских берегах бытия** (№ 11)

ЕВДОКИМОВ Владимир. **Прообраз треугольника из “Анны Карениной”**: “Каренин-Анна-Вронский” (№ 9)

ЕГОРОВА Наталья. **Вдали от России** (№ 7)

ЕЛИСЕЕВ Глеб. **Историческая панорама Руси XVI века** (№ 7)

ИВАНОВА Валентина. **Обогреть улицу** (№ 8)

КАЗИНЦЕВ Александр. **Поколение “НС”** (№ 8)

КАЛИНИНА Людмила. **Костёр на Моховых горах** (№ 2)

КОЗЛОВ Юрий. **Творчество Виктора Лихоносова и современная русская литература** (№ 7)

КУДРИНА Юлия. **Два философа России** (№ 8)

КУНЯЕВ Сергей. **“Мы сами – музыка и боль...”** (№ 6)

КУНЯЕВ Станислав. **Огнедышащая зола эпохи** (№ 12)

ЛЮБОМУДРОВ Марк. **Метаморфозы БДТ** (№ 4)

МИТРОХИНА Ольга. **Рождение новой традиции** (№ 7)

НЕСТРУГИН Александр. **“У нетающего снега на краю...”** (№ 1)

НОВИКОВА-СТРОГАНОВА Алла. **Истинное чудо** (№ 4); **Евангельская концепция в творчестве И. С. Тургенева: роман “Рудин”** (№ 11)

ОРДЫНСКАЯ Ирина. **Возвращение первоначальных смыслов** (№ 8)

ОСИПОВ Валентин. **Лев Толстой: “Чувствую близость смерти, мне хочется сказать...”** (№ 9)

ПАНФЁРОВ Рудольф. **Торжество лжепророка** (№ 12)

РАЗУМИХИН Александр. **“Как наше сердце своенравно!”** (№ 1)

РОСТОВЦЕВА Инна. **Три фрагмента** (№ 12)

РУДАЛЁВ Андрей. **Дмитрий Быков: обречённость на войну** (№ 11)

САФРОНОВА Яна. **Найти выход** (№ 8); **Какая песня без баяна...** (№ 11)

СИРОТИН Виктор. **О чистоте языка, честности и числе слов** (№ 10)

СПИРИДОНОВА Лидия. **“Времён связующая нить”** (№ 3)

ТАРКОВСКИЙ Михаил. **Мать Елена** (№ 8)

ТАТАРИНОВ Алексей. **Апология литературы** (№ 4)

УРНОВ Дмитрий. **Литература как жизнь** (№ 6)

УШАКОВА Ирина. **Жизненные смыслы в книгах Валентина Курбатова** (№ 3)

ФЁДОРОВ Владимир. **В начале был поэт** (№ 6)

ШАПТАЛОВ Борис. **Анти-Быков** (№ 7)

ШОРОХОВ Алексей. **В поисках “мужичьей святости”** (№ 4)

ЯРОВОЙ Александр. **Борис Олейник: начало вечности** (№ 5)

СРЕДИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

ЗОТОВ Станислав. **Он проклял войну, а погиб за Россию** (№ 1); **Судьба “русского Рубенса”** (№ 4)

ПРАВОТОРОВ Геннадий. **Истоки** (№ 12)

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АРХИВ

УБОГИЙ Андрей. **Сочувствие счастью** (№ 2)

ШЕСТИНСКИЙ Олег. **Лестница** (№ 5)

МИР СВИРИДОВА

БЕЛОНЕНКО Александр. **Шостакович и Свиридов: к истории взаимоотношений** (№ 2)

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АНАШКИН Эдуард. **Рассветные песни Карины Сейдаметовой** (№ 10)

КОРОЛЁВ Сергей. **Книга о русской классике** (№ 12)

ЛИС Людмила. **Русский ответ Джоан Роулинг** (№ 7)

РУДНЕВ Александр. **“Пантократор солнечных пылинок”** (№ 12)

ТАТАРИНОВ Алексей. **Обломов в точке Апокалипсиса** (№ 7)

ФЕДОСЕЕВА Татьяна. **Атмосфера времени на страницах газет** (№ 7)

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ

“Добро” с заглавной буквы (№ 3)

“Есть человек, которому можно верить до конца!” (№ 7)

“Желаю вашему делу бессмертия” (№ 6)

“Любовь к журналу связывает нашу большую семью” (№ 11)

“С кем вы – мастера культуры?” (№ 9)

ЭХО СЪЕЗДА

“Всё не так, ребята...” (Письма писателей) (№ 5)

КУНЯЕВ Станислав. **Ответ “победителям”** (№ 4); **Клевета всё потрясает...** (№ 5)

В КОНЦЕ НОМЕРА

ДЕСЯТЕРИК Владимир. **Как и почему Маяковский пришёл сотрудничать с центральным органом комсомола** (№ 11)

КУНЯЕВ Станислав. **Съезд “победителей”...** (№ 3)

ЛИХАНОВ Альберт. **О Ларисе Васильевой** (№ 3)

МОЛЧАНОВ Виталий. **Город роз** (№ 2)

Поздравления С. Ю. Куняеву (№ 12)

ПРИЛЕПИН Захар. **Памяти героя** (№ 10)

СЕМЁНОВА Валентина. **Картина в какой-то степени промыслительная...** (№ 8)

СОШЕНКО Андрей. **Судят русского патриота** (№ 11)

ТРАПЕЗНИКОВ Александр. **Мой брат-писатель — беспокойная душа** (№ 12)

ЦАГОЛОВ Георгий. **Дискуссия о марксизме в Поднебесной** (№ 7)

ЧИРИКОВ Василий. **Пушкин пишет мать** (№ 6)

Некролог (№ 1)

Творческие итоги 2017 года (№ 1)

Эхо юбилея (№ 1)

Годовое содержание 2018 года (№ 12)

.....

Дорогие читатели! Мы рассчитываем на вашу помощь. В ситуации, когда журналу приходится залатывать дыры в бюджете, ваши материальная поддержка, пусть даже самая скромная, для нас поистине бесценна.

Редакция благодарит всех и публикует список наиболее активных жертвователей:

Ружицкая В. М. (Уфа)
Ланчикова Н. А. (Москва)
Амелина Л. П. (Кострома)
Останина В. Г. (Таврическое)
Машинская И. Ю. (Москва)
Рыбакова Л. Н. (Москва)
Панфилов А. Ф. (Королёв)
Круглов В. Л. (Подпорожье)
Крышин Р. В. (Каменск-Уральский)
Ларичева И. Б. (Волгоград)
Тархова В. М. (Венесуэла)

.....

Информируем читателей, что в номерах 1–12 за 2018 год редакцией реализованы разработанные ею социально значимые проекты “Возвышение души человека” и “Наши надежды. Школа молодого писателя”.

Проекты осуществлялись при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.